

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИИР

N *NOBIR* Y

9)



1993

|| 9 ||

НОВОБЫИ
МИИР

|| 1993 ||

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 9 (821)

Сентябрь, 1993 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР», АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ „АРМАН”»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
«БИОТЕХНОЛОГИЯ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЕВГЕНИЙ РЕЙН — Сорок четыре, стихи	3
ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО — Прохожий проспекта Мира, повесть	9
ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН — Флоксы цветут в крови сквозняка, стихи	31
ИГОРЬ КЛЕХ — Хутор во вселенной	34
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ — Детство, рассказ	50
НИКТО ИЗ НАС — Вадим Фадин, Валерий Краско, стихи	57
ОЛЕГ ЕРМАКОВ — Чаепитие в преддверии, рассказ	58
ЛАРИСА ТАРАКАНОВА — Рассказы	71
ВАЛЕНТИНА ПАХОМОВА — Не прощайся со мной, отец, стихи	74
АСАР ЭППЕЛЬ — Aestas sacra, рассказ	76

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ — Ноев ковчег (Каиново отродь). Комедия. Публикация М. А. Платоновой. Подготовка текста и комментариев Н. В. Корниенко	97
--	----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

МАРК КОСТРОВ — Как уцелеть в наше смутное время? Советы болотного жителя	141
---	-----

РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

СПОР О СВОБОДЕ СОВЕСТИ	
ВЛАДИМИР СЕМЕНКО — Две свободы	156
РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА — Роковое слово	164

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

- «НАША ЛЮБОВЬ НУЖНА РОССИИ...». Переписка Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой. Вступительная статья, составление, публикация и комментарии Александра Носова 172

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- АЛЛА МАРЧЕНКО — Гексагональная решетка для мистера Букера 230

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 240

Сергей Костырко. «С утрюмым обожаем...».
А. Богословский. Искатель духовной свободы.

Политика и наука 247

О. Майорова — «Прорыв культуры», или Немного о лжи.

КОРОТКО О КНИГАХ:

- А. З е р к а л о в. — Михаил Кривич, Ольгерт Ольгин. Товарищ убийца (Ростовское дело: Андрей Чикатило и его жертвы). ♦
В. К а м я н о в. — Лазарь Карелин. Свой. Повесть. ♦
А н д р е й В а с и л е в с к и й. — Вячеслав Сухнев. Встретимся в раю. Роман 251

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ 254

SUMMARY 256

Господа зарубежные читатели!

Подписывайтесь на «НОВЫЙ МИР» в германской фирме «КУБОН УНД ЗАГНЕР». «КУБОН УНД ЗАГНЕР» — корректность, точность, порядочность — везде: в Европе, Америке, Японии, на Ближнем Востоке. Эти качества врожденные и проявляются одинаково скульптурно во всех частях света.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «НОВЫЙ МИР»
У «КУБОН УНД ЗАГНЕР»

Kubon & Sagner, Postfach 340108 D 8000 München 34
Germany

Tel (089) 522027. Telex: 5216711 kusa d

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

*

СОРОК ЧЕТЫРЕ

Памяти Михаила Алексеевича Кузмина.

I

Много ты просил у Бога
или так... чего-нибудь?
Хорошо бы для итога
в эту дверцу заглянуть.
Там темно, там свежий сумрак,
там неприбранный простор,
там датчанин или турок
произносит «печетного».
Все, что было, это было
и пропало невзначай,
расскажу тебе, пожалуй,
коль пожалуешь на чай.
Только не гляди угрюмо,
ты и сам-то бел, как мел.
Мы глядим туда отсюда,
а на нас глядят в прицел.
Кипяток кипит бурливо,
ты меня не огорчай.
Все, что было, это было
и пропало невзначай.

II

Бывало, приедешь рано, пока еще спит столица бывшая,
и с вокзала зачем-то мимо пройдешь,
присядешь в квадратном скверике,
где Пушкин стоит лилипутом,
где можно сказать «лилипушкин»
(а впрочем, сие не про нас).
Покуришь, подхватишь баульчик
и тронешься в путь-дорогу,
оглядываясь почему-то на восьмиэтажный дом.
А там и была квартира, квартира сорок четыре,
в которой когда-то водились ученые чижы.
Они собирались густо по праздникам и по будням,
они заводили хором насмешливую дребедень.
Их угощали чаем, они угощались пивом,
и все, что здесь было, — было... было раз навсегда.

Какая большая гостиная, она же большая столовая,
она же приемная зала для сорока четырех.
Кто был там — не перечислить, не стоит, там все бывали,
но стали меня тревожить те, что бледней других.
Вот эти четверо кряду, они и уселись рядом,
и что-то им вроде зябко, и чай в их чашках простыл.
Чего они смотрят в окна на крыши Санкт-Петербурга,
откуда ползет новогоднее солнце, как мандарин?
Хотите горячего чаю? Хотите горячего пунша?
Хотите горячего солнца первого января?
Зачем вам так зябко, ребята,
зачем вы уселись под елкой,
зачем еловые лапы обмотаны мишурой?
Вот «Брызги шампанского», танго, — танцуйте,
вас приглашают.
Что же это такое?
Нет, они не хотят.

III

Я рассказать хочу тебе, учитель,
о том, как это было, как случилось,
но не могу понять всего, что знаю...
Ты более, я думаю, поймешь.
Как он любил балетные ужимки,
как он варил сибирские пельмени,
как шли ему вельветовые куртки
и усики холеные «впандан».
Он первым указал на вас, учитель...
Зайдешь, бывало, в Гавань на фатеру,
он защебечет, залепечет ловко,
туда-сюда по комнатам ведет.
А там уже кастрюли закипают.
Но если прибывали иноземцы,
он доставал крахмальную скатерку.
«Кулинария, — говорил он быстро, —
кулинария, сам я кулинар».
Постукивали серенькие рюмки,
и некий идол вскидывался томно.
Учитель, подскажите, подскажите,
а впрочем, мне неловко вас смущать.
Под утро пели долгие пластинки,
под утро плакал он по-итальянски:
ну, пьянство, пьянство — общий наш удел.
И он уехал, а куда — не знаю,
и я уехал, а куда — не помню,
и разбежались годы как могли.
Но я явился на его поминки.
Как это все устроено, учитель,
вот это интересно бы понять.
«А прочее детали...» — вы сказали,
и я поддакиваю вам, учитель,
ведь мы стоим на краешке болота,
склубившего пиявок и гадюк.
Был крематорий пуст, и кучку пепла
рассыпали по улицам Нью-Йорка,
он сам это придумал, приказал.
Тут что-то древнеримское, учитель,
смазать «александрийское», учитель,

пожалуй, и покажется манерно...
Но все это детали — в них ли суть?
Он все искал последней вашей книги
рассыпанные милые страницы
и наконец, я думаю, нашел.
«Простая жизнь» — название этой книги.
Была ли жизнь его совсем простая?
Она совсем простая не была.
Ну вот и все,
и на болоте зыбком
над ним змеится тот водоворот.

IV

Широк Техас, игрок Техас,
ковбой, Кеннеди, нефть!
И если удача — она у вас,
а если уж нет — так нет!
За ним мелочуга всех Аризон
и конфедератский флаг,
а на дорогах под горизонт
«ролл-ройс», ВМУ, кадиллак.
Приехал, и все хорошо — о'кэй,
сто тысяч — чудо оклад.
И по уик-эндам спешит фривей
в Мексику и назад.
На дальнем ранчо кипит бассейн
и все уже без штанов,
и вносят под полотняную сень
виски, джин и смирнофф.
Жена сияет, дети кричат,
брасс, кроль, баттерфляй.
Развеется шашлычный чад,
«бай-бай», что значит «прощай».
Бегут года, он здоров и цел,
и в доме простор зверью.
«Эссо», «Эксон», а также «Шелл»
берут у него интервью.
Но все скучнее горят глазки
у самых новых машин,
и все жирнее летят куски
друзьям, не достигшим вершин.
И офис тесен, и мерзок босс,
и близок далекий вид.
И он почему-то «брось, все брось»
ночью себе говорит.
Несносны семейные голоса,
жара приходит, пыля.
И в черную пятницу в два часа
тоска, гараж и петля.

V

Мы жили на одном перекрестке
улицы Троицкой в Ленинграде.
Раза два-три-четыре в неделю он заходил ко мне,
чаще всего утром,
прогуливая фокстерьера Глашу.
Стертые дерюжные брюки,

какая-то блуза из Парижа,
солдатские ботинки.
У меня часто бывало пиво —
сидели, сидели.
Но пиво было ему не по нраву,
он предпочитал грубые, тяжелые вина.
«Солнцедар», «Агдам», «Три семерки».
Говорили, говорили, говорили.
Тогда он говорил лучше, чем записывал,
а потом писал лучше, чем говорил.
Но больше всего — больше «Агдама»
и «Трех семерок», больше острот своих,
которые уже тогда повторяли, —
любил он американскую прозу:
Хемингуэй, Дос Пассос, Том Вулф,
Фолкнер, Апдайк, Джон Чивер.
Тут его сбить было невозможно.
Жили мы вместе в Эстонии,
жили в заповеднике Святогорском.
Рассыпали книгу его рассказов,
ради которых он так полюбил американскую прозу.
И тогда он уехал. Правильно сделал,
правильно сделал, правильно сделал —
все повторяло литературное эхо.
И долго, долго не было вести.
А потом пришли американские журналы,
и там же, где Апдайк и Чивер,
были напечатаны его рассказы.
Десять лет, десять лет только
не было его на Троицкой и в Святогорье.
Теперь уже не прилетит на Панам,
не доберется даже «Аэрофлотом».
Неужели никогда, никогда больше?

VI

Как представляешь ты кружение,
Полоску ранней седины?
Как представляешь ты крушение
И смерть в дороге без жены?

Е. Р. 1959.

На Каменноостровском среди модерна Шехтеля,
за вычурным мосточком изображал ты лектора.
Рассказывал, рассказывал, раскуривал свой «Данхилл»,
а ветер шпиль раскачивал, дремал за тучей ангел.
Ты говорил мне истово о Риме и Флоренции,
но нету проще истины — стою я у поленницы,
у голубого домика, у серого сарайчика
и помню только рослого порывистого мальчика.
А не тебя, плечистого, седого, знаменитого...
Ты говорил мне истово, но нет тебя убитого
среди шоссейной завети, меж «поршем» и «тойотою»,
и не хватает памяти... Я больше не работаю
жрецом и предсказателем, гадалкой и отгадчиком
Но вижу обязательно тебя тем самым мальчиком.
Ты помнишь — тридцать лет назад в одном стихотворении
я предсказал и дом, и сад, и этих туч парение

я предсказал крушение среди Европы бешеной
и головокружение от этой жизни смешанной.
Прости мое безумие, прости мое пророчество,
пройди со мной до берега по этой самой рошнице,
ведь было это названо, забыто и заброшено,
но было слово сказано, и, значит, значит... боже мой!
Когда с тобой увидимся и табаком поделимся...
Не может быть, не может быть, но все же понадемся.

VII

Когда я говорю: сорок четыре, —
я вспоминаю в Питере квартиру.
Я помню не застолья, не загулы,
а только нас, нас всех до одного.
Куда мы делись, как переменились,
не только та четверка, все, все, все?
Вы умерли — а мы не умирали?
Не умирали разве мы с тобою,
и даже докричаться не могли,
такая глухота, такие дали.
Поскольку смерть есть всякая обида
и неудача, самоистязанье.
Но жизнь есть тоже всякая обида...
Нам некуда, пожалуй, возвратиться.
Давным-давно разорена квартира,
и может только Пушкин нас узнать.
Совсем недавно шел я от вокзала
и засиделся в скверике квадратном,
рассвет расправил серенькие шторки,
и показалось мне, что это вы
выходите из низкой подворотни
в своих болгарских и китайских платьях,
со школьными тетрадями в руках.
Куда вы шли? К Таврической на башню?
Где некогда ужились вы, учитель,
с чудовищем — оно лазурным мозгом
когда-нибудь нас снова обольстит.
Но вы еще об этом не слышали,
а просто шли под утренним дымком.
Я и себя увидел и... очнулся.
Когда я говорю: сорок четыре, —
я вспоминаю полосатые обои,
я вспоминаю старую посуду,
я вспоминаю добрую хозяйку,
я вспоминаю все.
Что думаете вы о нас, учитель?
Навстречу вы приветливо кивали
и пролеткультовцу и футуристу,
а знали толк вы всех на свете лучше.
Благожелательство не благодущье,
ваш тайный яд никто не мог забыть.

* *
*

В тот раз к приятелю я прибыл на побывку
на речку Мойку, к самому истоку,
где Новая Голландия стоит.

Прошел я мимо арки Деламота,
и вдруг на ум пришло такое мне:
я никогда не проплывал под нею.
А там краснели круглые строенья
и круговой их отражал канал.
И показалось мне, что здесь граница,
которую пройти не так-то просто.
Вот здесь мы соберемся после жизни,
а может, проживем и после смерти,
когда бы только лодку отыскать для переправы.
Вы там уже? Вы, четверо, в квартире сорок четыре?
Ответьте!.. Не такие дураки!
Но вести будут чаще, чаще, чаще...
И все-таки я не о том совсем.
Когда я говорю: сорок четыре, —
то сводится все к непонятной фразе,
которая давненько в ум запала —
подслушал ли, придумал ли, запомнил — не знаю,
но не дает она покоя мне.
И потому твержу, твержу, твержу:
«Вы умерли, а мы не умирали
разве?»



ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО

*

ПРОХОЖИЙ ПРОСПЕКТА МИРА

Повесть

Когда я выхожу из дверей издательства, он стоит неподалеку спиной к подъезду и беседует с двумя случайными девицами. У магазина перед овощными лотками вьется очередь. Примерно на полчаса, прикидываю я. От очереди с бумажным пакетом в руках идет женщина в синем брючном костюме, видевшая мертвого Гитлера. Сияющий приязнью взгляд ее обращен на меня, оживленное лицо чуть тронуту косметикой. Мы здороваемся с нею, я интересуюсь, успела ли она оформить и получить гонорар, она отвечает утвердительно. Советует встать в очередь, там дают хорошие персики. Я вежливо благодарю ее, и мы, перекинувшись еще парой фраз, прощаемся. Во время войны она служила переводчицей штаба армии. После войны стала писательницей, выпустила несколько книг, основанных на подлинных документах и дневниках вождей третьего рейха. Одну из них, самую знаменитую (ту, где она описала, как участвовала в расследовании обстоятельств самоубийства Гитлера и опознании его), мы недавно выпустили в свет, и теперь наши с ней отношения, как автора книги и ее редактора, вступали в самую приятную фазу, наше сотрудничество подходило к концу: книга вот-вот должна была появиться на прилавках магазинов.

Я смотрю на часы, потом на брата. Он замечает меня и, покинув своих тут же упорхнувших девиц, направляется в мою сторону. Он шагает расправив широкие плечи, обтянутые новенькой модной безрукавкой, стремительный и четкий в движениях, как маятник. Со стороны кажется, что он уже давно в пути, и сбил каблуки, и покрылся пылью дорог, сегодня утром он вышел из дому и с тех пор шел не переставая, с разворотом плеча и молодецкой отмашкой, рассчитав все так, чтоб к вечеру успеть к подъезду издательства и застать меня выходящим из дверей его. Я окидываю приближающуюся крупную фигуру придирчивым взглядом старшего брата. В мышцах его нет избыточной массы и декоративности, но уже есть та надежная, останавливающая взгляд основательность человека, работающего на земле и с землей. После возвращения из армии он уехал на Север, где устроился работать по рабочей сетке и последовательно сменил несколько профессий: был такелажником, дорожным рабочим, помощником бурильщика. Пожимая ему руку, я чувствую его огрубевшую ладонь, привыкшую к черенку лопаты и шероховатой от заусениц поверхности обсадных труб. «Видишь вон ту женщину, с которой я только что разговаривал? Во время войны она видела мертвого Гитлера», — говорю я. Он оглядывается на голосующую у дороги женщину. Какое-то время смотрит на нее, пока она, склонившись к боковому окошку притормозившего такси, о чем-то разговаривает с водителем. «В сорок пятом году она участвовала в опознании останков Гитлера, найденных во дворе рейхсканцелярии», — объясняю я. «Да, я читал где-то об этом. Кажется, его узнали по зубам?» «Главными свидетелями были зубной протезист Гитлера и ассистентка зубного врача, показавшие под присягой, что опознали его по протезу. У нас в издательстве скоро выйдет книга, которую написала эта женщина. Я ее редактор. Хочешь, я тебя сейчас познакомлю с ней...» Я оглядываюсь на дорогу и поднимаю руку, стараясь обратить на себя внимание

женщины, но опаздываю. Она уже усаживается в такси. Неправильно истолковав мой жест, приветливо машет нам в ответ, водитель в это время щедро надбавляет газу, и машина резко трогается с места, сконцентрировав в этом рывке как бы всю нерастратченную энергию своего ожидания.

Улица, на которой мы стоим и по которой унеслась в такси писательница, видевшая мертвого Гитлера, носит одно из замечательных названий. Единственное в своем роде место, провозглашенное столицей истины и добра, столицей в столице. В название его вынесено слово, волнующее души простые и честные, как имя Бога, и слово это было — правда. Мы стоим на улице «Правды». Газеты и журналы здесь произрастают на каждом шагу. На квадратный метр площади здесь приходится больше журналистов, типографских рабочих и ходоков из провинции, чем где бы то ни было еще. Журналистов можно узнать по озабоченным лицам, порывистым жестам и профессиональной скороговорке, типографских рабочих по рукам (руки их всегда в карманах), а ходоков из провинции, приехавших за правдой на одноименную улицу, — по раскаленным, как электрическая дуга, взглядам. Свежему человеку, такому, как мой брат, вчера только прилетевшему в отпуск из рабочего Заполярья, здесь есть на что посмотреть. Неустанно снуют из здания в здание рядовые журналисты с папками и сверстанными полосами. То и дело проносятся в длинных лимузинах важные правительственные чиновники, главные редакторы или маститые перья из привилегированного числа обозревателей, профессиональных борцов с мировым империализмом. Порою из подъезда выбегает и устремляется к своему «жигуленку» какой-нибудь популярный специалист по провинциальным мафиям, гроза проворовавшегося начальства, которого «позвало в дорогу» очередное читательское «тревожное» письмо. Мой брат вертит шеей, глаза по сторонам, все его здесь занимает. «Ребята на буровой мне не поверят, когда расскажу им, кого я видел, — говорит он. — Ты мне пришли книгу этой писательницы, ладно? Буду хвастать там перед своими». «Пришло. Между прочим, тебе известно, что долгие годы смерть Гитлера скрывалась Сталиным от всех?.. Это было государственной тайной. Американцы позже перехватили свидетелей, но все основные доказательства смерти фюрера находились в наших руках. Однако официального признания в этом так и не последовало. Даже Жуков не знал, что Гитлер был обнаружен. Лишь в середине шестидесятых в книге этой женщины — рядовой переводчицы своей армии — Жуков неожиданно для себя прочел о том, как был найден труп его... К тому времени книгу эту уже перевели во многих странах, для Жукова же это продолжало оставаться тайной...» «Как это могло случиться, чтобы Жуков — и не знал такое? — недоверчиво переспрашивает брат. — Неужели это правда?..» Мы шагаем в сторону Верхней Масловки и какое-то время обсуждаем с ним воистину странные обстоятельства, связанные с этой историей и объясняемые непредсказуемым характером нашего вождя. Брату кажется, что просто он чего-то недопонимает, что, безуспешно пытаясь разгадать эту загадку, рассчитанную на простаков, он вторгается в поле какой-то Большой Московской Игры, о существовании которой он всегда подозревал, сидя в своем запыленном захолустье перед телевизором или читая газеты, — что есть такая БМИ со своими особыми правилами и установлениями, знать о которой ему, провинциалу, не дано... Да он и не стремится знать, упрямо отстаивая свое простодушие, он упорно держится за него как за какую-то безусловную ценность; он державно судит нас, заевшихся москвичей, он даже больший государственный человек, чем я сам, работающий в самом сердце старого города и ежедневно видящий Никольскую башню Кремля из окна своего офиса.

Мне трудно убедить его в том, что эти помпезные фасады редакций с гирляндами цементных аляповатых орденов над козырьками подъездов давно уже держатся на фуфу, и что обзавелись невротами журналиеры, долгие годы успешно насаждавшие простодушие на полях страны, как какую-то полезную сельхозкультуру наряду с зерновыми и бобовыми, и что игра пошла теперь другая, в ней нет уже победителей, а есть только выбывающие. Я развлекаю его издательскими байками о роковых опечатках и всей той анекдотической сгущенной мистике, всегда витающей вокруг линотипа, посредством которо-

го изуродованное слово частенько мстит за себя, — так, со мной в отделе работал старый редактор, пострадавший в свое время за пропущенный в газетной передовице вопиющий перенос: «Бри-гады имени Сталина». Я пытаюсь рассказать о свежем воздухе, ворвавшимся в затхлые страшные коридоры издательства и клетушки кабинетов, отделанные панелями из прессованных опилок под орех, стены которых, казалось, впитали в себя вечный, липкий ужас предвоенных и послевоенных десятилетий. — идеальное место для подвига, для которого в жизни есть место всегда и везде, даже за колченогим канцелярским столом, заваленным ворохом пыльных папок с ботиночными тесемками, подвига редактора, дюйм за дюймом терпеливо, изобретательно и монотонно отвоевывающего живое пространство для искусства, для подлинных дум о жизни и судьбе у начальствующих мракобесов. Брат мне верит и не верит; он как бы еще полон сомнений, снисходительная готовность сдаться в нем живет пополам с пробудившимся упрямством младшего, во всем ищущего реванш за полученные им от меня в детстве щелчки и подзатыльники...

Мы садимся в подошедший автобус и едем по Савеловскому мосту. Путь наш лежит на вещевой толкучий рынок, о котором брат много был слышан в своем Заполярье. Еще нам предстоит закупить продукты на выходные. Дома я намеревался сварить борщ, чтоб кормить им приехавшего в гости брата, который борщей варить не умеет, живет там у себя в Заполярье вне быта, питается концентрированными супами и консервами, выстаивает безумные морозные очереди в столовые и рестораны и вообще еще молод и зелен, как три рубля.

Я собираюсь кормить борщом его — не себя. Себя я никак не имею в виду, поскольку в этот момент прохожу курс оздоровительного голодания по известной методике профессора Н., страстного последователя Поля Брэгга. Вот уже третью неделю я обхожусь совсем без пищи, лишь пью боржом и отвар шиповника, по вечерам принимаю ванну, каждое утро недосчитываюсь одного-двух килограммов и с философским спокойствием, нарушаемым лишь небольшим тремором пальцев и чувством слабости в ногах, хладнокровно наблюдаю за собой со стороны...

Человек, отказавший себе в пище, переживает ряд последовательных превращений.

Вначале приходится трудно. В первые два—четыре дня ваш организм, лишенный привычной еды, начинает потихоньку бунтовать, сигнализировать о неполадках, требовать свое. Пищевые сигналы вызывают у вас слюнотечение, урчание в животе, ощущение сосания и слабости. Появляется раздражительность и ухудшается сон. Пульс учащается на пять—десять ударов в минуту и становится неустойчивым. Подвижность основных корковых процессов возрастает. Вес тела быстро падает, что объясняется использованием в это время углеводов запасов, в частности, гликогена печени. Вы ощущаете себя Прометеем и одновременно орлом, терзающим печень, — в эти первые дни вы живете за счет углеводов запасов, накопленных ею, после относительного использования которых организм ваш начинает перестраиваться и бурно заботиться о своем спасении.

Переход на преимущественное использование жира выражается в значительном уменьшении дыхательного коэффициента. На третий—пятый день воздержания от пищи чувство голода обычно понижается, а иногда и полностью исчезает. Пища перестает привлекать вас, тогда как жажда обычно в это время возрастает. Окисление жира при недостаточном количестве углеводов затруднено, при этом образуются продукты неполного сгорания его, кетонные тела — ацетон и производные, что способствует возникновению ацидоза. Ацидотический сдвиг в вашем организме нарастает и достигает обычно максимума на седьмой—девятый день голодания. Вы становитесь слабы и раздражительны, испытываете головную боль, тошноту, общую подавленность. Губы ваши делаются сухими, язык обложен, живот становится втянутым, хорошо прощупываются кишечные петли. Во сне ваш голод отделяется от вас и превращается в живое, самостоятельное существо, которое рыщет по коридорам и кухне, хлопает крышками кастрюль и

створками кухонных шкафов, висит над густым наваристым борщом, погружается в пар свежесваренной картохи в мундире. Голод стучится в ваш зрительный центр, послушно размножающий образы бесконечного пира. Он тянет вас за собой, как огромный лохматый пес на поводке. По утрам на своей подушке вы обнаруживаете мокрые следы от слюны.

Но если хватает твердости и упрямое стремление к лучшему еще живо в вас, то вы обязательно дождетесь периода компенсации ацидоза и вступите в ацидотический криз. В основе последнего лежит один из главных механизмов приспособления организма к режиму полного голодания или, иначе говоря, переключения на эндогенное питание. Сущность этой перестройки заключается в возникновении синтеза гликогена из жира, что при обычном питании никак не свойственно человеку. В течение одного дня или даже нескольких часов, часто ночью, в вашем состоянии наступает резкий перелом: как по волшебству, уменьшается или исчезает чувство слабости, появляется бодрость, хорошее настроение. Пульс становится более редким, периферические сосуды суживаются. Теперь вы можете голодать без каких-либо вредных последствий для себя до тех пор, пока хватает энергетических ресурсов. Только после израсходования последних, обычно на тридцатый—сороковой день, наступает подлинное голодание, которое быстро ведет к деструкции тканей...

С завершением курса голодания наблюдается усиленное самообновление тканей в вашем организме. Регенерация кроветворения. Параллельно нарастают физические силы, настроение становится повышенным, с чертами эйфории. Вы переживаете психическое перерождение, взрыв молодых чувств. Вам все удается, ваша работа делается сама собой и приносит вам удовольствие. Артериальное давление достигает нормального уровня, пульс становится устойчивым. Запах простого ржаного сухаря приводит вас в исступление. Вид пищи и ее вкус рождает в душе непроходящее чувство радости.

И еще одно. Во время голодания высвобождается уйма времени, отнимаемого прежде заботами о хлебе насущном. Оказывается, за едой и приготовлениями к ней человек проводит порядочную часть жизни.

Мы сходим с автобуса и идем по проспекту. Чем ближе мы подходим к рынку, тем чаще попадаются нам навстречу, как высланные вперед дозорные, отдельные граждане великого города, открыто предлагающие прохожим какой-нибудь предмет на продажу: флакон одеколona, пачку сигарет, женскую туфельку... Набор предметов может быть самым неожиданным и всегда застает вас врасплох.

Рынок бушует и плещется в своих бетонных берегах. Волны все новых покупателей и продавцов прибывают со всех четырех сторон и через открытые ворота вливаются в кишашую массу торжища. Мы невольно подтягиваемся, взволнованные этим чрезмерным скоплением людей, как на пороге нового мира, мы сосредоточиваемся на особом воздушном состоянии эйфории, предшествующей ответственной процедуре выбора говяжьей косточки на борщ или даже пучка укропа, — мы чувствуем, как нами овладевает род особого базарного возбуждения, похожего на легкую форму летучей, никем еще не описанной болезни. С каждым шагом все глубже увязая в человеческом бульоне, ощущаем, как наша телесная температура постепенно подравняется под окружающую, — влившись в рынок, мы уже почти затерялись в нем и успокоились в своей осознанной фатальной среднеарифметичности...

Вот бабушка в плюшевой жакетке сжимает в сморщенных сизых руках пакет кефира. Рядом с нею барыга в жокее, с фарфоровыми зубами и платиновым перстнем, стынущем на мизинце, выставил швейную машинку «Веритас», отличную вещь, стоимость ее соотносима с барышом старушки как многоцветный космолет с ходиками. Двое желтолицых карликовых вьетнамцев продают несколько пар тайландских джинсов. С трудом понимая порусски, они общаются с покупателем с помощью карманного калькулятора, питаемого от солнечной батарейки. Капризной машинке в этом сумеречном уголке рынка не хватает света, калькулятор просыпается лишь с появлением солнца, поэтому, как только солнце закатывается за тучку, торговля у них

приостанавливается. Стайка молодых неопасных перекупщиков дружелюбно предлагает нам китайские термосы. У них еще есть водка, сигареты. У каждого на поясе сумочка на «молнии», беременная немалой выручкой. Разбалованные легкими деньгами, они почти поверили в свою счастливую звезду и поэтому брызжут весельем и все им вокруг нравится. В стороне на безопасных островках и отмелях торжища топчется немало пенсионеров обоого пола, предлагающих свои жалкие товары: фарфоровые безделушки, старые платья и костюмы, книги из домашних библиотек. Торгуют по необходимости, и каждый выносит на люди вместе с ветхими вещами свою стыдную правду, заключающуюся в том, что. Шуршащие в руках газеты сообщают эту правду, правду и ничего кроме. Транзисторы рассказывают о боях. Землетрясениях. Авариях в шахтах и на рельсах. Как ледяная игла, в сердце присмирившего покупателя безжалостно входит мысль о серьезности жизни, нешуточности ее — жизни, опростившейся невероятно.

Как и покупатели, продавцы здесь делятся на богатых и бедных. И отличить одних от других можно без труда, даже если богатый предлагает тебе полурастоптаннный башмак, а бедный — завернутую в целлофан новую итальянскую кроссовку. У богатых стояла в глазах некая окончательность понимания, отчетливость непрощающей мысли и чувства, тогда как большинство остальных людей еще находилось на полпути к ней или — вот уж воистину бедные — пребывало пока в растерянном неведении. Бедные предпочитают покупать у бедных, у себе подобных, чтоб не спугнуть своих неловких, стеснительных чувств. А вообще в глаза здесь не смотрят — смотрят на вещи. И если вещи запоминаются отчетливо и сразу, то лица людей как-то теряются в липком тумане торжища. Когда взгляды встречаются, их быстро отводят, как бы отмечая стыдливо друг в друге ту же зыбкость помыслов и взаимное умаление. Взгляд невольно отдает предпочтение вещам — как правило, ярким, вызывающе нарядным, заметно выигрывающим на фоне серых лиц своих хозяев.

Транзисторы и газеты сообщали правду, что и были обязаны делать по сути своей изначально, правду, которая входила в плоть твою и кровь наряду со сводками погоды, падением производства и постепенным привыканием к массовым смертям соотечественников, это она подкатывала к горлу горьким комком непроходящей растерянности и прочитывалась в глазах окружающих общим чувством осиротелости народа, в одночасье покинутого своими правителями и отданного во власть малосплоченного отряда многогворящих людей. Оставалось лишь принимать ее или не принимать, но это уже ничего не меняло. Надо было учиться торговать, учиться торговаться со страстной обреченностью в голосе, со слезой, свято веря, будто, поторговавшись и выгадав червонец-другой, ты сможешь перехитрить судьбу и обвести свой хилый бюджет вокруг пальца. Надо было что-то делать с самим собой, куда-то девать, пристраивать, отдавать в науку. Все, чему тебя учили, чему учил других ты сам, уже ничего не значило и только мешало в волшебной изменившейся жизни.

Под сводами крытого рынка у мясных рядов оживление: там куражится двое мужичков, двое горьких пьяниц, зарабатывающих себе на выпивку. Один сидит на ящике в длинном наглухо застегнутом пальто, закинув босую ногу на ногу, и, склонив голову над гармошкой, судорожно ломает ее о колено, растягивая меха; другой, неряшливый и суматошный, разевая в улыбке усеянный фиксами рот, смешно приплясывает, подыгрывает на деревянных ложках, складно стучит ими по острому вытертому колену. Лица артистов обращены к аристократам здешних мест — к важным белым мясникам, зорко стоящим за прилавками с окровавленными ножами у выпяченных животов в компании парящих освеженных туш. Их слушают, им сочувствуют, таким горьким и таким пропащим, им подают: вот один из мясников напротив, словно Главный зритель, оказавшийся на скрещении взглядов и публики и артистов, какое-то время крепится, потом не выдерживает и кладет кусок вырезки в лежащий перед выступающими футляр. Его примеру следуют соседи, жертвующие кто мозговую сахарную кость, кто десятку, кто пятерку. Так с поощрительными ухмылками всем базаром обряжали двух бедолаг в

очередной гибельный запой, как в плавание, осыпали подарками, словно новобранцев, суеверно откупались от чужой беды, смутно чувствуя крадущуюся за всеми по пятам опасность, этот дремлющий в каждом спусковой механизм самоистребления, вот так откалывающий от народа отдельных граждан — а порою от отдельных граждан целые народы.

Я выбираю кусок говядины с косточкой и спрашиваю о цене. Говядина стоила. Цена оказывалась всегда на порядок выше, чем ожидалось. Заговор мясников, колбасников, молочников и зеленщиков продолжался. Я пробую торговаться, называю свою цену и привожу аргументы, говорящие в нашу пользу, я иду в атаку на продавца, как на пулеметное гнездо; он пренебрежительное что-то бормочет об обесцененных рублях, я — о его куске мяса, для меня важны не рубли, важен принцип — если мы вот так будем сидеть сложа руки и смотреть на то, как нас пытается проглотить с потрохами вся эта публика, то скоро дела наши будут совсем тухлы: торгуясь с ним, я стремлюсь отодвинуть от себя и от всех нас эту зыбкую границу эквивалентного обмена, я не просто выгадываю лишние рубли, но и способствую укреплению нацвалюты. Таким образом, торгуясь, я выполняю свой долг и служу обществу. С сального крюка за спиной продавца свисает баранья туша.

— Барашек был черный? — спрашиваю его.

Продавец в сбитой на затылок каракулевой кепке, улыбаясь, раздвигает толстые усы, потом пальцем сгоняет их на место и показывает клочок черной шерсти, оставленный на голяшке. Я прошу отрезать мне кусок с правого бока. Понимающе ухмыляясь, продавец выполняет мою просьбу. Наш торг сразу переходит в другую плоскость. На востоке существует мнение, разделяемое самыми отчаянными гурманами, что мясо черного барана вкуснее, потому что, согласно курсу физики шестого класса, вбирает в себя больше солнечных лучей. Замечено, что на пастбище баран предпочитает отдыхать лежа на левом боку, подставляя правый солнышку. Эти сведения из жизни отдыхающих барашков мне когда-то в студенчестве преподавал один узбекский поэт по фамилии Мухаммад Дост, он же научил готовить настоящий плов. Наконец мы ударяем по рукам, и я укладываю в сумку купленное мясо.

Кавказские люди с посеревшими, обострившимися лицами стоят по грудь утонув в отборных фруктах. Окликают нас, навязчиво предлагая свой товар. Жгучая сила клокочет в глубине их темных взглядов, бьющих током при соприкосновении, — и как всегда, было непонятно, что стоит за их зазывными улыбками, что они думают о нас, о чем говорят меж собой, когда вечерами собираются в своих гостиничных номерах в кружок и, отведав чаи, обмениваются впечатлениями дня; на их родине бушевала война, и трудно было отличить беженца от торговца, здесь почти все были одеты бедно — все сбережения семьи вкладывались в партию фруктов и взятки халдеям, чтоб охраняли, чтоб вытесняли с рынков разобщенную «среднюю азию», пугающий восточный мир и здесь жил по своим яростным законам и установлениям, со своей иерархией: пока европейцы с неуклюжим старанием строили идеальное общество, Восток был занят собой и лишь создавал видимость, будто тоже участвует в странной игре белых людей, всегда был занят собой, страстно единый в своем чувстве реальности. Со стороны кажется, что богатые фрукты эти и червь не точит, и солнце щедрее дарит им свои лучи. Но это не так. Самые богатые фрукты — не самые вкусные.

Весь дальний угол павильона отдан пчеловодам. Здесь был разный мед: у кого липовый, у кого гречишный, у кого из разнотравья, у кого какой. Люди сдержанного достоинства и жеста, хитроумные дояры близоруких пчелок, чей ум отточен в вековой войне человека с насекомыми. Перед каждым, как древнее жреческое снадобье, на мраморном прилавке лежат нарезанные палочки сочащихся темно-бурых сот, завернутых в прозрачные целлофановые фантики.

Я слизываю с бумажной полоски горошину меду, думая о том, сколько же тысяч пчелиных взятков слилось, чтобы сложить эту каплю, сколько в ней заложено изобретательности, хлопотливого старания, пчелиной сметки. Сколько утр, знойных полудней и райского цветения мира. Сколько летучего пчелиного электричества, пощипывающего сейчас кончик языка и нёбо.

Когда-то дед учил меня проверять мед на качество: им надо капнуть на ноготь и попробовать разрисовать его химическим карандашом. Если вода в меде есть — она проявится. Был еще способ: головка обычной спички окунается в мед, потом чиркаешь ею о коробок. В цельном меде серная головка не отсыревает. Но труднее всего определить мед, сфальсифицированный сахарной подкормкой. Здесь уже надо различать вкус, цвет и запах.

Брат торговаться не умеет и не любит. Он еще слишком нетерпелив, слишком горд, горяч и зелен. И хотя деньги ему достаются трудно, он предпочитает переплатить, чем лишний раз спотыкаться о них, он расстается с деньгами легко, выказывая широту натуры, как бы даже с ожесточением мстя им за такую их власть над собою и всеми нами.

На мне линялые джинсы с иностранным лейблом на том месте, которым садятся. Мой брат по молодости лет отдал за эти штаны свою месячную зарплату. Целый месяц он вкалывал, разгружая контейнеры на торговой базе, где он временно работал после армии грузчиком, чтобы потом поносить их немного и отдать мне. Ему эти штаны оказались тесны. Я вспоминаю о его болезни — несколько лет он, молодой парень, мучился головными болями; врачи ничего не могли понять, обследовали его в больнице, пичкали лекарствами, лечили наугад, после чего он получал небольшую передышку — ночью переставал стонать и метаться во сне, скрипя зубами от боли. Мы ничем не могли ему помочь. Потом все прошло само собой, он поправился. Выздоровел, так и не узнав, чем был болен.

Наша сумка постепенно заполняется продуктами: у нас уже есть мясо, мед, фрукты. Полкруга деревенского сыра с отпечатавшейся на нем сеточкой марли. Несколько палочек чурчел — виноградной пастилы из сгущенного сока с орехами. В зеленых рядах при выходе с рынка мы покупаем не торгуясь у пригородных бабушек в платочках пучки редиса, укропа и петрушки.

И вот мы стоим у уличного перехода под светофором, ждем, когда загорится зеленый свет. А пока я роюсь в сумке, укладывая покупки, с особенным волнением вынимаю из нее и поочередно рассматриваю купленные нами фрукты и корнеплоды. Я чувствую прилив нежности к испещренной солнечными брызгами и молниями грушовке, к чисто вымытой буро-фиолетовой свекле с крысиным хвостиком, который мне тут же хочется перегрызть зубами, как бунинскому лакею, откусывавшему хвостики новорожденным шенкам-фокстерьерам. Словно вижу ее впервые, с внимательным изумлением я рассматриваю на солнце матовые бока свеклы, поросшие в углублениях половозрелыми корешками, — экая она вся тугая и увесистая, какой-то педантичный поверхностный червь проел в ее коже ровные извилистые канавки, похожие на марсианские оросительные каналы. И я думаю об этом странном слепом черве, который даже под землей, вместо того чтоб вгрызаться в мякоть свеклы, предпочитает путешествовать по ее поверхности. Действительно, что хорошего может быть внутри свеклы, по самые уши всаженной в почву? Свекла и есть свекла, тогда как, путешествуя по ней, ты и пощипываешь кожу, как травку, и любишься по сторонам, радуясь открывающемуся виду — на гумус, на встречающиеся камешки, на подземную жизнь других существ...

Я рассматриваю корнеплоды и фрукты, вдохновленный чувством голода таким давним и абсолютным, что это и не голод уже, а нечто иное, облагороженное и переплавленное в какое-то утонченное элегическое воспоминание, как листиком салата, приправленное легкой ностальгией: что вот-де и я когда-то ел, что-то похожее и в моей жизни случилось...

Я превращался в тонкого ценителя изящных форм и спелых красок съестного, в идущего вдоль лотков и киосков одинокого пешехода, жадно насыщающего свой взор; призрак съедобного преследовал меня как наваждение, когда я выходил на ежедневную прогулку и, совершая свой моцион, подолгу задерживался у витрин попадавших на пути продмагазинов. Особенное удовольствие получал от посещения «Кулинарии», где можно было полюбоваться горами холодной вареной говядины и рыбы, обжаренной в сухарях, где на подносах лежали горки салата «оливье» и «пикантного», теснились тушки обезглавленных вареных кур, рядом уложенные кверху

гузкой, как маленькие мусульмане на молитве. Ведомый одной лишь подкоркой, я опрошался до какого-то первобытного доисторического состояния, я потихоньку ползал по городу и запасался провизией на будущее, скупая все подряд, и, как пчела, терпеливо сносил домой покупки — банки, коробки, пакеты постепенно заполняли еще не занятые продуктами полки кухонных шкафов, — я сворачивался, как улитка, в своей нехитрой мечте, потихоньку осваиваясь в исходной экологической нише человека — собирательстве плодов, побегов, корней, птичьих яиц, мелких животных и прибрежных выбросов. Наблюдая за собой, все время наблюдая за собой, я замечал, что как бы стремительно эволюционирую в сторону обратную, чем все остальное человечество, — а кто может утверждать, что эволюция имеет лишь один вектор? — это был мой личный прогресс, эволюция человека, оказавшегося в стесненных обстоятельствах и озабоченного выживанием. Силы незаметно таяли. Я слабел, конечно. Поднимаясь по лестнице, задыхался и уже не выдерживал физических нагрузок. Но после небольшого отдыха быстро восстанавливался. Умное тело было умнее меня и само выбирало наиболее экономный режим. Я был на полпути к тому, чтоб «Кафку сделать былью», — его Голодарь сохранял сорокадневный пост, я же голодал третью неделю и ощущал себя в состоянии удвоить этот срок. Так мне казалось. Хотя профессор Н. и Поль Брэгг в один голос не стовариваясь предостерегали от подобной эйфории, утверждая даже, что она опасна. Я посматривал теперь на людей как на детей с чувством снисходительного превосходства, я как бы нес в себе секрет, о котором окружающие и не догадывались. Это было мое тайное знание и тайное оружие, которым, увы, я мог поразить одного себя. В толпе на улицах города я казался себе истончившимся от времени лезвием бритвы и, как лезвие, легко терялся между людей, затираемый и затапываемый ими, здоровыми, сытыми. Поддержки ради я повсюду таскал в кармане сухарь и время от времени подносил его к лицу, вдыхая волнующий ржаной запах, всегда почему-то украдкой от других. Но никогда не позволял себе лишнего. Съесть его я не мог. Я помнил, что ацидотический криз со всеми его компонентами и с компенсацией ацидоза возникает и держится только при полном алиментарном голодании. Достаточно лишь поступления в организм небольшого количества углеводов, чтобы ацидотического криза не возникло. Частичное или неполное голодание заключало в себе большую опасность, в этом случае, как учили меня методисты, быстро проявляются явления дистрофии и деструкции тканей, тогда как при полном голодании дистрофических явлений не наблюдается.

Зато в голове царил необычайная звонкая ясность. Я был как прозрачный скелет из мыслей. Нервы были напряжены постоянно; внимательно следя за собой и своим состоянием, временами я ощущал в себе подспудно бродившее у поверхности, как вулканическая магма, чувство легкой паники, вот-вот могущее разразиться на выдохе трудно сдерживаемым рыданием. Я сознавал, конечно, что в сосредоточенности на этом есть какая-то испорченность — в этой искусственной стимуляции чувств, прервать которые можно единожды насытившись, да и что значил мой сытый голод в сравнении с блокадным, — но все было оплачено сполна, я отвечал за все личным страданием, ибо голод — это всегда страдание. Даже с оздоровительными целями.

За последние две недели я спал с лица, изредка заглядывая в зеркало, я знал, что увижу там подсосанные голодом щеки, запавшие, лихорадочным блеском горящие глаза, я потерял десять килограммов, и это не осталось незамеченным. На редкие вопросы окружающих я отвечал улыбкой и шутками, из суеверия не желая признаваться ни в чем, мне казалось, что теперь, когда я слаб и пуст совершенно, когда я превратился в человека с вывернутыми наружу нервами, меня любой захотевший этого может взять на испуг, может посадить в галошу, использовать как маленького, как потерявшего себя. Брату я тоже ничего не говорил, и пока мне удавалось водить его за нос. Дома за столом я пил пустой чай, он же, увлеченный разговором и впечатлениями дня, не замечал, что ест в одиночестве... Ценой различных ухищрений я пока оставался среди людей одинок и неузнан — неразоблачен.

Мы идем по проспекту. Жизнь прекрасна и не сравнима ни с чем. И всего-то радости — в перспективе. Что с ним, взглядом, сделаешь — взгляду подавай простор, этому неисправимому охотнику за поэзией нравится улетать подальше, нравится пастись на зеленой траве и цветах газонов, путаться среди птиц, прорезать атмосферный пирог и теряться в нежнейшем суфле из облаков, неба и грез. Взгляд наш убегает в отчетливую даль проспекта, в как бы спадающую под собственной тяжестью плавную кривизну его рельефа, в которую с приятным мягким ускорением утекают стада автомобилей и пешеходов. Мы шагаем, неотличимые от чистой и пестрой толпы.

Впереди на горизонте как аравийский мираж вставала Выставка пряничных Достижений, украсно-украшенных фонтанов и людей гордых меловых в хороводе и на скосах крыш, обильно покрытых, как мичуринским загаром, ярью-медянккой и напоминающих надраенные до самоварного блеска бортовые кнехты какого-нибудь государственного броненосца, созданного для плавания в чужих морях и принятия там пакта о капитуляции. Странная то была страна. В той стране преувеличенных мускулов и каменных желез гроздьями нависших все сбывается. В ней почему-то становится так жаль себя и своего детства... жаль даже больше, чем где бы то ни было еще, такое волшебное свойство места, пробуждающего в тебе чувство уютной слабости и ребяческой анемии, когда с благодарностью, как лекарство, принимаешь лежащую на твой лоб и твое плечо тяжелую отцовскую ладонь... В стороне бесшумно вырастает из земли башня-осьминог, все силы которой ушли в единственное ороговевшее щупальце, как в костяной рог, скребущий небесную твердь; она накладывает на страну косую линейку космической тени, как экскурсовод свою указку, чтобы кончиком ее уткнуться в какой-нибудь малозначительный пустяк, мелочь вроде валенка скучающей билетерши или бордюрного камня. Как в доме рачительного хозяина, здесь все рассовано по углам — все здания-сундуки и увитые каменной лозой ротонды стоят на своих местах. И вызывала изумление та непостижимая старательность, с какой авторы этих ионических колонн и бронзовых подмышек избегали простого соблазна человеческой талантливости, преодолевая ее как слабость и тщательно вымарывая следы своего присутствия, когда изживание своей личности становилось целью и вынужденно рассматривалось уже как соблазн достижения жизни иной, существования другого, по-своему цельного, разумного и замкнутого на эстетику императорского дворца, где талант — лишь средство преодоления его, где живут по удару гонга, где торжествует закон эскадры с равнением на самого тихоходного, замыкающего, на ту самую бамбуковую джонку с бронзовыми кнехтами по бортам. Эти бронзовые кони, загорживающиеся крупами полстраны и отлитые с таким жарким, неистовым реализмом... эти снопы окаменевших колосьев, добытые верными слугами из подземных усыпальниц фараона... эти ковры-самолеты, семимильные сапоги, старинные клады, мерцающие сквозь землю, сундуки со столовым серебром и парчовыми скатертями, горы черепов, рыбьих скелетов, рачьих хитиновых панцирей, оставшиеся от неолитических стоянок кремневые топоры, золотые челюсти, ключья татуированной кожи, глиняные амфоры, свирели и эоловы арфы, ключи с живой и мертвой водой и многое, многое другое... Там в закоулках китайских пагод живут огнедышащие драконы, пожирающие одиноких заблудившихся смельчаков, а под карнизами портиков гнездятся гомерические горгулии, упыри, василиски и прочая окуклившаяся нечисть, по ночам расправляющая свои облитые слизью перепончатые крылья и летающая в поисках поживы...

По проспекту гуляет мусорный ветер, выдувает из фанерных углов всякую дрянь и бросает нам под ноги, засыпает прахом глаза. Вот парень поставил в лужу ларек, взошел по шаткому настилу из досочек и закрыл за собой решетчатую дверь. Теперь сидит в безопасности и посматривает сквозь стекло, как водолаз из батискафа, на погоду, на девушек, на нас, запасующих сигареты на выходные. Что он думает о нас? Что за огонь горит в глубине его дымных зрачков? Ничего не думает. Ничего не горит. Купец думает о ларьке, о навесе от ветра и дождя, о горючем и запасной резине, о парусе и попутном

ветре, о бурлаках, готовых идти бечевой, иными словами, о мире без войны. Он думает о товаре, в котором нуждается. А товар нуждается в возвышении, в пьедестале. Пьедесталом может послужить деревянный ящик, поставленный на попу, коробка из-под макарон, раскладной туристический столик, витрина киоска или просто человеческая ладонь. С земли продавать стыдно и стремно. Бутылка вина, стоящая у ног продавца на грязной панели, уже не бутылка вина, а черт знает что.

Я уже понимаю, что вещь должна быть отчетливой и яркой, чтобы, выпущенная из рук человека, она обрела вторую реальность и вливалась еще одной каплей в нарядную, улыбочивую копилку жизни наряду с солнцем, ветром, парусом и орлом. Одновременно во мне просыпается смутный протест. Вещь на наших глазах вдруг представляла в своем ветхозаветном превосходном качестве и получала свою цену, резко отличную от нашего расслабленного представления о ней, унижающую нас, не согласных с мерой труда.

Это был парад вещей крикливый и наглый, самовольно перешагнувший полосу отчуждения. Эти вещи истерично высыпали на улицы и хватали тебя за карман, заглядывали тебе в кошелек, как раскрашенная уличная девка, они посягали на суверенную территорию человека, привыкшего ощущать себя на тротуарной мостовой в безопасности, и соперничали с солнцем, облаком, цветком и женской щиколоткой. Здесь на проспекте продолжалось брожение все того же рыночного первобульона, постепенно подводившее каждого к горестному открытию, таящему в себе нестерпимую несправедливость: сумма наших усилий в единицу времени не стоит ничего или стоит ничтожно мало в сравнении с той же суммой усилий какого-нибудь европейца или американца — яма не равнялась яме, молоток молотку.

Русскому уму эта метафизика непонятна, она просто выше его разума, русскому уму ее еще только предстояло освоить, чтобы тоже включиться в эту планетарную мистерию второй реальности, построенную на тончайших и не поддающихся никакому прогнозированию манипуляциях котировок и кредитных ставок, смертельную игру цифр, возникшую благодаря неустанным усилиям человека, его таланту, его поту и крови, его вдохновению, отчаянию, самоотвержению и эгоизму.

Вот робкий парнишка выбирает свои первые джинсы, чтоб надеть их завтра и понравиться своей девушке, а потом сыграть с ней свадьбу, нарожать деток, вырастить, выпустить их в жизнь, которую в свою очередь они тоже должны будут, словно приговоренные, начать с покупки джинсов. Вот девушка взволнованно выкладывает из сумочки за понравившиеся сапожки свое двухмесячное жалованье, надеясь сэкономить потом на обедах и развлечениях. И если у вас не ледяное сердце, вы поймете его и поймете ее. Их души разрываемы одиночеством, ими движет человеческая тоска перед краем ледяной завывающей пропасти, населенной тенями, стремление обставить свою скудную отрывочную жизнь приметам жизни другой, существования иного, ничего общего не имеющего с той воображаемой меловой страной сказок, с таким старанием воссозданной руками жалких оглушенных или сломленных людей, добровольно оскальпировавших свой талант, свой ум и волю, воображение и свою мечту тоже — мечту о жизни другой, достойной и разумной, которая в чем-то главным, корнем все равно должна пересекаться с миром молодежных джинсов и женских сапожек.

Зрение мое обострено голодом, сейчас ему подвластно даже то, что обычно ускользает от поверхностного взгляда. Идущему бесконечным проспектом, мне кажется, что никогда еще я не был так пронизателен и патетичен. Чувство окрыленной свободы ведет меня — как в первый весенний выход в легкой одежде. И то, что я слаб и опустошен двухнедельным голоданием, вдруг представляется мне великим преимуществом — той спасительной нишей или убежищем в стене времени, укрывшись в котором я мог, забыв обо всем, заниматься собой и своими мыслями (как солдат с увольнительной запиской в кармане забывает о казарме), своим вечерним одиночеством, мог читать вслух самому себе стихи японских поэтов и изучать

карту звездного неба, уже не думая о всем остальном и всех остальных. Я мог пристально наблюдать за окружающей действительностью не омраченным ничем взглядом. Я заслонялся голодом от обвала чужой нищеты и множась горя, разлитого вокруг, и обретал столь нужный покой и краткую передышку на жизненном пути. Я бессознательно выпадал из своего времени, как дохлый моллюск из раковины. Я был в безопасности абсолютной и непостижимой — и это поражало меня самого и требовало объяснений.

Дело в том, что все чувства голодающего обретают категорическую остроту и верность. Словно с лишним весом ты сбрасывал лишние годы и лишние мысли, освобождая пространство жизни от нажитого мусора для главного. Жизнь во мне сопротивлялась своему медленному убыванию. Вот откуда эта экзатика чувств, о которой в один голос предостерегали меня мои методисты, — ее свойственником оказывался румянец на щеках чахоточного, охваченного пламенем. Я выскользнул из однообразной очереди с жирными подносами к раздаточному окну и оказался на свободе, что удастся не каждому (удивление первых дней — как много времени освобождается...), — начав с этой малой толики с в о б о д ы, ~~как~~ скупой рыцарь, прибавляя себе по дню и расцветая высокомерием, я медленно овладевал ее великой разнообразно-капризной материей и уже не отводил взгляд от нищего инвалида в подземном переходе метро, а бестрепетно вглядывался в его лицо, задавая себе урок наблюдательного эгоизма (ведь я пред ним был сейчас чист): вот, мол, и такие люди живут меж нас, и такие увечья существуют...

Мое тайное знание и оружие (которым я мог поразить одного себя) сообщает мне чувство правоты такой глубины и силы, что мне уже сам черт не брат. В пустом брюхе гуляет ветер, путь блестит и кишка с кишкою говорит. Я шагаю со странным ощущением, будто теперь, при новом свете жизни, знаю про них всех и всех нас такое... такое... Главным образом про себя, конечно. Нас нельзя смутить ничем, ~~как~~ и полагаются, мы недоверчивы. Все нам кажется ненастоящим: и фальшивая пломбировка водочной бутылки на столе у небритого лоточника, и смазанная дата выработки на пакете молока, вдруг оказавшегося в центре нешуточных страстей пенсионера-отставника, воспаленной идеей стремительного и бесповоротного обогащения. Все нам кажется, что вот-вот по внезапному сигналу «ап!» главного режиссера невидимые подсобники дернут за концы строп и повалится плашмя, как мишень на стрельбище, вся эта крупнопанельная живопись, расписанная фальшивыми улыбками, и обнажится пыльный задник жизни, в фанерной тени которого вершатся главные дела. В груди мы уже чувствуем толчки полубабыного мальчикового азарта, когда дома не усидеть даже под страхом смерти, когда убежден, что главные события вершатся сейчас где-то в стороне от тебя, в других квартирах и компаниях, когда вечная загадка существования оказывается сводимой всего лишь к тайне продолжения рода. Но мы взрослые. Мы понимаем уже, что жизнь там, где мы. А главным всегда оказывается то, что происходит с нами.

Эскалатор несет нас вниз, поскрипывая с монотонным резиновым безразличием. Я вглядываюсь в покорно плывущих мне навстречу людей, в их запрокинутые лица, тянущиеся к солнечному свету, рассеянно падающему сквозь бесконечно высокие оконца вестибюля. Я чувствую себя судьей, я решительно беру все на себя и принимаю на свой счет. Я ищу лицо, восстающее из подполья, которое хранило бы выражение осмысленной силы, покоя и уверенности в себе, и не нахожу его. Неужели эти призраки с угасшими взорами и бескровными меловыми лицами и есть наследники баснословной могучей расы праотцев, восставшей из самой земли, ведь кто-то же построил эти циклопические эскалаторы и подземные дворцы, торжественные палаты, полные драгоценного мрамора и бронзы, сложил героические саги, напечатал книги, перегородил реки и перебросил через них мосты... Куда ушло это племя белозубых неунывающих великанов, мускулистых аэролюдей в мотоциклетных очках и крагах, с песней идущих по жизни, азартно вгрызающихся в нее и даже в этих тяжелых, косных, ненужных слоях земли отыскивающих что-то свое...

Это метро — вечное метро.

За окном поезда перебегают огни темных тоннелей.

Из мрака ночи вдруг восстает город-дворец. Здесь нас встречают подземные бронзовые люди, их первобытные фигуры подпирают плечами готовые обрушиться своды и вводят в смущение провинциалов и детей своими отчаянными, непригодными для жизни позами. Они навечно застыли, они напряжены в сослагательном стремлении быть, но мы не верим им, прикопанным кто к своему револьверу, кто к тяжелой книге, кто к инженерному кронциркулю. Их борющиеся со снапами жены развратно блестят отполированными ладонями мальчишек боками и икрами. Их бронзовые дети в галстуках навечно закодированы в своем авиамодельном, рукодельном жалобном детстве. Они лишь бледные копии великанов, построивших в одну ночь и день этот гигантский город на земле и под землей, и какой бы вечной ни казалась нам их бронза, у нее тоже есть свой срок — поколения мальчишек, сменяя друг друга, все пытаются вырвать из литых пальцев истукана бронзовый маузер, так похожий на настоящий, и когда-нибудь они его разоружат.

В вагоне метро надышано, воздух согрет воньким животным теплом, выделяемым с дыханием и с испарениями разгоряченных давкой тел. Метро никогда не отапливается, оно только вентилируется. Даже зимой согреваем его своими телами мы, люди, то есть пассажиры, поселившиеся среди этих каменных, невозможных пластов земли, согреваем себя и себе подобных, выдыхая свои кровные калории в одно общее простое коммунальное облако тепла. И что примечательно — этого тепла хватает, чтоб не замерзнуть в самые морозные зимы, хватает на всех.

Локомотив дергает, медленно трогая состав с места, — держащиеся за поручни пассажиры покачиваются, как водоросли, сонно погруженные в речной омут. Все привычно расслабляются, отдаваясь движению, во всем доверчиво полагаясь на машиниста и его помощника — на этих двух молодых людей в форменных тужурках и фуражках с молоточками, загадочно засевших сейчас в головной полутемной кабинке поезда. Такова сила социальной дрессировки, что мы слепо вверяем себя им, неизвестным и бесконтрольным людям, нимало не задумываясь над тем, что — а вдруг этот помощник не лучший помощник... а вдруг и сам машинист тоже не вполне... Все это мысли, приходящие в голову на мгновение и тут же бесследно исчезающие, как сигнальные огни за темным окном.

Мы сидим лицом к лицу с соотечественниками, где на лицах-то все и было. Разными путями шли мы по жизни, чтобы оказаться сейчас сидящими на противоположных скамьях вагона, — нам предстояло вместе провести в пути эти полчаса, пока поезд домчит нас до конечной, а это уже немало, во всяком случае, вполне достаточно для того, чтобы проявить друг к другу интерес и рассмотреть соседа во всех подробностях. Взгляд мой с живым любопытством скользит по наглухо захлопнутым лицам окружающих, читая их черты, и воспитанно уходит в сторону, уклоняясь от встречного взгляда в упор, — смущенный распахнутым и утрюмым дыханием чужой близости, он, как загнанный разведчик, то упирается в металлические заклепки пола, то подчеркнуто следит за быстрыми бликами отражений, выющихся, точно растения, на блестящих вертикалях поручней и рам. Но разве возможно в такой тесноте что-то утаить от других? Как бы ты ни крепился, вся твоя психосоматика уже на десятой минуте лезет наружу, так что на лицах было все.

Здесь были: хронические д о м о х о з я й к и, эти чернорабочие городских очередей, легко узнаваемые по вязаным береткам и раздутым сумкам на колесиках и без, погруженные в смиренную скудость существования, переводимую в одну какую-то долгую и причудливо ветвящуюся мелодию или мысль, которую все они додумывали до какого-либо светлого контрапункта — особенно удачной покупки или денежной комбинации, радующей открывающейся мелкой выгодой; одетые в обноски с т у д е н т ы и с т у д е н т ы во всем с иголочки; терпеливые о ф и ц е р ы, всегда предупредительно переживающие свои погоны на плечах, с одинаковыми дипломатами (пачка служебных бумаг, дежурный детектив или газета, все реже — бутылка коньяка); двое унылых ю н о ш е й призывного возраста, угнетенных целым рядом предстоящих им повинностей, подстерегающих всех только начинаю-

щих самостоятельную жизнь молодых людей, из которых армейская стоит всех прочих; торопливые школьники с ранцами или новомодными рюкзаками, притороченными к позвоночному столбу скелетика, послушно притихшие у провалов темных окон, потому что острее других ощущают значительность этого путешествия, воспринимая его метафизическую протяженность и поэзию как еще один романтический урок в преддверии жизни и судьбы; задремавший в углу мужчок с ухмылкой на губах, в болотных ботфортах со следами плохо отмытой тины и с удочками в чехле, которому снится, что он едет в трамвае, — при взгляде на него глаза окружающих теплеют, он единственный выпадал из нашего угрюмого коллектива, талантливо пропуская сквозь свой сон все эти кромешные кубокилометры над головой, как весеннюю пьянящую листву бульварных тополей; с лужащи средней руки, тренирующие свою респектабельность перед отражением в окне; семья бенеце — мать и дочь пятнадцати лет, по ошибке севшие не в тот поезд и попавшие на радиальную вместо кольцевой, но пока не догадывающиеся об этом, терпеливые, не загадывая далеко вперед думающие об ужине, она учительница начальных классов, дочь учится шить и вяжет на продажу ажурные шапочки из ангоры — вымачивает их в густом сахарном сиропе и выдерживает на больших банках, чтоб застыли в форме, а потом продает у станции метро; могучий мордастый жлоб в коже и слаксах, непрерывно жующий свой чуингам, случайно попавший в этот подземный город мертвых (вышла из строя система зажигания); уволенный с завода по сокращению инженер-удачник, сидящий дома на гомеопатическом пособии и неожиданно счастливый уже тем, что избавлен от ранних вставаний, заводской скандальной горячки и ругани, растерянный перед будущим и постепенно впадающий в детство, как в ностальгический транс, — по вечерам разбирает свой архив и с каким-то новым, прощальным чувством рассматривает фотоснимки, грамоты, аттестаты, дипломы, словно демобилизованный солдат, вернувшийся домой на костыле, без одной ноги; какой-то одноклассник, не поддающийся классификации пассажир — скромно одетый в плащик без возраста и цвета с лоснящимися клапанами карманов, с ломаными жестами и мучительным вопросом в неизлечимо больном взгляде, с каким сидят у кабинета онколога или в бюро ритуальных услуг; лиловощекий негр в зябкой лыжной шапочке, байковой рубаше с пузырем на спине и мешковатых брюках, похожий на провинциального жителя, приехавшего в столицу за колбасой, если бы не цвет его кожи, сизо-лиловой, загадочно мерцающей, древней и царственной, неожиданно рифмующейся с этими темными сводами и грохотом небытия.

Разные люди находились в этом летящем вагоне подземки. И всякий по-разному переживал эту краткую передышку от жизни позади и впереди. Здесь читали, вязали, дремали, думали. На остановках, мелькающих как листки отрывного календаря, входили и выходили люди. Но набор лиц и устоявшихся типов, предпочитавших путешествовать в этом (последнем) вагоне метропоезда, оказывался как бы неизменным: вновь входящие (как и выходящие) люди ничем уже не могли дополнить или сломать сложившийся ансамбль пассажиров подземного ковчега и каждый входящий незаметно и естественно становился одним из нас.

Мой брат тоже задремал в уголке, привалившись плечом к стенке. Накануне перед вылетом из своего Нового Уренгоя он сутки провел на ногах в зале ожидания местного аэропорта. За стенами бушевал налетевший ураган, штормовой ветер валил столбы и уносил крыши с домов, по кипящей бетонной полосе гулял косой рваный ливень. Все полеты были отменены, и в крохотном зале скопилось такое количество пассажиров, что люди стояли вплотную, локоть к локтю, теснота вокруг была необычайной, так что он, уставший после суточной вахты, не мог не то что присесть или задремать, а лишьшний раз вздохнуть полной грудью. И теперь потихоньку добирал свой сон где только мог.

Поезд с едва сдерживаемой мукой и тягучей тоской в металлических членах трогается с места. Постепенно набирая ход, с мягкой, вынужденной настойчивостью увлекает нас в зияющее жерло следующего тоннеля.

Покоренные человеком реки мстят ему разливом половодья и ядом

стоячей воды. Изуродованный язык мстит опечатками. Покоренный металл — катастрофами. И только покоренное пространство не мстит. Оно не знает отдыха. Иногда я думаю о той невидимой траектории моего горизонтального полета над родиной на высоте верхней полки купированного вагона, идущего сквозь гремящую ночь по маршруту Москва — Владивосток... Колеса стучат на стыках, пассажиры спят и видят сладкие сны — и одновременно летят, точно снаряды, вымостив данный континуум пространства-времени своими трасирующими телами. Дважды в день я ныряю под землю и со ступенек эскалатора вхожу в вагон метropоезда. Двери со стуком захлопываются, отсекая дорогу к отступлению, и поезд летит по гремящему стволу тоннеля, из года в год неустанно тараня лбом локомотива пустоту, нацеленный в одну и ту же точку пространства, как в яблоко мишени. Поезд доносит меня до конечного пункта. Я выхожу наружу целый и невредимый, удивляясь тому, что всякий раз это сходит мне с рук. Мы просквозили своими телами замкнутое пространство метротоннеля, изрешеченное, изношенное нами до крайности. Ведь только представить себе это количество людей, ежедневно пролетающих сквозь него... В этом есть что-то чудовищное и фантастическое. Благоразумная природа рассчитала нашу нагрузку на квадратную версту, и если долго и упорно обстреливать нами какую-то одну точку пространства, то известно еще, что из этого может получиться.

Закононый пейзаж беден на впечатления. Вытянутые, обезображенные ожиданием лица попутчиков скоро приедаются и уже не сообщают тебе ничего нового...

Но вот наш поезд сбавляет ход и вдруг останавливается.

Незапланированная остановка вагона в бездонной черноте тоннеля. Иногда это с поездами метро случается. Чаще всего причина тому одна — нарушен график движения. Надо выждать несколько минут, давая фору впереди идущему составу.

Вагон все стоит.

Время томительно тянется, обнаруживая здесь, глубоко под землей, особенную гулкую глубину и отчетливость каждой минуты. Что-то там произошло на линии.

Я замечаю, как нарастающее чувство глухой тревоги превращает нас — случайных попутчиков, оказавшихся в этом вагоне, — в отдельный сплоченный социум. Мы начинаем переглядываться и понемногу оживать после монотонной, тягучей дорожной каталепсии, не в силах больше скрывать своей обеспокоенности; мимика наша оттаивает, выражая внутреннюю готовность к общению.

«Ма, почему мы не едем?..» — громким шепотом спрашивает маленькая девочка свою мать, и все вокругстораживаются, невольно прислушиваясь к тому, что скажет сейчас ей в ответ эта кареглазая женщина в скромной косынке, надеясь услышать из чужих уст объяснение нашему общему невнятному ожиданию. Но женщина замешкалась, робко шикнула на дочь, короче, ушла от ответа. Вопрос повис в воздухе. А тут еще лампы под потолком неожиданно притухли — и теперь светились вполнакала, перейдя в аварийный режим.

В динамике что-то невнятно прошелестело, и установилась тишина.

Мы стоим. Прошло уже четверть часа с того момента, как поезд панически затормозил посреди непроглядного тоннеля и остановился как вкопанный. Было похоже на то, что о нас забыли. Что-то случилось впереди, что-то настолько серьезное, что машинисту и его помощнику вдруг стало не до нас. Нас не сочли нужным даже проинформировать о случившемся или хотя бы успокоить, и это лишь укрепляло нас в самых мрачных наших предчувствиях. Переговорное устройство с кабиной машиниста бездействует — мы в этом убеждаемся, попытавшись связаться с ним.

Проходит час.

Свет под потолком горит еле-еле, с минуты на минуту грозя потухнуть совсем. Сгрудившись в центре вагона, на импровизированном совещании мы пытаемся обсудить наше положение. Мы были в ловушке: двери вагона не

подавались, окна наглухо задраены. Свет едва тлеет. До ближайшей станции несколько километров пешего хода на ощупь — где на четвереньках, а где и ползком в окружении непроглядного мрака тоннеля, — с риском быть неизбежно раздавленным колесами поезда, если движение вдруг возобновится.

Судя по всему, надо было готовиться к худшему. Не надеясь уже на помощь извне, обживать этот вагон, устраиваться в нем на ночлег... Весь земной мир для нас, внезапно погребенных заживо, превратился в навязчивое воспоминание, не имеющее ничего общего с нашей действительностью.

Видимо, то, что случилось, не могло не случиться. Долго это тянулось, и так ли уж важно, что там на самом деле произошло впереди: лопнул рельс, обрушился туннель или разразилась атомная война в результате недалековидной внешней политики нашего правительства. Главное, что гром грянул. И ничто теперь не может умалить нашей общей вины.

Чего там скрывать — все мы кое-как жили эти долгие годы, учились спустя рукава, ловчили, что-то там малохудожественное делали, бражничали, втирали очки начальству, надеясь, что как-нибудь пронесет... Не пронесло. Нас — не пронесло. Случилось то, что случилось. Причины? Причин много — они всем известны. Многолетняя тяжесть, оскорбительная бездарность вождей. Некомпетентность руководства. Противоестественная система отбора специалистов. Наглые, корыстные, самозванные люди на всех ключевых постах. Несовершенная система образования. Слабая дисциплина и трудовой аморализм. Распространение алкоголизма в быту и на производстве. Плохая охрана труда. Загрязнение среды и повышенное содержание в крови рожениц солей тяжелых металлов, мстящих теперь человеку изнутри...

Это было очень наивно с нашей стороны — надеяться на счастливый исход при таком отношении к делу. И разве могло быть иначе?.. Чего мы все добивались?..

Задыхающиеся в штреках отравленные метановой смесью шахтеры. Рассыпающиеся от малейшего сейсмического толчка жилые дома. Терпящие бедствие атомные подлодки и прогулочные черноморские теплоходы. Падающие с неба самолеты. Отсутствие антибиотиков и одноразовых шприцев в больницах, приводящее к летальному исходу. Тяжелый радиоактивный туман пал на землю, устланную изнутри, как взгляд ослепленного, живой рубиновой кровью надежды, экзистенциальной тоски, прахом истлевшей мечты. По прозрачной трубке катетера, воткнутого в вену, скользит слезка гемадеза. Мечтающие о мире солдаты отчаянно жмут на гашетки, вымещая друг на друга тоску, растерянность и ужас перед концом, заражаясь беспричинной ненавистью от припадочного оружия, но ни у кого не хватает мужества сложить его первым. На фоне общей катастрофы наша авария кажется ничтожным эпизодом.

...Скучная инструкция на стене вагона запрещает ставить вещи на бегущий поручень эскалатора, а также курить, сорить, провозить взрывоопасные и реактивные вещества. Этим суконным, мертвым языком, из которого вытравлены все краски и запахи, все яблоки, все золотые шары, с нами пыталось в той, другой жизни разговаривать государство, напрямую обращаясь к нашему чувству долга и пытаясь уберечь от порчи принадлежащее ему имущество, к которому мы все имели самое малое касательство. И пока государство спешило к нам на помощь, чтобы выволить из аварии свое имущество с погребенными в нем заживо пассажирами, нам предоставлялась полная свобода действий в том, чтобы самим позаботиться о себе, — конечно, в рамках продолжавшей несмотря ни на что действовать инструкции на стене.

Какие-то особые, специальные люди занимаются сочинением этих параграфов: еще в нежном младенческом возрасте их отнимают от груди матери и прячут глубоко под землю, поручая заботам совсем других людей — маркшейдеров, проходчиков, машинистов и дежурных по перрону, чтобы они росли, не зная ни ласки матери, ни солнца над головой, ни ветра, ни дождя, ни цветущих луговых трав, медленно созревая в своем заблуждении, чтобы к концу их подземной жизни наряду с зеленой жижей других выделений получить от них несколько этих державных безликих трассирующих истин

или строк, оплаченных страшной ценой загубленной жизни и поэтому вдвойне целебных и ценных — как горный мед редчайшей окраски и вкусовых качеств или скальный лекарственный нарост, могущий сращивать кости и заживлять раны. Это слог людей, пожертвовавших в себе всем человеческим во имя мудрого, как змей, государства, заговорившего с нами на сухом апокалипсическом языке.

Я чувствую неожиданный прилив нежности к этому автору «Правил», во всех остальных смыслах глубоко и несправедливо обойденному человеку, — и то, что я слаб и измучен более других пассажиров, вдруг сближает меня с ним и сообщает зрению моему драгоценную остроту...

Стоящая справа от меня немолодая женщина в простом цветастом платье вдруг покачнулась и, охнув, стала медленно оседать на пол. Я машинально подхватываю ее на руки. «Врача! Тут женщине стало плохо!..» — кричит кто-то, бросившийся мне на помощь. Глаза ее закрыты, пульс едва прощупывается, на бескровных губах пена. Мы осторожно укладываем потерявшую сознание женщину на сиденье. Ей (да и всем нам) требуется врач или человек, знакомый с практической медициной.

И такой человек находится. Сердито раздвигая пассажиров, к нам пробирается старик в очках с анодированной оправой, в старомодном пыльнике. Он принимается делать женщине искусственное дыхание. Обстоятельства требуют от нас конкретных действий, правильных и точных решений.

Сгрудившись, мы стоим вокруг, выжидательно посматриваем на него и друг на друга. Теперь у нас есть опытный врач. Остается выявить из нашей растерянной, тяжело молчащей массы человека, способного найти нужные слова. Могущего оценить наше общее состояние. Вселить надежду. Указать путь, ведущий к... Вдохнуть в сердце истину... утолить наши печали. Этот человек должен обладать целым рядом достоинств, несомненных и очевидных для каждого. И если такого человека среди нас нет — его следовало выдумать.

— Минуточку внимания!.. — прошу я окружающих и объясняю, как из нашей верхней одежды можно соорудить ширму, чтобы завесить эту лишившуюся чувств женщину с доктором, хлопочущим над нею, и устроить в вагоне какое-то подобие лазарета. — Это делается очень просто: пуговицы одного плаща или пальто вдеаются в петли другого, к которому подобным же образом пристегивается третье, а там четвертое, пятое и т. д. Получившееся коллективное пальто можно использовать в качестве одеяла для ночлега на полу, а днем превращать его в занавес и отгораживать часть вагона для женщин, больных и ослабленных людей, нуждающихся в изоляции...

Пассажиры, охотно подчиняясь, выполняют мою просьбу и разоблачаются, освобождаясь от своих плащей и курток. У моих ног растет гора одежды. Я понимаю, что один не справлюсь со взятой на себя ролью, и присматриваю себе помощников. Я ищу людей прямодушных, сильных, людей чести и долга — и таких среди нас вскоре нахожу. Вон тот пехотный капитан, так рьяно пытавшийся взломать двери вагона, может прийти мне на помощь... а еще вон тот, в сером костюме, с курортным галстуком на резинке, привлечший мое внимание своей рассудительной речью, это он удержал двух парней от бессмысленного битья вагонных стекол... пожалуй, еще вон тот шепутной и лохматый, готовый даже здесь веселить всех своими шутками.

Я предлагаю пассажирам провести ревизию своих вещей.

— Товарищи! Судя по всему, случилось что-то серьезное. Мы ничего пока не знаем. Но на всякий случай должны быть готовы ко всему. Я прошу вас сдавать мне все, что у вас есть из продуктов и лекарств. В первую очередь питьевую воду. Валидол, перевязочный материал, хлеб, книги и вообще всю печатную продукцию. Пожалуйста, проявите сознательность. Нам нужно знать все о наших возможных ресурсах. От этого зависит, как долго мы продержимся до прихода спасателей...

Я свидетельствую — народ у нас отзывчивый. Пассажиры лезут в свои сумки и портфели, послушно выгружают из них все, что может представлять для нас интерес. Я тоже переворачиваю нашу сумку вверх дном и вываливаю все ее содержимое на пол в общую кучу. Все-таки немало мы носим в наших

сумках. Проведенная ревизия принесла нам горы продуктов питания, бутылок с водой и алкогольными напитками, большое количество книг, газет и журналов. Наши шансы растут на глазах.

С любопытством я рассматриваю сданные книги, определяющие круг повседневного чтения жителя постиндустриального общества. Чейз... Агата... Дрюон... Чейз... Справочник по радиоэлектронике... Жапризо... Марина Влади — Прерванный полет... Кулинарная книга... Справочник для поступающих... Справочник для выезжающих... Плейбой... Бурда... Годовой комплект «Катера и яхты»... Иван Бунин... Иван Тургенев... Учебники для средней школы... Бхагавадгита в переводе Смирнова... Треугольная груша... Москва—Петушки... Бенджамен Спок... Молот ведьм... Последнюю книгу я извлекаю из общей кучи и откладываю в сторону. Это средневековое сочинение двух монахов-доминиканцев, представляющее руководство для начинающих инквизиторов, в наших условиях может нести определенную опасность для умов незрелых, экзальтированных или преступных. Я убираю ее от греха подальше.

Я вижу людей наизусть, знаю насквозь все их увертки и отговорки: вон тот лысый с брезгливой складкой у рта уже незаметно прибрал к рукам бутылку коньяка, а та в турецком батнике пытается утаить от всех пакет молока, а за этим архаровцем в коже с задатками бандита и насильника нужен глаз да глаз...

Из людей физически крепких мы должны подобрать дружину и расставить членов ее по узким местам, как вахтенных, раздать нарукавные повязки и определить обязанности по охране имущества и на случай отражения возможной агрессии со стороны соседних вагонов...

Выбрать мирового судью и присяжных...

Подобрать учителей для обучения детей грамоте и счету...

В чистый выгороженный угол вагона — наклеить вырванную из «Огонька» икону-репродукцию Николая Чудотворца...

Идет третий час нашего пребывания под землей в мертвом тоннеле метро. Смирившись с очевидной неизбежностью, пассажиры принимаются устраиваться в вагоне поудобнее, готовясь то ли к ночлегу, то ли к более комфортному ожиданию спасателей. Кто волею случая оказался с сидячим местом — держится за него, кто просто стоял — теперь располагается на полу, подстелив под спину газету или куртку.

Мой брат продолжал спать крепким сном, и я после некоторого колебания решаю его не будить. Он умел засыпать в любых условиях и при любом положении тела — в кузове идущего самосвала на куче песка, на жесткой скамейке вахтового вертолета, в ночной очереди за билетом на материк. Для него этот город, этот вагон и метро были материком, были праздником, были отпуском. Все равно пробуждение ничего хорошего не принесет, а только добавит проблем, поэтому пусть пока поспит.

У одного из пассажиров нашлась колода игральных карт, у другого — шахматная доска с фигурами. Вокруг них постепенно образуется две компании пассажиров, так или иначе участвующих в игре. В полу отыскался небольшой лючок, взломав который мы как-то решаем проблему отхожего места. Потерявшая сознание женщина с помощью нашего доктора наконец приходит в себя. Ее поят валокордином и оставляют лежать в импровизированной палатке, сооруженной из нашей верхней одежды. Кому не жаль своего зрения, тот по моему примеру роется в куче реквизированных книг и журналов и пытается читать в тусклом свете вагонных ламп.

В вагоне устанавливается хрупкая выжидательная тишина.

Матери шепотом успокаивают и убаюкивают своих детей.

Женщины принимаются готовить общий ужин: делят на всех бутерброды, разливают по приспособленным под стаканы емкостям молоко, минеральную и фруктовую воду.

Я раскрываю лежащую на коленях тетрадь, куда намерен записывать свои адресованные вечности доносы. Это будет своего рода бортовой журнал, дневник или летопись происшествий, о котором мы пока не имеем ни малейшего представления, вдруг в одночасье покинутые всем остальным

миром и поэтому вынужденные надеяться только на себя, на свою изобретательность и волю к жизни.

Я смотрю по сторонам и удивляюсь тому, как же быстро человек приспособляется к любым, самым неожиданным, обстоятельствам. Как же скоро прорастает в нем эта виноватая готовность к худшему, это недоверие к себе, к своему вестибулярию и вегетатике, к собственному месту под солнцем, которого так легко можно лишиться. На лицах окружающих печать вынужденного покоя и скрытой тревоги. И эти обостренные глубокими тенями лица мне ближе и понятней, чем те трясущиеся надменные маски столичных пассажиров, оседлавших механического рикшу производства мытищинского вагоностроительного и путешествующих из ниоткуда в никуда.

Каких-нибудь два часа назад, покачиваясь на сиденье метропоезда, человек строил наполеоновские планы на жизнь, горделиво подсчитывал барыши, терзал свое сердце соблазном упущенного случая, мысленно изменял жёне с длинноногой попутчицей, сокрушался над пустяками и скорбел о ерунде — и вдруг его стройные помыслы разъезжаются в разные стороны, как ноги на льду у пьяного, — и вот уже он, разом забыв обо всем, с невольной завистью и сокрушением сердца провожает взглядом доставшуюся соседу хлебную горбушку с уснувшими на ней двумя солеными кильками, вынужденный сам довольствоваться сухарем с ломтиком черствого сыра... Сколько во всем этом какого-то торопливого безумия, щемящего комизма, убитой страхом, съездившей души, заранее согласной на все, подобно мне, готовой к пытке голодом, к страданию, к одиночеству, к ядовитому туману бесприютности, к вероятности оказаться на улице с больной женой и маленьким ребенком, к смерти в металлическом фраке с горящими красно-зелеными глазами светофоров... Душа человека послушно ужимается, сопрягаясь с обстоятельствами и со съездившимся до метра площади пространством на затоптанном полу общественного вагона, все мысли концентрируются на простейших нуждах по обслуживанию тела.

Мое перо скользит по бумаге, дисциплинированно фиксируя все. Количество пассажиров женска и мужеска полу с их малыми чадами. Их пофамильный список. Разумно обоснованную норму потребления питьевой воды и пищи. Нам удалось избежать паники, драк и истерик. Отныне наши притязания скромны и не идут дальше суточного стакана питьевой воды и двух-трех бутербродов. Отныне все должны равняться на меня: я являю собой наглядный пример того, как воспарить над телом, обратившись в дух един, праведный и неутасимый.

Я встаю, представляюсь и произношу горячую речь, смысл которой сводится к нескольким положениям из моего живейшего опыта.

— ...Голодание старо как мир. Инстинкт голодания настолько силен и важен, что даже цивилизованные люди чувствуют это. Разум живых существ безошибочно ориентирует их на голод, когда организм болен или в беде. Большинство людей рабы пищи. Они едят независимо от того, голодны они или нет... Голод — это вступление в новую жизнь, после голодания вы сможете ничего не бояться, — вещи, которые вас раньше беспокоили, быстро разрешаются свежим умом... Из древней истории известно, что голодание давно использовалось людьми для духовного просветления. Голод представляет собой глубокое внутреннее очищение. Это физиологический отдых для организма. Голод производит громадное действие на умственную и духовную деятельность. Память становится острой, как лезвие бритвы. Вы можете вспомнить давно забытые подробности вашего прошлого... Голодание прекрасное лечение еще и потому, что не имеет побочных воздействий, это естественный процесс. После голодания вы увидите, как меняется цвет лица и блещат ваши глаза, насколько энергичнее вы стали. Вы снимете громадный груз со своих органов и крови... Голодание развивает в вас сное внутреннее спокойствие ума. По мере того как очищаются ваше сердце и разум, вы все сильнее чувствуете растущую в вас силу. Это и есть та внутренняя сила, та внутренняя убежденность, которая делает вас оптимистом...

Конечно, как все пастыри, я впадаю в преувеличения.

Я заливаюсь слювьем, но по глазам окруживших меня людей я вижу, что моей короткой импровизированной проповеди не верят. Готовясь к тому, чтоб воспламенить собою остальных, неожиданно я сталкиваюсь с серьезной задачей. Как убедить других, что ты голоден больше их? Что обходился без пищи почти три недели? Что человек может довольствоваться малым? Что можно быть изнуренным длительным постом — и одновременно сильным, с ясной головой и ненасытимым ярым оком, жадным до красоты... Легче сказать, что нет таких слов в человеческом словаре, иначе бы двух тысячелетний христианства хватило на то, чтоб воцарился мир и рай под оливами...

Лица людей скучнеют, теряя ко мне интерес, кольцо пассажиров вокруг постепенно редет. Даже мой пехотный капитан покидает меня и с летучей небрежной улыбкой подсаживается к коротко стриженной блондинке с полными веснушчатými плечами, в ушах ее покачиваются цыганистые серьги. Я могу сейчас на глазах у всех скончаться от перенапряжения и желудочной колики, вызванной воспалением стенок желудка от постоянного трения о ребра. Могу обратиться в горку сухого кристаллического шлака. Теперь это никого не тронет и ничего не изменит. У меня под сердцем растекается холодок понимания, что с людьми так нельзя, нельзя так с людьми, что я, видимо, попираю какие-то неписанные правила. Допускаю какую-то бестактность по отношению к ним, и люди отвечают мне ледяным молчанием и едва ли не демонстративным падением интереса к моей персоне. На меня избегают смотреть. В этом быстром охлаждении людей к ненужному и пугающему их знанию таилось что-то, что требует додумывания. По их мнению, мой опыт не значил ничего в свете вскрывшихся обстоятельств. А обстоятельства эти известны всем — они трагичны. В глубине мертвого тоннеля брезжила наша жизнь, представлявшаяся теперь в виде одной растянутой во времени последней мучительной судороги, и они намеревались жить, ухаживать за женщинами, делить по справедливости пищу и книги, срывать крохи оставшихся удовольствий...

Сконфуженный, я опускаюсь на свое место и загораживаюсь какой-то газетой, чтоб не видеть этих рассеянных слабопомешанных лиц, хранящих выражение общее с этими мертвыми сводами навечно отлитых в цементе тубингов и натужных сочленений каких-то смоляных труб, кабелей, как грибница, пронизывающих бесчувственную толщу земли...

И тут вдруг в вагоне вспыхивает яркий свет...

Под ногами неожиданно загудели моторы, в динамике под потолком что-то неразборчиво прошелестело — и поезд медленно трогается. Поезд трогается.

Я машинально смотрю на часы: 20 часов 18 минут. Два долгих томительных часа с четвертью мы провели в этом мертвом вагоне, остановившемся посреди темного тоннеля и потерявшем всякую связь со станцией. Мы еще не знаем, что стали жертвами знаменитого замыкания 28 июля 199... года, когда в результате аварии оказалась обесточенной и выведенной из строя большая часть Бирюлевско-Рижской линии столичного метрополитена. Об этом на следующий день нам поведали газеты и дикторы в программе теленовостей. Десятки тысяч растерянных пассажиров подобно нам провели два часа в подземной ловушке запертых вагонов остановившихся в тоннеле метропоездов. И хотя на этот раз обошлось без жертв, если не считать нескольких обмороков и двух-трех преждевременно начавшихся родов, событие это определенным образом повлияло на жизнь людей, оказавшихся втянутыми в него, — повлияло в той степени, в какой могут сказаться на ней десятки тысяч несостоявшихся свиданий, расстроившихся деловых встреч и просто рухнувших планов на вечер в кругу семьи.

Платформа первой станции, к которой прибывает наш поезд, кажется необычайно пустынной в этот час. Мы догадываемся, что извещенные об аварии люди давно разошлись, предпочтя добираться домой наземным транспортом

Между тем пассажиры торопливо разбирают невообразимую кучу нашего

общего баракла, сваленного на полу вагона. Я тоже роюсь в ней и складываю в свою сумку все, что недавно вывалил из нее, что только удастся мне найти из наших покупок. Это довольно трудная задача.

На остановках пассажиры по одному и небольшими группками покидают вагон. Некоторые из них, наиболее чуткие и впечатлительные, прежде чем сойти на платформу, на порожке вагона еще задерживают на долю мгновения свой шаг, оглядываются на остальных и прощально машут рукой. Но таких мало. Большинство покидают вагон с едва сдерживаемым нетерпением и раздражением на лицах, не желая ничего больше видеть и слышать, рассерженные до крайности. Скорее всего мы никогда уже не встретим друг друга в этом гигантском, раскинувшемся на десятки километров мегаполисе. Я смотрю вслед им, без оглядки бегущим к эскалатору и даже не подозревающим о том, что послужили для меня прообразом спасенного человечества. При более (не)благоприятно сложившихся обстоятельствах мы могли положить начало новой расе людей, чудом спасшихся из всеобщей геокатастрофы благодаря своей предприимчивости и негибимой воле к жизни.

Мой брат просыпается, когда мы уже подъезжаем к конечной.

В вагоне остается несколько человек, и нет среди нас ни одного чужого. Брат сладко потягивается, выпавшийся, он свеж как огурчик и полон молодой задиристой энергии. Вместе с пьяницей рыбаком, которого мы перед выходом из вагона расталкиваем и выводим с собой, он крепко проспал эти два часа и не имеет ни малейшего представления о случившемся. С нами наш капитан, видимо, увязавшийся за понравившейся ему блондинкой, прихорашивающейся перед зеркальцем, полный решимости до конца использовать подвернувшуюся возможность для знакомства с интересной женщиной; с нами двое ветхих пенсионеров — муж и жена, трогательно внимательные друг к другу, дома, вероятно, выстраивающие свой распорядок от «Вестей» до «Времени» и величающие дикторов по именам (он отдает предпочтение «Наташе», она — «Серееже»); с нами двое-трое фабричных рабочих в безликой сменной одежде, лопухий школьник с зачехленной теннисной ракеткой и сонный рыбак с неизвестным уловом в клеенчатом зембиле.

Вот все, что осталось от нашей объятной паникой, братски-разгневанной, щедрой и вероломной коммунальной утопии.

Мы пересекаем пустынный вестибюль станции, поднимаемся на эскалаторе и с прибывающим чувством почти физического облегчения покидаем метро. На выходе из павильона сердечно прощаемся друг с другом, коротко, но крепко жмем руки. В глазах этих великодушных людей я потерпел фиаско. Мое саморазоблачение не нашло отклика в их душах, и, огорченно прикусив язык, отныне я даю себе слово впредь молчать, молча набирать по капле драгоценную критическую массу знания о жизни и — смерти, в медленную репетицию которой я оказался втянут стараниями моих методистов.

Брат по-прежнему ни о чем не догадывается. Он только немного удивлен странным смещением во времени. Я оставляю его в счастливом неведении, любуясь своей детской хитростью. Я суеверно надеюсь, что за двойными воротами умолчания будет еще надежней укрыт мой многодневный, стыдный, нечеловеческий голод. Какая удача, что брат все проспал и ничего не услышал. Он еще слишком горяч и зелен, как три рубля, он ничего не поймет, передаст все родителям и, чего доброго, еще отколотит под горячую руку.

Мы идем от метро по петляющей асфальтированной дорожке через пустырь — в сторону нашей многоэтажной, неуклюже восстающей на горизонте стоеросовой башни. Это задворки микрорайона, его кладбище, мусорная свалка. Особое чувство космической заброшенности и пустоты рождается на этой ничейной, горбатой, запущенной земле, продутой из конца в конец колючим аэродромным ветром, усеянной человеческим мусором и отбросами. В хулиганских зарослях чертополоха, лопухов и иван-чая таились неожиданные находки и открытия. И вспоминалось детство, расширявшее свои растущие как крылья легкие за счет такого вот распахнутого, барабанно-гулкого пространства. Как и все пустыри, этот тоже заслуживал подробного,

уважительного отношения. Ржавые остовы издохших зилловских грузовиков, старые кабельные катушки, искрошенные бетонные плиты, поросшие одуванчиком и повиликой, горелые автопокрышки, смятые ячеистые почтовые ящики с номерами несуществующих квартир, гнилые доски, консервные жестянки, кучи строительного мусора, истлевшие и выжженные солнцем газеты давно минувших дней, расстрелянные из рогаток бутылки, овощные отбросы и прочая вопиющая, воняющая, отринутая человеком дрянь и гниль усеивала наш пустырь, который по краям уже, впрочем, потихоньку обрастал новенькими частными гаражами, лепившимися к бетонному забору большого автокомбината.

«Я все думаю над этой историей... — произносит брат, как ни в чем не бывало возобновляя наш прежний разговор. — Все-таки мне многое непонятно. — Одной рукой он жестикулирует на ходу, в другой несет раздутую сумку с нашими продуктами, по молчаливому уговору он всякий раз первым подхватывает ее за ручки, и поднимает, и терпеливо несет, а я, слабый, не противлюсь этому, втайне благодарный ему. — А что, если все это подстроил Берия? Ну, допустим, он так чисто провел всю эту операцию с обнаружением Гитлера, что ему удалось утаить труп от всех? В том числе от Жукова и Сталина?» «Ну да... — сразу включаюсь и с пол-оборота охотно захожусь я. Мне приятно, что брат так увлечен, рядом с ним во мне еще живет атавистическое чувство вины за свою чистую кабинетную работу, и я стараюсь компенсировать его чем только могу: — Представь себе, при личной встрече с этой писательницей растерянный Жуков тоже предположил сначала, что здесь замешан Берия. Что Сталин тоже не знал о смерти Гитлера. Потому что в те дни он постоянно спрашивал его: «Где же Гитлер?» Жуков отвечал: «Ишут, товарищ Сталин». Иногда при этом присутствовал и Берия, который тоже требовательно впивался в Жукова своими глазами, талантливо подыгрывая патрону». «Спрашивал, уже зная, что Гитлер найден?..» — уточняет брат, как прорур, и даже приостанавливается на секунду от обуревающей его смеси чувств: удивления, гнева. Он сделался даже красив сейчас в своем негодовании, особенно красив. «Да, при этом имея в своем сейфе все документы и подлинную челюсть фюрера, специальным курьером доставленную в Москву...»

Мы идем по узкой дорожке: я — впереди, он — за моим плечом, вытягивая шею, то и дело чувствительно задевая тяжелой сумкой мои икры, в вечной и трудной готовности нагнать, переспросить, подвергнуть каждое сказанное мною слово сомнению. В этот момент петляющая дорожка выводит нас к одной достопримечательности этого пустыря, и я вдруг решаю обратить на нее внимание брата...

«Посмотри-ка вон туда. Ты ничего не замечаешь?..» — говорю я, показывая рукой в сторону небольшой рощицы, ни с того ни с сего выросшей посреди заброшенного пространства этой изрытой и замусоренной земли. В начале восьмидесятых, когда городская служба озеленения занималась благоустройством нашего молодого микрорайона, саженцы деревьев с пластинами свежей земли на корнях привозили на пустырь на открытых грузовиках, сгружали с машин и тесно составляли в один большой ряд, как ружья гвардейцев на привале, чтоб потом понемногу рассаживать их согласно генеральному плану благоустройства и озеленения. Большую часть деревьев постепенно высадили вокруг новостроек, а остальные, оказавшиеся лишними, так и остались стоять здесь. По весне забытые людьми саженцы лип, берез, тополей и елей ожили после зимнего сна, дружно принялись на новом месте и зазеленели юными листочками, — и где был тот гребешок, уроненный на землю чудодеем, из которого восстала эта зловеющая, трагическая и счастливая рощица... За эти десять лет когда-то тоненькие, как церковные свечи, саженцы превратились в прекрасные молодые деревья, устремленные к солнцу и небесной влаге, готовой пролиться из туч, сплелись в одном тесном братском объятии, как матросы гибнущего, идущего ко дну корабля — или как невольники в его трюме. Каждый год с наступлением тепла роща оживала, зеленела и росла, птицы охотно вили в ней гнезда, выводили птенцов, поднимали их на крыло и увлекали за собой в жаркие страны. Весной и летом это был сплошной

колтун зелени, густой непролазный лес из полузадушенных теснотой деревьев, — как страшноватый символ, который я избегал распутывать и расшифровывать до конца, всякий раз инстинктивно обходя его мыслью и взглядом, чтоб не ранить себе сердца. «А что там такое? — спрашивает брат недоуменно. — Я ничего не вижу. Деревья? Ну и что?..» «Ничего», — лаконично отвечаю я.

Вокруг ни души. Мы были одни на пустыре, и только одни мы были свидетелями того, как солнце, которого мы сегодня едва не лишились, медленно и торжественно оседало за далекий замусоренный горизонт. Одни мы видели разлив умирающих красок по небу — кадмий красный и желтый, рубин алый, краплак, марс коричневый и хром-кобальт голубой, словно терпящие медленное крушение далекие прекрасные миры, оседающие всеми своими обломками на дно глазного яблока, и какой-то весь ускользающий смысл был во всем этом, кроме голой и торжественной красоты.

Брат мне не верит. Стремясь настоять на своей версии событий, на своем заблуждении, трогательном и сердитом, он готов дойти до края, до демонстративной добровольной слепоты, граничащей с отчаянием. Так он в очередной раз не выдержал мой тест — как ни крути, брат отставал от меня сейчас на какое-то количество съеденных им караваев хлеба и мазанов каши, он как бы оказывался прикован к низкой, грешной, подробной земле своим животом, даром нареченным по-старославянски жизнью, и уже не мог утнаться за моей голодной и ясной мыслью. Я опирался на голод, как Архимед, готовый перевернуть мир, вдохновленный неожиданной свободой и оправданный необходимостью ее. Аз грешный боролся со своим животом (жизнью) и все свои силы отдавал голоду. Голоду как городу. Я бережно выращивал его в себе. Голод и был городом, он струился занимающимися электрическими огнями и блеском витрин мимо меня и во мне самом, в моих венах и жилах, пульсировал в левом межреберье, рассылая свои толчки во все уголки тела, он разрастался во мне неузнанный и свободный, он наделял меня бессмертием и великолепным правом ничему и никому не хранить верность, освобождаясь от себя тоже, я ощущал себя Прометеем и одновременно орлом, вес тела быстро падал, подвижность корковых процессов нарастала... Самоубийственная, причудливая трансформация инстинкта смерти, в медленную репетицию которой я оказался втянут. Это трагическое разверстое чувство, словно сеть малоячеистую, я набрасывал теперь на мир и свет, надеясь уловить его в свой сюжет и примерить его грандиозность к своей вечности...

Миловидная девушка в гимнастерке и сбитой набок пилотке с красной звездочкой, еврейка, прижимающая локтем картонную коробку под мышкой, стремглав летела по улицам павшего Берлина, живая, почти счастливая посреди этого царства смерти и кирпичного крошева, полная забот и весенней девичьей чепухи. Двадцать с лишним миллионов соотечественников покоились в наспах вырытых и просевших могилах, но война была окончена, пушки зачехлены, оружие, награды, знаки различия уцелевших солдат надраены до победного блеска; поля выжившей Европы, медленно приходившей в себя от пережитого ужаса, были усеяны костями и пеплом. Меж развалин пробивалась юная трава, в пригородах Берлина безудержным цветом вскипали яблоневые сады. И куда бы ни шла и ни ехала она, повсюду обязана была носить с собою надоевшую коробку, в которой покоилась уложенная в хирургическую вату страшная челюсть, врученная ей на хранение под личную ответственность до особого распоряжения высшего начальства. Отныне она не имела права расставаться с нею даже на миг. Собираясь спать, на ночь она клала эти страшные зубы на полку у изголовья. Это была небольшая картонная коробка из-под парфума, случайно попавшая под руку, недавно еще принадлежавшая какой-нибудь фрау, до умопомрачения боготворившей своего фюрера, легкомысленная пестрая упаковка из-под женских духов, в которой теперь улеглись вырванные с корнем, надушенные зубья дракона. Вот что мне больше всего нравилось в этой истории.

ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН

*

ФЛОКСЫ ЦВЕТУТ В КРОВИ СКВОЗНЯКА

* *
*

Я дальним эхом знал, что Слово — Бог, я чуял точку ту, где
жизнь словесна, а слово тесным яблоком телесно, о, ты Его
узнать бы в ней не смог, в ней яблоко берется целиком — всем
шелком кожуры, надкусом кислым до семечек с их черным,
клинописным на лунках перепончатых письмом, а прежде —
ветвею
с сорванным кивком, а прежде

* *
*

Медлит буксир на реке
стройка и дым вдалеке
осень на волоске
сердце болит в мотыльке

дом у реки ни огня
дверь приоткрыта в меня
там причитает родня
комнаты гул западня

* *
*

Проснувшись от страха, я слышал, он вывел меня
из ряда предметов, уравненных зимней луною,
еще затихала иного волна бытия,
как будто в песке, несравненно омытом волною.

еще возбегали в ту область ее мураши,
нетрезвые пузы, зыри, не успевшие смыться,
и запечатлелась озерная светлость души,
пока на окраинах доцокотали копытца,

причиною страха был ангел, припомненный из
ангины и игл, бенгальским осыпанных золотом,
и если продолжить, то чудные звуки неслись,
и створки горели, просвечены тонко гранатом,
и женщина, ты —

из белого тела была ты составлена так,
как песня того, кто тебя бесконечно утратил,

тот лирик велик был, и мной завоеванных благ
он более стоил, поэтому их и утратил,

он был вожаком, протрубившим начало поры,
когда с водопоем едины становятся звери,
и в джунглях у Ганга топчут слоны как миры,
и тени миров, преломившись, ложатся на двери,

и фермер Флориды следит, как порхающий прах
монарха, чьи крылья очерчены дельтой двойною,
своим атлантическим рейсом связует мой страх
с его стороною,

и запах был тот, что потом к этой жизни вернет,
явившись случайно, явившись почти что некстати,
и свет, что так ярок, и страх, что внезапно берет,
впервые горят над купаньем грудного дитяти.

* *
*

Ляжем, дверь приоткроем,
свет идет по косою,
веет горем, покоем
и песчаной косою,

это жизнь своим зовом
обращается к нам,
вея сонным Азовом
с Сивашом пополам,

ты запомни, как долог
этот мыслящий миг,
что проник к нам за полог
и протяжно приник

* *
*

Квартира в три комнатных рукава,
ребенок из ванной в косынке,
флоксы цветут в крови сквозняка,
стопка белья из крахмала и синьки,

темная кухня, чашка воды
с привкусом белой рентгеновской ночи,
окна свои заматают следы,
разве ты сможешь сказать, что не очень

любишь, и разве не знаешь, как сух,
плох этот стих — мимоходной кладовки не стоит,
той, на которую надо коситься, и двух-
трех обветшавших на плечиках, съеденных молью историй,

это не время истлело, а крепдешин,
форточку-слух заливает погасшее лето
все достовернее, и если бессмертной души
что-то и есть, то вот это, вот это, вот это.

* *
*

Я пью за немногих, но верных...
Князь Петр Вяземский.

За хмельной, предвоскресный
вечер, город окрест,
за «Вакхической песни»
просветительский жест,

за сиденье по кухням,
за январь на дворе,
за «Дубинушка, ухнем...»
у соседа в норе,

за жилье по лимиту,
за бессмертный, навек
в желтом доме зарытый
твой талант, имярек,

за поэта — не волка,
за спокойный рассказ
той, которую долго
Бог спасал, но не спас,

за любовь, что косила,
приручая вранье,
за внезапную силу
обойтись без нее,

за платформу на Лахте,
электрички огни,
за пустые на вахте
мои ночи и дни,

за спустившийся наземь
снег окраины всей,
как завещано князем,
за немногих друзей.



ИГОРЬ КЛЕХ

*

ХУТОР ВО ВСЕЛЕННОЙ

1. О МЕДВЕДЯХ

Хутор распластался прямо под небом — в седловине хребта, выглаженного переползающими в этом месте из дола в дол облаками. Здесь они всегда выглядели ключьями рваного тумана, газовой атакой сырости, идущей из зарубцевавшихся на склонах австро-венгерских окопов, — сверху линия их отчетливо читалась. На дно их ты ложился как в шов, прячась от ветра, на закате, — но о ловле закатов отдельно.

Нелепо стечение обстоятельств, поднявшее тебя сюда. Но не более нелепо, чем все остальное.

Зачем лежишь ты здесь, заболевая, посреди зимы — когда внизу еще осень, — как в предоперационном покое, на лавке в чужой гуцульской хате?! Первые ее хозяева давно на погосте, отпетые и забытые; они погрузились костями в землю и схвачены там нечеловеческим холодом, который узнать тебе еще только предстоит.

Ты же кутаешься в овечьи одеяла и попиваешь с Николой ледяной самогон, и Никола — не успел за десять лет оглянуться, как уже на *лензии*, — все ползает по склонам, ходит по орбитам внутри своего хозяйственного космоса, будто внутри деревянных часов, пока тянет гирька, и цепь не до конца размоталась, и вертится земля, удерживая его пока на себе. А там — *потянут за лабы*. Позавчера *выходили* нанять его за двести купонов убить слепого кота; сделать сани; зарезать кабана. Воскресенье — гостевой день, день визитов; переговоров, — бутылка у каждого. День спустя Никола сам отправился в ближайшее село под горой договариваться о шифере, о бензине, купить заодно спирта — и к вечеру не вернулся. Значит, есть надежда. Поздно поднявшись в это утро, ты увидел только глубокие следы на снегу и далеко внизу среди буковых стволов удаляющуюся валковую спину пританцовывающего медведя — мелко ступающего, опираясь на палку, — с мешком на плече.

Медведь — это тема, обращающая гуцула в ребенка.

Каждый из них не думал бы о пустяках, имей одну такую *лабу*, — и стал властелином гор. Волосы у тебя поднялись и замерзли в корнях, когда среди застолья в кругу керосиновой лампы, в мерцающей полумгле хаты Никола склонился к тебе доверительно и сказал как нечто само собой разумеющееся, но не подлежащее разглашению:

— Медвідь — то напів-людина¹.

Ударяя на последнее «а».

Каждый из них мальчиком видел медведя, и магия Хозяина вошла в него — когда нельзя бежать и можно только в острой смеси восхищения, ужаса, паралича ждать решения своей жизни. Это не то, что потом с бабой...

На истории эти их надо раскручивать. Смысла они не имеют. Они — другое.

¹ Медведь — это наполовину человек.

Вот, поднявшись на задние лапы, медведь перекидывает через упавшую *смереку* зарезанную им корову, четыре центнера веса, — в позе жима, с изяществом баскетболиста; прячет, чтоб завонялась, предварительно выпив из загривка кровь, — он сластена. Толстенный язык в пупырышках, похотливый и мелкоподвижный, — зимой сосет лапу, ломавшую коровьи хребты и стволы молодых сосен.

«То не такие, как циркусе, там, на полонине. Те — недомерки, дрибота. Тот, распрямившись, доставал бы плечами потолок». И овчары, бросившись за коровьим насильником и почти настигнув его — увидев, как он подбрасывает вверх, чтоб не обходить упавшее дерево, коровье тело, — неожиданно для себя, не стовариваясь, *зидкуют*, отходят, потому что перед лицом такой мощи пастух должен отступить.

Граненые стопки веселее ходят по кругу.

Достается пыльная подошва *пастромы*, бог знает сколько лет провисевшая на гвозде. Широким, с ладонь, гуцульским ножом ты нарежешь краснеющие на просвет, тонкие пластинки мяса — и опять наводишь разговор на медведей.

Взблескивает близко посаженными бараньими глазами и золотом челюстей молодой беспощадный господарь, им движет удивление, он переживает опять свою встречу, вся выгода которой, может, только в том, что остался жив. Волнение его в эту минуту абсолютно бескорыстно.

Кони его стали, как часы, не в силах перейти медвежий след. Вдоль румынской границы шел по *их* территории, по перепаханной полосе, медведь, неся под мышкой козу; и когда она начинала попискивать, он слегка прижимал ее, как волынку, — только наоборот, навыворот, — чтоб замолчала. Он прошел в двадцати шагах и оглянулся через плечо.

— Посмотрел. Ничего не сказал. Пошел.

И уже чокнувшись и отправив толкаться по пищеводу очередные сто грамм, ты начинаешь, туго поначалу, соображать и спрашиваешь:

— Послушай, а как он ее нес под мышкой? Волочил, что ли, что ж он — на трех лапах шел?

История уже рассказана. Он жует.

— Зачем на трех? На двух.

2. БАРАНОУБИЙЦЫ. ЖЕРТВА

Горло разболелось после четвертой ночи в обереге — на сеновале, — когда, спутав все карты полнолуния, среди ночи налетела пурга, пошла больно сечь крупой, ходить кругами от леска к леску, завывать под перевернутой чернеющей чашей небесного стадиона.

В первый вечер Никола своим телом пробил тебе отверстие в сене, бросаясь в него с размаху, ввинчиваясь, разрыхляя по сторонам, как землеройка, и утрамбовывая. Там оказалось уютно и свежо, немного пыльно, как летом. Горный воздух, особенно ночью, можно пить, как воду. Он выполаскивает легкие, как кессон продувает жилы кислородом, делая похмелья неощутимыми. Тело наутро пахнет, как высушенное на ветру белье. Ты проспал в первую ночь четырнадцать часов, до полудня, так что Никола даже начал побаиваться, не умер ли ты, но из деликатности будить не стал, только ходил вокруг, прислушивался, ждал.

В эту ночь, однако, даже стенки сенного туннеля оказались не в состоянии удержать порывов ветра. Его узкие студеные ножи, пройдя сквозь сенную труху, насквозь проникали тело огромного червя, корчащегося в коконе спального мешка, хотящего только, чтоб его оставили в покое, пытающегося уснуть, накрывшись с головой, уняв озноб, под рев пустого неба.

Под утро — нащупав в сумерках — ты попытался приложиться к фляге с родниковой водой. Она была тяжелой, но из нее не пролилось ни капли. Только потряся ею и прогнав какую-то то ли дрему, то ли оцепенение, ты сообразил, что вода в ней за ночь замерзла.

Откуда он взялся, хутор?

Проще было бы рассказать всю жизнь. Можно считать, что он был всегда и однажды ты просто сюда поднялся. Так оно, кстати, и было. Помнится, был еще друг? Да, отличный друг. Нынче таких уж не делают.

Вы поднялись — и оказались без времени. Оно стекало по склонам, прыгая по камням, скапливаясь в ущельях, у подножия гор где-то текло оно и шумело, как горная речка. Здесь же была домена пространства. Румыния, Говерла, Коломыя всорока километрах — видны были отсюда. Хребет уползал к Черному Черемошу пить воду, где далекие Куты и Вижица, как Лас-Вегас, мигали по ночам огоньками, отражаясь в бешеных водах реки. Ты задумывал тогда ночной полет на дельтаплане с китайским фонариком — над лысой грядой, чтоб, чиркнув нетопырьим крылом над газовым факелом у Черемоша, вернуться на хутор, проскользив гигантской черной тенью на склонах скал. Требовался пустяк — дельтаплан.

Двух друзей ты направил тогда на курсы, чтоб они вынесли тебе его по частям. Один из них давно уже подбивал тебя перелететь государственную границу на бензопиле, мотодельтаплане, метле, черте...

Он сел в самолет в начале «перестройки», поменял доллары по шестьдесят пять копеек и успел прислать три письма фотографий, прежде чем пропасть где-то в Калифорнии. На одной из фотографий в День независимости он поднимал американский флаг. В последнем письме говорилось, как утром по пути на работу, на бензозаправке, он потянулся, выйдя из машины, и... почувствовал себя наконец дома. Стояло три восклицательных знака.

Улетают кокосы, нью-птицы!..

Улетают, как осы, нью-птицы!..

Рокочет галька прибоя в глотках англосаксов.

Пью «сэвэнги-сэвэн» в церковном баре.

Это с ним вы как-то зарезали здесь барана.

Это был его одиннадцатый баран, не считая браконьерских каких-то темных дел и опыта мясника. А также: портного по коже, бармена, службы в спецвойсках и прочего; и все же он волновался.

Он попросил курить ему в лицо, когда он будет разделывать барана, особенно брюхо. Выпили кофе, и он тянул, хотя следовало бы сделать это пораньше, пока дети еще не встали и возились в хате, две девочки и мальчик, — заплетали косы, дурачились. Третий взрослый должен был по уговору их чем-то занять. Внезапно оставив кофе, как-то грязно заволновавшись, он сказал: «Пошли!» — и, схватив барана, принялся неловко тащить его, упирающегося, по дорожке. Затем плюнул и, бросив тебе: «Держи его за задние ноги!» — вместо мастерского удара в сердце или какого-то взмаха вдруг навалился на него боком и начал самым тривиальным образом пилить ему ножом горло — он был помешан на ножах! Изумлению, отвращению — твоему и барана — не было предела. Как выяснилось позднее, баран — нежная шестимесячная душа — умер от разрыва сердца. Когда из подвешенного за заднюю ногу к дереву, обнаженного уже, распанаханного, как чемодан, барана его чувствительный палач вывалил требуху — два перекатывающихся травяных пузыря — и вынул сердце, оно оказалось лопнувшим в двух местах, так что пальцы прошли его насквозь, будто детскую игрушку, как два рожка.

Оказалось также, что дети все видели, — вступив в заговор и не подавая виду, они наблюдали за всем из окна, оживленно обсуждая происходящее. Еще несколько дней они жалели бедного барана, с аппетитом ели его мясо, ходили по грибы и ягоды и учились бросать нож в стенку сарая.

Никола, не обмолвившись словом, выкопал зарытые вами внутренности, выполоскал во многих ведрах воды от земли и травы бараний желудок и требуху и унес на хозяйский хутор готовить нежнейшее из гуцульских лакомств.

3. ТЕОРИЯ ЗАКАТОВ

Ловить их надо, сидя в шве австрийского окопа.

Когда нет ветра, можно и на самой маковке горы, оперев складной брезентовый стульчик в закопченные камни чьего-то костра или — если напился — запуская его ногой в небеса, как биплан.

У кого не получались аэропланы, делал стулья. Тогда.

Уважения заслуживает колючая проволока первой мировой.

Австрийская отличается от русской. Две школы вязания на спицах. Австрийцы тянули ее в три нити, влетая меж ними трехгранных металлических птичек. Сто раз проржавевшая, раз попав в круг натурального хозяйства, она все не выходит из употребления. В этот раз — на подходе к хутору — заметив на уровне глаз ее заплетенные косички, ты забыл. И спросил только на третий день. Никола натянул ее по верху ограды, чтоб дикие свиньи не запрыгивали на картофельное поле.

Ловля закатов если и не искусство, то требует некоторой сноровки. Это охота, в которой можно и промахнуться. Удастся один закат из десяти. То же, что в ПТУ. Попадаются и одаренные ангелы, но большинство — бездари. У них это как бы курсовые. Или лабораторные занятия.

Надо также знать динамику заката. Все подготовительные работы, как в периферийном каком-то худкомбинате, следует пропустить. Одевшись потеплее и взяв сигареты — можно алкоголь, — следует выходить на гребень, когда солнце уже вот-вот коснется черты горизонта. Видно во все стороны, уже до самых Закарпатья, Бессарабии, Подолья. Дальние долины, села на горбах, лесистые склоны чуть поворачиваются и плавают, облитые солнечным светом, будто острова в южно-китайском море, погруженные в нежно-розовую небесную мякоть, как в мантию моллюска.

Солнце начинает тем временем втягивать в себя не израсходованные за день лучи, сгребать потихоньку пейзаж, силясь подтянуть его к той лунке, в которую собирается кануть. Контур его становится жестким и резким, как у крышки консервной банки, отражающей теперь уже чей-то заемный, не свой свет. Напротив, начинает светиться небо, проявляя себя в глубину до дна, до последних подробных и незначущих деталей.

Каждое дерево, как на препаратном столике под микроскопом, можно будет увидеть теперь на верхушке той горы, за которую сядет солнце, — мельчайше прорезанной ресничной тенью на его фоне. Полминуты — и кругозор сомкнулся. Терпение. Это все ерунда. Главное начнется через две-три минуты, и здесь уже нельзя будет зевать.

Первый мазок реагента, широкой кистью, — и над линией горизонта проявляется, всплывает подводный — воздушный — флот облаков. Их веретенообразные, сизые на палевом тела стоят, как дирижабли на приколе, над погружившейся на дно местностью. Некоторые склоны еще светятся — светом, что будто исходит из самой земли, от корневищ; но тени наступают. Еще несколько всхлипов — и земле остается только наблюдать, что будет делаться на небе.

Удары кистью следуют один за другим. Облака на горизонте раскаляются, как сера, а в небе начинают самовоспламеняться все новые, до сих пор не видимые объекты. Небо оказывается во всех уровнях заселено движущейся облачной субстанцией, идущей косяком, меняющей очертания, — цвет плывет, и оттенки его меняются ежесекундно. Фронт холодного огня движется прямо на тебя, обрываясь где-то над головой.

И вот — апофеоз — вполне повисает грандиозный роскошный занавес высушенных табачных листьев, устилающих дно ручья, — связки и гроздьи, рылые кучи чуть шевелятся в струях течения. Их коричневый, охристый, ржавый цвет настолько съедобен, что ты начинаешь чувствовать неожиданно всю свою трубуху с затерявшимся в ней, как в водорослях, сердцем.

Здесь нужно повернуться и уйти. Закат должен быть убит, как слепой кот — Николой, в самый неожиданный и вместе подходящий момент. Потому что финал заката всегда, я повторяю — в с е г д а позорен, всегда выдержан в

плакатно-гвардейских тонах. Где-то тлеет кинохроникальная окалина, стынет шлак около продырявленной летки соцреализма. Всплывает обман, серая замасленная ветошь, очесы шерсти, расплзающееся рядно, на которое проецировались слайды, изготовленные в небесных студиях. Ключья облаков, оторванные ветром, рассыпаются.

С ушами, полными ветра, — домой.

Небо пустеет. Ветер стихает. Издали идет шум нового, ночного.

Далеко внизу его передают из рук в руки раскачивающиеся верхушки деревьев, поднимая его в гору.

Надо переждать полчаса муторных сумерек — и приступать пить.

Кот в хозяйстве имеет приоритет перед псом. Ему — вылизывать консервные банки. Псу греметь цепью на помосте на сваях, гадить с его края, тыкаться мордой в котелок, во вмержшие в лед соленые огурцы и картофельные очистки. Коту проделано отверстие под дверь. Он должен ловить мышей, чтоб уберечь зимние припасы хозяина — картофель под полом, кукурузную муку в мешках, сахар в изголовье — и пустой тоскливой ночью согреть сердце одинокого старика, готовящегося дотрясти свои дни и уйти под землю.

Однако Никола пережил своего кота. Кошку. У нее появилась какая-то болячка на ухе. Кто-то сказал, что это может быть заразно. Один глаз у нее затек кровью. Она ходила в долину искать смерти. И, не найдя ее, вернулась к вечеру второго дня. Никола рубил дрова. Он пожалел ее и, схватив без всякого перехода дубину, которую намеревался было разрубить, двумя ударами сломал кошке хребет и разможил голову. Затем похоронил.

Сейчас у него толстопятый котенок — тоже кошечка, — который скорее всего переживет его и который, просидев всю ночь в изголовье хозяина, уже поймал свою первую мышь.

4. ЛИТЕРАТУРНАЯ МАШИНА И САМОКРУТКИ

Уже можно сравнивать две империи, когда-то докатывавшиеся до этих гор. Это как прогулка по отмели в отлив. Какой-то австро-венгерский хлам: кирпичи с клеймами, бутылки, мотки ржавой проволоки, фаянсовые ручки от комода с бледно-голубыми надписями, виадуки на Днестре и быки мостов, заостренные в сторону ледохода, крыша львовского вокзала, поросшие травой узкоколейки в лесу, дороги, прорубленные в скальной породе, ведущие к заброшенным карьерам, кафельные печи и бронзовые краники — самые долговечные из всего. То была законченная и надежная маткультура, от которой остались только разрозненные предметы.

От большевиков остались одни названия, одни априорные формы в сознании. Материальная культура их ничтожна, она вся слеплена из самана, из необожженной глины. На деле советская империя была лишь колоссальная литературная машина, порождавшей сюжеты. И это трудно переоценить. Все сюжеты были известны и каталогизированы к моменту написания «Тысячи и одной ночи». Не знал этого только тот, кто не хотел знать того, что находится с самого рождения внутри лабиринта.

Слепой дворцовый павлин Борхес слонялся по бесконечным коридорам этого макета ада, выстраивая в своем бессонном воображении ярусы вавилонской библиотеки, прислоняясь в изнеможении к сырým стенам, покрытым конденсатом, прислушиваясь, не пробился ли где родник смерти.

Советы сумели породить кодекс новых небывалых сюжетов — немислимых, абсурдных, освежающих. Дано это им было лишь в силу того, что они не любили, не доверяли, презирали материю, считаясь с ее требованиями лишь в минимально необходимой степени — чтоб не улететь в космос или не провалиться сквозь землю немедленно.

Трудно было не понять этого, один раз увидев — в который уж раз, — как студенты Политехнического весной красят зеленой краской ограду своего института. Стоя через каждые два метра, бойко мажут поверх весенней грязи свежей масляной краской, обильно кадая ею на паразет. Кое-где многолетние

слои краски облущились до самой сердцевины, и было видно, что под наросшей за полвека чешуей давно нет проволоки, металл давно проржавел и сгнил и что вся эта пустотелая изгородь не что иное, как декорация, исполненная в технике папье-маше из краски и грязи. И дело не в студентах и, вероятно, даже не в Советах. Похоже, восточные славяне на самом деле не любят материю и, в лучшем случае, только терпят ее. Материя здесь — плохая изоляция. Без конца искрит, пахнет паленым, дымится. Люди бьются, как стаканы.

В Карпатах внизу — то же самое. И только там, где время остановилось, вещи еще что-то значат и исправно служат своему изготовителю — своему господину.

Никогда не знаешь, приехав сюда с человеком, которого знаешь давно, есть ли у него дно и на какой глубине. Чаще всего раздается тенькающий звук пустого жестяного бидона, в который попал камешек. Этих надо оставить в покое, вернуть их при первой возможности в город, откуда они были взяты. Они слоняются по хутору с невысказанным вопросом в глазах: а что мы сейчас будем делать? Искрящееся лукавство этого вопроса постепенно убывает, но они так до конца и не могут поверить, что жизнь здесь — это и все. Самый глубокий из них, имеющий смелость испытывать идеи в их одиночестве, прослонявшись здесь два дня и облазив на третий день все подклети, мастерские и кладовые хозяйства, сказал — о р ф о г р а ф и ч е с к и окая, как всегда говорил, будучи удовлетворен достигнутой точностью формулировки, — что увидел наконец здесь воочию и убедился окончательно в том, что всегда утверждал: в «ничтожестве сОвременнОй цивилизации». Вопрос был закрыт. Он засобирался домой.

Иногда кажется, что людям здесь не надо ничего от окружающего их большого мира, кроме батареек, — да и без тех они могут обойтись. Когда Никола был молод, у него была мечта о бинокле, чтоб, сидя на горе, быть в курсе событий в мире: что завезли в сельский магазин внизу, кого хоронят, кто идет издалека, что это такое там чернеется и в какой стороне искать пропавшую овцу. Желание исполнилось, но десятый год уж бинокль пылится на гвозде рядом с подзорной трубой в перевязанной торбочке, разобранной детьми до последних линз, винтиков и пустотелых трубочек.

Последней сенсацией здесь была твоя бельгийская машинка для самокруток. Люди издалека приходили посмотреть на нее. Поллитровая банка гуцульского самосада стояла на косовском рынке этой осенью сотню купонов. Там же продавалась нарезанная папиросная бумага для козьих ножек. Грубыми, только на вид неповоротливыми пальцами они уважительно трогали деликатные бельгийские валики. Недоверие сменялось азартом, бесхитростным восторгом перед жуликоватым хитроумием человеческого гения. Появление аккуратной фирменной самокрутки — разлегшейся на малиновом ложе валютной крутосамочки — вызывало бы овацию, если бы они умели извлечь аплодисменты из своих ладоней. Выступлениями ты мог бы зарабатывать на стакан самогона и обед, если не на жизнь, — выступая как бродячий артист с карманной шарманкой. Пока кто-то из них сам не вырежет, не склепает и не склеит такую же, и то же самое не станут делать во всех гуцульских хатах и продавать оптом и в розницу до тех пор, пока новинка сезона народных промыслов не вытеснит с рынка автомобильные массажные *седушки* из точеных буковых кругляшей, как те в свою очередь вытеснили в свое время деревянные шариковые ручки, и пока не будет изобретено и завезено сюда — немцем, жидом или москалем — что-то столь же новое и ходовое.

5. ОВЦЫ И НЫРКИ

С первого дня ты оказываешься здесь под наблюдением. Небольшое стадо овец, кажется, следует за тобой неотступно. Ты натыкаешься на них, куда бы ни шел. Каждый раз они уже оказываются там, куда ты только направляешься. Они не назойливы. Они только глядят. Когда ты идешь прямо на них, это

повергает их в панику (может, деланную). Они позорно бегут, падая и перепрыгивая друг через друга, но останавливаются в десяти шагах такой же тесной группой и продолжают наблюдать. Когда ты покидаешь хутор, они без сожаления глядят вслед, будто хор, которому известен сюжет, — они знают, что ты вернешься. Когда возвращаешься, первое, что видишь, это поднявшиеся над ближайшим горбом обращенные к тебе бараньи лица. Они не мигают и не отводят взгляд. Если бы ты умел смотреть так же — неизвестно, чем бы это кончилось. Часть из них при этом не перестает жевать, чего сами за собой они, вероятно, уже не замечают. Это самый холодный и ровный интерес, которому ты когда-либо подвергался. Так могла бы глядеть одна параллельная линия на другую, если бы у математических величин вдруг начала самозарождаться психика. Овец около дюжины. Именно: около. Потому что точному счету они не поддаются. Их всегда на одну больше или меньше. Как и тех нырков в Мертвой бухте у Коктебеля.

Часами пролеживал ты на высоком берегу, пытаясь — как наблюдатель ООН — сосчитать их. Но поскольку они периодически исчезали, примерно на минуту, с поверхности воды и проплывали под водой бог знает сколько, это оказывалось непосильной задачей. Ты не мог даже сказать, та ли это уточка вынырнула в данный момент в полусотне метров от того места, где нырнула, или какая-то другая. Может, наверху их покачивалось вообще меньше трети общего числа, ведущего интенсивную и скрытую жизнь в недрах бухты. Кувыркаясь по очереди, но без всякого при этом порядка, показывая тебе напоследок пернатый анус, они просто издевались над тобой, сами того не ведая. Когда ты совсем уж напрягся, будто гроссмейстер в сеансе одновременной игры, и посчитал их даже с запасом, то через минуту оказалось, что их держится теперь на воде ровно на две штуки больше и всплывают еще, а половина сосчитанных тут же нырнула.

Овцы все же статичнее. Когда они становятся в фас, то сами похожи на пастухов в бурках. Может, что-то значат эти их перестроения, звучащие как шифровки: 4-2-4, 3-3-5, 6-3-2?

Кучки недоуменных отточий — жирные телеграфные знаки овечьей морзянки — оставляют они на траве рядом с твоими окурками.

Да. Ты — под колпаком.

Одна молоденькая кареглазая дурочка перестала тебя через несколько дней бояться. То есть, преодолевая страх, остается стоять на месте, когда остальные, сшибая друг друга, бестолково бросаются в разные стороны. По своему она красива — с нежно-розовой переносицей и тонкорунными кудряшками вокруг морды. И, кажется, она уже догадывается об этом. Копытца ее в глине. Овца.

6. УКРАИНА СНОВ

На второй день, когда ты выбрался со своего детского места в обереге, с веками, склеившимися от материнского молока, шел дождь и на траве лежали *смаркли* ночного снега.

Ближняя роща стояла в тумане, как в мутном проявителе, — чернели только намокшие стволы. Шум достигающего земли дождя сливался в общий шорох, и только ближние, срывающиеся с края крыши капли слегка интонировали этот однообразный шум. Задевающий за верхушки деревьев ветер добавлял иногда к этим звукам скрип стволов. Здесь у всех остеохондроз.

Овцы бреют склон. Пастухи стригут овец. Пастухов косит остеохондроз. Руки мерзнут.

Вова забегал по помосту, стуча когтями и поскуливая, заглядывая в глаза.

Прежний был — Вова. И этот — Вова. Просидит свой век на цепи.

Окончательно отряхиваясь от сна, ты зацепляешь еще краешек сновидения.

Сколько такта у этих *мар!* — будучи разгаданными, они немедленно теряют силу и тают, расчищая место для следующей попытки. Только это. Крестить их бесполезно. Когда без веры, они не боятся.

Да ты никогда этого и не делал.

На следующую ночь их будет больше. А в третью — оборотни отступят и придут заботы; оставленный город возьмет за горло и не даст спать до утра. Какой-то закон третьей ночи. Если только не устал смертельно. Что не всегда удается. Украина снов.

Но даже в самых жестоких кошмарах есть все же некоторая сладость. Когда не хочется больше просыпаться. Когда можно отдохнуть от материи. Хуже бессонная дрема, безвольное тупое воображение, нудящее выполнять рутинную работу — убирать со стола чашки с грязными блюдцами, бесконечно долго наполнять из носика чайника огромный сварной бак, подметать заставленную мебелью воображаемую комнату.

Чашки — на пол, столопрокинуть! Бак взорвать, комнату сграбастать, как бумажный лист, скомкать и бросить в угол. Вот тебе!

Терпеть. Лежать и думать: «Какое счастье, что все это когда-нибудь кончится!..»

Умыться. Нарубить дров. Растопить печь. Сначала — кофе.

7. О ЛЕВИТАЦИИ И ТРАНЗИСТОРНЫХ ЧЕЛОВЕЧКАХ

Столбик говна подрост. В союзе с крепчающим морозцем ты выращивал какое-то подобие страза — или шпилья. Становилось ясно, что в этот раз им будет определяться срок твоего пребывания на хуторе. Когда игла его достигнет очка, у тебя не будет другого выхода, кроме как сложить вещи и спускаться надорогу. Ты же не такой засранец, чтобы нарушить палкой готику предопределения.

Место на крутом склоне, где Никола срубил для приезжих сортир, проявляло странную активность. Какая-то чакра горы выходила в этом месте на поверхность. Каждому был свой знак. Не один входящий в силу русский пишущий человек выходил оттуда со следами потрясения, — и некоторое время избегал разговоров. Прозаику сортир устраивал демонстрацию левитации, когда бумага, отправляемая в очко, упорно возвращалась и стояла, подрагивая, в метре над только что покинутым насестом, — и никакими пассами невозможно было загнать ее назад. Поэту — что-то другое. Страшное место.

Пока гости не перестали сюда ездить.

Никола попросил тебя вырезать с утра стекла в готовую уже раму. В хате пахло стружкой. Стол был расчищен, и на него легла вынутая из-под столешницы газета пятьдесят девятого года. Мелькала из-под стекла фамилия Хрущев, какие-то странные, будто нарочные заголовки.

Скороговоркой — как над могилой — прозудел свою комариную песенку стеклорез. Хрустнуло стекло. Никола подобрал стамеской какой-то заусенец от сучка. Он казался довольным. Жене — урок. Обойдется он ей в *магарыч*. Быстро собравшись, накинув ватник и шапку с опущенными ушами, а раму на ремне закинув за спину, он заспешил в гости к жене. Через четверть часа его черепашья фигура с палкой, отражая застекленной спиной низко нависшее небо, возникла на гребне соседней горы и быстро скрылась за ней.

Ты мог наконец заняться своим текстом, лежащим в воображении, как спящий красавец. Прежде следовало дать отсохнуть заботам — как пьивкам, дать напиться из тебя до отвала и отпасть, затем — вернуть силу восприимчивости, разогреться и размягчиться, чтоб, как воск в нагретой воде, подниматься в ней и опускаться вместе с текстом. На это уйдет несколько дней. И все же — вот сеновал, вот ручка в мерзнущих пальцах, вот тучи, едва пропускающие рыхлый серый свет, достаточный все же для того, чтоб различать буквы, выходящие из-под руки; одиночество, взятое в самом пронзительном своем регистре — единственности и смертности всего, что живо.

К ночи Никола принес самогон. С ним пришел зять. Мускулы его окаменели в считанные годы от тяжелой работы, отчего жесты сделались

резкими, рублеными, а тело подолгу застывало в одной позе, с усилием каждый раз меняя свое положение.

Печка раскочегарилась в одну минуту, наполнив из своего зева выстуженную хату смыслом жилья, забулькала в котелке *бараболя*, заходили по потолку и стенам тени. Соорудив из темнеющего перекрестия оконной рамы и доньшка стакана пулеметный прицел, ты открываешь огонь. Очередь, еще очередь. Наступление мрака захлебывается. Промозглая тьма на время залегла, но не отступила. Убитых нет. Раненых тоже. Условный противник неуязвим. Похоже, он непобедим до рассвета.

Когда стол заставлен уже нарезанной золотистой *кулешей*, дымящимся картофелем, миской осклизлой прошлогодней брынзы и, наконец, глубокой трехногой жаровней со шкварками, пока разливается из литровой банки самогон по стаканам — ты, покрутив колесико, включаешь вполголоса русскую культурную передачку из Нью-Йорка. Дело сделано: из транзистора выпрыгивает бесенок — пляшущий человек, лукавый московский игрософ, — и, подметая хвостом стол, снует между посудой, отчубучивая коленца заученного культурологического танца, показывая язык и поднимая на столе метель известным всем чертям способом — выглядывая у себя меж ног и загибая что ни попало всеми четырьмя конечностями. Никола с зятем продолжали говорить о чем-то своем, странным образом не замечая его проделок, выпивая и закусывая. Ты тоже не забывал делать ни того, ни другого, оказавшись между тем в каком-то сдвинутом измерении, точнее, между двумя измерениями, как человек, застрявший в стенке, — остро испытывая комизм своего положения и наслаждаясь им в одиночку. Разделить его было не с кем.

Дело в том, что москвич был твоим приятелем, и ты издавна с интересом следил за его — всегда грустными — веселыми выдумками. Это было довольно странное застолье, в одной из самых причудливых компаний, которые когда-либо собирались за одним столом — не встречаясь и даже не зная друг друга.

8. КИНОКЕФАЛ

Коцит придумать мог только южанин — и упереть в него воронку ада. Итальянец. Сочинитель.

Луна уже оторвалась от сосен и стояла над горой как просвеченный кусок льда. Невидимая сила тянула ее в зенит — не отпускала. Все это имело какое-то странное отношение к твоему сердцу.

Со спальником через плечо ты спустился к сеновалу. В сторонке отлил. Уже готовясь ступить на мосток, ведущий под крышу оберега, еще раз обернулся — взглянул на залитую луной седловину горы, нависшей над оберегом. Песиголовца не было. Какое-то неодолимое суеверие — во взрослом человеке несерьезное — побуждало тебя ждать, каждый раз как стемнеет, его появления на склоне ближайшей горы.

Выросший на фоне неба трех- или пятиметровый кинокефал — без шеи, с какой-то ношей на плече — должен был гнать тебя быстрым шагом, отсекая от хутора, по крутому пепельному склону в сторону темнеющего внизу леса. Широкой волной оттуда поднимался запах хвоя. Кажется, это был сосняк.

И дело не в том, что этой ночью он опять не пришел, а в том, что сегодня ты опять был позорно не готов к смерти.

Кто-то прыгал и возился на сеновале до рассвета так, что тряслись перекрытия, затихая, только когда зажигался фонарик. Судя по всему, это мог быть большой кот. Может, бродячий. Под утро он ушел.

Когда-то сюда поднималась из долины крыса и сожрала двух *кошеваков* — биноклевидных пушистых зверьков с человекоподобными черномазыми ручками. Она перепортила Никола половину припасов, пока он не выловил ее специально сделанной крысоловкой собственной конструкции. «Оказалась здоровая, — рассказывал Никола всем, — как трехлитровая банка».

В эту ночь ты проспал только двенадцать часов, переваливаясь из сна в сон как из ямы в яму. О друзьях, обступивших тебя, как больного, и просивших, чтоб ты этого больше не делал; о коте, говорившем: «Папочка, родненький...» — и потянувшемся было вытянутыми в трубочку губами к твоей шее; об одной женщине с накрашенными глазами, умершей семь лет назад и разгаданной во сне без лишних разговоров, с ходу; о спине медведя, лакомявшегося девичьим срамом, — надорванным и быстро заклеенным языком, как конверт...

Приснится же, Господи, тьфу!..

9. КОСТЕР И ФОНАРИК

Будь осторожнее, когда тебе начинают дарить ножи, — это значит, что вскоре ты останешься совсем один.

...Почему она сказала пятнадцать лет назад, что он тебя выдаст? Откуда знала? Все ведь началось не так давно, когда у тебя начало что-то складываться. Тогда из него ушел какой-то цвет.

Неужели «жаба» — неужели все так просто? И столько раз Хекматияр будет входить в Кабул, сколько раз — до скончания веков — ему представится возможность сделать это?

Апофат и катафат.

Он ведь всегда старался жить заподлицо, не быть никому ничего должным; авансы, которые ты предпочитал всем другим формам выплат, — ненавидел. Жизнь каждого из них — *процесс*, но это ничего не значит, кровь ведь только условие, одно из. И жизнь без иудея, как хлеб без дырок.

Все это не больше чем случайность.

Но почему все, что было благом, стало горько?

Уйдя с поверхности жизни, чтоб не отбрасывать тени, сделаться неуязвимым, он все глубже, казалось, ввинчивался в свой конфликт. Какое странное одеревенение имело это своим результатом: шуруп, стиснутый деревянным костюмом. С какой страстью на благою весть: «Ты — свободен!» — выкрикивались им слова Закона:

— Я НЕ свободен!..

Сейчас оттуда идут уже только те слова, которые говорились когда-то. Жизнь, похоже, действительно перевернула страницу. Отпусти ее. Слово «мы», еще несколько слов — остались на той ее стороне.

Несколько лет назад на подъеме с дороги ржавел шалашик, сделанный твоим другом для ваших рюкзаков. Вы здесь жили когда-то на берегу лесного ручья. Ходило тогда такое смешное рафинированное поветрие — искать свободу в органике. То было время качественных иллюзий.

Он написал тогда замечательный текст, отмеченный благородной старомодностью.

Ты уже тогда любил готовить. Его страстью были костры, поддержание огня. Полночи он мог простоять над тлеющим костром, опираясь локтями на длинную палку как на пастуший посох. Ровное тепло исходило от угольев. Текучие пятна жара безостановочно перебегали по растрескавшимся головешкам, как магические надписи, — вспыхивали и гасли, завораживая взгляд. Перемигивалось в небе немислимое количество звезд, какое можно увидеть только в горах — или из глубины пещеры.

И был один момент. Одна легкомысленная сакральная игра, все остранившая, навязчиво повторяющаяся. Время от времени один из вас включал фонарик, направляя его луч в костер, — и мир вдруг выворачивался: живое, только что дышавшее над головой небо будто задерживалось какой-то мутной, едва проницаемой пленкой, а секунду назад мерцавшие уголья оказывались просто кучей сероватой золы, чуть шевелящегося жирного пепла.

10. БАННЫЙ ДЕНЬ. НЕЧИСТЫЕ МЫСЛИ

Третий день выдался сухим. Проглянуло солнце. Ветер расчистил небо от облаков. Откуда-то взялись мотыльки, мошки и уже порхают на припеке, ослабленные по осени, обманутые, умственно отсталые. Присаживаются на выстиранную и высушенную ветошь луга как на краешек заправленной больничной койки. Ничего не понимают. Ты тоже ничего не хочешь понимать. Да что тут понимать?!

Солнце. Тепло. Банный день.

Натаскать воды из колоды с родниковой водой, нагреть в печи ведро, поставить таз на табуретку, во второй, жестяной, встать, вымыть голову шампунем в корень, надраить кожу шершавой перчаткой, побриться перед крошечным зеркальцем на подоконнике и затем, сидя на лавке перед хатой, прислонившись спиной к забору, позволить ветру шевелить легкие вымытые волосы, солнцу — греть, самому — курить, готовить кофе на взятом зачем-то примусе — пусть хоть раз послужит, — выпить чарку, переговариваясь с Вовой, у которого от колбасных копченых шкурок поехала крыша — пропал голос и светло челюсти, — и только какой-то тихенький, похожий на скулеж любовный стон выходит из его утробы; он любит тебя сейчас так, как никто никого никогда в жизни не любил.

Раз-два-вратил пса.

Внизу оставил эти мелкие бездны.

Бесхитростно расставленные ловчие ямы.

Уложил человечка в паху, циклопа, придурка, тыкавшегося вытекшим глазом в слепой же сосок, — по перископам подается в этих телах зрение.

Блудильник в штанах.

Сперма, злая с похмелья, как пищеварительный сок.

Ее оргазм, перекатывающийся и посяльзывающийся в женском сале.

Когда-то здесь, на склоне, овладел ею, как свинопас, — придерживая за заплетенную косу как за выведенный наружу позвоночник.

М. — поводырь Ж.

Отличающийся от Ж., может, тем, что не знает, чего на самом деле хочет.

11. КАРТЫ

Карты возникают здесь естественно.

Это было, когда еще все почти были друзьями. Тогда и врагов не было.

Втроем вы как-то поднялись сюда с лыжами на Рождество.

Солнце, лужи в Коломые — смешно. В поезде сожрали чью-то утку и выпили с попутчиком бездну самогона. Поднялись в дупель пьяные. Лыжи забросили подальше.

Через день вас пригласили на соседний хутор в трех километрах на всю рождественскую ночь — скальное сельцо на сваях, пять дворов. Обещали вертеп, но дети перепились еще в нижних хатах, повалил ночью снег — и в гору они не поднялись. Вы прослонялись по новой деревянной хате, по студеным гулким комнатам, обшитым, как каюты, от стен до потолка свежеструганными досками и одуренно пахнувшим сосной, и, отвалившись от стола, уселись под утро писать пулю. Ненавидимый преферанс ты попытался скрасить одним условием — каждый мизер, сыгранный или несыгранный, должен был *post factum* отмечаться игроками стопкой самогона. Сыграно оказалось одиннадцать мизеров. Шла карта. За ночь навалило полметра легчайшего, как ангельский пух, снега. Пробылось солнце.

Уже к обеду вы выбрались домой. Ты забыл *карбидку*, фонарик — и, оставив друзей на верху циклопической скалы, вынужден был вернуться. Хата была уже пуста. Хозяин перебрался в старую. Там ты его и нашел. Это было крошечное строение, размером с будку станционного смотрителя, стрелочника. В узенькой, в одно окно, комнатке помещались только две железные кровати и зажатый ими так, что некуда было поставить ноги, столик, застеленный газетой с засохшими хлебными крошками. Хозяин, похожий —

иногда до полной иллюзии — на небритого Высоцкого, сходил за *карбидкой* и прихватил еще бутылку картофельного самогона. Вы по-деловому выпили ее в пять минут, сидя напротив друг друга на железных койках и бросая по очереди взгляд сквозь мутное стекло на нестерпимой, невиданной красоты пейзаж — заснеженный и залитый солнцем, обрывающийся прямо под оконцем излог с глубокими тенями, густым сосновым лесом на противоположном, почти вертикальном склоне и пробивающимся по дну его в каменном ложе — потоком.

«Надоели мне эти горбы», — сказал хозяин и сплюнул на пол. Уже на пороге, заглянув в глаза, он попросил привезти в следующий раз круглых батареек. «Я заплачу», — сказал он.

Со скалы махали тебе, пританцовывая на снегу, друзья.
Ты бегом покарбался вверх.

Карбидка — фонарик. Шиповник — *свербивус*.

Афыны — черника. *Питы в Афыны*.

Гас — керосин. Подосиновики — *kozyри*.

Целебны: *дзиндзюра*, *змиевон*, *пидойма*.

Тэлэнка — то же, что *фуяра*.

У Николы выпали зубы, и больше на *фуяре* он не играет, звук не выходит. «Пішлы», — говорит он про зубы и показывает рукой — куда.

Когда-то — так давно, что он уж не помнит, — у него было свадебное путешествие на гору Поп Иван, на руины австрийской обсерватории, где он прожил со своей женой три дня...

Через несколько лет тебя опять пригласят на этот хутор. Николин зять вынесет из хаты на руках хозяина — своего отца — и посадит на коня, чтоб ты шелкнул его своей «мыльницей» на шнурке. Сам хозяин уже не ходит. Его скосил остеохондроз, заработанный на полонине, куда, иногда в метель, проваливаясь по грудь в снегу, он перегонял вместе с колхозными и своих полсотни овец и где в летние месяцы зарабатывал до трехсот рублей в месяц.

Мебельный гарнитур в Косове стоил этой осенью миллион.

Шинкуется в бочки время.

Кислотна его квашеная капуста.

Рассол. Россия. Остеохондроз.

Раз в году, в ясную рождественскую ночь, отсюда, с хутора, становится видно аж за Днепр и до самой почти что Диканьки, где по плохо освещенным просторам Украины поезда бегают, как тараканы.

12. НОЧЬ

Вот и пришла твоя ночь. Готовься. Плачь.

Твое психическое устройство оказалось не сложнее батарейки.

Будто кто-то включил лампочку в комнате, в которой ты прожил втемную сорок лет и где знал все на ощупь, — зажегся свет, и все знакомые наизусть предметы обстановки, поскрипывающие половицы, потолок и стены — все предстало вдруг воочию, сразу и целиком, в подлинном своем масштабе и соотношениях, когда в четвертом часу ночи ты сел вдруг со сна как столбик на своей лежанке, ослепленный безжалостной вспышкой, будто электродом прорезавшей в мягкой тьме контуры теней, столпившихся в изголовье, обступивших твою больничную койку, как анатомический стол.

Слезы брызнули из глаз еще прежде, чем пришли слова, чем ты что-либо понял. Вот он, прочертивший тьму блуждающий график температурной кривой, занесшей тебя на эту гору.

Как все вопиюще, чудовищно, у н и з и т е л ь н о просто и как неотменимо. Тебя просто в детстве н е д о л ю б и л и!

Не просто — это было до такой степени перед глазами всегда — привычно, естественно и откровенно, что зрением не воспринималось, как не принимаются в расчет веки, открывающие и закрывающие глаза.

Они уехали куда-то в Сибирь, на целину, на обратную сторону Луны — к чертовой бабушке! — они же бросили тебя!

Вот откуда, как напасть, эта память раннего детства. Ты очнулся от травмы посреди чужих людей: приживалки, которая не была твоей матерью — тебя не рожала, — и бабки, неряшливой, оплывшей католички с четками, родильной машины, безмерно уставшей от собственной дюжины детей, войн и голода, голода и войн. Ну он — юнец, сталинист, испытывающий тела и идеи; мужчина; строитель, наконец, которому сам Бог велел; ну любила его; но как она могла, как посмела?! Когда от трех до четырех ты мягок, как воск, весь налитан еще молоком, будто початок молочно-восковой спелости, и когда только начинает выстаиваться в глубину близлежащий мир — эти пустоты, этот укус, этот привкус серебряной ложки во рту, — это тогда ты догадался, что заражен смертью, что это неизлечимо, что умрут все, да; и двадцать пять лет спустя полез в свою память, как в проводку голыми пальцами, потому что не находил уже места от отвращения. Что-то подкрутил там и что-то сделал — все зная и ничего не понимая. И жил еще до сорока. И родил сына, чтоб что-то понять.

Ничего, может, не изменилось бы по большому счету.

Но, может, не было бы так трудно, не проваливался бы по колено, по пояс, по верхнюю губу в том месте, где другие проходят посуху, по досточкам, ничего не замечая. «Отлично у тебя вчера посидели!» А у тебя будто собачья морда на шее, продольными колодками сдавлен мозг, некуда бежать. Терпеть и ждать. Убил бы гада!..

Анестезия семьи. Как заклинание: домой! Но нет дома во вселенной. Приюты. Ночлеги. Затерянный в горах хутор. Ночь.

Надрыва нет тоже. Дети ведь не озлобляются — совсем другое.

В них что-то как бы подмораживается, какое-то странное бесчувствие, какой-то кусок льда в груди, который не мешаает, он неощутим, и только когда тает и выходит со слезами — больно. Иногда и не выходит. Он ведь не мешает. Почти.

А до того, будто светится в голове у него лампочка, аж из глаз сыплется, он создан для радости и на радость людям — деревянный мальчишка, дурилка картонная, кувыркала. Перед сном:

«Папа, успокой меня, а то сам я не могу успокоиться...»

«Не топчись по лужам!» — «Ну мне топчется и топчется».

Как просто все. Когда уходит порыв, видно становится с одного взгляда — кто под током, а кто отключен.

Варяги приходили и ушли. Бог где-то ждет.

Все неотменимо. Старики уже. Ты давно их простил. Да и вряд ли бы поняли. Для этого надо иметь специфический ранний опыт. Когда-то в детстве.

Пусть даже цена ему — копейка.

А тогда в Никополе, лет сорок назад, ты забирался в угольный ящик во дворе и, сделав из алюминиевой проволоки винт и просунув его в зазор между досками, упрямо крутил целыми днями — чтобы улететь.

Потом за тобой приехал забирать в Сибирь — папка. Есть.

Что же сказать ему? Как самое дорогое, чем втайне ты гордился, ты сказал небрежно, что со своими друзьями вы добрасываете заточенные круглые жестянки до самых до высоковольтных проводов. Он сказал, что надрал бы тебе уши и твоим друзьям тоже, и сделает это, если увидит.

Вот и вся история. Государственник.

И что бы потом они ни делали. Пока не стали твоими детьми.

Бывало, впрочем. Самое острое однажды в Славянске. Когда он приехал летом ночным поездом и проговорил всю ночь до утра с дедом и бабкой — молодой, веселый, свободный и сильный; ты же не спал на веранде до рассвета, ловя шум голосов, бестолковую энергию каких-то рассказов и суждений, звяканье чайных ложечек, — абсолютно счастливый, умиротворенный, онемевший совершенно от любви, и, если бы знал, что можно плакать, плакал бы.

13. ФИШКИ НА СКЛОНЕ

Никола появился наутро уставший, обошедший в поисках стоворчивого шофера три села, — через неделю ему так пообещали вывезти на гору шифер, если будет бензин. Под фуфайкой у него оказался литр купленного по твоей просьбе *шпирта*.

Он полез в колоду, наполненную родниковой водой, и со дна ее достал трехлитровую, под полиэтиленовой крышкой банку засоленного с весны мяса. Зять его, как выяснилось, выгнал собственной горилки и заказал на вечер шашлыки. И пока ты отмачивал мясо и резал лук, Никола уселся перед печкой заряжать пятиствольную мышеловку, тремя целыми пальцами ловко устанавливая подпружиненные сторожки стальных петель, щедро засыпая муку, как порох, на дно цилиндрических отверстий. По пять хвостов зараз свисало из этого выдолбленного чурбака в удачные дни.

За любовь к *дзегарничкам* заплатил Никола когда-то пальцами. Какая-то из отступающих армий подкинула на поле боя на погибель вражеским курильщикам миниатюрную мину-*дзегарничку* — мундштук со свисающим из загубника обрывком нитки. На беду подобрал ее обрадованный пацан-пастух.

Пальцы, повисшие на обрывках кожи, Никола отрубил и, скуля, не сказав ничего матери, забрался на печку — эту, под которой сидит.

Голова и печка уцелели. С тех пор, играя на *фуяре*, он затыкал обрубком пальца одно ухо, чтоб не сквозила лопнувшая барабанная перепонка — не мешала слышать звук.

Подковырнув топором половицу, Никола задвинул мышеловку в подполье на кучу картофеля, поиграл на ходу с котенком и полез на лежанку отдохнуть. Он лег на бок, подложив руки под щеку, и брюхо его косо свесилось, словно один из тех мешков, что стояли в ногах на припечке. Он забылся и тяжело вздыхал во сне.

Что снится старому человеку?

Утечка сил, сахара, муки из продырявленного мешка, расточение рода — одни дочери у всех трех братьев, не дал Бог сына: один жил два дня, второго жена выронила на траву семимесячным; *пензия*, *секерация* на сорвавшемся с обрыва бычка, спящий медведь в малиннике, *любацьки*, а вот уже подбираются к *лабам* — тянуть собираются куда-то под землю...

Никола схватывается, охает, перекадывается на другой бок.

Ты выходишь на гору покурить, подышать.

Небо обложено, словно горло, сырой влагой. Пахнет холодным паром, как в прачечной. Ползут клубы тумана. Ты ложишься грудью на гладкую, отполированную, как кость, перекладину забора. Поднимаешь воротник. Далеко внизу прорывает сплошную пелену тумана вздувшийся холм, будто остров, с равнобедренным треугольником кладбищенской посадки. Сверху он хорошо виден. Кто-то ударяет в тумане несколько раз в церковный колокол. Звон получается неожиданно не глухой, а дребезжащий какой-то, лязгающий, будто бьют корабельные склянки. Тревожный звук их далеко разносится по извилистой долине, стиснутой горными грядками.

Шашлык — это метрический рифмованный счет еды, это нанизывание историй тысячи одной ночи, это горы, уходящие, загибающиеся позвонками к Мюнхену, это историческая родина и формула кухни кочевий. Залез человек в горы или вылутился там, где лупилась и пучилась земля. — где-то поблизости? «Пустое», — говорят гуцулы обо всем, что бесполезно.

В сорок пятом Николу посадили в теплушку и отвезли в Харьков — восстанавливать оборонный завод. Он увидел огромный, разворошенный войной мир. И мир смял его. Жить, впрочем, оказалось можно везде. Ему вынесли из цеха изготовленную для него за *магарыч* железную лапу — а за это могли всех расстрелять, — и он втихую по ночам шил обувь — война всех разула. Деньги появились. Брынза, *кулеша*, *любацьки* — что еще? Откупаясь от мастера, Никола часами просиживал теперь на койке в бараке, играя на *фуяре*, сделанной из обрезка подобранной стальной трубки; кто-то заглядыв-

вал: «Вот гуцул... твою мать, наяривает!» Гуцулы не знали этого страшного ругательства.

Но затосковал через полгода. И, сказавшись только земляку, оставив железную лапу, харчи, тряпье, сев с пустыми руками в теплушку, поехал вслед заходящему солнцу, залез на гору — и больше так далеко никогда ни за чем не уезжал. И даже в хрущевское время и позже — не спустился с горы, чтоб быть поближе к людям, магазину, конторе.

Ездил один раз в Кишинев за брынзой да в Черновцы.

А тогда, в сорок седьмом, сюда, в горы, выходили люди умирать от голода — из Молдавии, с Буковины, Подолья. Они валялись под заборами, как собаки, и смотрели в глаза. Работы на всех не хватало.

Осовев от непривычной вкусной сытости, от крепости алкоголя, от остроты соуса, этого мужского варенья, Никола посреди застолья оказался вдруг спящим на печи, а вы с его зятем, выпив еще *на коня* — о, этот всесокрушающий славянский посошок! — решили идти немедленно на хозяйский хутор, чтоб перейти к венцу вечера — *первому*, то есть дважды перегнанному семидесятиградусному самогону в трехлитровой банке, на залитом электричеством хуторе с барахлящим черно-белым телевизором и зимними заготовками соленых грибов, тушенкой со шкварками, пересыпанной сахаром черникой, с рассыпчатой овечьей брынзой, стынущей в молоке, густом, как сливки.

...Летом оно пахнет земляникой. Альпийские коровы. Левые ноги у них чуть короче правых. Не киснет неделями...

Было что-то между двумя и тремя часами ночи. Вы забыли о погоде и времени, сидя в хате. На дворе между тем разыгралась *завирюха*, с бешеной скоростью неслись по ветру тучи, из-под ног, крутясь волчком, вздымались протуберанцы снега, толкали в шею, забивались за поднятый воротник, залепляли мокрым снегом левую сторону лица, — ни звезд, ни месяца, белым-бело.

Затыкая пальцем початую бутылку, вы ступили на тропу, идущую по верху склона, — и понеслось. То был единственный момент, когда вы находились на тропе одновременно — на старте. И еще раз на финише — двести метров спустя, перейдя на другую сторону горы. Через час. А может, и через два.

Мокрый снег, упавший на сухую траву, сделал тропу невидимой и обратил склон в трассу скоростного спуска. Когда твой спутник вдруг съехал вниз по крутейшему склону, пропал — и окликнул тебя откуда-то снизу, метров с пятидесяти, — ты, не успев удивиться этому, сам уехал на сотню метров по направлению к ближайшему леску. Никакое растопыривание ног, цепляние за стебли, спуск на четвереньках и задом наперед не могли нарушить правил игры, в которую вы оказались вовлечены. То есть по очереди и разом, кувыряясь, как два коверных, сбивая друг друга с ног и помогая друг другу встать, сближаясь и разъезжаясь на склоне, замеченном метелью, в светящихся непонятным свечением облаках снежной пыли, вы дергались, будто привязанные на резинках в детской игре с фишками, костями и цифрами, где, попав в штрафное поле, ты — твоя фишка, твое как бы игральное тело проваливалось на несколько ходов и даже линеек трудного, ведущего в верхний правый угол пути.

Твой напарник в этой игре был упрям и азартен, как вепрь, и не пролил на землю, кстати, ни единой капли алкоголя, все время держа большой палец на горлышке бутылки, — но результатом это имело ноль.

Восхищенный еще на выходе с хутора игрой хтонических сил, развешенным в небе парчовым занавесом пурги, ты сразу понял — восторг сжал твое сердце, — что с тобой играют. Господи! Какое незаслуженное счастье! Лет двести не слышали эти горы — а может, вообще никогда — такого веселого, такого здорового, такого естественного, такого *н а т у р а л ь н о г о* смеха.

Вы не вышли оттуда, пока они вас не отпустили.

Это здесь ты его догнал, — это кружение прозы, оторвавшейся, как птичка над «йотой» в слове «Украина».

Никола бегал по хате и думал: где?!
 Сынку! *Карбидка* — нету! Машинка для самокруток — нету!
 Замерз на горе, замело. Куда бежать?! Чего проще — вон сосед не помнит,
 как жинку зарезал, — выпил да пошел. Куда?
 Ночь. Завирюха. Может, жив еще?!

Зажег фитилек с керосином на припечке. Сознание потихоньку возвращалось.

Ага, двое. С Васылем не пропадет.
 Ходил до утра. Растопил печь. Успокаивался.
 Расплакался только на следующий вечер.
 Тупящийся без оселка нож.

Умрет, если не *выйдешь* летом.

Деревянный хутор пустел с каждым годом, но крепился — и пока держался. Так же как порожняя скорлупа пасхальных яиц, надетых тупым концом на рога косули, в Николиной хате над столом.

Между двумя потемневшими застекленными олеографиями — Божьей Матери и Святого Николая, — дурно расцветченными, будто между двумя вытянутыми из гигантской игральной колоды картами, благородно сносившимися от времени.

На той же стене помещались: фотомонтаж Николиных родителей разного возраста — крепкого молодого мужчины и подретушированной скуластой старухи, — заказанный Николой бродячему фотографу незадолго до смерти матери, и им же прикрепленный пустой пакетик от югославского бульона с нарисованным петухом, выгнувшим хвост аркой в виде яркой радуги; по-здешнему — *райдуги* или *веселки*.

Чуть пониже тянулся ряд гвоздей, на которых повисло на ушах — друг другу в затылок — полтора десятка фаянсовых чайных чашек, купленных в разное время — с разноцветными горошинами на боках, — покрытых густым наростом жирной сажи и пыли.

14. БЕЗ НАЗВАНИЯ

На спуске.

Земля горит за — и дымится под.
 Кто-то же должен за все это заплатить?
 Снегу по колено. Тянет рюкзак.

Ноги выстреливают сами. Быстрым шагом — почти бегом.

Просека ведет головокруглительно вниз — к автобусной остановке, что на той стороне вздувшейся горной речки.

Раздрызганный «пазик» где-то спешит уже по горной дороге, чтоб подобрать тебя в назначенном месте, вновь накручивая распустившуюся пружину времени. Дорога убаюкает и растрясет. Дрема куриным веком подернет окончание сюжета. Сладко будет ломить на следующий день мышцы ног.

...Бабочка в еловом лесу на просеке, когда стих ветер. Белая мучнистая идиотка, слабоумным взором обводящая засвеченный, неузнаваемо изменившийся ландшафт. Не теряет надежды. Обрадовалась тебе.

Машет механически крыльями, передвигаясь отрезками, повисая в воздухе, как в прокрученной с замедлением немой ленте.

Тихо. Снег чуть подтаял здесь. Капает с ветвей. По мокрым камням сочится вниз, стекает в ущелье талая вода.

Прислониться *мордой* к еловому стволу — оцепеневшему, изготовившемуся к зиме. Повернуться, упереть рюкзак. Перекурить.

В самом безысходном из всех лабиринтов.

Потому что — лишенном стен.

ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ

*

ДЕТСТВО

Рассказ

Иванушка был маленький, а девочки выросли большие и толстые. Иванушка любил одну девочку, но девочка любила похороны. Мама ее готовилась к собственной смерти, и девочка не пропускала ни одни похороны — в окружении мудрости.

В мае внезапно становилось жарко, даже очень жарко, после прохлады начальной смиренности весны. Мама любимой девочки работала учительницей. В жару она ходила без трусов. Она была толстая и большая, как столб, никакой фигуры, а лицо розовое. Однажды, гуляя по разноцветному лугу за школой, Иванушка увидел, как два мужика обнимали ее: мама девочки оказалась такой мягкой, что мужики сжали ее, как гармошку, и она сделалась, как рюмка, — и женщина захохотала, как бочка, и под мышками ее тряслись две головы, жалких и с закрытыми глазами.

В классе Иванушка сидел за первой партой, рядом с любимой девочкой, и часто лазил под стол учительницы — и смотрел, и любовался. Но однажды мама девочки догадалась — и даже ноги ее покраснели, и, когда ошеломленный особой тишиной Иванушка вылез наверх, на свое место, она выбежала из класса. Любимая девочка сидела около Иванушки как на подушках, а потом пришел директор школы Евменов и повел его к себе в кабинет. Когда они очутились наедине, Евменов показал Иванушке фигу. В ответ Иванушка показал ему две фиги. Тогда директор выгнал Иванушку гулять.

Безоблачное синее небо, мохнатое из-за разнообразнейших оттенков; цветной воздух, горячая земля; березы с сережками, желтые, как осенью, исходили немислимой тоской. У Иванушки заболело сердце, а вокруг было так хорошо, да и внутри разливались покой и роскошь в самом-самом сокровении души. Недалеко от школы расположилась белая церковь среди нежных старых кленов, в те времена еще действовавшая. Иванушка зашел в церковь. В погребальном сумраке суетились, как в воде, оранжевые, голубые, красные и полосатые лица, исполненные торжественного страдания. Иванушка заплакал наконец, но никто не обращал внимания — это выглядело в таких местах как должное; и желая, чтобы кто-нибудь погладил его по голове и обнял; он гулял по церкви с задранной вверх головой и рассматривал солнце и клены через оранжевые, голубые и красные стекла на витражах в окнах. Когда радость, кажется, овладела всем существом, и не по высокой причине, а только лишь из-за цветного стекла, тоска снова пришла к Иванушке, и он вышел из церкви на жару как обреченный. Рядом с церковью в легкой тени под кленами стояли три креста; люди слушали старые могилы под ними, преклоняясь и прикладывая уши, и — слышали.

Иванушка приплелся на берег реки; папа любимой девочки гулял там — снял тапочки и показал ноги, как колоды. Он любил май и побродил в еще холодной реке, и у него опухли ноги. Один глаз его был косою и с голубым бельмом. Папа любимой девочки любил смотреть на течение воды и успокаивался.

Иванушка пришел домой, а его отец лежал полуголый на кровати и думал. Он был кузнец и очень добрый душой. А мама Иванушки — не то глупая, не

то скупая и не умела шить ему подштанники. Когда папа утром шел на работу в колхозную кузницу, подштанники потрескивали всю дорогу: тресь-тресь, тресь-тресь. А возвратясь с работы, он разорванные подштанники забрасывал на чердак... Иванушка с отцом захотели тоже побродить в реке и корзинами наловить рыбы. Они оделись в старую одежду для рыбной ловли, но у Иванушки не было обуви — тогда он взял сапоги старшей сестры на высоких калбуках, подумал и отрубил каблуки топором. Но и так ходить оказалось тоже невозможно. Иванушка выбросил сапоги и потерял интерес к рыбе. Явилась сестра, увидела искалеченные сапоги и зарыдала; прибежала мать и даже не побила Иванушку...

Когда пришло лето, мама любимой девочки забыла, что Иванушка видел ее без трусов. Она приходилась родной сестрой маме Иванушки и на голове носила шляпы. Учительница часто приходила к сестре и ловила во дворе шляпу, вечно задевая ею за бельевую веревку, которую никогда не снимали. Однажды учительница взяла племянника в собой в город покупать платье на смерть. А любимая девочка осталась в Яблоновке, потому что ранним утром изумительно сладко спала, попуская слюнки, — а окна вспотели от холода на воздухе.

В городском магазине учительнице очень понравилось одно платье. И хотя оно было пятьдесят шестого размера, а мама любимой девочки носила шестьдесят второй размер, она примерила его, и ей очень понравилось; однако оно оказалось таким тесным, что — как стала снимать его, то снять не смогла... Собрался весь магазин. В магазине пришло время обеда, всех покупателей выдворили, окружили продавщицы маму любимой девочки; Иванушка заплакал от испуга; продавщицы поставили учительницу раком, потому что она была необычайно высокая, и с превеликим трудом содрали через голову с исполинского тела черное платье.

Когда Иванушка с тетей приехали вечером в Яблоновку, на церкви увидели согнувшийся крест. Любимая девочка встретила их заплаканная — из-за того, что ее не взяли в город покупать платье; но к сумеркам лицо ее просветлело. Иванушка спросил, отчего согнулся крест.

— Летел самолет. И очень низко. Выпал мешок и упал на крест на церкви, и крест согнулся, — рассказала любимая девочка.

— Мешок с чем? — спросил Иванушка.

— С мукой, — ответила маленькая красавица, — и мука рассеялась по крыше, кленам и по траве.

...У папы любимой девочки была лодка. И целыми днями Иванушка с девочкой катались на ней по маленькой речке. Девочка объедалась ягодами, которые Иванушка воровал для нее, и на прекрасной попе высыпала сыпь, словно комары искусаи, и девочка печально задумывалась.

Сестра Иванушки читала толстые книги в тени под яблонями, в саду на скамеечке, а под вечер перебиралась в дом и однажды в сумерках спросила брата, что он сделал сегодня прекрасного для человечества.

— На лодке научился кататься, — подумал и ответил Иванушка.

Однажды ночью пробуждала необычайная гроза. Сестра Иванушки вечером ушла в клуб смотреть кино и не вернулась. Ужасные молнии сверкали почти без перерыва всю ночь, и гром гремел так, что хата дрожала; мама включила электрический свет и ходила непрерывно по комнате, как зверь, думая, что дочь убило громом. Проехали пожарные по дороге. Иванушке сделалось страшно, даже укрывшись с головой под одеяло; казалось, что именно от электрического света их всех убьет, не скрывающих свое существование перед неизвестным. Но когда под утро гроза начала утихать и стало не страшно, а прекрасно и даже восхитительно, сестра явилась насквозь мокрая, но такая горячая, что когда Иванушка увидел ее в окне, как она медленно брела по улице, ему показалось, что на холоде от нее подымается пар, как от реки утром... Приехали пожарные с пожара на озеро и набирали воду. Ничего не говоря, сестра стала раздеваться при Иванушке — и мама и Иванушка увидели, что ее спина и задница пупырчатые от отпечатанных красных трав.

— Фантастический крокодил! — воскликнул изумленный Иванушка.

А сестра заплакала и улеглась в постель и еще хныкала, когда совсем

рассвело и пошел пар со всей земли. Особенно хорошо стало, когда солнце засверкало вовсю, — и кто мог подумать, что существуют ночь и гроза. Только иногда весело при утреннем нежном свете урчал где-то далеко-далеко гром за голубыми лесами... Проснулся папа Иванушки с похмелья и засмеялся; он поднялся и открыл окно, и оттого, что папа открыл окно утром после грозы, и оттого, как листва и травы блестели, птицы щебетали как-то особенно. Иванушка почувствовал прелесть своей грустной жизни и, лежа на железной кровати с сеткой — чтобы не упасть, — как в клетке, ощутил счастье... Полчища мух облепили стены и еще спали. Холодок струился из открытого окна. Папа ходил по хате и хрустел. С похмелья у него болели ноги, а не голова, и хрустели при движении, и в отличие от многих людей при похмелье к нему всегда приходила радость, может, оттого, что похмелье всегда приходилось на утро...

Вскоре узнали, что сгорела одна далекая деревня, и на следующий день сестру Иванушки вместе с другими старшеклассниками отправили пилить лес. В те времена транспорта было мало, и школьники двинулись пешком. Когда они пришли, погорельцы уже обжились в вырытых землянках и нехотя приняли школьников, потому что их надо было кормить, а они сами голодали и питались почти одной картошкой... Сгоревшая деревня находилась в лесу. Местами остались полуобгоревшие дома, которые удалось потушить, от которых исходил запах гари. Растасканные по сторонам бревна, мокрые, с большой чешуей, как огромные черные рыбы, лежали поодиночке на траве, немножко изогнутые. От частых дождей что-то происходило с запахом гари, дыма и огня, отчего сестра Иванушки ощущала этот запах все сильнее, и лес пилить не хотелось, и директор Евменов, который имел автомобиль и иногда приезжал проконтролировать школьников, обзывал ее дурочкой...

Где-то посередине лета наступало время, когда люди в Яблоновке начинали часто умирать и каждый день были похороны. Этого времени никто не ожидал, кроме любимой девочки Иванушки, все люди забывали про него и вспоминали лишь тогда, когда оно приходило. В тот далекий год остановили мельницу и перед ней спустили озеро, и земля оказалась серебряная от рыбы. И как спустили озеро, в Яблоновке стали умирать.

...Когда созрели вишни, у Иванушки был день рождения. В долгожданное утро Иванушка приходил рано-рано к любимой девочке и будил ее. Ее одевали в белое платье, и Иванушка отправлялся с девочкой под руку к себе домой, где уже шло приготовление к празднику. Они залезали на вишню, которая росла у окна на кухню, и смотрели, как мама Иванушки печет торты и как суетятся возле нее мужики, и ели вишни — их разрешали рвать, потому что день рождения. И каждый год к самому времени застолья белое платье девочки от вишен окрашивалось в горошины, и толстая мама водила девочку переодеваться домой в другое белое платье и ругала по дороге. А Иванушка оставался сидеть на дороге, и на этот раз, ожидая любимую девочку, мальчик смотрел на дорогу, но краем глаза заметил, как по его штанам ползла большая оса с голубыми, отражающими небо крыльями, и показалось, что штаны загорелись и идет небесный дым.

Собирались многочисленные родственники, причем почти все они были дураки, и устраивался настоящий пир. Гости за столом пели песни и после каждой плакали, а Иванушка подыгрывал на гармошке. В разгар веселья, когда лица опухли от слез, Иванушка украл бутылку шампанского и вместе с любимой девочкой отправился на реку. Там он поставил бутылку на берег, а девочке скомандовал спрятаться за горку. И когда прозвучал выстрел, девочка в это время выглядывала из-за горки и увидела, как пена шипела и скатывалась по толстому стеклу в траву. Они немного выпили из горла бутылки, причем девочке больше понравилось шампанское, а Иванушке — только пена. Он спрятал бутылку на берегу у воды, и они отправились гулять по лугу и набрали на папу Иванушки, который лежал в траве и смотрел в небо. Папа не любил торжеств и пил всегда в одиночку, и тоже, видно, украл бутылку, опорожнил ее и тосковал теперь. Иванушка и любимая девочка опустили рядом на землю и стали смотреть ввысь. На небе, еще когда пили шампанское — чистом, незаметно успели появиться маленькие тучки, вплотную прикасавшиеся друг к другу — все вместе, как чешуйчатая пелена, — и

затянули все небо. Может, это и были обыкновенные облака, только необычайно высоко поднявшиеся. Иванушке ничего не думалось, но он почувствовал, что облака — человеческие души. Когда сырость земли подняла на ноги, а красное солнце закатывалось, Иванушка, папа и девочка отправились в Яблоновку, полные покоя и высокой печали... С папой Иванушка вернулся домой. Гости уже расходились, и в полумраке под вишнями все были так несчастны! — а пьяные плясали. Когда уже совсем стемнело и в доме зажгли огни, пришел какой-то мужик с изумленным и незнакомым в сумерках лицом и сказал, что папа любимой девочки умер.

— Как? — спросили незнакомца.

— Сидел с доченькой во дворе на лавочке и отдыхал. Шла корова и наделала кучу. Он пошел в хлев за лопатой и умер.

— Какая легкая и красивая смерть! — изумился Иванушка и вспомнил, что папа любимой девочки не пришел на день рождения, и догадался, что он умер оттого, что его ноги опухли, как колоды.

Когда-то маме Иванушки посоветовали: для того чтобы вылечить мужа от алкоголизма, дать ему выпить воды, которой покойника обмывали. Мама Иванушки сразу ушла к покойнику. А притихшие гости бродили полночи по деревне в темноте и дрожали от прохлады в легкой одежде. Иванушка гулял вместе с ними и боялся, что они в конце концов пойдут посмотреть на мертвеца, и ужасался этому и думал, что и все боятся, и они так и не осмелились ночью пойти туда, а Иванушка с папой наконец пришли домой и легли спать на одной кровати.

Назавтра папа, оставшись за хозяина, сделался необычайно добрый и захотел необычайно накормить Иванушку, потому что мама была скупая, и нажарил ему сковороду из двух десятков яиц, и стал варить кашу в свином чугуне, насыпав его полный крупы — от щедрости и оттого что был дурак. Как стала переть каша, он закрыл чугун сковородой и положил сверху кирпич, и кирпич стал шевелиться, и — каши наварил полную печь и полный припечек...

Вышедши во двор, Иванушка обнаружил, что от вчерашних чешуйчатых тучек не осталось и следа. Небо было горячее и синее. Иванушка гулял по огороду, и рассматривал цветы, и видел многие мелочи, каких не видел ранее, но тоска в душе все более выростала, и он чувствовал по другую сторону от зрачков в глазах черный цвет в себе. Заниматься каким-нибудь полезным трудом Иванушка не мог, и стоять на месте не мог, и уйти гулять далеко не мог, и бродил непрерывно около дома босиком по раскаленному острому песку...

Папа ушел на кузницу; иногда Иванушка заходил в пустой дом, в котором после дня рождения по-прежнему еще стояли столы с грязной посудой; солнечные потоки заливали их из окон, но от беспорядка в доме и яркого света становилось еще более безнадежно. Утомившись ходить и спасаясь от жары, в полдень сел на стул посреди дома и стал читать книги сестры; тогда пришла мать и принесла с собой запах покойника, которым пропиталась ее одежда, и Иванушка почувствовал холод ее рук. Мама стала переодеваться в праздничное черное платье; пыль заметалась в лучах солнца из окон, еще более подчеркивая хаос в доме. Платье пахло нафталином и другими, давними, неведомыми Иванушке смертями. Он перестал дышать от пыли и запахов и, задыхаясь, начал выходить поспешно из дома на свежий воздух, но мама окликнула его, и Иванушка вернулся к ней, медленно и неглубоко дыша. Она дала ему денег и приказала, чтобы он купил на поминки мешок хлеба и привез к покойнику...

Леса для сгоревшей деревни напилили сколько требовалось; приехал директор школы Евменов на своем автомобиле и разрешил школьникам идти домой, а сестре Иванушки сказал, что у нее умер родственник, и даже не рассказал конкретно — кто, но предложил подвезти. В какой-то деревне по пути они остановились и зашли в одну хату — и учитель хочет устроить пир! Хозяйка поставила Евменову полный графин самогонки и сковороду сала. Сестре Иванушки стало страшно. Евменов выпил весь графин и сожрал сало, сделался красный, огненный и обливался потом. Они снова сели в автомобиль и поехали дальше. Лицо Евменова все более раскалялось. Леса чередовались с желтыми громадными полями, ровными, как блин. Птицы уже не пели. Даже

на полях царило безветрие, и застойный воздух уныло пахнул теплой землей и травой. Вдруг Евменов взял руку сестры Иванушки и поцеловал ее, а потом другую и почувствовал, как они пахнут сырým деревом. Когда автомобиль выехал из леса, Евменов свернул и поехал по полю прямо по ржи. В окна ничего не было видно, кроме колосьев, и даже через рев двигателя они шелестели о железо и стекло. Так Евменов ехал неизвестно куда, а когда остановился и наступила тишина, почудилось третье дыхание.

Сестра Иванушки оглянулась на дорогу, проложенную автомобилем за собой. Только оттуда шел голубой свет. Они сидели в желтом сумраке. Евменов заплакал. На их лицах лежала соломенная печать. Сестра Иванушки быстро дышала и вдруг открыла дверку в рожь и прощуршала по краю автомобиля. Но только она выбежала на дорогу из сломанных и вдавленных в землю стеблей, где прошли колеса, будто кто-то ей подножку подставил. Она повалилась и ударилась носом, и сразу же Евменов упал на нее и заорал в ухо о коммунизме, поглаживая руками, как собаку. Но как только достиг женской сути и начал делать однообразные движения — Евменову стало скучно, и он отвалился с ее тела, опрокинувшись на спину, и посмотрел в голубое небо опустошенными глазами...

Иванушка купил мешок хлеба и на велосипеде привез его и бросил у крыльца дома любимой девочки. Окна были занавешены от солнца; изнутри шел желтый свет от свечей и слышалось пение. Иванушка, от ужаса необычайно медленно и неслышно ступая, начал уходить с пустынного двора, но дверь из дома открылась и вышла мать со стеклянной банкой в руках, отдала ее Иванушке и приказала отнести домой. Из черной глубины проема двери выглядывали улыбающиеся бурые лица. Не глядя на маму, Иванушка взял банку и велосипед и пошел домой не улицей, а через луг, прижимая банку к себе. От ходьбы мутная вода болталась внутри и иногда проливалась на рубашку, а Иванушка почувствовал что-то невероятное, голова его закружилась, и он чуть не упал с велосипедом и банкой. Любимая девочка, вдруг увидел он, собирала ромашки, улыбаясь таинственно, около сломанной березки с пожелтевшими листьями. Вдруг она почувствовала — и испугу села в траву перед Иванушкой, а букет рассыпался по земле, и девочка горько заревела. Иванушка с банкой и велосипедом бросился было погладить девочку по голове, но потом подумал: что же скажет ей? — и тогда пошел дальше своей дорогой, догадавшись, что она собирала цветы умершему папе...

Вечером Иванушка отправился встречать корову с пастбища. Он вышел за околицу, а коров не было. Оранжевым мягким светом покрывалась равнина, а из затененных выщербин леса лился махровый синий цвет. Иванушке сделалось вольготно, но тут он заметил на лугу мужика, который поспешил скрыться в кустах. Скуластое его лицо, сутулая фигура и черный старый пиджак напоминали папу любимой девочки, только этот неизвестный Иванушке человек был немного выше ростом и моложе, и Иванушка почувствовал, что у этого мужика голубого бельма нет. Пришел пастух и сказал, что коров зарезали волки. Иванушка не расстроился, потому что пастух был глупее всех в Яблоновке. Все получалось немного страшно, но все равно хорошо и чуть-чуть грустно. Пастух отправился домой спать, а Иванушка — искать корову. Все более и более пахло сыростью, травой, цветами. Солнце зашло. Зелень почернела и стала казаться глазу прозрачной, как дым. Бредя по берегу маленькой речки, Иванушка услышал, как в сумерках плескалось что-то в воде, и подумал, что это корова, — но это сестра, явившаяся из погорелой деревни, нагнувшись, умывалась. Только небо оставалось по-прежнему светлым и чистым, но когда зажглись звезды, вдруг помрачнело. Наконец в зарослях крапивы Иванушке встретилась старуха. Она тоже искала свою корову; Иванушке надо было что-то сказать старухе, и он проговорил о папе любимой девочки: «Какая легкая и красивая смерть», рассуждая, как старик.

Старуха сказала, что выше по течению реки где-то находится спиртзавод и там почему-то вылили спирт в реку — и коровы, напившись, сделались пьяные. Древняя красавица шагала впереди и вдруг остановилась. Иванушка натолкнулся на нее и, подняв голову, увидел на фоне синего неба ангельский, но черный профиль и на подбородке волосы, как паучьи лапы, и испугался

и начал зевать со страху, а потом заметил в затоне у противоположного берега лебедя, который изгибал длинную шею, прислушиваясь и волнуясь. Когда уже сделалось совершенно тревожно и Иванушке не нужен стал даже лебедь, а только — светло, из-за олешин выбрали неслышно две коровы, и, насколько можно было увидеть во мраке, Иванушка рассмотрел, какие пьяные коровы хитрые...

В день похорон делали лодку. Папа Иванушки любил железо, поэтому и лодку захотел железную. На солнце она накалилась так, что невозможно дотронуться. День выдался воздушный и солнечный, как парус. Более всего Иванушка страшился траурной музыки, которую придется услышать и от которой можно только далеко уйти из Яблоновки, но одному бессильно. Собралось много родственников, которые, видимо, тоже боялись и нашли себе повод — лодку, чтобы не идти на похороны. Когда железо покрасили и оно моментально высохло, поволокли лодку по дну бывшего озера перед мельницей к маленькой речке. Оставшаяся рыба гнивала. Над землей плавал тлетворный запах. Желтые тела рыб душились под ногами, и за лодкой размазывался белый след из маленьких копошащихся червей. А на середине озера рыба разложилась, и потеряла свои очертания, и превратилась в сверкающую и шевелящуюся на солнце кашу. И между червей иногда начали вырастать жалкие стебли травы. Тянуть лодку по всему этому было ужасно грустно. Наконец в деревне раздалась музыка.

— Несут, — проговорил кто-то из старших.

Люди на бывшем озере разогнулись и посмотрели. Иванушке почудилось, что он увидел любимую девочку в страшной процессии на горке у белой церкви, хотя издали все сливалось, и, может быть, в радостное. На расстоянии похоронная музыка разобсалась надвое. Пение труб еле слышалось и — обособленно, нежно-комариное, а где-то дальше, и всегда в разных местах, но неумолимо приближаясь, стучал барабан, подчиняя все в мире себе неумолимостью, и это действовало на Иванушку так, что он даже не смог заплакать.

Мужики снова поволокли железную лодку по червям. И вдруг в Иванушкину душу, которой было так хорошо и так плохо, нахлынуло что-то стремительное, и она начала возноситься в небеса. Музыка замолкла, а они спихнули лодку в маленькую речку и поплыли.

На большой реке в железной душной лодке Иванушка заснул. Лодка понемногу остывала из-за воды, большого простора и вечера, и это тоже было грустно. Мужики осматривали смиренные берега. На дедушке Иванушки загорелась телогрейка: видно, кто-то днем еще подшутил над ним или он сам влез телогрейкой в костер, когда делали лодку. Из ваты пошел дым, и старичок хлопал по себе руками и рукавами. И люди долго так плыли в праздничном состоянии, а дедушка хлопал по себе, удивляясь, и всегда казалось, что он уже потушил, но наконец дым повалил безостановочно, а там, где материя на телогрейке была порвана, вата заискрилась, особенно когда ветерок находил. Но дедушка никого к себе не подпускали сам, как маленький, желал потушить огонь, но не снимая телогрейки. Иванушка смотрел в небо закрытыми во сне глазами, перед которыми вдруг стали проходить тучи. Тут снова заиграла музыка: папу любимой девочки вынесли из церкви. Иванушка сразу же проснулся. Дым пролетал над ним, и на лице мелькали оранжевые тени.

— Я хочу, чтобы меня погладили, — сказал он дедушке, — слева и немного сверху.

Папа Иванушки силой снял со своего отца телогрейку и бросил ее в воду. Когда летела, она красно разгорелась, а шлепнувшись в реку, задымила и зашипела. Берег подымался высокий, и за ним Яблоновка пропадала, и музыка слышалась как из-под земли. Со сна Иванушка с ужасом подумал, что это вторые похороны за сегодняшний день, и со сна ему сделалось так, что заболела кожа рук и лица, а затылок от жара железа сварился. Телогрейка в реке намочла и потемнела. Папа Иванушки достал ее и, не дожидаясь, чтобы стекла вода, бросил на дно. И, мокрая и черная, она чуть-чуть дымила. Старик надулся, жалкий и несчастный, и когда уже Иванушка не ожидал и даже забыл, дедушка лег возле Иванушки слева и немножко сверху, но по дну от телогрейки разливалась лужа. Берег опустил, и за Яблоновкой, на горе, из

лодки увидели словно черную змею на извилистой дороге среди золотых хлебов, ползущую на сосновое кладбище, но музыканты не играли, и только сверкали трубы, будто не трубы, а огромные зеркала...

На другой день после похорон, пасмурный и тихий, утром всей семьей пошли на поминки, которые еще продолжались после утреннего наведывания кладбища. Подштанники папы Иванушки потрескивали: тресь-тресь, тресь-тресь. Когда явились к дому любимой девочки, еще только выгоняли корову на пастбище. Иванушка увидел корову как виновницу смерти, которая и сама понимала, что она виновница, а глаза ее блуждали, затравленные от того, чего она не понимала. Во дворе лежала привезенная откуда-то не вовремя большая куча опилок для хозяйства. Окна в доме были раскрыты, и там за столами уже разговаривали много людей и стучали вилками. В одном окне пьяный мужик заплакал и начал стучать кулаком по столу и жаловаться на свою жизнь. Мать завела Иванушку и сестру в дом и усадила. Им дали по две большие длинные котлеты. Иванушка издали рассматривал желтую кучу опилок в окнах — и папа начал носить по двору опилки железным корытом в хлев. Иногда папа всовывал голову в раскрытое окно и улыбался, и тогда ему давали водки. Люди вокруг казались возбужденными, будто от радости. Близидящие все время просили Иванушку съест котлеты. Пришла в темную хату любимая девочка, как свечка, но увидев Иванушку, исчезла. От ее одного вида, не зная, куда деваться от вдруг непонятого горького разочарования, он начал есть котлету, но она оказалась еле теплой и от мыслей — такого вкуса, что Иванушка почувствовал, что ест тело папы любимой девочки.

К вечеру из-за туч просияло солнце и незаметно очистилось и поголубело небо. Иванушка прогуливался по деревне и когда явился домой — полутолый папа быстро на четвереньках спустился с крыльца, а дедушка бежал за ним с ремнем и держал свои штаны одной рукой, а потом стал душить папу за горло. Папа зарыдал, полез на чердак и все разорванные подштанники выбросил! — а затем развесил на заборе и созвал соседок.

— Ты что, Люба, не знаешь, что клинья нужно вставлять??? — изумились женщины.

И когда папа, поскандалив, отправился спать, мама взяла банку воды, которой покойника обмывали, и которую Иванушка принес, и которая показалась ему сказочной, намешала туда варенья и поставила, как обычно, мужу питье на ночь.

Назавтра он проснулся радостный. Никогда уже больше в жизни на железной лодке почему-то не катались, она так и осталась нетронутая.

Когда Иванушка подросток, его учителем стал Евменов, и Иванушка полюбил Евменова.

У Евменова было пять детей и жена, маленькая и худенькая. И он в семьдесят лет нашел другую женщину, которая имела где-то особняк, и ездил каждый день в школу издалека. А когда он совсем состарился и эта женщина увидела, какая это рухлядь, она за ним не ухаживала. Евменов увидел истину. Он взвыл и позвал свою жену:

— Забери меня. Я здесь погибаю.

Жена забрала его, и он умер у нее, и она сказала:

— Он такой хороший и прекрасный.



НИКТО ИЗ НАС

*

ВАДИМ ФАДИН

* *
*

Изобразить Святого Духа
не в силах тот, чье сердце сухо,
а стало быть, никто из нас...
И вот тирада непечатна,
судьба поэтому печальна,
судьба поэта... Вещий глас
дан бессловесному случайно.

Невероятно — день пасхальный
связать с иконою наскальной,
а время наше странно мне.
Моя беда — случайность дара,
ведь ум имеет форму шара,
чьей затененной стороне
ясна не Троица, но — пара.

ВАЛЕРИЙ КРАСКО

* *
*

Все умерли —
нет никого, нигде,
ведь, кроме Бога и меня, не вечно
ничто, и нечем обесточить Нечто,
рождающее строки, да не те.
Не стать им, с вечностью наедине,
пророками просроченного срока.
Все умерли,
кроме меня и Бога,
который тоже умер, но во мне.

Все умерли —
и вы, друзья, и вы,
друзей в князья зовущие настырно...
Все умерли —
и никому не стыдно
ни перед кем — ни за кого —
увы.

Но тайну вечности, что по воде
кругами расплзается послушно,
мне некому поведать, потому что
все умерли —
нет никого, нигде...



ОЛЕГ ЕРМАКОВ

*

ЧАЕПИТИЕ В ПРЕДДВЕРИИ

Рассказ

1

Я остановился, перевел дух. Трамвай уже был в конце улицы. Повернул. Ряд сияющих окон. Скрылся.

И как назло нет такси. Безвыходное положение. Из него нет выхода. И в пространстве нет иного хода: только бежать за трамваем по линии. Впрочем... Я задумался. Трамвай идет по улице княгини, сворачивает на улицу Исаковского и въезжает в Никольские ворота. Нельзя ли соединить оба конца? И тогда я перехвачу трамвай у Никольских ворот.

Я побежал.

Парк. Озеро. Ров.

Я спустился на дно оврага. Путь мне преградил ручей. Широкий и шумный, он бурлил и захлестывал железный мостик без перил. И овраг был полон яростной музыкой весны, отметил по привычке я. Но тут же подумал, что это обыкновенный вонючий канализационный поток, и поправился: был полон яростного клокотания весенней клоаки. Это уже что-то в духе немецких экспрессионистов. Что-то в духе Готфрида Бенна. Хотя маловато вони и перцу... Но лучше подумать о переправе.

Мостик был скользок. И мало того, что скользок, но еще и перекошен. Не хотелось бы искупаться в яростном клокотанье клоаки. Что скажет жена. Но что бы она ни сказала, а попробовать стоит.

Я двинулся вперед раскинув руки.

Я медленно шел, балансируя, стараясь не глядеть на черную круговерть под ногами. И достиг середины. Здесь вонючая волна с чмоканием стала ударяться о мои несчастные летние туфли. Пожалуй, зря я пошел. Но поворачивать уже было бессмысленно. Я продвинулся еще немного вперед и миновал середину, предчувствуя падение в этот мрачный весенний канализационный поток, который утащит меня непременно в аид. Оступился, зачерпнул левой туфлей холодной черной воды, но устоял, шагнул и зачерпнул правой, но и на этот раз удержался и добрался-таки до противоположного берега. Прекрасно. Но в туфлях вода. Я снял одну туфлю и вылил из нее порцию весенней воды на снег — здесь, в овраге, еще лежал снег; затем опорожнил другую туфлю. Мокрые ноги в марте — ангина. В лучшем случае оэрзэ. Да уж теперь делать нечего. Вперед. Может, посчастливится перехватить этот злосчастный трамвай. А потом загляну куда-нибудь. Я живо вообразил теплое уютное место, где из графина наливают в чистую рюмку прозрачную водку, и бодро пошел вверх, но вскоре оказался у воды. Дорожку покрывал лед. Я встал, потирая ушибленный локоть, и попытался взойти еще раз, и опять потерпел неудачу. Склоны оврага в этом месте были довольно круты, и я пошел вдоль ручья, надеясь найти пологий склон. Или хотя бы склон, поросший кустами, — я бы за них цеплялся.

Осторожно я пробирался по хрустящему призрачному снегу над черным

бешеным ручьем... вместо того, чтобы сидеть дома, листать книгу или смотреть вечерний выпуск новостей.

Неожиданно я наткнулся на тропинку. Ступил на нее. Нога не скользила. Кажется, тропинка была посыпана песком. По ней я быстро и ловко поднялся наверх и оказался среди заборов, садов и одноэтажных, преимущественно деревянных, жилых домов. Улица была пуста. В окнах не горел свет. Посредине улицы сиял одинокий фонарь. Неужели так поздно?

Загремела цепь, и я вздрогнул, ожидая, что сейчас раздастся лай, но собака почему-то промолчала. Я пошел по улице, а потом побежал, чтобы согреться.

Я бежал вдоль бесконечных черных заборов и голых корявых садов, не очень хорошо представляя, куда прибегу. В этой части города, застроенной частными домами, я был один раз и толком не знал ее.

Я добежал до конца улицы и увидел новую улицу деревянных домов, заборов, садов. Уже тише я побежал по ней. Я бежал, радуясь, что все псы спят беспробудно, а то подняли бы лай и какой-нибудь заспанный пьяный подлец спустил бы своего зубастого сторожа с гремучей цепью.

Улица вывела меня на другую улицу деревянных домов, заборов, садов. Я приостановился, соображая, куда мне свернуть, и, свернув налево, побежал дальше.

Все-таки хорошо, что собаки спят.

Улица влилась в новую улицу деревянных домов, заборов, садов... А новая ли это улица?

Я остановился, огляделся. Заблудился? Но это невозможно. Район не так уж велик, чтобы заблудиться в нем. Это все равно, что потеряться в трех соснах. Надо просто идти — и выйти отсюда. Я решительно пошел, но тут же вновь остановился. А почему направо? Я обернулся. Чем правая сторона лучше? А где правая сторона и где левая? Откуда я пришел?

Я заблудился, следует спросить у кого-нибудь дорогу. Да, но у кого? Улицы пусты. И собаки молчат.

Я кашлянул. Пойду туда, где загорится свет. Но собаки молчали, и нигде не вспыхивал свет. Я кашлянул громче. Молчание. Я чертыхнулся. Прислушался. Собаки упорно молчали.

И мне стало не по себе.

Я покосился на ближайшее окно. Оно было наполовину задернуто занавесками и напоминало полуприкрытый, но зоркий глаз. Я натянуто улыбнулся. Вот и приключение. Погоня, переправа. Страх. Впрочем, что тут страшного? Ну деревянные дома, ну окна, ну тишина, и я один с мокрыми ногами. Конечно, поздно. Конечно, можно нарваться на полуночников. В городе много охотников-профессионалов, они выходят на промысел с наступлением темноты. Они видят как кошки. Ну да я никудышная пожива. Плащ с обтрепанными рукавами, шляпа, туфли — жалкие летние туфли. Кстати, ноги начинают мерзнуть. Подмораживает. Надо идти.

Я пошел. Туфли покрылись ледком и противно поскрипывали. На неделю я слягу, это уж точно. Здоровье не то, что в молодости. Кровь с годами холоднее... Туфли скрипят, будто сержантские сапоги.

Я остановился. Тупик. Улицу замыкал большой бревенчатый дом. В таких домах живет обычно несколько семей. Попросту говоря, это барак. И, как во всяком бараке, здесь полно тараканов, клопов, детей с наглыми воровскими глазами, женщин с бледными измученными лицами и низколобых угрюмых мужчин с синими татуировками на плечах и пальцах, — мне приходилось навещать учеников в подобных домах.

И именно в этом доме горел свет. Свет горел где-то в глубине, в чулане или прихожей. Я видел золотую щелочку между входной дверью и косяком.

На стук обязательно выглянет преступная полупьяная рожа.

Я помедлил и, открыв калитку, прошел во двор, поднялся на крыльцо. Еще немного помешкал... Но сколько я буду здесь блуждать? До утра? И я поднял руку, согнул указательный палец и крепко, решительно стукнул два раза, а потом и третий раз. Тотчас я услышал бодрый отклик: «Да-да!» Я подождал, но никто не выходил, и тогда я вновь постучал. И мне ответили: «Да-да!» Но никто не вышел. Я взялся за ручку, приоткрыл дверь и увидел темную прихожую, свет выбивался из-за другой двери. Я перешагнул порог

и постучал в эту дверь. «Да-да!» Я отворил и эту дверь и сразу увидел трех человек на черном громадном диване. Они смотрели на меня.

— Заходите, — прозвучал сбоку голос, и только теперь я увидел четвертого. Он стоял возле стола.

Мгновенно я оценил его лицо и лица остальных. Никакой явной угрозы в них не было.

— Извините, — сказал я. Голос мой был хрипл. Я откашлялся.

Стоявший у стола дружелюбно и внимательно смотрел на меня.

— Я хотел бы узнать, — сказал я, — как мне пройти к Никольским воротам.

— К Никольским воротам? — переспросил стоявший у стола. — Я вам объясню. Минутку.

И он куда-то вышел.

Трое на диване потеряли ко мне интерес и принялись листать журналы, лежавшие у них на коленях. Я обратился к ним с тем же вопросом. Один из них, не отрываясь от журнала, ответил, что они не знают.

Это было странно. Никольские ворота известны любому горожанину, там в крепостной башне почта и телеграф. Я пожал плечами и решил дожидаться лысоватого.

Помещение освещалось простой лампочкой, она висела посреди потолка на витом шнуре. Вдоль одной стены стояли стулья, возле другой — стол, затянутый сукном мышиного цвета. На столе белел телефон, в стеклянной чернильнице синели чернила, рядом лежали перьевые ручки, лист бумаги с лиловой кляксой. В углу лоснился сейф. На сейфе стоял пустой графин и стакан. Над графином на стене висел чей-то портрет. И у стены напротив меня чернел нестерпимо каченный потертый внушительный величественный диван, на нем сидели трое граждан приличного заурядного вида.

Контра какая-то.

— Что это за учреждение? — поинтересовался я, громко назвав эту избу учреждением.

— Экскурсионное бюро, — послышался вежливый голос.

Я обернулся и увидел лысоватого.

Он был лысоват, невысок, в опрятном поношенном костюме в серебристую полоску. Голубоватые глаза умны и внимательны. Вернулся он с папкой в руке.

— Экскурсионное бюро?

— Да, — откликнулся он и слегка наклонил голову набок. — Здесь оформляются документы и начинаются экскурсии.

«А, значит, эти на диване иногородние», — понял я.

Чиновник приблизился к столу и положил папку. Я окрестил почему-то его чиновником, хотя чиновник — это государственный служащий, имеющий чин, а я не знал, частное ли это бюро или государственное.

— Не очень-то хорошее место вам отвели, — заметил я.

Чиновник вопросительно улыбнулся.

— На отшибе, — уточнил я.

— О, желающие находят нас и здесь. И есть большой плюс: тишина, приятный воздух. Особенно весной, когда сады зацветают.

Я подумал, что если бы сейчас цвели сады, мои ноги не были бы ледяными, как у мертвеца.

— Вы промочили ноги? — спросил чиновник, бросая взгляд на мои ноги.

Я тоже посмотрел на ноги и кивнул.

— Что же вы молчите? Присядьте. Минутку. — Чиновник вынул из кармана ключи, открыл толстую дверцу сейфа и достал блюдце и чашку.

— Господа, — обратился он к троице, сидевшим на диване, — прошу прощения. Подождите еще немного. — С этими словами он вышел.

Трое на диване листали свои журналы.

«Чертовски вежлив», — подумал я и решил присесть.

Я посмотрел на молчащий белый телефон, на чернильницу, на сейф, на графин, на портрет... Снял очки, вытащил из бокового кармана специальную бархатную тряпочку и протер стекла. Надел очки. И понял, что дело не в очках. Портрет был нечеток, расплывчат, как очень плохая фотография. Да это и

была фотография. Скверная. Лицо двоилось или даже троилось. Или это все-таки троица у меня в глазах?.. Но я только мечтал о рюмке водки и возвращался с работы совершенно трезвый.

Я вновь взглянул на портрет и ясно увидел три лица, и два показались мне страшно знакомыми, а третье, безусое, принадлежало неизвестному человеку

— Надеюсь, вас не утомило ожидание, — сказал чиновник, входя с дымящейся чашкой на блюдце. — Пожалуйста.

— Да что вы, ей-богу, я просто зашел узнать, — пробормотал я.

Чиновник закашлялся.

— Черт возьми, — сдавленно проговорил он и, переведя дух, улыбнулся. — Извините, пылинка... берите, это вас согреет и спасет от ангины.

Я подставил ладонь, и он опустил на нее теплое блюдце с чашкой. Поблагодарив, я пригубил чай... Я большой любитель чая. Пивал всякие чаи. Различные сорта индийского, цейлонского, вьетнамского, китайского и совершенно необыкновенный чай, крошечную пачечку которого привез из Парижа родственник жены, — но едва я пригубил из чашки, поданной лысоватым обаятельным чиновником, как понял, что все чаи, испробованные мною, заваривались сеном.

Это был гениальный чай.

В нем звучало множество ароматов. Я отпил еще. И ощутил аромат солнечно-желтых медовых цветов. И аромат прозрачно-зеленых лепестков. И аромат каких-то весенних капель. И аромат, которому нет названия, аромат ароматов. У меня слегка вскружилась голова и глаза увлажнились, а сердце окатило теплой нежной волной. Я почувствовал, как разгоревшаяся кровь устремляется по гибким голубоватым трубочкам, разнося по всему телу радость этого чая чаев. И я вспомнил, что мечтал давеча о водке... Чай — вот первое средство от простуды. Благоуханный чай в хрупкой фарфоровой чашке на озябшей ладони ночного путника, замочившего ноги в студенном весеннем ручье, — вот истинная поэзия жизни. А злая русская водка — примитивная, пошлая проза.

Между тем чиновник уселся за стол, открыл папку и вынул какие-то бумаги, спрятал их в сейф, а из сейфа извлек другие бумаги и вложил их в папку; затем он обмакнул перо ручки и начал что-то писать и потом вновь полез в сейф и долго в нем рылся, шурша, и наконец объявил троим, сидевшим на диване, что все готово, документы оформлены и остается только одна процедура, которая не займет много времени.

— Прошу, пожалуйста, по одному к столу.

Один из троих поднялся и подошел.

— Господин Иванов. — Чиновник протянул ему узкую полоску бумаги.

Иванов взял бумажку и некоторое время глядел в нее. Затем он поднял глаза на чиновника. Его лицо выражало недоумение.

— Здесь что-то...

— А вы читайте. Читайте вслух и все поймете, — ответил чиновник, с дружелюбной улыбкой глядя на него снизу.

Иванов вновь взглянул на бумажку, беззвучно пошевелил губами.

— Но здесь не по-нашему.

Чиновник мягко засмеялся.

— По-нашему, господин Иванов. Вы только начните и сразу все поймете. Прошу.

Иванов посмотрел на бумажку.

— Гм...

— Господин Иванов, ну что вы? — с ласковой укоризною спросил чиновник. — Это же так просто. Читайте вслух, и все. Прошу вас.

Иванов оглянулся на двоих, сидевших на диване, затем опустил глаза, вновь беззвучно пошевелил губами... и вдруг начал читать.

Текст был короткий. Иванов быстро кончил. Но успел вспотеть. Будто без передышки читал Псалтирь в какой-нибудь душной летней переполненной церквушке — именно это сравнение пришло мне почему-то на ум.

— Вот видите, господин Иванов, все понятно, верно?

Может быть, Иванову с чиновником и было все понятно, но только не мне. Я не разобрал ни слова из прочитанного.

— Это оставьте у себя, — сказал чиновник, имея в виду узкую полоску бумаги, — и распишитесь, пожалуйста. Вот здесь. — Чиновник взял ручку и, обмакнув перо в чернила, подал ее Иванову и показал длинным матовым ухоженным ногтем мизинца, где следует поставить подпись.

Иванов склонился над столом. Чиновник следил за его рукой. И рука опустилась. Послышался скрип пера. Иванов распрямился. По его щеке скатилась бусина. Чиновник присыпал золотистым песком подпись и, улыбающийся вспотевшему Иванову, попросил его посидеть пока на диване и пригласил следующего:

— Господин Иванов.

Встал человек, сидевший посредине. Значит, его фамилия тоже была Иванов. Второй Иванов проделал все то же, что и первый Иванов. И если первый Иванов вспотел, то второй Иванов был бледен. Он вернулся на диван. Его лицо просто кричало бледностью на фоне черного дивана. А чиновник позвал третьего, и тот тоже прочитал то, что было написано, и поставил, где нужно, свою подпись. И опять я ничего не уразумел.

— Ну вот и прекрасно, господа, — произнес чиновник, закрывая папку и начиная завязывать шнурки на ней. — И сейчас мы отправимся.

Я опустил пустую чашечку на остывшее блюдце, и чашечка мелодично звякнула. Чиновник взглянул на меня. Я поблагодарил его за чай.

— О, не стоит, — откликнулся он.

Сказав, что это был превосходный чай и что ничего подобного мне не доводилось пробовать, я хотел откланяться и уйти, но вместо этого вдруг начал перечислять сорта чая, сравнивая их достоинства, и, не в силах остановить поток красноречия, сказал, что чай — это вино философов и тонких поэтов и вырос он из ресниц погруженного в познание мудреца, чтобы бодрить мир, клюющий носом над вечными вопросами... В этом месте моей речи свет погас, и я замолчал, хотя сказать хотелось многое.

— Что это? — спросил кто-то.

— Да ничего такого, не беспокойтесь, господа, просто свет отключили, это бывает, сейчас включат.

Но свет не зажегся.

— Не беспокойтесь, господа, — повторил чиновник.

И, обернувшись на его голос, я увидел во тьме бледное, уродливо сплюснутое, топорное, дегенеративное лицо с большими, напряженно округлившимися и поднявшимися на уровень лба ушами.

Я молчал, мгновенно наполнившись льдом и одеревенев.

Трое на диване тоже молчали.

Это белый телефон, вспомнил я и расслабился.

Меня обдало жаром. «Собственно говоря, что я здесь делаю?» — спросил я себя и подумал, что сейчас самое время уйти. Никому ничего не говоря. Я сижу в двух шагах от двери. В моей руке чашка с блюдцем.

Осторожно поставить на соседний стул.

Свободной рукой я нащупал стул. Затаив дыхание, медленно поднес к нему чашку на блюдце.

Теперь опустить.

Раздался треск.

Чашка подпрыгнула на блюдце, оглушительно звякнув, и я чуть не выронил блюдце из дрогнувшей руки.

Помещение озарилось светом. Спичка лучисто горела в руке чиновника над безобразной скуластой мордой телефона.

— Сейчас, господа, — сказал чиновник.

Послышался звук выдвигаемого ящика. Спичка угасла. Чиновник треснул другой, и огонек вспыхнул и перетек со спички на толстую бледную свечу. Чиновник приподнял руку над головой, чтобы озарить сидевших на диване. Все были на месте. Чиновник улыбнулся.

— А в этом что-то есть, не правда ли, господа? Какое-то древнее очарование. Мы со свечой и отправимся.

Чиновник обратил лицо ко мне.

— Кстати, и вы можете к нам присоединиться.

Я поспешил поблагодарить его и сказать, что не смею больше задерживать группу.

— Помилуйте! — воскликнул чиновник. — Это минутное дело. У меня как раз есть один свободный паспорт. Только вписать вашу фамилию.

— Благодарю вас, но я не думаю, что мне будет полезна и интересна эта экскурсия, — ответил я.

— Отчего же?

— Да ведь я в этом городе родился и знаю каждый угол и камень.

Чиновник покачал головой.

— А заблудились.

Я смутился.

— Дело в том, что именно этот район... я здесь редко бывал. Ну и, честно говоря, здесь ничего достойного внимания нет.

— Позвольте, а наше бюро?

Я принял это за шутку и улыбнулся.

— Так вот, — сказал чиновник, — смею вас заверить, что ничего старого вы не увидите. Для вас все будет внове.

В его голосе звучала некоторая торжественность. И мне почудилось, что я действительно могу увидеть нечто новое, отправившись на экскурсию... Но возможно ли? Я здесь родился и столько прожил. Да и ночь на дворе.

— Но сейчас ночь, — сказал я.

— Это не имеет никакого значения, — ответил чиновник. — А то, что вы увидите, достойно внимания.

Я молчал.

— Ведь, знаете, как бывает. Бывает так, что путешествие оборачивается славой. Вот, например, однажды белый Изгнанник отправился на экскурсию и имел потрясающий успех, когда вернулся и поведал обо всем, что увидел.

На диване кашлянули.

— Ну так что же вы молчите?

Я сказал, что у меня мало денег.

— Деньги вам и не нужны.

— Экскурсия бесплатная? — насторожился я.

— Нет-нет, расплатитесь потом. Когда у вас будет много денег... Очень много денег. Итак?.. — Чиновник со свечой в руке слегка подался вперед, глядя на меня.

— Могу я позвонить? — спросил я.

— Увы, телефон не работает, — ответил чиновник.

И не успел он договорить, как телефон затрезвонил.

2

Да, портфеля нигде не было. Ни в прихожей, ни в шкафу, ни под столом. Григорьев заглянул в ванную. Там была жена. Перед зеркалом она красила губы. Хотя и без помады они были достаточно соблазнительными, даже слишком.

— Ты не видела портфель? — спросил Григорьев.

Жена взглянула на него из зеркала.

— Куда-то подевался, — пробормотал Григорьев, глядя на отражение жены. В зеркале ее смуглое лицо казалось не столь молоджавым, и один глаз был больше, а другой хитрее. Отражение жены беззвучно пошевелило накрашенными губами, рука поправила выбеленную перекисью прядь. Отражение воссоединилось с женою, и воссоединенная жена вышла из ванной. Она была хороша и выглядела, конечно, моложе своих лет, моложе своего мужа. Она положила в сумочку помаду, протянула руку к пальто. Григорьев опередил ее, снял с вешалки бордовое пальто, распахнул его.

— Там что, сто тысяч было? — наконец подала голос она, всовывая руки в рукава.

— Да просто жалко, — вздохнул Григорьев. — Хороший портфель. Ну и тетради.

О рукописи он промолчал, хотя это был единственный экземпляр, черновик.

Жена порылась в сумочке. И закрыв ее, сухо шелкнула застежкой. Взглянула на мужа... Повернулась и, ничего не сказав, вышла.

Сухо шелкнула и выпорхнула, черноглазая, хищная, изящная.

Григорьев вздохнул.

Иногда ему хотелось сдвинуть ее с такой чудовищной силой, чтобы услышать хруст.

Сегодня у Григорьева был выходной, точнее методический день, то есть день самоподготовки, сидения в библиотеке... Какая еще библиотека, если за окном так сумрачно, серо, слякотно, холодно. И туфли не просохли. Григорьев собирался весь день сидеть дома. Но жена ушла, и он еще раз обшарил все углы в квартире и, не найдя портфеля, подумал, что скорее всего забыл его в школе... и похолодел: кто-нибудь может залезть!

Наспех побрившись, Григорьев вышел из дому.

Девятиэтажные и пятиэтажные одинаковые дома стояли в весеннем тумане серыми призрачными замками-казармами. Чернели редкие чахлые голые деревца. Поджарый вислоухий пес рылся в картонной размокшей коробке с отбросами, которую выкинул с балкона какой-то лентяй.

Снег почти повсюду стоял, лишь кое-где виднелись почерневшие плешины сгинувшей зимы.

Григорьев жил на окраине, в новом заунывном районе, а работал в центре города.

Лавируя среди обширнейших луж и с отвращением чувствуя, как ледяная вода уже просачивается сквозь швы потертых штиблет, Григорьев прошел к трамвайной остановке. Трамвай, как обычно, долго не было, и Григорьев смог всласть настрадаться, воображая, как ученики суют свои сопливые прыщеватые носы в его портфель и, достав исчерканные листы, глумливо улыбаются, читают, пускают по рукам... Григорьев уже готов был отправиться пешком, но в туманной дали показался трамвай. И еще сорок минут Григорьев ехал в трамвае, ругая себя за оплошность и стараясь вспомнить, где именно он оставил портфель. Если в кабинете истории — портфель окажется в руках учеников. Но, может быть, в учительской. Не лучше. Среди коллег есть любопытные особы. А учитель литературы Лев Лебедев так и подскочит, узнав, что Григорьев стихи сочиняет.

Григорьев поморщился, живо представив белесое толстое насмешливое лицо Льва Лебедева.

Как можно было забыть.

Трамвай остановился. И еще десять минут Григорьев шел до школы, коря себя за привычку писать по вечерам в опустевшем классе. Но только здесь ему и писалось, ни дома, ни в деревне — а в опустевшей школе, огромной, потрясающе тихой, торжественной, как зачарованный Летучий голландец или опустошенный неведомыми событиями дворец.

Григорьев вошел в школу, готовясь к худшему. И сразу увидел Льва Лебедева: маленький толстенький учитель литературы шел по коридору навстречу Григорьеву. Григорьев напряг пресс, как будто приближавшийся Лев Лебедев мог ударить кулаком в живот.

Мужчины поздоровались и разошлись. Белесое лицо Льва Лебедева излучало ехидства не более чем обычно. Григорьев поднялся на третий этаж. В учительской портфеля не было. Григорьев дождался окончания урока и заглянул в кабинет истории. Варвара Павловна, тучная болезненная простая женщина, пожаловалась ему на дерзких и ленивых балбесов, посетовала на погоду, из-за которой у нее все время раскалывается голова и по ночам снятся зловещие сны: про лошадей и про то, как она рыбу чистит, — а лошади и рыба у нее к болезни. Григорьев попрощался с Варварой Павловной и вышел в коридор. Портфеля в кабинете не оказалось. Спустившись на первый этаж, он решил на всякий случай спросить у технички. Техничка ответила отрицательно.

Итак, портфель он забыл, наверное, не в школе, а... где? В трамвае. В трамвае? Оставался только трамвай. Больше он никуда не заходил вчера вечером. После школы поехал на трамвае домой. Сидел, глядя в окно на

туманные огни города. Объявили его остановку. Встал и вышел, забыв портфель на сиденье. Скорее всего так и было. Ну, так или иначе, а портфель пропал. И что же? Он многое помнит и постарается восстановить рукопись, хотя это будет мучительно: вновь изрыгать огонь и хлад... Перед детьми придется извиниться за пропавшие тетради. А учебник — надо сейчас пойти и купить новый. Учитель еще раз бросил взгляд в ту сторону, откуда должен был появиться трамвай, и пошел. Вообще он любил ходить, особенно в центре, где город стар и выразителен. Но в такую погоду, конечно, лучше пользоваться транспортом. А еще лучше лежать, напившись горячего чаю, на диване с какой-нибудь килограммовой иллюстрированной энциклопедией.

В магазине «Кругозор» учебника не оказалось. Ему посоветовали пойти в «Знание», специализированный книжный магазин. Учитель побрел по мурным мокрым почерневшим улицам.

Какая тоска этот март. Как мрачен мартовский город. Окна, деревья, лица — все жаждет солнца. Люди, как коровы, мечтают о зелени. Уныло капает с ветвей. В сыром воздухе запах бензина. Сырость, бледность. Март безобразен, как беременная женщина. Слава богу, что на свете есть квартиры с энциклопедиями и батареями центрального отопления. Это спасение от мартовской тоски.

Учитель приостановился напротив дома с каменным первым этажом и деревянным вторым. Он пошарил по карманам и выгреб все деньги, пересчитал... Перейдя дорогу, учитель спустился по каменным ступеням и отворил дверь. Ведь с утра — ни маковой росинки.

Григорьев вошел в чайный погреб. Здесь он решил позавтракать.

Когда-то погреб был пивным и его наполняли хмель и дым, грохот бокалов и многоголосие, но разразилась война с пьянством, и хмельное подполье было преобразовано в чайную, с тех пор здесь воцарились свежесть и тишина. На грубых массивных деревянных столах лежали красиво вышитые салфетки, стояли глиняные вазы с сухими цветами. В углу пузатился, победно сверкая, гигантский самовар.

Учителю здесь нравилось. Нравилось, что стены обшиты деревом и на них горят светильники, и что столы такие подлинные, тяжелые, грубые, и скамьи неподъемные. А главное — тихо.

Григорьев купил стакан горячего чая, сахар и два бутерброда с сыром у сонной миловидной женщины в кружевном белом переднике и прошел в безлюдный зал. И это ему тоже нравилось: то, что можно скрыться с глаз продавца.

Учитель устроился в дальнем от входа углу и приступил к позднему завтраку. Чай, разумеется, оставлял желать лучшего. Мягко говоря. А попросту был скверным.

Но в городе не было такого места, где давали бы настоящий чай. Да и не только в этом городе. Всюду воруют, насыпают в кипяток соды, чтобы жалкая щепотка заварки пустила густой цвет. В России, самоварной стране, всюду паршивый чай. И поэтому по ее городам и весям любителю чая лучше путешествовать со своим кипятильником, стаканом и пачкой чая. Нигде — ни в гостиницах, ни в поездах, ни в ресторанах — ни разу не подали Григорьеву просто честно заваренный чай.

... Впрочем, однажды... Рука со стаканом застыла. Да не могло такого быть. Григорьев поднял стакан, отпил. Померещилось. В казенной России всюду скверный чай. Только дома настоящий. Дом — это дом. А все остальное пространство не дом, чужое, казенное, враждебное, там вечно все не так, все наперекос, и не было и не будет уюта, тепла, чистоты и честного духовитого чая.

Но чай в чайном погребе хотя и был жидок, безвкусен, а согревал. И хлюпающий мартовский город был где-то далеко, высоко. Чайный погреб находился в самом центре города, но ни шаги, ни голоса, ни звуки машин сюда не проникали. Здесь было тихо, как в пустыне. Давали бы настоящий чай — можно долго сидеть. Душистый чай да газета, гаванская сигара... Иногда учитель жалел, что не курит.

А газета, кажется, есть.

Григорьев сунул руку в боковой карман плаща. Да, газета.

Учитель пошел и взял еще бутерброд с сыром. Хотя бутерброд с ветчиной выглядел аппетитней. Но учитель собирался зайти в книжный магазин и купить учебник.

А о покупке нового портфеля нечего и думать. Придется все носить в полиэтиленовом пакете.

Учитель вздохнул и развернул газету, откусил хлеба с сыром, запил чаем.

3

...Чужие сны скучны. Почему? Человеческий язык слишком груб. Пересказывать сон — пустое дело. То, что получается, — жалкое подобие сна, этого удивительного действия.

Язык, грубый и неповоротливый пленник разума, не может освободиться и возвыситься до сна. Язык фальшивит, как начинающий музыкант, когда пытается воспроизвести эту сложную музыку. Сон — музыка, не искажаемая музыкантом. И услышать ее никому не дано. И ученые всего мира с их датчиками и всевозможными аппаратами и препаратами здесь бессильны. Человеческий язык слишком толст для препарирования снов, сотканных из света и тени, мыслей и чувств. А скальпель для снов еще не изобретен. Исследователи не могут проникнуть в сон, погрузиться в него, как океанографы в океанские пучины. И не могут запустить в сон, как в космос, спутник.

Человек проник в океан и в космос, но сон остался для него недоступен.

Но ведь каждый спит и видит сны? Спящий не способен ничего исследовать, он захвачен действием, он актер, постановщик и зритель, божество и раб, хищник и жертва.

Сон — творческий акт. И всякий человек творец. А литература — подражание сновидению. Литература вытекла из сна, как река из подземного озера. Сначала человек научился видеть сны. Затем мыслить. Говорить. Рисовать. Писать. Сны будоражили человека. И порождали не только чудовищ.

Именно сон разделил мир надвое, ибо во сне человек увидел иной мир, странный мир, где все законы утрачивали силу: человек умирал, не умирая, прыгал со скалы, но летел не вниз, а вверх, разговаривал с какими-то диковинными существами, превращался в насекомое или в камень.

Человек бодрствующий смутно помнил свои сны и пытался их восстановить. Пересказывал, конечно, вольно, многое сочиняя. Всякий пересказ сна, даже очень талантливый, всегда приблизительная копия. Оригинал безвозвратно утрачен.

Сны заразили человека тоской об ином мире, мире полета и бессмертия. И этот родник тоски — исток всего...

В чайный погреб спустились двое мужчин; они накупили бутербродов с ветчиной и уселись возле гигантского бутафорского самовара, опорожнили стаканы с соком, налили из принесенной с собой бутылки водки, стремительно выпили и стали закусывать.

Учитель дочитал статью и опустил газету.

«Это верно, — согласился он, — сон не перескажешь. Как невозможно пересказать и многое другое. «Как сердцу высказать себя?.. Молчи, скрывайся и тай». Но молчание мучительно. А начинаешь говорить — не то, все лишь жалкое подобие того, что чувствуешь. Чувствуешь всегда больше».

Учитель подумал о своих снах. Ему иногда снились любопытные сны. Как, например, сон Весть змеи. Или сон Знак младенца. И сон Врачеватель из Лхасы, сон Долина трех птенцов. Или вот сон Шествие черных зверей и ассирийского войска по Красной площади. А однажды приснился сон Суд Сталина.

Учитель протянул руку к стакану, но увидел, что он пуст. Пойти еще купить чая? Ну нет, этот казенный чай пить невозможно. Вскуду воруют, в ресторанах, гостиницах, поездах, и этот погреб, увы, не исключение. Насто-

ящий чай только дома. Да вот в одном месте однажды угощали... Учитель вздрогнул, как если бы над его ухом громко щелкнули, — и события минувшей ночи развернулись перед ним.

Это был сон. И он завораживал.

Григорьев еще и еще раз возвращался к различным подробностям ночной истории и удивлялся их обыденности, какой-то могучей строгости, четкости. Сон был ясен, отчетлив, строг, как черно-белая фотография чугунной ограды в зимнем дне. Трамвай, овраг, дом, диван, сейф, телефон, скрип пера, треск спички, свеча и тепло блюдца на озябшей ладони, аромат чая, чтение бумажек, потное лицо первого Иванова и бледное лицо второго и чиновник, вежливый, мягкий, лысоватый, в поношенном костюме в серебристую полоску, глаза голубоватые, умные. Вот только текст на узких полосках бумаги какой-то бредовый. И портрет над сейфом — что-то расплывчатое, неопределенное. Или это был не портрет, а просто пятно? Нет, портрет. Какой-то тройной. Почему тройной? Странно.

А чай? М-м. И Григорьев подумал было, что когда-то где-то пил отменный казенный чай. Во сне. Только во сне или дома не воруют. И только во сне может быть столь вежливый чиновник. Он был как-то старомодно вежлив. И умен. И хитер?.. В нем чувствовалась сила. Несомненно. Она таилась в нем, как когти в пушистой кошачьей лапе. Как он цепко, остро глянул на диван, зажегши свечу. Но что за текст читали Ивановы и третий? На каком языке? Любопытно. И похоже на какой-то обряд.

Экскурсионное бюро. Гм. Экскурсия куда? И чиновник был очень заинтересован, он чуть не хлопал в ладоши от радости, когда экскурсанты ставили свои подписи после чтения текста. А на богатых путешественников Ивановы и третий не были похожи. Три экскурсанта вряд ли значительно пополнят казну этого бюро. Впрочем, неясно еще, что за казна и деньгами ли она пополняется. А если не деньгами, то чем?..

Сон прост и загадочен. И началось все... С чего началось? С трамвая. Григорьев его догонял. Потому что... забыл в трамвае портфель!

Учитель на мгновение оторопел, потому что ему показалось, будто портфель пропал только во сне. Но проснувшись, он искал его и нигде не обнаружил, ни в квартире, ни в школе. Реальный портфель уехал в приснившемся трамвае. Это было головокружительное мгновение. Учитель вдруг почувствовал, что оказался в каком-то призрачном состоянии. Наверное, то же чувствует космонавт, когда притяжение земли ослабевает и он начинает парить в невесомости. Это длилось миг, полсекунды, учитель оглянулся, как бы ища опоры, на посетителей и увидел их, сидящих друг против друга возле фантастического самовара, в котором отражался весь чайный погреб, — и отраженные столы были непомерно растянуты и кривы, потолок горбатился и загибался в бесконечность, электрические светильники тлели на выпуклых, страшно далеких стенах, как тусклые звезды, а носы разговаривающих мужчин то и дело сливались, и было похоже, что за столом сидит двухголовое и четырехрукое существо, соединенное толстой красноватой кишкой, по которой переливается словесная смесь, и это искаженное пространство истинно, и стены на самом деле очень далеки, и учитель сейчас встанет и покатится по вспученному полу к далекой двери и вывалится в мир, где все возможно.

Но тут же он подумал, что портфель исчез на самом деле в трамвае, на котором он возвращался из школы домой, а во сне это просто повторилось, — эта мысль притянула его к земле, учитель обрел равновесие. Эта пропажа просто отразилась во сне, как в зеркале. И действительно. Учитель улыбнулся. Он представил свой грубый тяжелый облупленный и потрескавшийся потертый портфель со сломанным замком, с ручкой, обмотанной изолентой, — разве чудовищный портфель мог попасть в это нечто, сотканное... Ученые не могут проникнуть в сон с помощью своих хитроумных приборов, увенчанных тонкими, как волос, серебряными электродами. А тут — портфель из черной толстой кожи, с тетрадами, учебником, шариковой ручкой, отгрызком карандаша, с хлебными крошками...

Вместительный был портфель. В него можно было положить несколько толстых книг, стопку тетрадей и — зайдя по дороге из школы в магазин — банку свекольника, бутылку кефира, батон и еще что-нибудь.

Мужчины у самовара заговорили громче. Они беспощадно матерились. Вот этого учитель терпеть не мог.

Он сложил газету и сунул ее за пазуху, застегнул плащ, взял свою шляпу, встал и, аккуратно пройдя мимо охмелевших, духовно испражняющихся мужчин у самовара, открыл дверь и по каменным ступеням поднялся в мартовский город.

Черные деревья отражались в лужах.

По дороге в книжный магазин Григорьев повстречал одного старого знакомого. Они постояли пару минут, задавая друг другу обычные в таких случаях вопросы о делах, о семье и проч. Григорьев сказал, что потерял портфель и вот идет покупать учебник, знакомый посоветовал обратиться в бюро находок, и, обменявшись рукопожатием, они разошлись.

Учитель спустился до середины улицы Б. Советской, ведущей вниз, в речную долину. Зашел в магазин. И на прилавке увидел учебник. Учитель заплатил в кассу, отдал чек продавщице.

— Завернуть? — спросила девушка.

— Нет, спасибо.

Учитель взял новенький учебник, но тут же вспомнил, что портфеля-то нет, и с извиняющейся улыбкой попросил завернуть книжку.

— А то, знаете, дождь или снег.

— Да, конечно, — откликнулась девушка.

Она ловко обернула учебник толстой бумагой кофейного цвета и протянула его учителю.

— Хорошая бумага, — сказал учитель, погладив ладонью бумагу. — Дождь не пройдет.

— А вы купите пакет, — посоветовала девушка.

— Пакет? Нет, спасибо, мне тут близко, и так донесу.

Денег оставалось всего несколько копеек, какой еще пакет. Учитель вышел из магазина.

Ну что ж. Домой.

Учитель пошел назад, вверх по улице Б. Советской, шумной, людной, машинной, с испорченным воздухом, — машины лезут вверх и сильно копят.

Учитель поднялся до гостиницы. Возле гостиницы стоял ряд красно-белых телефонных будок, и, взглянув на них, учитель вспомнил совет старого знакомого. Действительно, надо позвонить. По крайней мере, чтобы больше не думать и окончательно похоронить портфель. Учитель свернул к гостинице, вошел в железную будку с выбитыми стеклами и стойким запахом мочи, снял трубку, узнал в справочном номер телефона и набрал его. В трубке послышался вежливый мужской голос. Бюро находок? Учитель объяснил причину звонка. Мужчина вежливо ответил, что, к сожалению, бюро никаких справок о найденных вещах по телефону не дает, следует прийти по такому-то адресу и узнать, есть в бюро эта вещь или нет. Учитель попросил повторить адрес и, достав газету, ручку, записал его.

«Ну что ж, стоит сходить, это не так далеко», — подумал учитель. Тяжело хлопнула дверь будки.

Портфель, конечно, стар. Но прочен. Вместителен. Да и в том, что он изрядно потрепан, есть свой смак. Недаром изощренно утонченные японцы специально наводят на новую мебель и различные вещи старость. В самом деле, новая вещь как-то не вписывается в этот старый мир, выделяется, нарушает гармонию, раздражает. Учителю, например, всегда хотелось вывалиться в пыли, если он надевал что-то новое: рубашку, костюм. Ну или хотя бы потереться о какую-нибудь стену. Или просто постирать вещь, память ее в горячей воде, смыть новизну.

Есть что-то неприличное в новизне. А портфель — благородно стар. Истинно учительский портфель. И разве можно сравнить старый благородный портфель с пошлым новым полиэтиленовым пакетом? А ведь именно с

пакетом придется ходить, если в бюро портфеля не окажется. Портфели стоят дорого. А платят учителю чуть больше, чем получает пенсионер. И жену надо одевать... Многие из школы уходят. Но куда пойдет Григорьев? Вышибалой в кооперативное кафе, как физрук Рогов? Или возить в Польшу утюги и водку? Говорят, прибыльное дело. И захватывающее. Люди даже основную работу бросают. Охота пуще неволи.

Да, настала пора большой охоты. Но Григорьев учитель, а не охотник. Ему нравится эта работа. Просто нравится, и все. Днем учительствовать, а по вечерам, когда школа пуста и величественна, предаваться тайной страсти: изрыгать хлад и пламень. И кто знает... Да, кто знает. Годы не те? Ну... Один американец лежал на берегу Атлантического океана, лежал, глядя на облака, — а пошел ему пятый десяток — и он встал и стал Пушкиным США. Его озарило, и он написал великую вещь. Надо просто ждать, терпеливо ждать. Кто знает, чем все это кончится. Все может измениться в одночасье. Ляжешь спать и проснешься знаменитым, как этот американский Пушкин. Заснешь учителем Григорьевым, а проснешься русским Данте. И оденешь жену в меха. Директор школы уже не посмеет говорить тебе «ты». И Лев Лебедев будет иметь глупый вид, потому что он не может не язвить, а как тут язвить, если перед тобой Данте. Нет, не позавидуешь Льву Лебедеву. И всем остальным. Столько лет трудилась бок о бок, а и не подозревали, что под носом у них расцветал талант. Слепцы. И подруги жены будут пришиблены, а опомнившись, начнут строить глазки. Родственники жены полезут с коньяком и цветами. Ее высокомерный брат, ездивший в Париж, — первый.

Кстати, Григорьев тоже отправится за границу, но не в этот пошлый пресловутый Париж, а в город вечный — в Рим. И он еще посмотрит, брать ли с собою жену. И скорее всего не возьмет. А вот обзаведется в вечном городе подругой, стройной римлянкой, какой-нибудь Пиррой: «...с тобою кто в гроте сладостном, Пирра? Для кого косы рыжие распускаешь хитря?» Для учителя Григорьева, русского...

«А почему, собственно, Данте?» — вдруг спросил себя Григорьев.

Он замедлил шаг и слегка похолодел от предчувствия...

Потому что сон.

Но, кажется, во сне не было ничего такого. Бюро, чай, чиновник. Мягкий, лысоватый, круглолицый. Очень вежливый. Чертовски вежливый. Гм.

И все-таки во сне были какие-то намеки. Какие?

Учитель не мог припомнить. Но было что-то, что заставляло его думать о Данте. Хотя это необъяснимо.

Жаль, что этот загадочный сон оборвался. Интересно, что было бы дальше. Что они увидели бы там, за дверью? Надо было ни о чем не спрашивать, а сразу соглашаться. И чертовски вежливый чиновник мгновенно все оформил бы. Григорьев живо представил лысоватого мягкого, чертовски вежливого чиновника со свечой в руке. И услышал, как тот говорит: «Минутку». Да, именно: «Минутку». И суетливо шелестит бумагами, выдвигает ящик стола, затем другой, третий, заглядывает в сейф. Произносит: «Да где же подсвечник?» И опускает свечу в чернильницу.

— А, пускай здесь постоит.

И обеими руками начинает копать в папке. Что-то пишет. Затем протягивает узкую полоску бумаги, и Григорьев встает, подходит, берет ее и — читает? Да, он возьмет и прочтет вслух написанное, ничего не понимая, но чувствуя каждое слово нутром, всем существом, как если бы произносимые слова были частью плоти и души и он брал и вырывал их и бросал... Под конец Григорьева затошнило. Чиновник проворно подал ручку и попросил расписаться.

— Где? — спросил Григорьев.

Чиновник привстал и мизинцем, увенчанным длинным ногтем, указал место на листе. Григорьев расписался. Чиновник посмотрел и, посыпав роспись песком, спрятал лист в папку.

— Ну вот и славно, — сказал он, завязывая тесемки папки и взглядывая на Григорьева, на троих на диване.

— Господа! Отправляемся.

Чиновник спрятал папку в сейф. Оглядел стол. Взял спичечный коробок

и сунул его в карман пиджака. Затем он вынул свечу из чернильницы. По его пальцам потекли черные густые капли. Чернильные капли зачастили беззвучно по сукну стола. Чиновник встал и вышел из-за стола. Чернила капали на пол и на его туфли. Трое и Григорьев завороженно смотрели на этот чернильный дождик. Чиновник прошел, скрипя половицами, к двери и, распахнув ее, встал сбоку и широким жестом пригласил их войти.

— Прошу, господа.

Один за другим они вошли в эту дверь и увидели, что находятся в коридоре. Чиновник затворил дверь, вытащил связку ключей, встряхнул ее и ловко поймал нужный ключ, вставил его в замочную скважину и повернул два раза. Спрятав связку ключей, он обернулся и приподнял руку со свечой. Все молча смотрели на него. Улыбка тронула его преобразившееся тяжеловесное бронзовое лицо.

И один из Ивановых вдруг сказал, что забыл о важном деле, он очень сожалеет, но ему придется вернуться, но как только он все уладит, непременно придет и с радостью отправится на экскурсию... Чиновник направился к ним. Они расступились.

— Следуйте за мной, — бросил он на ходу.

Все двинулись за чиновником по узкому коридору. Коридор, кажется, был длинный.

— Но позвольте, — пробормотал Иванов.

И Григорьев с пронзительной ясностью понял, что никогда не вернется и не станет вторым Данте...

Послышался злобный трезвон, учитель отпрянул, и, обдав его ветром, чистый новый трамвай пронесся мимо и въехал в Никольские ворота. Кровь прилила к похолодевшему лицу. Учитель поправил очки. Значит, он уже у Никольских ворот. И не заметил, как дошел. Замечтался.

Учитель пересек трамвайную линию. Эта улица где-то здесь.

Но какая нелепая странная мысль. Как можно не вернуться из сна? Это же не дверь, в которую можно войти, и она сзади захлопнется навечно.

Учитель прошел мимо одинаковых двухэтажных грязно-желтых старых кирпичных домов с печными трубами, крошечными балкончиками. И оказался возле небольшого, черно коптящего заводика. Здесь он спросил у человека в тяжелой брезентовой робе, вязаной шапке и кирзовых сапогах, как пройти на такую-то улицу. Мужчина поправил моток проволоки, висевший на плече, пожевал папиросу, наморщил лоб табачного цвета и наконец ответил, что не знает такой улицы.

Повстречав пожилую женщину с авоськой, учитель спросил у нее. Женщина ответила, что где-то там, и махнула рукой в сторону частных домов. Григорьев пошел дальше, сомневаясь, что бюро находок может располагаться в гуще частных одноэтажных деревянных домов. Он читал на домах названия и переходил с улицы на улицу. Отовсюду из-за оград на него лаяли собаки.

А ночью они молчали.

Неожиданно улица вывела его к оврагу, и учитель подумал, что дорогу домой можно сократить, если пойти через овраг. Но в овраге слишком грязно. И ручей разлился, бурлит. Нет, лучше, конечно, ехать на трамвае.

Но сначала надо отыскать эту улицу.

Учитель повернул и пошел прочь от оврага.

Наконец какой-то прохожий в черном тяжелом пальто объяснил, как выйти на нужную улицу.

Учитель дошагал до первого переулка, свернул и, пройдя его, оглянулся направо... Улицу замыкал громоздкий темный угрюмый бревенчатый дом. На стене, слева от двери, виднелась табличка. На белой табличке чернела надпись.

Учитель остановился.

Издалека он не мог прочесть надпись, но ясно было, что это и есть бюро.



ЛАРИСА ТАРАКАНОВА

*

РАССКАЗЫ

Страна Молчания

Была такая страна, называлась Страна Молчания. Один любознательный человек узнал туда дорогу и пошел. Он рассуждал так: наверное, в этой Стране царит покой и тишина и людям там хорошо.

Как же он удивился, когда в Стране Молчания его встретили бурные крики: «Добро пожаловать в самую благоустроенную страну!», «Счастлив, кто посетил наши замечательные места!», «Здесь самая радостная жизнь!».

Огляделся человек, плечами пожал. Неприглядная картина представилась ему: хижины одна неказистее другой лепились вдоль кривой дороги, дети с голодными глазами украдкой щупали его карманы, женщины со злыми глазами развешивали на веревках ветхое белье, мужчины играли в азартную игру — чей плевков дальше.

«Разве это жизнь?» — подумал человек.

— Наша жизнь самая продуктивная, — сказал один мальш и добавил: — Дай же мне конфетку.

Человек дал ему конфетку и пошел к центральной площади.

Вдруг все вокруг зашумели: «Да здравствует наш Мудрый Правитель!»

Окруженный воинами и слугами, выехал из дворца тучный человек на огромном слоне.

Все, даже младенцы, приветствовали Правителя. А наш странник глядел на него и укоризненно молчал.

— Кто это? — спросил Правитель.

— Странник, — доложила охрана.

— Что он говорит?

— Ничего не говорит. Смотрит.

Правитель недовольно поморщился.

— Он мне не нравится. Не выпускайте его из виду.

Прошло некоторое время.

И снова на центральной площади воодушевленный народ приветствует своего правителя.

— А что же тот странник? — спросил Правитель у охраны. — Где он?

— Здесь, в толпе. Стоит и дерзко смотрит на Вашу Светлость.

— Вот как? — скривился Правитель. — Приведите его.

Толпа расступилась перед охраной с криками: «Да здравствует наш Мудрый и Великий!»

Их взгляды скрестились.

Наш странник, маленький в ногах слона, набрал воздуха и что есть мочи закричал:

— Обманщик! Твой народ в грязи и нищете, а ты велишь петь радостные гимны. У тебя в стране женщины разучились любить, а мужчины забыли, что такое честь. Ты плохой. Ты не умный. У тебя сердце заплыло жиром!

Правитель слегка склонился, держа ладонь возле уха раковинной, чтобы лучше слышать.

— Ты презираешь свой народ. Дилетанты и лизоблюды окружают твой трон.

Правитель улыбнулся:

— Какой звонкий голос.

— Государь, — сказала охрана, — прикажи — и мы разорвем его на куски!

— Оставьте его, — сказал Правитель и лениво зевнул. — Он больше не опасен. Он заговорил.

И пышное шествие двинулось дальше.

ТВ

Жила в городе Калуге женщина. И была у нее заветная мечта, связанная с телевизором. Эта женщина всегда с интересом смотрела программы и думала: «Как там, в телевизоре, люди выступают? Вот бы и мне так выступить!» Но она не знала, как это делается, и только мечтала.

Вот однажды сидит она и мечтает, как будто ее приглашают выступать и ей нужно хорошо одеться. Тогда она открывает шифоньер и смотрит на свои платья. У нее было два шерстяных и одно крепсатиновое. Вот она любуется своими платьями и думает, какое лучше надеть, чтобы и нарядно и тепло, то есть с длинными рукавами. Смотрит, а рукава у всех платьев не длинные, а три четверти, как раньше носили. Что же это, думает женщина, фасон-то уже старый? Надо платье переделать. Сложила в сумку и пошла в ателье.

Приходит в ателье, оно закрыто по техническим причинам. Смотрит женщина: табличка висит на дверях, а в ателье полно народу. Она и вошла невзирая на табличку.

Тут на нее приемщица замахала руками, заморгала: мол, куда лезешь, не видишь, что закрыто?

Женщина не сробела, говорит на все ателье:

— Может, я ветеран труда, а вы на меня шипите.

И тут другая приемщица подбегает: ах, как мы рады, что вы к нам зашли, мы вас очень культурно обслужим, наше ателье всегда работает для людей.

— Тогда перешейте мне, чтобы по моде было, — говорит женщина и открыла сумку.

И стали у нее заказ принимать и обмеривать окружности. И улыбались ей как родной.

Пришла женщина довольная домой. Села чай пить. Включила телевизор. Смотрит и не поймет: какая-то мымра в ее крепсатиновом платье вертится перед зеркалом и хихикает.

— Так это же я! — воскликнула женщина да так и села мимо стула.

Пока поднималась, отряхивалась, начался концерт легкой музыки.

Сидит женщина и не знает, радоваться или горевать. С одной стороны, сбьлась мечта (ее по телевизору показали), с другой — уж очень неожиданно. Если бы ее предупредили, она бы родственникам написала: мол, смотрите меня на телеэкране такого-то во столько-то. А так неизвестно, может, никто не видел...

Прошло четыре месяца, получает она письмо от своего давнишнего друга, который обещал на ней жениться, а сам уехал на Дальний Восток и женился на корейской девушке. Этот друг пишет: «Прости меня, что я тебя обманул. Когда я увидел тебя по телевизору, я понял, как ошибся. Но прошлое не вернешь. У меня долг перед семьей. Желаю тебе дальнейшей счастливой жизни».

Прочла она письмо. Поплакала. Повздыхала. И сказала:

— Вот телевизор — ящик, и все. А какую роль играет в судьбе человека!

Очередь

Рассказывают, было время, когда ничего не было, а была только одна большая очередь. И люди знали, что очередь — это жизнь. И никуда от нее не деться.

Однажды в очереди встретились два хороших человека и полюбили друг друга. Ее звали Таня, его Коля. Таня стояла за немецкой комбинацией, а Коля был двести семнадцатый за клеем отечественным «Цемент», но клей кончился, и он стал восьмьсот второй за батарейками.

Таня была молоденькая, шустрая. То и дело выбегала из очереди и что-нибудь успевала: пересдать химию, съездить на каникулы в Киев, почистить картошку на ужин.

Коля отлучался из очереди только в самых необходимых случаях: для службы в вооруженных силах и покурить.

Коля присматривался ко многим девушкам, сравнивал и наконец понял, что лучше Тани нет никого.

Сперва Таня удивилась: разве бывает любовь в очереди? Из художествен-

ной литературы она знала, что любовь бывает при луне, в беседке приусадебного сада.

Когда они с Колей впервые поцеловались, очередь притихла, по ней прошелестел трепетный вздох. Все вокруг одобряли чистое, светлое чувство, и каждый вспомнил о своем, сокровенном.

Таню с Колей по такому случаю подтолкнули вперед, поближе к прилавку, где давали изумительные алюминиевые сковородки по две штуки в одни руки.

— Вам теперь в хозяйстве пригодится, — улыбалась очередь.

На свадьбе было много еды, гости ели и пили с удовольствием. Одно беспокоило Колю.

— Пока мы тут женимся, — шептал он на ухо невесте, — наша очередь может пройти.

А Таня успокаивала его, говоря, что очередь бесконечна и никогда не пройдет.

Она была права милой женской правотой.

Можно сказать, в их жизни очередь по-настоящему только начиналась. Но они, опьяненные взаимной любовью, этого не понимали. Много ли надо человеку, пока он молодой? Сперва кажется, что немного: удобный рюкзак и выносливые кеды — чтобы дальше пройти и больше увидеть. Очередь очень устраивает, когда вам не нужно холодильника или смесителя для ванной — на одного претендента меньше. Но это пока у вас ветер в голове. А когда у вас семья — другое дело. Ничего не попишешь. Очередь вздыхает, пропускает вас на законно занятое место и великодушно заверяет: «Он тут стоял!»

Прошли годы. Таня с Колей ждали получения квартиры. Каждый квартал они приходили в жилищное бюро и отмечались в своей очереди. Однажды в бюро к ним обратилась милостивая женщина и сказала с улыбкой, что может им помочь в решении квартирного вопроса... за умеренную плату, конечно. Женщина сказала:

— Вы даже не почувствуете этого расхода, всего каких-нибудь десять—пятнадцать лет вашей молодой жизни.

— Вот настоящая волшебница! — радостно решили муж и жена.

Получив квартиру, они шутили друг с другом:

— Старушка, ты чего загрустила? Разве можно грустить в отдельной квартире?

— Старичок, ты не прав, я не грущу, а радуюсь: теперь за неимением своих детей, которых мы не позволим себе из-за отсутствия жилищных условий, мы можем кого-нибудь усыновить или завести кошечку.

Но кошечку им не пришлось усыновить, потому что подошла очередь на «Ладу».

Если бы они были умные, то прежде автомобиля встали бы в очередь на строительство гаража.

Но и тут им здорово повезло. Одна приятная женщина доверительно сообщила, что инвалидам гаражи даются в первую очередь.

— Игра стоит свеч, — сказал Коля и лишился левой ноги.

Прошли годы. Супруги жили душа в душу, проявляя друг о друге нежную заботу. Все у них было для хорошей жизни. А чего не было, то они добывали с помощью Колиной инвалидности.

Но вот настал день — и по радио объявили: «Очереди отменяются!» Как же так, удивились супруги, разве это мыслимо? Они оделись и вышли на улицу посмотреть, какая такая жизнь без очереди.

По улице ходила молодежь, чавкая и хрустя жевательной резинкой, из открытых окон детского сада летели звуки ламбады и яростный призыв воспитательницы: «Танцуем все!»

Витрины ломались от товаров, а покупатели проходили мимо.

Супруги погладели и облегченно вздохнули:

— Мы свое прожили, а каково молодым?

— Да, — сказала жена. — У нас девять кило гречки припасено. Проживем!

И прожили еще некоторое время.

Может, и до наших дней дожили. Сейчас не поймешь, кто был, кто остался.

ВАЛЕНТИНА ПАХОМОВА

*

НЕ ПРОЩАЙСЯ СО МНОЙ, ОТЕЦ

1

Мой старый, слепой отец наткнулся на стул — радуется.
Услышал песню по радио — радуется.
Щебетанью птиц за окном — радуется.
Мудрая старость живет без знаков препинанья
в водовороте страстей.

2

Не прощайся со мной, отец.
Живи еще сто лет.
Я буду приезжать к тебе каждое воскресенье.
Мыть полы, стирать и готовить.
В маленькой кухне мы будем пить чай.
Ты не видишь солнца и света, но слышишь щебетанье ласточек.
— Выйди на балкон, посмотри на ласточек. Они опять там
свили гнездо, — говоришь ты.
Не прощайся со мной, отец.
— Я устал жить, скорее бы смерть пришла. —
А ведь совсем недавно ты говорил:
— Тяжело первые сто лет, а потом легко. —
Мы сидим на кухне.
Я рассказываю тебе про жизнь Мухаммеда,
а ты про Христа.
— Тяжел был крест, который он нес на Голгофу. —
Я надеваю на тебя чистую рубашку,
целую в колючую щеку.
— Я очень старый?
— Ну что ты, ты как огурчик. И выглядишь на 65!
— В моем роду не было долгожителей. А знаешь, я ведь
иногда и поплачу, а то и песню спою.
— А ты спой мне, спой, — прошу я.
— А простимся лет через сто.

3

В сиреновой рубашке положили тебя в гроб, отец.
Саван белый оттенял твое помолодевшее лицо.
Печально смотрела Казанская Божья Мать
на раба Божьего Михаила.
Не сидеть нам больше за столом

и не пить,
и не пить крепкий чай с пряниками.
Тебе лежать с женой и сыном
на сосновом кладбище,
а мне навещать вас.
Крошить птицам хлеб и передавать земные поклоны
в седую вечность...

4

В моем родном городе меня никто не ждет.
На могиле отца выросли бальзамины.
Набираю номер — трубку берет тишина.
И перелетные ласточки больше не вьют гнезда на балконе.
И перед иконой Спасителя никто не молится.
Вещи пережили людей.
Дубовый стол, рыжий комод, скрипучие стулья
впитали любовь и тепло.

...сладость и боль перелета.

.....



АСАР ЭППЕЛЬ

*

AESTAS SACRA

Рассказ

Была почти ночь, было начало двенадцатого, но даже для середины августа темно было непомерно.

Из непомерной тучи лила вся вода небес. Громадный воды мириад.

И все колотилось и клочталось, плыло, мокло, стекало по стеклам, пыль брызг, водный взрыв, перехлесты, всхлипы, хлопанье, мгла, влага, влажность, зверские озарения — и так тепло! — текло, истекало, рушило и орошало, сокрушительный, оглушительный, хлеща, полоща, воя, моя, омывая — но тепло! — томный, истемна-темный, истомный, допотопный, тотемический, томительный, рокоча, клокоча, лужи, хляби, глубы, ужас — и тепло! — и громадный воды мириад. Не проливень. ПРА-ЛИВЕНЬ. Единственный в жизни твоей и в жизни земли...

Столпотворение. Дождь Творенья.

Был ли это новый порыв Творца или просто факт слияния влаги, слизи, теплоты и кислот каких-то сокровенных — сказать трудно. Но если кощунственно не счесть дальнейшее волею Создателя, то следует ливень этот летний счесть единственным совпадением того, чему в единственном месте вселенной, в теплой духоте и терпких испарениях, в декадентских извивах травы и слизеточивых чреслах скальных щелей назначено было из какой-то прели, влаги и плесени породить Жизнь.

Совпадение произошло. Теплота. Темнота. Гальванические молнии. Лето. Ливень. Трубная площадь...

А ливень на Трубной — это потоп, и не укачи вовремя трамвай номер двадцать пять, он бы утонул, а сдуру заехавший сюда автомобиль захлебнулся бы, всплыл и, как земляной жук, перевернулся бы вверх колесами, обнаружив хитиновый поблескивающий живот.

Но что надо совпало, и Жизнь возникла, когда, как всё на свете, кончился и он — благословенный Дождь Творенья.

По Трубной площади, сровняв ее замечательную пойму с бульварными берегами, в пузырях и мелкой пене неслась вода. Подземная речка Труба переполнилась уже до предела, но каменная ее труба, набухшая творящей жизнью жилой, все еще глотала воду, без разбору принимая в себя первоэлементы и спешными толчками изливая не понадобившийся остаток. И когда поток одной подворотни иссяк, а один водосток сладострастно завсхлипывал, то ли недоутоляемый в желании, то ли прежде чем изойти совсем, она и создалась — Жизнь.

На кромке громадной линзы Трубной площади под унявшимися, но помраченными еще небесами, на этой самой Трубной, тотчас приступившей к теплоту паросторжению и перемешиванию дразнящих, но бесполезных бульварных ароматов с многообещающими тяжкими миазмами подасфальтных недр, в далеком конце ее, отколупнулась на какой-то обшарпанной стене дверь. Черная, цвета запекшейся крови скорлупка на яичной кривизне стены отковыривалась осторожно, ибо вровень с порогом со Сретенки неслась вода,

спеша ко все еще взбухшей жиле с какими-то важными аммиачными компонентами.

А едва отколупнулась дверь, едва из парадного потянуло то ли прелью парадного, то ли той единственной жизнедатной плесенью, которая теперь знакома всем и каждому, окрестная вода стала куда-то проваливаться, ибо на другом конце тусклой пустыни... — но об этом поговорим, а тут в дверном проеме возникла первая среди планетарных хлябей живая жизнь в виде четырех уже готовых особей.

Трех недоюношей и одного мальчишки.

Возникнув в дверях, они сразу излили себя в убывающий у порога поток, заявив этим, что живут, что пусть во второстепенной, но функции опробовали устройства, приданные им для продолжения жизни. Их организмы, справившись с несложным испытанием, соединили простейшую жидкость первотворений с водой Творения, и горячая влага тел стала той главной малостью, от которой нестерпимо взбухшая подземная жила в последнем усилии довоссоздания прорвалась наконец под долгие страдальческие вопли грома, извергла сретенские свои жидкости под утробные всхлипы водостоков, и зная, что сейчас последует, и — на мгновение обезводев — залпом сглотнула пенный поток дальней подворотни — черной сырой дыры, изливавшей из себя этот мчащийся поток, и тот сразу стал убывать, мелея по краям, — а из скользкого зева подворотни вышло еще одно, последнее уже творение — сразу босое, сразу мягкое, сразу с дремотными какими-то движениями. Оно прошлепало босиком по кромке подворотенного потока, спокойно и безбоязненно оглядело испарявшую банный пар и речные туманы пустыню и, задрав платьице, присело над убывающей водой, тоже проверяя свой организм, тоже соединяя свою влагу с влагой бытия, тоже возвращая первостихии лишнее, и первостихия все приняла, и все ушло куда-то в жилу, и пискнула птица, и что-то одобрительное пробурчал добрый гром, и тихо вспыхнула дальняя зарница, на мгновение осветив опаловые бедрашки, по которым опало кроткое платьице, дабы облеганием убережь уникальный этот организм, обреченный впредь на беспечность и сладостность, на теплоту, необычайную и вечную, как теплота этого предночья — влажная, единственная в истории земли теплынь.

Вот и всё, ради чего обрушивались небеса и бесновались стихии: тамошних четверо и тут — одна. И — только мгла и туманы, и ни души, и эти дети Творения по разным концам неимоверной лохани Создателя — Трубной площади, ничего не знавшие друг о друге.

Четверо, шагнув за порог, пошли жить и существовать, вовсе не страшась предстоящей бесконечной дороги. И сразу засквернословили. Сквернословие, после известной уже проверки организмов, было первой проверкой их поразительного мозга на предельном режиме его сумеречности и тупости, так как саморазрушиться и пропасть он мог лишь в эту сторону, в другом же направлении пределов развитию не имел и был задуман надежно и безупречно. И мозг четверых, не самоуничтожившись, проверку на б л я д о с л о в и е выдержал.

Она же ничего такого проверять не стала, ибо ее мозг не имел права ни безгранично развиваться, ни саморазрушаться. Он просто был шкатулкой бесценных инстинктов, сущим кладом, приуточенным на случай, если мозги тех пропадут или разовьются до таких пределов, что порвут всякую связь с живым белком Божьего мира.

Высшая сила, или сила Высшего Совпадения, едва ее создания вылупились из парадного и выскользнули из влагалища подворотни, тотчас обратила благословенные недра эти просто в парадное и подворотню, засветила в белевшем всюду паре фонари, расставила дома, окружила Трубные стогны путанными переулками и стала сливать с улиц остатки воды; то есть превратила первозаданную творильню в теплый ночной город, вполне теперь пригодный для бытия.

И четверо пошли к предназначенным им в этом бытии обиталищам.

И она пошла к своему.

И судьбе было угодно, чтобы обиталища оказались, в общем-то, далеко.

И хотя четверо пошли своей дорогой, а она своей: те — закоулком, она —

переулком, однако дорогам этим предстояло слиться в одну теплую долгую дорожку, в один невероятный путь.

Соединение это следует считать событием уже земного произвола, ибо сливать две дороги в одну — пустяк по сравнению с тем, что совершилось полчаса назад.

Но события продолжались.

В недавно рукоплескавшей ливню, а теперь притихшей листве бульвара под большим чуть не с лопух — тополиным листом завоzilось какое-то пухлое дитя. Оно сломало с дуба сук, согнуло в тугой лук, тонкую тросточку сломило, стрелкой легкой заострило, выдрало из хвоста у известной нам пискнувшей птички два перышка, оперило влажную тросточку, натянуло снурок шелковый и, невинно улыбаясь, тихо пустило стрелу в сторону стези, в какую сольются дороги первотворений.

И влажная стрела медленно и как-то боком полетела в темноту...

Трое недоюношей и отрок, верней, три подростка трудного возраста и мальчишка, голос которого или начал, или вот-вот начнет ломаться, шли, прошлявшись три часа, по улице Горького, где вместе с остальной толпой напрасно искали приключений, ибо что может приключиться на главной улице, где недавно закрыли коктейль-холл — очень приключенческое место, а те, кто там приключались, перебрались то ли в сад «Эрмитаж», то ли в ресторан «Аврора», где вокруг большого пальца правой руки вертел барабанную палочку Лаци Олах, не то венгр, не то словак, добродушный лицом и мастер единственного на всю державу барабанного брека, а на саксофоне играл Василий Пестравкин, русский человек, самозабвенно дувший в саксофон, точно в сопелку или жалейку.

Наши четверо ходили, значит, от площади Пушкина вниз и обратно и за весь вечер съели четыре эскимо и три пирожка. Тремя пирожками они попользовались потому, что стояли в очереди впереди каких-то девок и намеренно громко заявляли, что, мол, берем три пирожка, возьмем трипирожка! — громко этак на всю очередь — нам трип-пер-рожка! — но в основном чтоб слышали девки. А девки взяли между тем по два пирожка на девку и поели. А эти четверо — дурачье! — долго не могли поделить три жареных пирожка на четверых, потому что, когда отбалагурили и стали докупать четвертый, товар кончился; делить же пирожки со слизистым повидлом, чтобы оно, прихотливо расположенное в каждом, досталось всем поровну, дело столь безнадежное, а главное, липкое и жирное, что руки четверых так и останутся липкими до середины рассказа. Между тем ладони у одного и так были влажные, у другого — сухие, третий был красивый, а у мальчишки между большим и указательным пальцами левой руки был как бы наколот, а вообще-то нарисован чернилами якорек.

И хотя, будучи просто слободскими недорослями, вечером приезжавшими шляться по главной улице, хулиганами они не были, потерянный ради красного словца пирожок они компенсировали отменной шуткой. Нашли телефон-автомат, и владелец влажных ладоней как следует сморкнулся на то место телефонной трубки, в которое говорят. Сухоладонный и Красивый, похрюкав носоглотками и образовав нужное количество харкотины; когда трубка была аккуратно повешена на рычаг, придерживали карандашиком пружинящую заслонку дырки, куда выпадает неиспользованная монета, и метко в эту дырку харкнули.

Мальчишка, всю идею предложивший, вышеописанными действиями придирчиво и хлопотливо руководил.

И они стали ждать результатов. Вскоре в будку вошел какой-то порывистый очкарик, оставив ее распахнутой — на улице стояла преддождевая духота, да и грязное, с затеками сурика стекло громоздкой двери мешало разглядеть в будочной тьме цифры на диске. Очкарик вкинул пятнадцать копеек (старых), сдернул с рычага трубку, умело повернутую своим безобразием к стене, прижал ее, нашаривая рукой в кармане записную книжку, ухом к плечу и скошенными вниз от этой позы глазами увидел у своего рта на решеточке говорилки большую соплю Влажнорукого. В ужасе, в почти сразу истерике, очкарик двумя пальцами осторожно-осторожно отнял трубку от уха, зверским движением насадил на рычаг и сразу сунул указательный палец за

неиспользованной монеткой... Представляете, что было? Нет. Не представляете. Это надо испытать, тогда представите.

У мальчишки с якорьком все же получилось, забежав дорогу, очкарика остановить и попросить разменять рупь для автомата, а тот... Господи...

Между прочим (это узналось много позже), был он композитором Шостаковичем, а позвонить собирался поэту, с которым как раз писал ораторию «Песнь о лесах». Помните: «Тополи, тополи, скорей идите во поле!» и «Желуди, желуди...», а дальше «стране помогут в голоде» или еще как-то...

Потом наши четверо пошли за какими-то перспективными шалавами, свернувшими на Страстной бульвар и тотчас прибившимися к такой шпане, что наши сразу дали кругая, ибо в своей слободе привыкли оценивать силы мгновенно. К тому же, шпаной не будучи, не были они и любителями решения конфликтов кулачным боем.

Ввиду позднего времени пора было двигать домой, но в трамвай садиться не стоило, кондукторша хай подымет, ибо денег у них не имелось (приставание к очкарику разменять рупь — наличности не соответствовало), так что пошли они пешкодралом, а давно собиравшийся в августовской духоте дождь прихватил их на Трубной, и пришлось просидеть в парадном часа два, причем — без шума, так как мальчишка с якорьком сперва начал было нажимать звоночные кнопки, но вышедший сразу из каких-то дверей громила в майке сказал: «Еще один звонок, и ноги из жопы выдеру! Когда же вас передушат, бля, всех!» Слова эти, особенно последние, поубавили рвение путников, и те притихли. В подъезде было душно — дверь не откроешь, ворвется дождь, — в подъезде стало темно, потому что не любивший отказывать себе Красивый все же выдавил втихаря лампочку, конопатую от побелки двадцатых еще годов, но в войну уцелевшую, ибо украсть ее не было никакой возможности — первый управдом (при старом режиме — профессор химии) приклеил ее к патрону в те двадцатые годы то ли коллодием, то ли гуммиарабиком собственной рецептуры, так что — хотя его самого вскоре отклеили от управдомства и вообще от бытия — лампочка терпеливо дождалась на положенном месте агонии своего огня, а наши четверо стали тихо играть в города, в знаменитых людей и выглядывать — кончился ли дождь.

Она шла с танцев. Танцы были неинтересные. В общежитии, где их устраивали, собралось сплошь почти бабье, а один парень, сразу ее пригласивший, не прижимался, пуговицы лифчика пальцами не выковыривал, этой же рукой по влажной ее спине не сползал, так что первый разрешенный танец в обхват — фокстрот — пропал зря. Потом она танцевала с какой-то девкой падеграсы и падепатинеры, и обе, как ситцевые фрейлины, похаживая друг возле дружки, переговаривались, что охломоны сегодня, дураки чертовы, не лапаются, и грязненькие их лифчики чуть не лопались от горя, прожигаемые сосками. А они сходились и из-под приподнятых ручек быстро спрашивали одна другую что-нибудь вроде: «Ты — целка?» — и отвечали одна другой: «После семи абортот!» — аккордеонист же играл.

Танго тоже пропало, потому что аккордеонист объявил «женский танец», и она хотела пригласить охломона, чтоб нарочно потереться, но того перехватила ее партнерша — во какая шалава! Все выспросила, а потом динамо двинула! И тогда она позвала другую девку, и они, пока танцевали «Затихает Москва, стали синими дали, ярко блещут кремлевских рубинов лучи», развеселились и разговорились: «А ты честная?», «Была, да от свекра родила!» — и порешили, что танцуют друг с другом потому, что всем «чайники повесили», потом быстро зашептались, за какие места хорошо, когда лапаются. И у подружки, которая водила, оказалось — титьки, а у нее — за ушами, потом еще по спине, а потом до самого низу (вот проведи! — я прямо тут и ля ж у) и тоже сиськи. «Ну и...» — чуть не вместе сказали обе, а поскольку, когда говорят про это место, всегда обычно хохочут, обе, взвизгнув, закатились, тем более что рядом протанцевали как раз охломон с шалавою. А они и в самом деле расхохотались и хохотали потом, пока танцы не кончились, прыская — умора, Том! — не говори! «Чем отплатить мне вам за вниманье?» — а тебе платили? — не-а! А тебе? — а мне тоже! — чего тоже? «До свиданья, дорогие москвичи...» — а тебе москвичи нравятся? — какая разница! — одна смеется, другая дражнится! — а ты дражнишься, Том? — а то нет! — а я сразу! «Доброй вам ночи, вспоминайте нас!» И танцы кончились.

Было поздно, когда она пришла на Трубную ждать двадцать пятого. Начался ливень, из-за которого еще на танцах было душно и липло платье. Она тут же укрылась в подворотню, а трамвай между тем, прибежав на площадь, сразу укатил, испугавшись захлебнуться. Потом где-то сорвало бурей провод, и больше трамваи на площадь не пришли.

Она стояла в теплой подворотне, через которую мчалась глубокая вода и громыхало. Грома она не боялась, вода до второй ступеньки заколоченного подворотенного парадного, на которой она стояла, не доходила. Потом она на ступеньку эту села и, потому что рано вставать на работу, задремала и увидела сон, что ситцевое платье стало теплым, замохнатилося и ожило, но с нее не слезало, а шевелилось и — мохнатое такое! — прижималось. Потом, не снимаясь с нее, пригласило на танго, потрогало ей спину, потом ниже, и ей сразу захотелось д а в а т ь, а платье уостило ее мороженым.

Но тут грохнул решающий гром, последняя вода, уплывшая из подворотни, забурлила в решетке, и стало тихо. Она же, проснувшись, потянулась, встала, связала пояском босоножки и, перекинув их через плечо, вышла босиком на захлебнувшуюся площадь...

Хотя давно были придуманы трамваи с автомобилями, и даже ходили тогда двухэтажные троллейбусы, московская земля, созданная для пешего и конного передвижения, такую и оставалась. Постичь это было можно в безмянные теплые ночи, когда тихий город, деревянный, допотопный и замызганный, со скособоченными домами и скособоченными улицами (построй среди низких домов один большой, и улица сразу скособочится), совершенно замирал и становился таким милым, таким теплым, таким безответным и препоручал свои двory с помойками тихим кошкам, застрехи воробьям, посапывавшим во сне, руины церквей ни в чем не повинному, но изгнанному с позором Богу, украдкой приходившему в такие ночи проводить прежние дома молитвы, но не явно, а в виде слабых, неслышных букашек, тщательно перебиравших лапками, трогавших ножками и усиками каждую трещинку, каждый обломок святых кирпичиков, каждую щепку чего-то когда-то целованного и обливаемого слезами, или, таясь, шмыгавшему в облик серых мышей, шуршавших по отдушинам и лазам, причащаясь нетленными крошками когдатощних просфорок.

И было так тепло, что быть нищим городу становилось нестрашно — тепло не дает отчаяться, а идти надо было только пешком, и чем длиннее твоя дорога, тем счастливее твоя судьба, потому что дороги эти дарованы судьбой, а вымощенные еще не утраченной надеждой. Эх знать бы это! Эх пройтись бы по копеечному городу, которому нестрашно и тепло, и он уснул, отмаявшись, отнадеявшись, отрадовавшись, отмытарившись, отвеселившись, отперенаселившись, отвсхлипывав старухами по церквам, близкими по близким, водостоками по дождю, — чего там вспоминать! И только идучи босиком, можно было ощутить это, и запомнить это можно было — только идучи пешком.

Четверо уже изрядно прошли по своим закоулкам, иногда подбивая камешки и откидывая их друг другу, иногда принимаясь отмывать в какой-нибудь луже все еще липкие от пирожков с повидлом руки, иногда пошвыривая что подвернется в выглядывавших из-за углов и воротных столбов кошек. Некоторые кошки сразу же исчезали, а некоторые укоризненно глядели на столь неловкие движения и качали головами, ибо если захотел что-то убить или на что-то метнуться, действуй наверняка. Ошибиться нельзя — серые мыши засмеют, а промахнуться и сказать: «Опять, бля, мимо!» — совсем стыдно, потому что, если промахнулся, и мяукать не моги.

Она шла переулками, и ей было хорошо идти босиком по шершавой и теплой дороге. Встретиться ни с кем она не боялась — хоть с блатными, хоть с кем, — беспечность ее не знала границ; насильничать же — связываться не захотят. Она умела визжать, как никто на свете, сказать дядьке такое, чего никто не скажет, и тот отвалится, а если и насильничает — подумаешь! — надо просто обнять, он и душить не будет, а сразу станет по-человечески — даже, если попросить, побережет.

Правда, один раз она затревожилась, верней, вся насторожилась, ибо внутри какого-то глухого дома заплакал младенец, и она инстинктивно рванулась к нему. У нее самоотверженно заныли груди и напряглись сосцы —

накормить это неведомое ей существо, но неведомое ей ее собственное материнство тут же уловило в глубинах спящего дома неслышное довольное чмоканье и успокоилось. Возможно, впрочем, все произошло и не так, но что-то в ней все же произошло, откликаясь на отдаленный вопль о молоке, однако сразу исчезло, так как дом миновался и остался позади.

То и дело она под какой-то мотивчик совершала какие-то плавные движения, и они не были нелепы, а делали походку ее апологией безупречной поступи; однако правильной сказать, что походку она не меняла, а просто казалась танцующей, оттого, наверно, что переулочные липы затеивали вокруг нее экосез.

Оперенная стрела, косолапо совершавшая утяжеленный влагой полет, от передвижения стала подсыхать и полетела не стремительнее — ей было не к спеху, — а ровнее. И даже наладилась позванивать, но так тихо, что попавшаяся на пути галка, спавшая в листве старой липы, даже не вытащила из-под крыла голову, хотя, следуя внезапному воздуху, шевельнула телом, слегка поворотив его вокруг неподжатой ноги, на которой во сне стояла.

Четверо шли-шли и вдруг увидели такое — правдоподобное и неправдоподобное, — на что никак надеяться не могли. Из-за угла сходящегося с ихним переулком, переступая босыми ногами, одинокая среди ночи, одна — совершенно одна! — никем не провожаемая и никому не принадлежавшая, вышла женская особь. Она еще и напевала что-то — ля-ля-ля...

— Ну-ну-ну! — обмерли подростки. — Ну-ну-ну! — И приготовились приставать, и хотели даже потерять руки, но у Влажнорукого из-за вовсе вспотевших ладоней это не получилось, а Красивому с Сухоладонным и мальчишкой сделать такого просто не удалось — пальцы их были все еще липкими от пирожкового повидла и смазочного материала, в котором пирожки пеклись.

— Фью-фью-фью, фью-фью-фью, стали синими дали, фью-фью-фью, — стал насвистывать Красивый в лад ее движениям, но губы ему свело, так что свист, падла, не выходил.

— Е-ё-ё-о! — Влажнорукий был заика и сразу заткнулся на этом «ё-ё-ё-о», ибо остальное ему удастся досказать только у Рижского моста, минут что-нибудь через семьдесят.

— Здрасьте! — сказал Сухоладонный. — Откуда это она? — И что-то, словно комар, прозвенело над его ухом.

— Ребя! — тихо захлопотал мальчишка, тоже услышав звон. — Ща в момент соркеструем!

У него было несколько способов вступить с ней в контакт, скажем, проверить на приклатненность. Приводим необходимый диалог, которым все определялось.

Он бы спросил: «Цыпочка, говно клюешь?»

Она бы сказала: «Хотя бы!»

Он бы спросил: «Лапать даешь?»

Она бы ответила: «Хотя бы!» — и так далее.

И все бы выяснилось.

— Е-ё-ё-о-о... — тщиля заика, сбивая ритм изготвившемуся мальчишке, а тот второпях просто крикнул:

— Эй!

Она с готовностью повернулась, как будто окликнули ее не среди ночи, не внезапно и не танцующую, потому что ожидание окрика «эй!» со дня творения входило в систему ее влажных инстинктов, то есть к описываемому времени наличествовало в ней более пяти с половиной тысяч лет. Она всегда была готова услышать это и, смотря по обстоятельствам, ответить или не ответить или ответить тем, что не ответила. Но важно другое. Важно, что окрик не мог быть для нее внезапным. Никогда и ни при каких обстоятельствах.

Она потому и повернулась, хотя могло показаться, что какой-то повораживающий звон сходил на нее откуда-то сверху как бы сужающимися кругами.

Звон и в самом деле снижался по спирали, и спираль эта — великое воронкообразное завихрение — была остановленной в пространстве и материальном мире безупречностью ракушки — тонкой скорлупки, неотвратимо

вовлекающей в эмалевое свое нутро, внутрь, внутрь, внутрь; а поскольку оно поворачивается, это нутро, то на втором уже витке возникает головокружение, а поскольку оно сужается, скользкое это пространство, воронка вбирает твоё любопытство и восхищение, твоё соприкосновение со стискивающимися перламутровыми стенками, пропускающими в нежнейшем преобразении и без того добрый свет Божьего мира, прежде зыбким образом процеженный сквозь воды земные — зелёный бульон Бытия, — и, стискивая стенки свои, переполняет тебя головокружением в перламутре, а он гладок и скользковат, ведь ракушку сотворил слизень — бесформенный посредник Творца, сам на какую-либо форму не имеющий права, ибо бесформенность его божественная только и может обволочь себя, отвердиться совершенством — а сам он растворится в зелёном морском бульоне, а ракушка довинтится до тупичка, где будет сияющая темень, ибо тут и свету не поместиться — столько всего места; и свечение тоже не помещается, а сияет одно только ощущение конца, перламутрового тупичка, прикасаниями лишь, теснотой лишь повествующего о своём свете.

А кто проникнуть туда может по этим виткам удивительным? — муравей только и может, а глаз человеческий знает их разве что до первого поворота. А муравей доползет, касаясь ножками и усиками всех припухлостей и малостей выстилающего перламутра. И закружится удалая муравьиная голова, и он, шевеля ножками немеющими, ползком доберется внутрь, станет ошеломляться мерцанием и, пораженный, — а уж кто-кто, а муравей мир повидал! — одуреет, уткнувшись в самое-самое, стиснутый мглой, концом и стиснутостью, и обморочно испустит из себя нечто сладкое и кислое — муравьиную ли кислоту или какую-то не нареченную словами малость, из-за крошечности своей хранящую небывалое по качеству содержимое — сублимированную в этой малости бесконечную благодарность за перламутровый восторг в недостижимом человеку мерцании тупичка. В конце кончиты — как у зелёного моря называется по-испански ракушка.

Молодцы все же испанцы! Тут превзошли они даже того, кто декадентским чёрным абрисом очертил венецейские волосы Афродиты-Каллипиги — сиречь Прекраснозადой, Афродиты-Анадиомены — или Вынырывающей. И, оставив нам волосы эти златые и золотоволосых этих женщин нам оставив, итальянец тот ошеломился и остерегся изобразить правильную ракушку, убоявшись не написать ее невидимый и невиданный перламутр, а изобразил раковину-створку, раковину-пепельницу, куда потом начнут совать огурки, раковину-пловку, чей знак сужающегося головокружения всего-то в загадочном именовании — конхойда Никомеда. Конхойда — раковинообразная, раковина-створка — вместе с другой, не изображенной створкой своей когда-то давно тоже сжималась и разжималась в зелёном бульоне Бытия, всасывая его и выталкивая, всасывая и выталкивая... Этакая липкая ладонь жизни, на которой нагая, незащищенная и золотоволосая Афродита-Кончита от века готова к возгласу «эй!».

Никомед же, помянутый выше, тоже был из тех же краев и из тех муравьев, кто дополз, шатаясь от перламутрового наркоза, в мглистый тупичок; правда, дополз он и обо всем поведал чисто умозрительно — в виде уравнения, и не пространственного, а плоскостного — для ракушки, начертанной и угаданной умом сердца, но зато шепча при этом — Господи, как же ещё расскажешь?!

— Ё-ё-ё-о-о-о... — выводил судорожной гортанью Влажнорукий. — Ё-ё-ё-о-о.

А мальчишка, продолжая вступительный церемониал, внезапно воспользовался совсем другим паролем:

— Эй! Как дела?

— Как легла, так и дала! — засмеявшись, отозвалась она, и ознакомление таким образом состоялось.

Но таким образом сделалось ясно, что откликнулось существо пускай свойское, пускай слабое и побеждаемое, но независимое. И хотя оно не владело ситуацией, четверо тоже не стали хозяевами положения, ибо звон, о котором никто не знал, где он, вмиг заполнил им головы, и зазвенела даже вся их кровь, так что бесстыжее заявление, совершенно самонадеянное при ее незащищенности, было убедительным и единственно правильным ответом.

Она же, сразу поняв по голосам, что незнакомцы не страшные, крикнула:

— Куда идете, сердца четырех? Я — в Ростокино!

— Сейчас провожаться, профурсетка, скажет! — брякнул Сухоладонный.

— Ё-ё-ё-о-о...

— Я провожу! — тихо пробормотал Красивый.

— Блядь не блядь, а может дать... — тоже тихо, но звеняще сказал мальчишка и крикнул: — Мы — в Останкино!..

— Так по дороге же! Напровожаем! — отозвалась она, тоже звеня голосом.

— А что мы с этого будем иметь? — не унимался мальчишка, оттопыренные уши которого вовсе заполнило звоном.

— Кто умеет — поймет! — услышали четверо, уже приблизившиеся, уже ее спутники.

Но самое интересное происходило со стрелой. Задрав оперение, та встала торчком и заметалась, поклевывая сверху каждого. В суетливых движениях ее была какая-то система, суетливой задуманная, ибо оставшийся — помните? — под тополиным листом младенец, прижавшийся для тепла к помирившейся с ним и тихо теперь попискивавшей птичке, смешав перья своих маленьких крыльев с ее оперением, подпер ладонью пухлую щеку и задумчиво стал глядеть вдаль, где совершалась мистерия встречи. Он то усмеялся, то тихонько хмыкал (и тогда обеспокоенная птичка, думая, что нужно лететь за червяком, тихо чивикала), то вдруг, покачав головой, что-то запевал на золийский лад...

...Я ж не знаю, братцы, этой муки —

Ха-ха!

И помощь мне приюта не нужна-а-а-а!

У меня для этой самой штуки

Есть своя законная жена! —

орал по дороге мальчишка, развлекая компанию, оживленно шагавшую, немного сквернословившую, но вполне по-джентльменски настроенную.

— Ой умора!.. Для какой штуки? Рыжий-рыжий, черт бесстыжий! — смеялась она.

Мальчишка, кстати, был рыж, так что развлекательная деятельность ради старших приятелей, уже пускавших в отличие от него в останкинских сараях пузыри сладострастия или с податливыми крестьянками, какими славится Валдай, или с соседками-паскудницами, или с сопящими сестренками-дурочками, или просто с неутолимимым воображением, была еще и его батрачеством, ибо раз ты рыжий, то стараться надо вдвойне, а то звать не будут.

— Тынь-тынь, и до Самарского дотопали! — сказал Красивый, одетый прилично, но в нечищенных ботинках, и хотел ради такого достижения потереть руки, но обычно сухие ладони его тут же склеило повидло, и он не без труда их разлепил.

— Вы дотопаете, вон какие здоровенные! Вам чайник повесь — не свалится! — продолжала она смеяться.

— Ё-ё-ё-о-о... — тянул свой изумленный монолог Влажнорукый.

— Одна повесила — три дня враскоряку ходила! — сгрубил Сухоладонный, имевший обыкновение говорить бестактности.

— Ё-ё-ё-о-о...

— А то! Мыс Томкой на танцах и не такому повесили! Чего в кармане руку держишь, пижон в селедке? (Сухоладонный был в галстук, и огромные подростковые ступни его были обуты в ботинки хотя ношенные, но начищенные.)

— Стоп же! Уголок Дурова! Ша услышите! — спасая ситуацию, вдруг сказал расторопный мальчишка и неожиданно закумарекал.

Он звонко и похоже кукарекнул среди на удивление теплой ночи, казавшейся какой-то намеренной уловкой природы, когда все произросшее из весенних завязей и семян, все твари земные переживали запасное волнение и томление на случай, если весны почему-либо никогда больше не будет.

Эту августовскую вспышку, это второе пришествие священной весны,

которое верней бы наречь *aestas sacra* — лето священное, до дождя еще, до тучи обложной, погулял мальенький, одинокий, весь день вылизывавший вонючий свой пах шакал. Он был ученый и на потеху публике плакал под баян. Занятие, кстати, ничем не хуже, чем плакать — тоже на потеху, — вернее, даже не плакать, а плакаться, причем а *carrella*, плачем типа «Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает...».

Шакал сидел в своей вольере, презираемый остальными узниками Уголка Дурова, сегодня не обращавшими на него внимания, ибо за стенами что-то лило, грохотало, мелькало, шумело, а позванивать продолжало и сейчас. И забытый всеми шакал, вылизывая на кислой соломе свой пах, вылизывал еще и выставлявшийся из паха малиновый конус.

А в одной из клеток ходил тигр. Он знал, что за стенкой есть какая-то кошка, что она — львица, он не знал, а она знала, что он тоже кошка, но не знала, что — тигр. Вот уже много лет они знали друг о друге понаслышке, по запаху, но ни разу еще не повидались — на сцену выводили их в разное время. На представлениях, кстати, тигр держал на носу маленькую птичку, ни разу ее не сожрав; львица же, раскинув лапы, просто ложилась на спину, отчего дети радостно визжали.

Был тут и маленький слон, старательно обрывавший помпоны со своей сценической попоны, за что его ненавидела старуха, помпоны потом пришивавшая; был еще и верблюд, от которого пахло аммиаком.

Некоторые звери происходили из Южного полушария. Например, эму, и все его не понимали, потому что на родине он почему-то клал яйца. Но на родине он знал, что делал, и потому теперь противно улыбался, держа рот узкогубой полоской и не заботясь даже приподнять уголки нездешнего своего клюва.

А в Южном полушарии, между прочим, дело шло к весне — *veg sasum*, — поэтому в полной тишине и полупотемках (между клеток в коридоре горела одна только восьмисвечевая лампочка), когда совсем не ко времени неправдоподобно правдоподобно и недалеко загорланил петух, он, эму этот австралийский, в тот день от непонятной тоски даже не улыбающийся, сразу же истерично закричал. И во всех клетках вздрогнули. Львица первая, требовательно хрипя, кинулась на бетон перегородки и так невозможно замыкала, что тигр зажег свои глаза, и в коридорчике прибавилось свету, словно бы чиркнули спичкой. И, зная, что стенку к львице не проломить (он много раз пытался), тигр, горя зрачками, кинулся на решетку — кинулся так, как нигде, никогда и никто из тигров ни на что не кидался — но решетка и не т а к о е в и д а л а ! — и тигр заходил взад-вперед, слыша ноздрями, как совсем рядом, но за перегородкой, мяукая рокочущим голосом, заметалась требовательная львица. Воздух от страшных этих метаний всколыхнулся по всему проходу и, насыщенный в ту ночь влагой, донес слабый, но чудовищный запах от стоящего в тупичке старого, с облезлой позолотой кресла, безупречного шедевра мастерской француза Споля — конфискованной сидячей мебели происхождением из дворца, находившегося в тех краях, куда шли четверо. На кресло это, чтобы ввинтить восьмисвечевую лампочку, влезал сегодня надзирающий за зверями одноногий инвалид и окончательно прорвал конической своей деревяшкой неразличимый гобелен обивки, на котором простушка пастушка внимала игравшему на жалейке пастушку Васе Пестравкину, настолько теперь покрытому слоем времени и серой грязи, что не слышно было ни звука быстро обезоружившей ее Васиной дудки, зато стал слышен запах конского волоса, обнаружившегося в прорыве просевшей обивки и сильно разопревшего к вечеру от влаги воздуха. Запах этот сперва ощутила давно ожидавшая его, но ни разу в жизни еще не чувшая красивая кобылка. Ключки сбившегося в лепешки конского волоса хоть и принадлежали жеребцу конца семнадцатого — начала восемнадцатого века, но, очевидно, жеребцу столь небывалому, что смиренная обычно кобылка, перебиравшая на представлении стройными ножками, покачивавшая плюмажем и сиявшая расчесанным в шашечки шелковым гладким крупом, так откровенно и бесстыже заржала, так сладострастно взвизгнула, что конский волос испустил еще одну, куда более мощную золотую волну запаха, от которой заголосил уже маленький шакал, и заголосил так, что тигр, не понимая, как вообще теперь быть,

снова метнулся на решетку — но решетка и не такое видала! — требуя хотя бы мяса — мяса целого жеребца, мяса не оторванной единственной ноги кормильца-инвалида, мяса всего мира — мяса, мяса, мяса — горячей кровавой плоти, которая, возникнув когда-то жизнью, стала впредь повторять себя в виде мяса, мяса, мяса...

А кобыла ржала, а львица, устав от невозможности невозможного, опрокинулась на спину и раскинула все лапы, а эму, единственный претендент на канун священной весны Южного полушария, запросовывал-запросовывал головку свою с горизонтально улыбающимися губами в ячейку вольерной сетки, но головка никак не просовывалась, а маленький вонючий шакал плакал на голос, точь-в-точь пастушка, сдуру отсопевшая под обольстившим ее неопытность жалейкой-сопелкой пастушком... А тигр клекотал плоткой, желая мяса, мяса, мяса... Мяса!..

— Во как кушарекать надо! — ликовал мальчишка.

— Ой рыжий! Ой смеху полны трусики! — сладостно заходила она, а Влажнорукий с Сухоладонным, ослабься, оставились на заборные строе-ния Уголка Дурова, где от дурацкого кукареканья проснулись — дураки — разные звери. Красивый почему-то оказался от нее всех ближе, а может, она оказалась ближе к нему, звон над головами их стал тоньше, причем стрела, торчавшая вверх оперением, вздернулась даже еще круче.

Под тополиным листом на далеком бульваре ухмылявшийся пухлый младенец высвободил руку из-под теплого птичьего крыла (та спросонок озабоченно пискнула), зажмурил хитрые глаза, покрутил указательные пальцы вокруг друг друга, развел их, потом свел, и пальцы, хотя и при зажмуренных глазах, встретились. Тут Красивый и она оказались совсем рядом.

Стрела напряглась до невозможности и яростно клонула Красивого, а потом ее, причем она от смеха чуть не падала и как бы на него оперлась, а он, то ли сохраняя равновесие, то ли чтобы придержать ее, выставил руку, и в руке оказалась ее грудь. Он почему-то совсем не удивился своему движению, не удивившись и тому, что она тоже не удивилась, а сделала все, чтобы через преграду платья и лифчика отдать грудь его ладони. Зато он удивился, что впервые та, которой касаешься, не засопела, а внятно и медленно сказала:

— Ишь прямо тут ему! Подол же на асфальте продерем... — И мягко приложила свои губы к его губам, и поерзала в них языком, привстав на пальцах босых ног. — Вас вон четверо! — медленно отняв губы, сказала она и загадочно засмеялась, меж тем как остальные трое, глядя в сторону, сглотнули комки в горлах. — С такими продерешь! — вовсе развеселилась она от их тройной немоты. — Чего встали? Пошли тогда!

И пошла, взяв под ручку Красивого и прижавшись к нему, а в отдалении, метрах в четырех, теперь пошли остальные.

— Ё-ё-ё-о-о... — маялся Влажнорукий, все еще лишенный возможности от души удивиться. — Ё-ё-ё-о-о...

— Во влипли... — сказал грубиян Сухоладонный. — Во уже — под ручку теперь...

Мальчишка же занервничал, заметался, разозлился как-то даже и еще звонче, чем в первый раз, прогорланит по-петушиному, а зачем, неясно.

Стрела, словно ей тут наскучило, повернула, откуда прилетела, и, звеня, унеслась. А поскольку была она теперь свободна, то, залетая в дома спящие и дома дремлющие (был уже час ночи), колола кого ни попало, и уколотые, если были вдвоем, обнимались, а если в одиночестве, теряли сон в летнюю ночь или садились писать стихи эолийским ладом. Господь же сердито и неодобрительно поглядывал из церковных развалин на вольноперую стрелу, но, воплощенный в мелкие и шевелящие усиками тихие существа ночи, не прибегал к великому своему и суровому завету, не прекращал полета языческой тростинки и, хотя оставался хмур, в доброй душе радовался, что хоть что-то, хоть что-то не разбазарили его творения, первенцы и возлюбленные чада. «Пусть летает, — бормотал он, — пусть плодятся и размножаются... какие глупые, какие глупые!..» — и снова принимался ощупывать кирпичики и зарванную труху своих поруганных святилищ...

Тигр ревел и ревел, однако наружу долетал тихий, погашенный стеной и забором рык. А тигр хотел хотя бы мяса, недovyданного ему ввинтившим

лампочку инвалидом, и даже сожрал бы сейчас вонючего и плачущего дурачка шакала...

Мясо, между прочим, является окончательным продуктом, в какой-то, при известных обстоятельствах, превращается Божье творение, кем бы оно ни было и как бы себя ни выражало: молчало бы как рыба, ревело бы белугой, скулило бы, как шакал, мычало бы чьей-то коровой или сочиняло бы оратории а саррелла (последнее, кстати, ~~какая-никакая~~, а гарантия от преждевременной и против воли мясопереработки). Создается мясо с помощью болезненных и безболезненных орудий, путем забоя, стрельбы, заклания. Источник полагается быстро обработать — освежевать, то есть ободрать от шкуры и разделить на подбедерки, оковалки, кострецы, грудинные части, коровьи ноги, свиные ножки и бараньи ребра. И тут уж никому нет дела до ПРА-ЛИВНЯ, когда великий воды мириад и тепло, и теплынь такая, и гром, и хляби разверзаются, и сорок дней и сорок ночей... Да чего там сорок дней и сорок ночей! — мы-то знаем, насколько грандиозней возникали сосуды духа — поедатели, хотя и резервы, мяса.

А оно создается и добывается так.

На рынке или в лавке стоит колода — обрубок громадного дерева, хорошо если не теревинфа или мамврийского дуба, но тоже огромного, когда-то живого, а теперь предоставившего свою мертвую плоть для расположения на ней другой мертвой плоти, освежеванной и малиновой, с желто-белыми стеариновыми слоями тука. Подставляет себя колода, чтобы топор разделит эту пока еще форму в куски, которые потом даже в мертвую форму не собрать, потому что каких-то кусков недосчитаемся.

Обыкновенное мясо — это мышцы. Мы едим мышцы животных. «Положи мя яко печать на мышце своей!» — цитирует глумливый топор окоченелой и ободранной туше, лишенной уже прочей своей съедобности: мозга, печени, сердца, почек, каковые — даже мозг! — именуются требушиной или субпродуктами. «Положи мя яко печать, наложенную рыночным контролером, лиловую на малиновом, положи мя яко печать на мышце своей!» — глумливо переиначивает мясницкий топор трепетные стихи, сочиненные пылким царем для возлюбленных, для любовников, для любви их неумемной и великой, умащенной такими благовониями, таким елеем драгоценным, что только и хватает дыхания, чтобы в дурмане запахов и прикосновений воскликнуть: «Ибо я изнемогаю от любви! Ну положи меня яко печать...»

«Ну-ка положи-ка меня яко печать», — чванится топор и — хрясь! — отсекает плоть от плоти твоей или моей, или овечьей — не важно. Хрясь! — отсекает. И делает еще странное мелкое движение, словно что-то куда-то сдвигает, откидывает, ибо — хрясь! — широкая спина мясника целиком загораживает колоду от угодливого мужичонки, привезшего тушу; а тот радуется, что удалось поладить с царем и богом — мясником рыночным, и сейчас мясник разделает ему бычка и получит в лапу что ни то, а мужичонка — муж податливой крестьянки, какими славится, как известно, Валдай, — станет взвешивать бывшую жизнь на гнусных весах, которые качаются не от гирь и не от веса, а оттого, что кач у них такой ненормальный. Но это — потом, а сейчас — хрясь! — рубит одноногий мясник и куда-то что-то откидывает топором. Куда и что? Лучшие куски за колоду, ибо круглая колода вдвинута в угол. Так в здешних местах решается квадратура круга — за колодой же пространство, куда, как фокусник, скидывает при разрубе и разделе туш килограмма три лучшего мяса громадный мясник. И смотри ему мужичонка хоть под топор, хоть сядь на этот топор верхом, не увидит он быстрого движения, как не увидит уже мяса, завалившегося в кровавую, грязную и смердящую тесноту за круглой молчаливой колодой.

Оттого и не собрать потом бывшую тушу...

Вот как создается оно, мясо, — окончательный продукт веры (даже в мясника!), искусства (даже Песни Песней!) и божественной любви.

Она шла, держа под ручку Красивого, и шептала, но так слышно, что трое позади них не только не подслушивали, но даже и не вслушивались, а просто внимали этому теперь как бы шепчущему, но еще более сладостному голосу.

— Что, черняшка? — Она потерлась об него, мягко привалясь, чтобы не сбился с ноги. — Понравилось? Вона потрогал... — и потерлась, чтобы он

сбился с ноги, — а всё торчат... У меня всех сильнее. Если б не лифчик, ой...

— А ты сыми! — выпалил мальчишка, и ему как бы не пришлось даже набираться духу. На самом же деле сердце в нем так заметалось, он так обмер, что липкие от повидла руки в момент то ли испарили, то ли напрочь впитали бордовый пирожочный клей.

То же самое случилось и с ладонями остальных.

— Падла поела всю повидлу, — от неожиданности прошипел Сухоладонный Влажнорукому. — В рот меня тилия-потя жареными пирожками! Трепак — это уж точно.

— Е-ё-ё-о-о-... — блеял разговорчивый заика.

— А сыму! — счастливо отозвалась она. — Тепло же! Полезай за шиворот, черняшка, счас не туго будет! — И свела лопатки. — Чего ты дергаешь? Ой, оборвал... Ой, умора... Чего это вы расстегиваете, а сами дрожите и дергаете? — приговаривала она и, забравшись за пазуху, из чего-то высвободилась, а потом достала из ворота лифчик и помахала им, отчего под платьем вразнойой зашевелились груди, выставившие сквозь материю два мягких столбика.

— Ё-ё-ё-о-о-о-о...

— Только я не понесу, мне и так босоножки (они висели у нее на плече) обжиматься с черняшкой мешают. Кто возьмет, говорите, а то чайник повешу! Ты лифчик, — она обратилась к Сухоладонному, — а ты босоножки, — сказала она мальчишке. — А ты ё-ё-ё-о-о-о... Ой, умора!.. Ой, не могу!..

— На голову себе надень! — огрызнулся Сухоладонный. — Или гамак из него сделаем! — попер он вовсе неуместные вещи, но мальчишка, бывший ко всему еще и великим миротворцем, все уладил, хотя сердце у самого толпилось прямо в горле.

— Давай я в карман... А босоножки, ладно! Понесу. Плата — натурой... Видали мы колбасные обрезки...

Из созданного за день мяса одноногий мясник со своими домашними производил во дворе колбасу. Двор этот сильно отличался от остальных: его окружал сплошной высокий забор, а за забором росли единственные плодоносившие в окрестности яблони и бегала на проволоке немецкая овчарка, порода, известная лишь по рассказам о пограничниках да по статуям в парке культуры и отдыха имени Дзержинского. Еще тут всегда ели мясо, причем такое, какого не знали даже у Елисеева, то есть во времена, когда у тамошних витрин не торговали пирожками с повидлом.

Теперь вдобавок ко всему в этом дворе впервые надумали коптить колбасу.

В запущенном саду с уже висевшими на ветках зелеными кислыми яблоками была устроена коптильня. Двор и сад заросли высокой травой, так что загляни кто-нибудь из соседей в щелку глухого забора, он только бы увидел сизый дым да почуял напряженный коптильный дух совершавшейся колбасы. В щелку, однако, заглядывать было необязательно — дым все равно стоял над садом, а запах и так расползлся по улице.

Обычно мясник делал зельц, который жрал полусырым. Но семье его, жене и дочкам, зельц осточертел, и они давно просили накоптить твердой колбасы. Запастись такую колбасу на зиму, даже имея каждодневный мясной прибыток, не мешало; кстати, можно угостить и соседей, чтоб разговоров не было.

Коптить мясник умел. Будучи из Полесья, он сидел мальчишкой у тамошнего мясоторговца и научился многому такому, о чем люди давно позабыли и о чем, похоже, вспоминать не хотели, потому что все равно бесполезно.

В лопухах, наплевав на лютую крапиву, нестрашную каменным его рукам, он быстро сложил печку из кирпичей, почему-то всегда валявшихся под тамошними водостоками и сохранившими на себе пласты какой-то вечной штукатурки, не размокавшей и не крошившейся. Не отлетала же штукатурка, надо думать, потому, что были это обломки какого-то пресветлого храма, которые после разорения Господь по кирпичику припрятал по разным тихим дворам и положил под водосточные трубы, дабы омывать своими слезами — чистой водой небес, ибо полагал, что придет время и кирпичики соберут, сложат, и воздвигнется храм, и будут в нем принесены жертвы всесожжения.

и агнцы заколоты будут, и запахнет жертвенным дымом на всю московскую землю, и до Касимова даже долетит благоухание, и тамошние татаре-погане повалятся на свои коврики, но уже не к Мекке обратятся, а к Святой Земле, и жертвенный сладкий дым единственно праведной коптильни поползет по всему свету. И пусть кирпичики пока тяжелы и сыры от летних ливней, пусть пообколоты-пооббиты, но штукатурка с них не отваливается...

Сложил он своими темными руками печку, от нее в лебеду (две доски на ребро, сверху — вдоль — третья, накрываем от дождя толем, прижимаем старыми кирпичами) продолжил долгий дымовод, чтобы дым, пока ползет, остывал, а дымовод этот за неимением необходимого сарая привел к собачьей будке, которую, когда крышу будки под неодобрительное, но сдержанное рычание овчарки сняли, сперва чисто вымыла и выскребла жена. На ребра стенок положили перекладыны, крышу поставили опять, а к отверстию лаза подвели дощатый дымовод. Вот и все. На перекладах были развешаны заранее набитые сладостным мясным и туковым фаршем с благовонными приправами, хорошо вымытые бараньи кишки.

Недовольная отторжением будки, но целый день жравшая коровьи мозги собака улеглась сторожить добро своей норы, хотя из щелей будки и дымовода, лежавшего в лебеду, полз холодный серо-голубой дым, от которого она воротила морду.

В печке жгли ольховые чурки, потому что дым ольхи — самый из дымов лучший для многодневного и медленного прокапчивания.

С утра было жарко. Солнце весь день почему-то стояло высоко и пекло так, что само, похоже, гастрономизировало чью-то неживую уже плоть в чьих-то бывших кишках с помощью каких-то сожигаемых стволов, то есть, тратя многошумные растения, превращало многоголосых, блеющих, ржущих, мычавших и радовавшихся всякий раз, когда наступала *veg sagum*, Божьих тварей в еду.

Правда, богодухновенные создания не хотели уступать поля даже теперь, даже будучи ободраны, расчленены, разрублены и промыты. Дух Божий, пребывавший в каждой их клеточке, пресуществовался — хотя и на местном слободском уровне — в благовонный дым всежжения и вскоре распространился, и на второй день, который выдался вовсе душным, разошелся по всей округе и так ошеломил сперва ближних ближних, потом дальних ближних, никогда прежде такого благоухания не обонявших, что поверг всех в молитвенное настроение и, порождая равнодушие к насущному продмаговскому хлебу, полз дальше и дальше...

Разные сорта мяса, тука и пряностей, прокручиваемые через мясорубку и рубившиеся недалеко от печки на дощатом садовом столе, привлекать собаку скоро перестали. Она, как сказано, обожралась быстро и, сытая, лежала возле будки, уложив свою овчарочью голову на передние лапы и глядя исподлобья на коптильное действо. Не раздражал ее даже котенок, который припелся с соседнего двора, — маленькое кошачье дитя, но уже без матери и без какого-либо кормового молока. То, чем он пробавлялся, было едой не кошачьей, однако с голоду он все же не помирал, а ото дня ко дню рос и набирался своего опыта. Привлеченный запахом, он прополз под забором и, качающийся по причине недоедания и малости своей, обьелся так, что от тяжести в раздувшемся животе повалился в траву. Когда он, клянча мясо, вставал на цыпочки и царапал ногу садового стола, на его раздутом рахитичном животе в реденьком детском пуху делалась видна крупная блоха, ходившая по розовой коже, и выкусывать ее было некогда, ибо колбасные ароматы помрачили инстинкты кошачьего младенца, хотя по летам ему полагалось молочное, а не мясное.

А запах копчения полз и уже к вечеру дополз пусть не до Касимова, но Рижского теплепровода достиг.

Они продвигались по этому тогда нескончаемому теплепроводу, и было уже около двух часов темной и теплой ночи. Она шла в обнимку с Красивым под непрерывный клекот Влажнорукого, под раздраженные реплики Сухоладонного и неутомную суетню рыжего мальчишки.

— Чувствуешь, пахнет? — спрашивал, чтобы что-то говорить, Красивый. Он уже истрогал ее груди, хотя идти от этого было затруднительно — мешали

ноги. — Чувствуешь, колбасой копченой?.. Это тут вот — коптят, а тут — наш сарай...

— Чувствую, — смеялась она, — ой, чувствую! Чего ж ты боком-то идешь? Вы там все колбасники, что ли?

— Ё-ё-ё-о-о-о...

— А тебе шпанскую мушку подсыпали? — интересовался мальчишка. — А то девки звереют.

— Чего ее подсыпать? Я и такхожу и таю. Зачем звереть, если таю? Пошли уж скорей... Сарай не сарай, полежать бы где-нибудь! — дышала она в шею Красивому.

— Бабон как пить дать... — остерегал мученика-заику Сухоладонный.

— Ё-ё-ё-о-о-о...

— Во поезд! — крикнул вдруг мальчишка. — Вагонов сто, сука буду!

Под Рижский путепровод втягивался странный поезд. Длинный, тягучий и цельный, словно бы не из отдельных вагонов, поезд медленно вбирался по слизистым колеям рельсов, растягиваясь, как червь, выгнанный из норы недавним ливнем, и словно бы снова заползал в нее обратно, и совершал это, невзирая на железнодорожную стрелку, неслышно пресмыкаясь на извие оклизлой стези.

Глядя с моста, они ощущали потаенность странного движения, имевшего целью как бы исчезновение, уползание, то есть — небытие. И затихли, свесившись через перила. А поезд все не кончался...

— Босоножки гляди не урони... — сказала она мальчишке исчезающим голосом, ибо по ее согнувшейся над перилами спине ползла рука оказавшегося справа Влажнорукого — это Красивый, склонясь слева над перилами и не извлекая свою из теплых повисших ее грудей, переглянулся с Влажноруким, и тот медленно, куда медленнее поезда, повел влажную руку все ниже и ниже, а она истайвала и в самом деле превращалась в ночную теплынь, но живую и желанную осязанию ласкающих ее нелепых, со ступнями сорок второго размера зверей. А поезд полз и втягивался, вползал и втягивался.

Мальчишка, не защищенный в отличие от Сухоладонного грубиянством, изводившийся от невозможности коснуться этой не потроганной им еще ни разу, хотя уже истроганной в мучительных наваждениях теплыни, растерявшись от паузы и самолюбиво не желая видеть тройственную истому, хотя исподволь глядел, слыша ее шепот, молчание Красивого и какой-то утробный теперь речитатив Влажнорукого — ё-ё-ё-о-о-о, — а в ответ тихий смех и «чегой-то он все время матерится? ой какие вы горячие...», — когда рука Влажнорукого подворачивалась под ситцевый крупик, вдруг схватил с асфальта случайный бульжник...

Поезд был закупорен, и могучий запах коптильни, уже стоявший над Рижским путепроводом, в него не проникал, а если бы и проник, не преодолел бы смрада, стиснутости и отчаяния. Чрево червя, набитое не шевелящимися во сне внутренностями, было отъединено от мира цельнометаллическим туловом. Но и в этой тьме тьмы, перед которой темнота августа потерянно мерцала своими звездами, кто-то сопел, ибо в тесном нутре — у самой крыши — совершалось что-то похожее на объятия, здешний отголосок священного лета, и, когда грохнул в крышу бульжник, брошенный с моста мальчишкой, — когда, значит, грохнул камень в крышу одного из вагонов, везущих небытие и отчаяние с Красной Пресни, неразмыкаемые, казалось, объятия двух мужчин разом разомкнулись, и над вагонными крышами вспыхнули прожектора, а по коридору затопали и засрали: «Что еще тут? Шакалы! Твою мать!..»

Заголосили тормоза, ползучий гад, скрежеща, замер, словно бы во что-то уткнулся. Прожектора мазнули по перилам моста, но никого не осветили, потому что, едва бульжник вдарил в крышу, Влажнорукий, вовсе к этому моменту одуревший от хотения, — рука его, подворачиваясь под крупик, почти коснулась уже устья расставленных ее ног, — в момент сообразив, чем грозит удар бульжника, безупречно выкрикнул торчавшее у него всю дорогу в гортани «твою мать!», причем выкрикнул вроде бы одновременно с внутривагонным возгласом, а все, отскочив от перил и пригнувшись, побежали, чтобы с путей их не было видно.

Четверо мчались, колотя ботинками в тротуарный асфальт, а она едва поспевала за ними и всхлипывала от смеха. Так они добежали почти до остановки «Северный переулок», оставив позади мост, а когда остановились, она, глянув на тяжело дышавших, глотавших воздух и вздымавших узкогрудые грудные клетки спутников своих, сама еле дыша, зажмурилась и зашлась хохотом:

— Ой сердца четырех! Ой смеху полны трусики!

— Чего это они у тебя... всю дорогу... полны? — переводя дыхание, разъярился Сухоладонный. — Переменила бы!

— Ой умора! Чего переменить-то? Кто ж на танцы в трусах ходит?

— Забожись! — выпалил мальчишка.

— А это видал?! — И она задрала обеими руками подол, но лица им не закрыла, а поглядывала поверх то на одного, то на другого, то на третьего, то на мальчишку —

Кому дать?

Кому дать?

Кому голову сломать?.. —

И стала потешаться. — Видал, говорю, или нет?

А он не мог поверить в то, что только и чаял увидеть, не знал, как увидеть, где увидеть, когда увидеть, всегда видеть, только и видеть и глядеть, чтобы потом начисто забывать, почему-то забывать и снова хотеть видеть, но как увидеть, где увидеть, когда увидеть опаловые от перламутрового свечения ноги на ракушке-конхонде, от века переходящие в бедра — не в бедра, они пока ни к чему, — в бедрашки и круглый, как у котенка, живот?.. Грудей видно не было — платье же она подняла не так чтобы высоко! — зато, как блоха у котенка, на чуть выпуклом животе знакомо чернелся пупок... И все было бы как бы знакомо, когда б не рыжий меховой лоскуток, темневший во тьме на живой коже, и его почему-то хотелось ощутить, коснуться или на мгновение перестать видеть, чтобы снова увидеть, и она, откуда-то зная это, по-прежнему с задраным подолом повернулась, пляшущая на мысках, один раз и другой, как бы возникая из витков ракушки. Но это было уже слишком, ибо ей вдруг показалось, что вот-вот, вот сейчас, вот сию минуту сверкнут в воздухе ножи, захрипит прирезанный Влажноруким Сухоладонный, сам Влажнорукий ахнет на стилете Красивого, а беспомощный мальчишка, сперва размозжив голову Красивого бульжником, бросится назад и там кинется, точно бульжник, на крышу ползущего поезда и в прожекторной белизне будет, разбившись, выглядеть рубленой массой для набивки в колбасную кишку — мясной, малиновой, кровавой плотью...

Но она все же сделала еще поворот, еще раз появилось рыженькое, еще забелелся наивный круп, мягким изгибом переходивший в спину, а книзу в беспомощные и блаженные ноги — охранительницы выстилающего перламутра ракушки...

— Всё! За показ деньги плотят... — опустив платье, сухо и строго сказала она. — Во когда чайники вешать! — И прыснула. — Ну ладно же, миленькие, ну пошли быстрее, где он, сарай ваш? Мне же на работу вставать... Ой, бесстыдники, тепло как... Голая была, а тепло, как под курицей...

Была глубокая ночь, и давно лежали на доски клеток и вольер обманутые звери, тихо, чтоб никого не разбудить, всхлипывал маленький шакал; снова превратились в не шевелящиеся внутренности червя прервавшие объятие двое небритых, невымытых и не существующих для Божьего мира мужчин; под большим тополиным листом, прижавшись к птичке, спал на бульваре языческий младенец; вовсе просохла вода на Трубных стогнах, а впитавший ее асфальт стал темнее и чище; не спали поэт с композитором, срочно сочинявшие ораторию, причем взвинченный отчего-то (отчего — поэту было неизвестно) композитор то и дело бегал умывать руки (это еще даст рецидивы), особенно тщательно обрабатывая серым хозяйственным мылом указательный палец и платком протирая губы, но при этом напевая что-то, от чего человечество в который раз ахнет; котенок, не по возрасту еввший мясо, переживал первую в жизни клиническую смерть — у него, как у всякого кота,

впереди будет еще много клинических смертей: и от удара кирпичиной, и от недоповешения, когда малолетних вешателей изматерит и прогонит сердобольная какая-нибудь старушонка, неутомная сторонница изгоя Бога, который сейчас бродил, обследуя труху когда-то бессчетных — с маковками да колоколами — алтарей своих московских; росли тихие яблоки жизни в яблоневои саду, опровергая запах поваляющейся смерти коптильни; от продолженного в лебеде дымовода поднимался то ли дым, то ли пар просыхающей земли; будка, в которой висели грудинки и колбасы, тоже пускала изо всех щелей холодные коптильные дымки; ветра не было, а будь он — дым шекотал бы ноздри овчарке, спавшей неподалеку, и она бы чихала; полуспал мясник, потому что дождь (ливня здесь не было — был просто сильный дождь) мешал его сну, и он даже не стал отвязывать деревянную ногу — приходилось вставать, накрывать толем печку. Его мощный организм требовал сна, как требует сна организм хищника, объевшегося мясом, но погода мешала, и мясник был от этого в бешенстве, кляня домашних за то, что подбили на коптильную затею.

Когда дождь кончился и копчение оказалось вне опасности, он заснул, так и не отвязав деревяшки, но и во сне был разъярен и страшен.

К сплошному забору примыкал соседский сарай — хороший тихий сарай, обжитый крестовиками, за свою привязанность к месту всегда рисковавшими паутиной. По паутине просто ударяли палкой, и паук быстро уносил куда-то свой крест. Еще была там сарайная пыль и какие-то баки, зачем-то набитые старыми галошами, а у стены располагался большой столярный верстак, ничем в отличие от остального пространства не заваленный, — на нем подростки обычно играли в карты. Сарай был какой надо — нагретый за день, тепло свое августовское не отдал, а стоял весь жаркий, и поленицы, заполнявшие до крыши его заднюю половину, источали запах прелой смоквы, который, смешавшись с жертвенным коптильным дымом, делал воздух наркотическим и густым.

— И яблоки у вас есть? А то без яблоков не годится... — сказала она тихо и странно. — Будь у меня яблоки, я бы всем по яблочку дала, — продолжила она тихо и странно. — Даже ему, злоке такому. Даже ему, хоть он всю дорогу матерился. И ему бы, хоть он малолетка совсем. И тебе... да вы за дверь погодите — я с ним сперва, дурачки... я бы дала яблоко, хотя тебе его не откусить, потому что дрожись. Не дрожи и будь осторожнее — в сарае грабли стоят разные, землю рыхлить, чтоб семена сеять, — продолжала она глухо, тихо и странно. — Не наступи смотри и не дрожи! А вот — верстак, я его вижу, потому что, когда нужно, я и в темноте вижу. А ты не дрожи и не торопись, я сейчас на этот верстак лягу. И не бойся, ведь я, когда лежу, ничего не боюсь... и хорошо, что это верстак, а не стол, ибо что на столе — всегда мертвое: покойники лежат на столах мертвые и еда — она же из мертвого состоит: из теляток и овец, из мертвого лука и мертвой чечевицы, из срезанного колоса и раздавленной крупы; и даже цветы, которые для красоты, тоже мертвые, потому что умрут в вазе... На столе все всегда мертвое: свеча мертвая — она сгорает, варенье — даже земляничное, из мертвой земляники оно... Но ты не дрожи, я не расхожусь, и ты от меня никуда не денешься... Здесь же не стол... здесь — верстак, а на нем погибшее — ибо тоже мертвое — дерево возрождают для новой жизни живые быстрые рубанки... долотья здесь помучают доску, но сделают в ней отверстие, куда туго войдет плоть другой доски, и смолою своею они слипнутся, и получится потом неразделимое соитие еще многих — одиноких до того и мертвых — чурбаков; они так сладко соединятся, что породят табуретку или скамеечку... Они воскреснут, ибо что от плотника, тому воскреснуть, а что на столе, тому пропасть — и дальнее бегство его позорно. И позор этот почему-то нужен жизни, зачем-то всегда нужен жизни позор, за столом же сидят живые... на живых табуретках — живые... Ну не дрожи — что сейчас, не позор, — и не торопись, и не бойся — ты не тяжелый... А хоть и тяжелый — я могу для тяжести перестать быть, она же чтобы стиснуть кровь, беспечно бегавшую по жилкам моим, по прожилкам моим, пока ты не приводишь меня на верстак — он широкий какой... Ну не дрожи, не бойся... знаешь, я что знаю: мы — первенцы творенья; ты первенец и я, и мы из ливня получились, когда жила под землей набухла, и она там, за дверью, —

тоже получились, и получилось вас целых четверо; какие же вы... вчетвером! Но это пустяки! Господи! Мне же целый мир надо родить и еще накормить того, который на Третьей Мещанской заплакал... Но это тебя не касается, не думай об этом, ни о чем не думай, и обо мне не думай, чувствуй только, что тепло и что ты — муравей в ракушке... и вползи, и ползи, и ползи, и уткнись... в самый перламутр уткнись... и знаешь что — купи ты мне когда-нибудь... в самый, в самый... да... да... ну эскимо... что ты делаешь?.. да... да... да... хоть эскимо...

— Чего это она? Плачет, что ли? — тихо и в недоумении спросил прижавшихся ухом к дверной щели Сухолодонного и Влажнорукого мальчишка.

— На грабли наступила, наверно, шалава! — прошипел Сухолодонный.

— Ё-ё-ё-о-о-о...

— Пойдешь? — беззвучно спросил мальчишка.

— Поглядим...

— Я-а-а по-по-пой...

Дверь отворилась.

— Чего это с ней? — шепнул мальчишка.

— Мы — первенцы! — неслышным и ненормальным голосом ответил возникий Красивый. — На верстаке она...

— Ты ей по рылу сперва дал, что ли? — тихо и радостно поинтересовался Сухолодонный.

— Идите кто-нибудь... Она говорит, чтоб шли, и плачет как-то...

— А подмахивает? — не унимался мальчишка. — На кой тогда, если не подмахивает...

— Трепак, бля, или сифон верный...

— Я по-по... по-по-пош-ш-ш...

...Чего ты матерился все время, чего ты матерился?.. Бедненький-бедный... сказать хочешь, а не можешь... И не надо... И помолчи... а руки у тебя, как прямо примочки — горячие такие, сырые... ой бедный-бедный... клади руку, куда на мосту... ты не думай, что тебя любить не будут... еще как будут... потому что бессловесный и потому что тяжелый... даже тяжелей черняшки моего красивенького... ну вот — опять заладил... да ты не мычи и послушай, что я буду говорить... а я буду говорить, что буду тоже молчать, или хочешь — тоже заикаться стану?.. Хо-о... хо-о... хо-о-орошо мне, хорошо мне... Что с того, что у тебя ладони влажные? — все из влаги состоят... вот и я уже сырая, и первый тоже был влажный... ты просто сырей других... а чем сырей, тем лучше... высохнуть дольше всех будешь, когда сушь настанет... Все высохнут, все высохнут, а ты останешься влажный... Слезы высохнут у всех, и у меня тоже... сердце ты сохнеш, мозги высохнут, а ты, Влажнорукий, продержишься... Господи, ну просто компресс... не бойся же, не бойся... вот и не бойшься... вот ты и не бедненький... да ты совсем не бедненький... не калека ты... что ты вы-вытворяешь?.. что ты д-д-делаешь?.. ну-ну-у... не останавливайся же — слов моих испугался, да не слушай ты их, я такое наговорю, такое наплачу, такое навсхлипываю... а ты не обращай... не обращай-и-и... И купи... купи... и купи, купи, и купи, и купи ты мне... м-м-м-морожено...

Когда, ослабившись, как страус-эму (но этого в темноте было не разглядеть), появился Влажнорукий, из сарая донесся странный смеющийся голос:

— Хотя бы яблочек натырили! А то вчетвером в подкидного...

— Идешь? — спросил мальчишка Сухолодонного.

— Сифлес, триппер и бабон собрались в один вагон! — огрызнулся тот.

— Я тебе это... — захопотал великий организатор человечества, мальчишка. — Нашел и постирал... и скатал, и тальком, в натуре, посыпал. Один — тебе. А хочешь — оба. Иди давай! А я ее дожду...

...Ну где же вы, ребята? Чего забоялись?.. Это кто? темно тут... Ты? Ты, сволочь?.. Какой же ты мерзавец... А мы от таких избавиться не можем... сами лезем... и что, казалось бы?.. И плевать вы на нас хотели, и не женитесь, и издеваетесь — ну иди же... — и кулаками дубасите по лицам прямо, и самые красивые носы ломаете... Вон, статуи в парке, не мы же им носы пооткалывали — ну иди, я же не могу уже без тебя... И даже слово есть особое — поби...

о, мы знаем, что такое побои... ваши побои... — ну иди же, скотина, чего ты возишься! — и дети ваши плачут... почему-то от вас всегда дети бывают и плачут потом, а вы их и знать не хотите... Идешь ты или нет?.. И чести вы нас лишаете, и силой берете, и хуже вас на свете нету, и уходите в синюю даль, а мы плачем и от злости изменяем вам... Изменишь тут, как же! А вы появляетесь, когда вздумаете, всегда чем-то отгороженные, чего нам никак всюю нашей всеильной слабостью и беспомощностью не преодолеть... Ну же!.. Чего ты надел, дурак ненормальный, я же чистая, я судомойкой работаю! И тут отгораживаетесь, и тут о себе... такие преграды... такие преграды... куда нашим подолам!.. я же н и ч е г о не боюсь, слышишь, н и ч е г о! Детей от тебя родить не боюсь, вычищать хоть сто раз не боюсь, умирать... А ты бережешься, гадина... Гадина ты — вот ты кто... А куда от тебя деться? Ну иди, иди же, я же для тебя... бей, бросай, издевайся, что хочешь... Ну?.. ну?.. О, неужто?.. всё?.. Ну зараза... больше никогда... я по вторникам могу, по четвергам... урод чертовый... по субботам... купишь ты мороженого... как же...

— Иди давай, а то этой суке мало! Еще яблоки тыригь велит! Она проверенная — судомойка столовая...

...Я тут, на верстаке каком-то, малолетка...

— Допрыгалась, маманя? Босоножки держи и этот... Дурак я, что ли, таскать!

...Рыжий-рыжий, черт бесстыжий! Лезь ко мне! Сопли утер?..

— Поговори!

...Только не плакать, рыжий...

— Это ты всю дорогу плачешь!

...Я всю дорогу для вас смеялась, а теперь для вас плачу... А еще могу из-за вас плакать... Ну ладно, маленький ты мой, ну до чего ты потешный, до чего мальчик! Знаешь игру: ходи в петлю, ходи в рай, ходи в дедушкин сарай?.. вот он — сарай этот... а уж петля, а уж рай... хочешь потрогать? Не хочешь?.. ишь какой... да не сюда... сюда вот... и тихонечко... Ходи в петлю, ходи в рай, ходи... в девушкин... здорово придумала?.. Мы же в другую игру... А ты на новенького... первый раз... Ну... ну вот... ишь ты... Ходи в петлю, ходи в рай... ходи в девушкин сарай... там и пиво, там и мед... правда, игра хорошая?.. там и девушка живет... Господи, как ты ждал... надо же, чтоб тебе понравилось... там и девушка живет... первый раз смущается, второй — возмущается, в третий навсегда... вот и ладно, вот и хорошо... ишь ты, рыжий... отворяет воро... ах ты, рыженький... отворяет... отворяет... как дитя во мне... в третий навсегда... как ребенок... и знаешь — всегда хочется взять вас обратно, всех всегда хочется обратно взять, чтоб оставались нашими и в нас... а то выходите, вырастаете, уходите, появляетесь, уходите, появляетесь, уходите, появляетесь, уходите навсегда... в третий... ну... навсегда... отворяет ворота-а-а... хочешь, эскимо куплю... хочешь... отворяет ворота... До чего же спать хочется! Как же мне потом всегда спать хочется...

У забора, хоть и ухмыляющиеся, но притихшие — возможно, потому, что за забором была овчарка, — все четверо в четвертом часу ночи готовились к покраже яблок.

Из сарая, где на верстаке задремала их случайная подруга, которую скоро надо будить и, под видом угощения яблоками, спровадить, а то все про сарайные дела узнают, — так вот из сарая был выгашен прошлогодний еще шест с приколоченной к концу консервной банкой, так что получился как бы черпачок на длинной рукояти. В верхнем ободке консервной банки, напротив того места, где она приколочена к торцу шеста, имелся вертикальный пропилен сантиметра в два. Консервная банка подводилась под яблоко, как бы зачерпывала его, яблочный черенок уходил в пропилен, крадущий, держась одной рукой за верх забора, а другою держа шест, дергал воровскую снасть на себя, яблоко обрывалось, заставив ветку шумно отшатнуться, словно с нее стартовала птица, вор взметывал шест, выкидывал яблоко за себя, и тут уже добычу подбирали сообщники.

Собака-овчарка не спала, она сторожила будку, из которой полз белесый во тьме дым. Собака знала, что замышляется за забором, но она была старая и опытная и решила пока не вмешиваться, так как знала, что хозяин полуспит, время от времени выходя проверить, всё ли в порядке, и подкормить печку

ольховыми чурками. Яблоки на собачьем веку воровали неоднократно. Прежде она лаяла, прибежала, звеня проволокой, на место покражи и кидалась на забор. Забор трясся, а из хозяев никто не просыпался и не выходил, ибо, во-первых, полагали, что собака гоняется за какой-нибудь кошкой, а во-вторых, не особенно заботились о яблоках, тем более что первый же собачий бросок воров спугивал.

Однако яблоки упорно воровали каждый год, а происходило так потому, что новые подраставшие подростки страшно к ним рвались, и всякий раз заново изобретали вышеописанный шест, и всякий раз удирали от собачьего броска, и собака наизусть все это знала. Знала она и тех, кто был сейчас за забором, знала их зверскую привычку действовать ей на нервы — пронестись днем вдоль забора, чертя по его доскам прыгающей палкой, — но сейчас она не лаяла, будучи уже тяжела на подъем, да и несколько яблок, добытых с таким трудом, ее смешили:

А потрудиться приходилось.

— До чего колбасой пахнет! До чего есть охота! Вы, ребя, яблочек хоть натырьте, а я немного посплю, — сказала она, положив под голову связанные пояском босоножки и накрыв их для мягкости лифчиком.

На верстаке она тихо и заснула. И хотя небо уже вроде бы серело, в распахнутую дверь ее было не разглядеть — сарай был еще полон тьмы.

Красивый неслышно встал на заборную перекладину (щиты сплошного забора были повернуты каркасом в сторону их двора, так что на поперечном срединном бруске можно было утвердить на полступни башмак сорок второго размера). Грубиян Сухоладонный, теперь задумчивый, и мальчишка приготовились подбирать добычу, а Влажнорукий подпер обеими руками штаны Красивого, чтобы тот обеими своими свободнее манипулировал шестом в ветвях ближайшей яблони, где хоть и неотчетливо, но уже фосфоресцировали яблоки.

Красивый, добросовестно подпираемый Влажноруким, умело поддел первое и дернул его так тихо и безупречно, что собака определила факт покражи только по взметнувшемуся в сереющие небеса темному шесту.

Мальчишка с Сухоладонным стали разыскивать откатившийся куда-то тупо ударившийся плод, а Красивый, тихо шевеля яблоневою листвой, стал медленно подводить шест под очередную цель. Влажнорукий меж тем, пытаясь подсказать, куда, по его разумению, откатилось яблоко, повернулся сколько мог к искавшим и, подпирая Красивого только одной конечностью, второй, освободившейся, показывал, куда полагал нужным, да еще и норовил тихо укорить дружок за несообразительность:

— Ё-ё-ё-о-о-о...

Красивый, судя по тому, что черенок не заводился в прорезь, как видно, поддел крупный плод. Можно было просто рвануть, однако это произвело бы не только шум, но и треск, и он тихо маневрировал неуклюжей жердиной, убедившись заодно, что шест в воздух не взметнуть — поперек над яблоком шла толстая ветка.

— Ё-ё-ё-о-о-о... — возмущался бездарностью искавших Влажнорукий, мощно упираясь рукой в штаны Красивого, а другою тыча в темноту. — Ё-ё-ё-о-о-о...

— М-м-мудила грешный! — передразнил из темноты Сухоладонный, ибо несмолкаемые порицания ему надоели.

Красивый, безуспешно выковыривая из-под ветки не обрывающееся яблоко и полагая, что оценка может относиться к нему самому, нервно — из очень неправильного положения — рванул шест на себя и концом угодил в большое ухо полуотвернутой от забора головы Влажнорукого.

— Т-твою мать! — мгновенно вылетел из того горестный вопль контуженного человека, и Влажнорукий с места кинулся бежать куда попало.

Пока не подпираемый теперь Красивый опрокидывался в лопухи, овчарка, не снеся всего этого, бросилась всей массой на забор. Топая невероятными ногами, умчались в темноту и мальчишка с Сухоладонным, а вслед, не разбирая дороги, метнулся из лопухов Красивый.

Мясник, как было сказано, даже не отцепив деревянную ногу, спал тупым, но чутким сном исколотавшегося человека. Стережущий свою коптильню и

в забытьи, он взметнулся на шум, и глаза его были красными от разодранного надвое тяжелого сна. Он заспешил, вернее, запрыгал, вышвыривая вперед ногу на деревяшке, весь похожий на огромный циркуль торопливого землемера, и ему пришлось обежать свой двор по улице, так как ворота были в противоположной от места, на которое кидалась удвоившая при хозяине рвение собака, стороне забора.

Мясник ворвался в соседский двор и схватил брошенный черпак. Собака за забором сразу унялась, а он стал яростно озираться и совсем уже озверел, не зная, куда кинуться дальше, как вдруг из сарая — «где же вы, ребя? где же яблочки-то?» — донесся чистый и одинокий голос — такой одинокий, что Господь, набредший неподалеку на когда-то позолоченное, а теперь истлевшее от ржави жестяное алтарное кружево, сокрушился в душе и опечалился.

Мясник метнулся в разинутый сарай, и черпачный шест, торчком встав поперек проема, хрустнул, протараненный его тушей. В темноте мясник сразу наступил бесчувственной деревяшкой на грабли, и они ударили его черенком, и черенок разлетелся надвое. И тут мясник, протянув руки, вцепился в лежавшее на верстаке. Он не знал еще, кого поймал, но что поймал кого-то, знал. Страшные руки впились в добычу и притиснули к верстаку, словно схватили что-то пугливое, что-то, спросонья или растерявшись на бегу, как, скажем, Самофракийская богиня, потерявшее голову и потому не могущее оглянуться и понять, где находится... — только крылья шуршат и растирают мраморную пыльцу по тому, к чему их прижали... Но давно уже обезглавлена Ника, давно, чтобы не царапалась и не кусалась, а отдавала бедра и груди для прямого использования, отбили руки и голову Афродите. Ну и что — мраморные? Ну и что — опаловые? Может ли мрамор противиться железу, скажем, мясниковых мышц, если тот наизусть знает все суставы и суставчики, по которым расчленяются божественные творенья?..

Мясник был неправдоподобно силен. Одноногий, на деревянном допотопном протезе, краснорожий мужик с борцовскими подкрученными усами, он мог ударом собранного кулака расколоть ольховый толстый брусок, уложенный на два кирпича, и брусочек, охнув, рассаживался вдоль красноватых волокон, а мясник даже не растирал сокрушительную руку. По целым дням таскал он в разделочную камеру туши и даже не сгибался под их тяжестью. На травяной улице сила его была легендарной, ибо не было никого, кто вообще мог приблизительно чем-то таким похвастать. Неимоверность ее подчеркивала и деревянная нога — ведь о двух ногах он был бы вообще силы неправдоподобной, так что теоретически страшная сила эта как бы наличествовала, ибо одноногий филиал ее был жив, здоров, громаден и раж с виду.

— Дядя! — Она поняла, что набросился кто-то неизвестный, не такой, как она и те четверо, не п е р в е н е ц творенья. — Вы чего, миленький?.. Вы чего?..

Бешеный хромец вдруг понял, что в его руках шевелится не яблочный или колбасный вор, а существо женского пола; к тому же он даже в темноте, несмотря на спешку и свое сопение (она по сопению и поняла, что гость не из тех четверых), знал на ощупь, ч т о именно из живой плоти, какая разделочная часть под его руками, и он, любитель свежатины (есть такие: «Мясо парное!» — то есть прямо пар от него идет; «Молочко парное!» — только что выструившееся из вымени; «Яблоки — да ешьте, ешьте, ветку наклоните и откусывайте!»), — он, любитель свеженины, изощрившийся на своей колоде до степеней небывалых, почуял, что в руках свеженина какая-то необыкновенная, ведь он и предположить не мог, что свежее не бывает, что она возникла три с половиной часа назад на Трубных стогнах, что ему повезло как никому, что ничего юнее, ничего моложе, ничего теплее не было и не будет ни в его и ни в чьей жизни... А то, что подбедерок молочный, ляжка — летошняя, огузок — молодой, он сообразил сразу, и то, что яблоко еще висит на ветке, тоже понял, а значит, надо обкусывать прямо на весу, обдирать и жрать теплую плоть, насаживать ее на вертел и, не тратя времени, не золотя на огне, глотать полусырой, отдавая зловонием купно сожираемого лука...

— Дядечка! Вы чего — по-развратному?..

А он, охваченный теперь еще и мужской яростью, уже месил ее тело и, втиснув для упора в эту мягкую плоть кулаки, стал взгромождаться на верстак.

Утвердив колено здоровой ноги на верстачном краю и вдавив руку в маленькую грудь, он взвалился на добычу и, отворотя ее голову, из-под которой выпали босоножки, для удобства обмотанные лифчиком и пояском, зажал ей рот, так что теперь уже не могло послышаться ничего, что походило бы на слово «дядя»...

Афродита лишилась головы, и голова запропастилась в веках.

Тогда, вспомнив свою уловку — обнять насильника, и тот не станет насильничать, — она попыталась обвить его плечи мягкими своими руками, но ничего не вышло — гора мышц была необъятной, а значит, неспособной внять смыслу объятия... И громоздившаяся гора эта от поспешности зверства уперла деревяшку на чем пришлось, то есть на откинутае ее бедре, и деревяшка размозжила самое даже кость, и хрустнула скорлупка ракушки, а закричать было нечем — голова ведь пропала в веках, а рот в задворочную эпоху был зажат хамской пятерней... и царапаться тоже было нечем — рук не было, откололись они невесть когда, а сейчас от боли в раздавленном бедре онемели, раскинувшись... И хрустнуло всем своим тоненьким костяком Божье Творение, хрустнула ракушка-конхоида, и погас навсегда опаловый свет ее, ибо слава творения — жизнь — пресекалась. Создавался сатанинский шашлык. На сатанинских вертелах.

Сотворялось мясо.

И стихии не грохотали, и листья не рукоплескали, и коптильный дым стал зловонным и серным.

И никто больше не всхлипывал.

Никто-никто больше не всхлипывал, и было ровно без двадцати четыре, а в пору эту в августе подает голос первая птица. Она и чирикнула. Кто-то вслед ей пискнул, кто-то чивикнул, и по всей Божьей окрестности отозвались каждая на свой голос птицы. И на бульваре под тополиным листом тоже проснулась птичка. Она была малиновка. Ощувив неудобство там, откуда пухлый мальчишка выдернул ночью перышко, она, расправив затекшее крыло, капризно сказала мальчишке, который под крылышком еще, наверно, спал:

— Стрелок весной малиновку убил...

Но под крылом никого не было, и было лето, а не весна, и никто никого не убивал, а что сказано, то сказано, и я умолкаю, набравши в рот воды творения.

1981.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

*

НОЕВ КОВЧЕГ

(Каиново отродье)

Комедия

Действующие лица:

1. ШОП Эдмонд, ученый, руководитель американской археологической экспедиции.
2. ЕВА, глухонемая, 20 лет.
3. СЕКЕРВА Иезекииль, член экспедиции, разведчик.
4. ПОЛИГНОЙС Генри, инженер экспедиции, радист и буровой мастер.
5. ИАКОВ, брат Иисуса Христа, брат Господень.
6. АГАСФЕР, вечный жид.
7. КЛИМЕНТ, нунций папы римского.
8. ЧЕРЧИЛЬ.
9. ЧАРЛИ ЧАПЛИН.
10. БЕРНАРД ШОУ.
11. АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН.
12. МАРТА, голливудская кинозвезда.
13. ДЕЙПОН, миллиардер.
14. ИВОННА, международная проститутка.
15. ШНАПХАУ, министр.
16. АЛИСОН, кинооператор.
17. МАРГАРИТА ОССКАЯ, разведчица всех государств.
18. СИМОНЯН, председатель колхоза «Арарат» из Армянской ССР.
19. ПЕТРОВ, советский корабельный инженер по монтажу ковчега.

© М. А. Платонова. Публикация М. А. ПЛАТОНОВОЙ.
Подготовка текста и комментарий Н. В. КОРНИЕНКО.

1-е ДЕЙСТВИЕ

Гора Арарат. На склоне палатка американской археологической экспедиции. С большой высоты видно пространство мира, видно небо. Палатка открыта в сторону зрителя. В палатке научные инструменты и бытовая утварь для долгой комфортабельной жизни; тут же радиопередатчик и радиоприемник.

На сцене Ш о п и Е в а. Шоп глядит в бинокль по очереди в разные страны света. Ева стоит на земле на коленях и рассматривает там что-то, занимается чем-то: крошит крошки, трогает пальцем на земле какое-то маленькое, невидимое существо.

Ш о п. В Армении пашут... В Иране — там богу молятся, народ нищенствует у мечети... А в Турции что? В Турции люди волнуются — вон движется целая толпа в той деревне; землю делят или хоронят кого. А черт с ними: мне забота!.. *(Оставляет бинокль.)* Обедать пора! *(Подходит к Еве, глядит, чем она занимается.)* Ева, ты что делаешь? Зачем ты скорпиона кормишь, зачем ты гладишь его? *(Шоп, отстранив Еву, растаптывает скорпиона толстой подошвой башмака.)* Ведь это же скорпион, он гад! Корми лучше фалангу. Вот она, фаланга, — она добрее скорпиона. *(Шоп целует в лоб Еву, затем нежно гладит ее волосы; для Евы, видимо, привычны ласки людей, она к ним равнодушна.)* Корми фалангу!.. Ах, Ева, Ева, — кто ты такая, прелесть ты наша!

Ева быстро копается в земле: образуется маленький могильный холмик, в него Ева втыкает крестик из двух связанных палочек. Шоп следит за ней.

Это ты скорпиона похоронила и крест ему поставила?.. Ева, ты добрее самого бога! Бог лишил тебя языка, лишил слуха, а ты гадов его любишь!

Появляются С е к е р в а и П о л и г н о й с с легкими геологоразведочными и рекогносцировочными инструментами. Полигнойс дарит Еве апельсин, Секерва — цветок.

(К ним.) Все в порядке?

С е к е р в а. Конечно — да! Ведь нам нужно немного, начальник!

Ш о п. Я знаю. Нам даже ничего не нужно.

С е к е р в а. Возможно, что так. Нам нужно сверить данные об Арарате, которые у нас были, с натурой и кое-что выяснить более точно.

Ш о п. И что же? Нам теперь все ясно?

С е к е р в а. Я думаю — да, я предполагаю, что так, я предвижу — именно так: нам все ясно! Эта гора Арарат вполне пригодна для создания в ее недрах современной сверхмощной американской крепости, неуязвимой для противника и постоянно громящей его всеми видами оружия.

Ш о п *(к Полигнойсу.)* А вы как думаете?

П о л и г н о й с. Я думаю так. Он прав, Иезекииль Секерва. Но он и не прав...

Ш о п. Это очень хорошо!.. То есть, я хотел сказать, это очень интересно. Продолжайте!

П о л и г н о й с. У Арарата всегда будет одна слабость... Когда он станет нашей крепостью или мощным дотом, то ведь он будет так же далек от Америки, как и сейчас далек... В этом будет слабизна крепости!

Ш о п. Неужели? Что вы говорите?!

С е к е р в а. Конечно — нет! Американская крепость и на краю света неуязвима! А вот что Генри Полигнойс уязвим для большевизма, так это конечно — да!

П о л и г н о й с *(к Секерве.)* Как вы смеете?

С е к е р в а. Америка все смеет!

П о л и г н о й с. Но вы не Америка!

С е к е р в а. Я почти она! А вы конечно нет!

Ш о п. Стоп! Мы на работе, а не в баре! Кроме того, зачем вы берете на себя обязанности президента? Охота вам! И вот еще что — день кончается. Не пора ли нам поехать вниз и доставить себе какое-либо удовольствие? Что такое американец без удовольствия? Нужен ли он кому-нибудь и самому себе?

С е к е р в а. Это изменник!

Ш о п. Правильно! Умываться мы не будем...

Секерва. Не будем, нет. Здесь не Америка!.. *(К Полигнойсу.)* Генри, вы конечно будете дуться?

Полигнойс. Да нет, не буду. Деваться все равно некуда. Да я и не знаю, прав я или нет.

Шоп. И отлично! Вы обратили внимание на духан турка Селима, он как раз у нашего четвертого репера? У Селима неплохое вино, а еще лучше две его турчанки-помощницы. Вы обратили внимание?

Секерва. Мы уже обратили внимание. Конечно — да!

Полигнойс. А как Еву оставим? Может быть, прислать сюда наших рабочих?

Шоп. Ничего, она не скучает. Она живет сама по себе. Мы ей привезем снизу сладостей и подарков. *(Напевает.)*

Весь мир — трактир,
Веселые мы янки.
Пропьем мы мир,
Пропьем его до дыр!
Идем мы к вам, прекрасные турчанки!

Резко стучит радиопередатчик, работающий на прием, сверкает сигнальная лампа вызова.

Полигнойс. Внимание! Там Америка! *(Он подходит к аппарату, принимает передачу.)*

Шоп. Интересно! Пустяки какие-нибудь! Нам некогда...

Полигнойс. Нет, не пустяки. Или пустяки! Я не понимаю... *(Читает радиотелеграмму.)* Шеф просит профессора Эдмонда Шопу ответить — есть ли возможность отыскать на горе Арарат останки Ноева ковчега. Их следует искать, начиная с высшей точки горного пика, а также и ниже, имея в виду сползание останков Ноева ковчега под действием собственного веса и других естественных причин. Обратитесь к первоисточнику — Библии и собственному религиозному чувству. Шеф пишет далее: этим делом интересуется Вашингтон. Что ответить шефу, профессор?

Шоп. Вашингтон интересуется! Вашингтон!.. Отвечайте: американская палеонтологическая экспедиция на горе Большой Арарат открыла останки ковчега нашего праотца Ноя, некогда спасшего человечество от всемирного потопа! Высотные отметки расположения останков: 1412, 1632 и 644,2 метра над уровнем Черного моря. Все! Добавьте, уточните: главная масса останков ковчега находится под 39° 40' северной широты и 61° 56' восточной долготы от Гринвича. Вы передаете?

Полигнойс. Нет еще, профессор... Разрешите сказать: ведь это ложь, мы не искали Ноева ковчега и не нашли его. Да его и нету! Его и быть не может, профессор! Дерево не сохраняется четыре-пять тысяч лет. Вы сами это знаете... Весь мир будет смеяться, нам стыдно будет, пожалейте нашу родину Америку!

Секерва. Я вас конечно понимаю, профессор Шоп... Это великое научное открытие, это будет новая гордость Америки! Это не менее, чем атомная бомба! Конечно это так, конечно — да! Но ведь ничего же нету у нас! Где эти останки Ноева ковчега, я пока их не вижу! Я не вижу их пока!

Шоп *(Секерве).* Вы что, вы тоже болван?.. Полигнойс, передайте нашему шефу в Америку то, что я вам продиктовал...

Полигнойс начинает работать на передатчике.

Неужели вы не понимаете: в самом вопросе было желание положительного ответа, а в желании было приказание, а приказание мы должны исполнить!

Полигнойс. Но позвольте!.. Я не понимаю!..

Шоп. Стучите ключом, Полигнойс. Умрете — поймете! Или поезжайте в Америку и там скучайте об Арарате... Боже, как можно быть счастливым среди глупцов! Невозможно!

С е к е р в а. Я уже понял! Я уже понял! Конечно я понял. Я вам сказал: я пока их не вижу, останков ковчега! Пока! Но они будут, они будут! Раз они нужны, они будут! Такова воля Америки! Они там вон лежат, где обрушилась древняя скала, — я их, кажется, уже вижу! По-моему, это бушприт ковчега!

Ш о п. Поглядите внимательней: вы и камбуз увидите. Вы жить хотите — вы правы. *(К Еве.)* Ну, что ты тут делаешь, моя радость?.. Дай я тебя в лобик поцелую. Освежи меня от этих чертей! Погляди на меня своими глазами!.. Что ты здесь сотворила? Целый мир из камешков, из глиняных комочков, целый мир тишины и детской истины. А могила скорпиона цела? Ага, вот она! Ишь ты как убрала ее! Помолимся за вечное упокоение души безыменного неведомого раба божьего скорпиона, из тьмы пришедшего и во тьму ушедшего! *(Крестится, кланяется. Ева глядит на него и повторяет его действия: крестится и кланяется до земли.)*

С е к е р в а *(вдруг — к Шопу)*. Обождите, профессор, обождите! Я прошу вашего внимания!.. Ведь можно и так подумать! Конечно можно! — А не будет ли это в пользу русских?

Ш о п. Что в пользу русских? — Ноев ковчег, что ль?

С е к е р в а. Ну да, ну да! Наше великое всемирное открытие останков ковчега, — не пойдет ли большевикам на пользу?

Ш о п. Пойдет! Наверно пойдет!

С е к е р в а *(постепенно приходя в неистовство)*. Ах, пойдет! Ага, пойдет!.. Так зачем же нам открывать, чего нету? Зачем? Я вас спрашиваю, профессор, — отвечайте мне, или вы ответите за свою ложь, за свой этот Ноев ковчег в Америке, — ответите в худшей, в суровой обстановке, уверяю вас! Конечно и так точно — да!

Ш о п *(как бы про себя, лаская Еву как дочь)*. Зачем мне нужен весь этот штат, целая экспедиция, большие затраты? Мне нужна только Ева! Всю работу я сделаю один, потому что и работы нет...

С е к е р в а. Отвечайте мне, профессор! Оставьте Еву прочь, в стороне! Отвечайте мне, отвечайте, я говорю как честному американскому гражданину, дрожащему за судьбы Америки! Я не могу оставаться в этом сомнении как в мешке!

Ш о п. Вы про русских? Им ковчег на пользу.

С е к е р в а. Тогда — нету его! Видите — нету?

Ш о п. Есть!

С е к е р в а. Нету!

Ш о п. Есть!

С е к е р в а. Нету! Скажите — нету, дайте радио в Америку: нету! — или вас самого не будет!

Ш о п. Отойди от меня, болван! Отойди на четыре метра!.. Ты должен знать, что русским все на пользу. Будет здесь ковчег или не будет, — им одинаково выгодно. Русским теперь все на пользу! В этом, дураки, великая тайна нашего века, и в чем разгадка этой тайны — я не знаю... Полигнойс, вы готовы? Едемте обедать!

П о л и г н о й с. Я давно готов. Надо там выпить немножко...

С е к е р в а *(пытаясь понять и размыслить)*. Нуда, если так, конечно, тогда так точно! Если буду я сегодня обедать — русским хорошо, не буду обедать — русские все равно сыты. И так хорошо, и наоборот приятно. Это им, а не мне! Я понимаю. О, я все понимаю, пока мне ясно!

Ш о п. Секерва! Обедать к Селиму! В Америке давно пообедали!

С е к е р в а *(взглянув на часы)*. Верно, верно! Это нехорошо, нехорошо с нашей стороны!.. Америка везде заботится о своих сынах. — Обедать!

Сигнал — вызов радиопередатчика: звук зуммера, свет сигнальной лампы. Полигнойс принимает депешу.

Ш о п. Опять Америка! Когда же обедать!

П о л и г н о й с *(читая постепенно ленту телеграммы, по мере передачи)*. Профессор, шеф в восторге от нашего открытия. Он жмет всем нам руки и целует нас. Он считает открытие останков ковчега великим всемирным

научным событием, более важным, чем все открытия Шлимана и Эванса. Шеф пищет: это величайший факт культурно-исторического и религиозного значения, это сущий след божий на грешной земле...

Ш о п. *(прерывая)*. Какой след?

П о л и г н о й с. Сущий...

Ш о п. Благодарю вас. Продолжайте.

П о л и г н о й с. Шеф считает открытие останков Ноева ковчега несравнимым даже с открытием атомной энергии. Оно более значительно, чем атомная бомба, оно есть новое торжество американского гения, великое деяние самого мирного, самого боголюбивого народа на земле...

Ш о п. Дальше... Что им нужно? Опасно, когда начальство много болтает. Сейчас оно требовать будет.

П о л и г н о й с. Уже требует... Шеф считает необходимым восстановить часть огромных расходов Соединенных Штатов, вложенных в создание системы обороны, путем небольшой оплаты другими народами тех величайших культурных ценностей, которые им дарит Америка...

Ш о п. Понятно... Следует строить военные базы за счет прочих государств. Крепость должна быть на самокупаемости.

С е к е р в а. Так на так! А как же? Это разумно-правильно и правильно-разумно! Точно так, а не иначе! Это правильно, как Америка!

Ш о п. Неправильно: так на так — этого мало!

С е к е р в а. Мало, пожалуй! Лучше — больше!

Ш о п. Лучше, чтоб и чистый доход еще был: хотя бы 6 процентов годовых. Наш шеф — великий коммерсант.

С е к е р в а. Великий вполне!

Ш о п. Под землей крепость, а на земле бал-маскарад и касса наша.

П о л и г н о й с. *(продолжает прием)*. Американская академия наук готовит поздравительное послание... Шеф ожидает предложений профессора Шопа в отношении наилучшего, экономически целесообразного использования открытых мировых ценностей...

Ш о п. Сам он и думать не хочет... Даже продать товар поручает мне... Копеечник он, сукин сын! Нет, мы продадим своей товар дорого, очень дорого. Правда, Ева? *(Он гуляет по нагорью, обняв за плечи Еву.)*

П о л и г н о й с. Какой товар, профессор?

Ш о п. Ноев ковчег... Ева, тебе скучно с нами? Скучно... Я вижу, что скучно. Терпи, терпи еще немножко... Мы тебя танцевать научим, ты вино будешь пить — хорошее только, нарядим тебя, замуж отдадим... Что еще тебе нужно?

Ева кротко улыбается.

Подарить-то тебе нечего! Ноев ковчег? — Это человечеству, тебе он не нужен!.. А вот развлечь тебя нужно! Ты ведь живешь в вечной тишине, грустны наверно твои мысли, а душа твоя почему-то прекрасна!.. Ты только видишь: тебе надо показать взрыв атомной бомбы, — там много света, тебя это может развеселить.

П о л и г н о й с. Шеф ожидает вашего ответа, профессор. Что следует сообщить?

Ш о п. Сейчас... Пусть обождут. Я сейчас. *(Шоп идет с Евой по нагорью, останавливается вдалеке, но еще видимый зрителю. Свистит, засунув два пальца в рот; хлопает несколько раз в ладоши, зовет.)* Джоржи! Джоржи!

Г о л о с Д ж о р ж и *(снизу)*. Я здесь, шеф!

Ш о п. У тебя мотоцикл на ходу?

Г о л о с Д ж о р ж и. Всегда, шеф.

Ш о п. Свистни вниз — пусть там звонят во все колокола! Понятно?

Г о л о с Д ж о р ж и. Нет, шеф. Сейчас пойму!

Ш о п. Свистни вниз... Там есть чья-то церковь, — армянская, что ль, — на ней колокола, большие и маленькие... Пусть звонят во все, в маленькие и в большие, — у нас сегодня большой праздник. Свистни им, американцы велят.

Г о л о с Д ж о р ж и. Есть, шеф! Слушайте колокола!

Ш о п (*возвращаясь; к Полигнойсу*). Отвечайте... Отвечайте так. «Благодарим за приветствие. Останки корабля нашего праотца Ноя открыты нами, американцами, не случайно. Не случайно! — отнюдь нет! Они есть знак и прямое, руководящее указание бога на пути Америки. Америка, подобно Ноеву ковчегу, должна вторично спасти человечество от потопа большевизма, уничтожающего радость, удовольствие, всю светлую легкую сущность жизни...» Передали?

П о л и г н о й с. Одну минуту... Зачем я работаю, не понимая, что делаю? Что я такое?

Ш о п. Ничто. Передавайте. Итак, «если бы останки ковчега имели только культурно-историческое, научное и религиозное значение, они были бы вечно-священными реликвиями человечества; в одном этом отношении ценность их бесконечно велика. Однако останки имеют еще современное политическое боевое значение; останки могут воодушевить цивилизованное человечество на борьбу против большевизма и обеспечить нам победу. Поэтому, если ценность останков и без того бесконечно велика, все же она должна быть удвоена...» Передали?

П о л и г н о й с. Есть! Странно...

Ш о п. Потерпите. Скоро поедем обедать. Прекрасное вначале странно. Заканчивайте. Приобрести останки может лишь правительство Соединенных Штатов, беднякам это имущество не по карману...

П о л и г н о й с. Правительство не купит этот хлам...

Ш о п. Купит... Сейчас купит... Необходимо теперь же, немедленно, на горе Большой Арарат, под этими вечными снегами, в этой вечной точке человечества...

П о л и г н о й с. Скучно тут... Что дальше?

Ш о п. Необходимо созвать всемирный культурно-религиозный чрезвычайный конгресс всего цивилизованного человечества, на который придут все лидеры современной цивилизации, все отцы церкви — и папа римский, и вселенский патриарх, и падик, и прочие могучие старики... Конгресс соберется вокруг останков ковчега, а обсудит всю судьбу нашего мира. За это вот наше правительство дорого заплатит! Понятно? Останки как цемент нашей цивилизации! Этого не передавайте. Все!.. Пусть приедут сюда разные люди, это любопытно. Еве будет интересно, она очень умна и наблюдательна, а мы ей надоели.

С е к е р в а. Так нужно Америке, а не Еве! Что такое Ева! Кому нужна Ева?

Ш о п. Вам нужна, мне нужна, всем!

С е к е р в а. Необходимости нет! Не вижу, нет!

Ш о п. В ней первая необходимость! Для чего вы дома держите собаку? У вас есть собака?

С е к е р в а. Дог, профессор. Дог! У меня дог есть, жена есть, недвижимое имущество...

Ш о п. И жена есть! Так зачем вам собака? Пусть жена будет вам другом!.. Однако вам мало жены, нужна и собака! Зачем?

С е к е р в а (*искренно удивляясь*). Зачем?

Ш о п. Затем, чтобы остаться немного человеком. Вот для чего нужна собака человеку, а нам нужна Ева. Без нее мы сопьемся, порежем друг друга...

Снизу раздается торжественный колокольный благовест: звонят все колокола церкви под горою Арарат.

С е к е р в а. Это в нашу честь! Вот она, Америка! Всюду Америка!

П о л и г н о й с. Далее... Что еще передавать?

Ш о п. Обождите... Нам давно пора обедать!

С е к е р в а. Давно пора! Служишь-служишь родине, обедать некогда!

Ш о п. Поглядите в справочник, нам нужна фирма, которая делает эти...

С е к е р в а. Ковчеги?

Ш о п. Что-нибудь подобное... Что-нибудь родственное... Поглядите!

С е к е р в а (*листая толстую книгу*). Вот! И вот! «Анонимное общество

Иван Ной и Компания. — Древние вещи. Реликвии. Реставрация. Любые заказы на уникальные предметы, по предметам в возрасте от ста до ста тысяч лет».

Ш о п. Подходит! Полигнойс, давайте заказ этой фирме. Предмет заказа: останки Ноева ковчега. Исполнение срочное, доставка самолетом, расчет франко, гора Арарат.

П о л и г н о й с. Есть! Живем дальше! *(Работает на передатчике.)*

Ш о п. И хватит. Пусть все отправляются к чертовой матери!.. Обедать к Селиму! Кончайте, господа, — и поехали!..

Колокольный благовест стихает; теперь он звучит еле слышно, работают только маленькие колокола.

С е к е р в а. Обедать! Прекрасна жизнь, Америка всеильна!

Из-под горы медленно появляется брат Господень.

Ш о п. Это что еще за черт! Нам некогда!

Ева первой подходит к брату Господню, здоровается с ним, брат берет ее за руку, несколько позже опускает ее.

С е к е р в а *(к брату)*. Американец?

Б р а т. Нет.

С е к е р в а. А тогда вообще зачем ты? Здесь запретная зона! Кто такой — я спрашиваю!

Б р а т. Брат господень.

С е к е р в а. Кто? — не слышу!

Б р а т. Я Иаков, брат господа нашего Иисуса Христа, только я порочного зачатия.

С е к е р в а. Порочного?

Б р а т. Порочного.

Ш о п. А разве был брат у Иисуса Христа? И главное — Иаков, порочного зачатия?

С е к е р в а. Да наверно был, — черт его знает, — раз вот он есть.

Ш о п. Но позвольте, позвольте... Сколько же вам лет, брат Господень?

Б р а т. Я немного моложе бога. Мне тысяча девятьсот сорок восемь лет, девятый пошел. Я чуть-чуть моложе его.

Ш о п. Правда, вы моложе. Но вы-то не бог?

Б р а т. Нет.

Ш о п. Почему?

Б р а т. Я простой человек.

С е к е р в а. Он простой человек!.. А брат у него — бог!

Б р а т. Бог. Так точно.

С е к е р в а. А может быть братом у бога простой человек? Это ведь вопрос!

Ш о п *(брату)*. И неужели вы не приобрели себе солидного положения? Вы могли быть императором, папой римским, акционером всех церквей, миллиардером. А кто вы такой?

Б р а т. Нищий.

Ш о п. Ну вот. В брата пошли?

Б р а т. В брата.

Ш о п. Жаль. Но это ваше дело.

С е к е р в а *(отводя Шопу; брат отходит от них к Еве и занимается с нею)*. Что вы думаете, шеф?.. Этот брат — разведчик, ясное дело.

Ш о п. Конечно.

С е к е р в а. А чей?

Ш о п. Этого сам черт сразу не узнает.

С е к е р в а. А вдруг он наш — от Федерального бюро расследований? Это его за нами следить прислали. Разведка за разведкой, крест на крест, так вполне бывает.

Ш о п. Ну?

С е к е р в а. Бывает. А за ним, за братом, тоже следят, а за тем, кто за ним, тоже... Это великая система!

Ш о п. Так ведь не поймешь тогда ничего!

С е к е р в а. Не поймешь — не надо!

Ш о п. Верно! — понимать не надо, жить надо. Нам что! Мы научная экспедиция. Пред нами факт неизвестного значения: брат Иисуса Христа. Скажите Полигнойсу, — пусть он запросит богословское отделение Американской академии наук: как быть?

С е к е р в а. Совершенно верно, и мы будем ни при чем. Пусть Академия отвечает за бога.

Ш о п. Академия должна дать нам инструкции... А когда же мы обедать поедем?

П о л и г н о й с. Я кончил...

С е к е р в а. Не кончили. *(Отходит к Полигнойсу.)* Исполняйте свой долг — трудитесь для отечества. Успеете нажраться. Передайте, что сказал шеф.

П о л и г н о й с. Я слышал. Я напиться хочу... А вдруг он большевик! Интересно! *(Работает на радиопередатчике.)*

Ш о п. Кто? Этот? А пусть!

С е к е р в а. То есть как это пусть? Как это пусть? Он замыслы наши узнает. Это нетерпимо!

Ш о п. А какие у нас замыслы? — Всем по зубам, и все — весь замысел! Его и воробьи знают.

С е к е р в а. Пусть так, пусть не так, — но что он будет делать у нас?

Ш о п. Работа найдется. Я его назначу капитаном ковчега. Брат бога — капитан Ноева ковчега. Это нормально!

С е к е р в а. Пожалуй, да, это нормально.

Б р а т. А обедать когда? Обедать будем? *(На Еву.)* Она есть хочет и я!

Ш о п. Вы правы, брат Господень! Сейчас! Надо свистнуть вниз, пусть Селим сюда принесет.

С е к е р в а. А ей-богу он простой человек, брат Господень. Он есть хочет, он с Евой играет, другой бы брат бога говорить с нами не стал.

Ш о п. Жулик, должно быть. Ну как все, конечно, иначе бы он умер.

Благовест утих; слышится приближающаяся торжественная музыка оркестра на местных национальных инструментах.

Не дадут нам сегодня пообедать! Сколько работы!

Б р а т *(поглядев под гору)*. Турки обед несут!

Ш о п. Разумно! *(К брату.)* Вы какой марки предпочитаете вино? У нас есть «Мельбурн» — три звезды. Рекомендую — нечто загадочное, но приятное.

Б р а т. Мне хлебного...

Ш о п. Разве есть такая марка — хлебная? Не пробовал! Очень жаль! Это что — виски, шнапс, водка?

Б р а т. Оно.

Являются Селим и двое его помощники девушки-турчанки. Они несут судки и различную посуду с пищей. Селим несет большую суповую вазу на голове, Ева и брат быстро собирают обед на походном разборном столе; им деятельно помогают Селим и его турчанки. Одновременно на радиопередатчике сверкает лампа, звучит зуммер, Полигнойс манипулирует там.

П о л и г н о й с. Внимание! Прием! Слушаю Америку!

Ш о п. Потом, потом... *(Садится за стол.)* Мы умрем с голоду!

П о л и г н о й с *(читает ленту)*. «Богословское отделение Академии извещает вас, что второй сын богоматери Марии по имени Иаков родился от плотника Иосифа, то есть он является простым человеком и зачат обычным нормально-порочным путем...»

Б р а т *(разливая половником суп из вазы-миски по тарелкам, которые подает ему Ева)*. Я забыл, а они помнят!

П о л и г н о й с *(продолжая чтение ленты)*. «Иакову, брату Господню по матери, исполнилось ныне от рождения одна тысяча девятьсот сорок восемь полных лет, два месяца, одиннадцать дней...»

Б р а т (*разливая суп по тарелкам*). Они знают! Мне тысяча девятьсот сорок девятый пошел...

П о л и г н о й с (*продолжая чтение*). «Установите эти факты в открытом вами человеке. Независимо от окончательных выводов науки сохраните брата Господня, младшего брата Иисуса Христа, в здоровом неизменном виде: в нем, возможно, сокрыта неизвестная истина, — Передняя Азия полна древних тайн. За президента доктор протопресвитер Феофилакт Смит...»

Б р а т. Слыхали?.. Садитесь есть, малолетние! Потом опять шалить будете!.. Играйте, турки, музыку! Турки!

Ева садится на колени к брату, они едят с ним из одной тарелки. Все обедают. Селим и две турчанки пляшут и поют под музыку местного оркестра, скрытого за сценой.

2-е ДЕЙСТВИЕ

Место 1-го действия, но иначе установленное и теперь более украшенное. Прямо перед зрителем, выше американского лагеря, останки Ноева ковчега. Это, как можно догадаться, несколько бесформенных, неопределенных предметов, вроде лесного бурелома или домашних поваленных стульев, покрытых золоченой церковной парчой, огороженных посеребренными столбиками с цепью из разноцветных ярких звеньев. На одном столбике табличка с надписью: «Священно. Не прикасаться».

Невидимый оркестр играет религиозную мелодию; на протяжении действия музыка звучит или угасает, соответственно смыслу и ходу действия. Сейчас из-под горы слышится временами шум голосов, игра оркестров, гудки машин и крик ослов.

Предстоит торжество. На сцене сейчас одна Е в а. Она подметает лиственным веником дорожку к ковчегу. Затем она скрывается на минуту в палатке и волочит оттуда пустой ящик. На ящике прочитывается надпись: «Секретно. Срочно. Самолетом. Арарат — профессору Шопу. Кильковчега. Не кантовать. Не бросать. Анонимное общество. США».

Ева устанавливает ящик плашмя перед останками ковчега; сдергивает с ковчега один кусок золоченой парчи, покрывает им ящик с надписью. Ковчег теперь немного обнажен: оттуда высовывается ветхое бревнышко. Ева принимается украшать ящик цветами, выкладывает на нем горные камешки, занимается своим хозяйством.

Появляются Ш о п, С е к е р в а, П о л и г н о й с.

Ш о п. Господа! Усилия наши увенчались всемирным успехом! Я доволен, я доволен... Я чувствую необходимость немедленно доставить себе какое-либо удовольствие. Иначе я не могу. Мне нужно утешить чем-нибудь самого себя. Я этого заслужил, и вы заслужили. Вы чувствуете это?

С е к е р в а. Я чувствую это. Я давно это чувствую. Я всю жизнь сам себя хочу поцеловать.

П о л и г н о й с. А я думал, вы Америку хоть немного любите. А вы любите только самих себя.

Ш о п. И что же! Я же часть Америки! Как вы не понимаете? Я обязан себя любить! Самого себя!

С е к е р в а. Он не понимает! Надо любить себя как часть Америки! А он не понимает!

Ш о п. Да, да, это необходимо! Нужно ценить и уважать себя, я немедленно должен доставить себе радость... Но мне некогда! Нам некогда наслаждаться — вот в чем драма жизни! Вся забота о всем мире лежит на нас! Прошу, господа, не упустить чего-либо из виду: сейчас начнется всемирный религиозно-культурный конгресс... Будьте на своих постах! Прибыл Конгрессмен!

За сценой усиливается шум голосов, раздаются звуки торжественного оркестра.

П о л и г н о й с. Он болван!

С е к е р в а. Не забывайтесь, Полигной! Конгрессмен есть частица правительства Америки! Вы клеветник!

П о л и г н о й с. А он болван, хоть и частица! Он частица и болван.

Является К о н г р е с с м е н.

К о н г р е с с м е н (*Шопу*). Это вы здесь?

Ш о п. Это мы здесь!
 Конгрессмен. Где сие?
 Ш о п (*указывая на ковчег*). Здесь сие!

Конгрессмен направляется к ящику, у которого одиноко играет Ева.

Конгрессмен. Убрать девчонку!
 Ш о п (*Секерва*). Убрать девчонку!
 Секерва. Убрать девчонку! (*Он хватает за руку Еву и отталкивает ее.*)
 Прочь, девчонка!

Конгрессмен (*он становится на ящик, покрытый парчой; достает из внутреннего кармана маленький портативный флаг Соединенных Штатов; снимает шляпу и трижды подымает флаг вверх*). Ура! Ура! Ура!

Надевает шляпу; складывает флаг и прячет его в карман. Брат Господень, спавший в палатке, просыпается от шума, выходит наружу.

(*Сойдя с ящика.*) А где здесь он?

Секерва. Кто, ваше превосходительство? Кто есть он?

Конгрессмен. Это!

Секерва (*указывая на брата*). Вот этот — брат Господень? Вот он!

Конгрессмен. Да, конечно! Это он. (*К брату.*) Отвечайте, как он смел, этот мерзавец, ваш отец?

Б р а т (*кротко*). Не знаю.

Конгрессмен. А надо знать, спросить надо было! Как он смел, этот мерзавец, ваш отец, какой-то плотник-старик, жить с богоматерью и рожать от нее детей, — вас, например? Как вы смели родиться?

Б р а т. Не знаю. Дело было не мое.

Конгрессмен. Не знаете? Две тысячи лет живете, ничего не знаете! Зачем живете?

Б р а т. Не помирается. Хлеб-соль-кипяток бесплатно. Живи, говорят. Я живу.

Конгрессмен. А кто вам говорит — живи?

Б р а т. Начальство говорит.

Конгрессмен. Начальство? А кто твое начальство?

Б р а т. Вы! Кто же теперь?

Конгрессмен. Мы?.. Ну конечно! Это хорошо, это правильно. Живи пока.

Б р а т. Спасибо, не помру.

Конгрессмен. Живи, живи, — это ничего, это пока можно допустить — жизнь. А там мы посмотрим. (*Всем другим.*) Позовите сюда всемирный религиозно-культурный конгресс! (*Поглядев на часы.*) У меня в четырнадцать десять самолет.

Ш о п (*свистнув сначала, кричит вниз*). Джоржи!

Г о л о с Д ж о р ж и. Есть, шеф!

Ш о п. Давай конгресс.

Г о л о с Д ж о р ж и. Есть конгресс.

Являются папский нунций Климент; за ним вослед: герцогиня Винчестерская, 75 лет, в шлеме и полном костюме летчика, она только что из самолета, которым, видимо, управляет сама; Кнут Гамсун; еврейский цадик Саул Абрагам; Черчилль; Сукэгава, японский православный священник; супруга Чан Кай-ши; Марта Гакс, кинозвезда; Агнесса Тевно, международная старуха; Алисон, кинооператор; Леон Этт, урод-карлик-вундеркинд, универсальный мудрец. На втором плане являются другие члены конгресса: ученые старики, священники, красавицы, старухи, молодые люди, журналисты и другие; среди них находится и Грегор Горг, вор.

Климент (*становится на ящик, на золоченую парчу, делает жест рукой, благословляющий всех, произносит речь, которая доносится до слушателей как звуки, то подымающиеся до рева, то снижающиеся до шепота*). Ва-вв! Доворивалиум-стевервим! Ориховарим! Аливан-тево-эрго-гориум! Э-э-эвмвм! Тиво-ливайе, тиво-мерханто, тиво-рекутейро, э-э-эйвем! Анстун-анстун-

алейво, инстерейберейро-квоок! Сихон-теос-альбиги-шпо-фоорх! Ище-кве, ище-хве, элентоманиарум-гвак!.. *(Сходит с ящика, идет вокруг ковчега, освящает его; на ящик всходит Конгрессмен.)*

Черчилль *(к брату Господню)*. Что он сказал?

Брат. Что нужно! Элентоманиарум-гвак: слушайте бога!

Черчилль. Он глупец?

Брат. Кто же еще? Должно быть!

Черчилль. Так. А вы кто?

Брат. Я кто? Я брат бога.

Черчилль. Так. Ясно.

Вслед за нунцием Климентом, освящающим останки ковчега, идут чередою вокруг ковчега все члены, все гости конгресса; кинооператор Алисон снимает конгресс, вопрошая: «А где брат? Где брат Господень? Дайте мне брата Господня!» — Черчилль, взяв брата под руку, идет с ним вслед за другими.

Конгрессмен *(говорит с ящика)*. Господа! От лица Америки приветствую вас в сей великий торжественный час! Почему именно Ноев ковчег и почему именно Америке он дался в руки? Вот вопрос! А что нам вопросы, когда у нас на все есть ответы? Велика Америка, велика, все у нас есть. А чего у нас нету, то нам не нужно, только потому его и нету. Одного у нас не было, одного не хватало: веши или предмета бога, какого-либо имущества прямо из библейского хозяйства, из божьего инвентаря. А эта вещь нам необходима! Так вот она, эта вещь бога, вот факт — сейчас она в моих руках! *(Конгрессмен выхватывает бревнышко-головешку, торчавшую из-под парчи останков, и показывает его всем.)* Вот она — божественная штука! Наука открыла нам ее в сей древней горе! Слава науке, открывающей все, что нам нужно. А почему именно Ноев ковчег? А потому, что это есть знак и прямое указание бога Америке, бог говорит: Америка, строй новый ковчег, спасай человечество! Это всем понятно!.. А если бы бог думал что-нибудь не то, то он бы дал нам в руки что-нибудь другое, а отнюдь не останки Ноева ковчега, отнюдь нет!

Горг *(он очутился вблизи Конгрессмена, почти вплотную к нему)*. Что же именно?

И отбирает у него из рук останок ковчега; Конгрессмен машинально отдает ему этот останок; Горг мгновенно, с неуловимой, почти невидимой ловкостью прячет останок к себе, внутрь сюртука.

Конгрессмен. Это богу известно. Одно ясно: бог говорит с Америкой! Он говорит ей: собери человечество в один ковчег, спасай его от врага!

Черчилль. От какого врага? Кто враг?

Конгрессмен. Богу и Америке известен сей враг, и каждый простой человек знает его. Только один человек не знает его. Это вы — господин Уинстон Черчилль. Уинстон Черчилль его не знает?

Герцогиня Винчестерская. А разве здесь Уинстон? Это удивительно! Он всюду, наш Уинстон, — где бог и где дьявол! Где вы, Уинстон? Подойдите ко мне!

Черчилль. Я приветствую ваше высочество! Как вы путешествовали, какова была погода на трассе?

Герцогиня Винчестерская. Ах, что мне теперь погода? У меня ракета, скорость шестьсот!.. А зачем вы сюда явились, старый большевик? Что вам здесь надо среди нас, простых религиозных людей? Вы же друг генерала Сталина, вы его старый боевой конь! Так точно — не правда ли? Думаете, мы не знаем! Вы хитрейший большевик! Подите же прочь от меня, уйдите отсюда, со святого места!

Черчилль. Благодарю вас, ваше высочество!

Агнесса Тевно *(свирепо)*. Пустите меня! Пустите меня вперед! Где большевики? Где они, я спрашиваю!

Конгрессмен. Пропустить старуху вперед!

Черчилль. Я здесь, старуха!.. Ах, это вы! Пожалуйте, мадам Тевно!

Тевно *(подойдя к Черчиллю)*. Да какой же это большевик? Это

Черчилль-старичок! Он притворяется большевиком! Я видела большевиков, — они совсем другие мужчины! Пустите меня отсюда в Москву! В Москву меня, я в Москву хочу! Я бомбу брошу в нее, — мне бог велел!

К о н г р е с с м е н. В Москву старуху!..

Ш о п. Она вооружения требует — бомбу.

К о н г р е с с м е н. Невооруженную! Не вооружать старух!

Т е в н о. Я здоровее бываю, я моложе себя чувствую, когда вижу большевиков и ненавижу их. Я в Москву хочу! Помогите мне уничтожить их, а не поможете — я одна их разможжу. Вперед! Вперед!

Ч е р ч и л л ь. Вперед, сударыня!

Конгресс к этому моменту превратился в парад людей, которые заняты тем, что показывают себя друг перед другом или лобуются сами собой; они разбрелись по горе Арарат и забыли, зачем они здесь присутствуют; ковчег им уже не нужен, да и ничего им не нужно, кроме того, что обещает им личное удовольствие или наслаждение. Явившийся С е л и м и его помощники обслуживают делегатов религиозно-культурного конгресса: они продают им напитки, сласти и легкую пищу. Ева вынимает из-за пазухи Горга украденную им частицу ковчега. Горг не обижается: он целует Еву в лоб. Затем тут же выхватывает частицу ковчега и подает ее Агнессе Тевно.

Г о р г. Возьмите вещь бога! Возьмите ее себе на помощь! Сокрушайте врага!

Т е в н о. Где эта вещь? *(Хватает ее из рук Горга.)* А как она действует?

Г о р г. Бог сам научит вас. Осторожно! Это сильнее атомной бомбы!

Т е в н о. Отлично! Мне годится!

К л и м е н т *(резко)*. Энтимпаторум-гвак-энтимпаторум-гвак!

К о н г р е с с м е н. А? Нуда! Конечно. Это... Ясно, это гвак, это конечно гвак и кощунство! Откуда она взяла кусок ковчега? Отымите его у старухи! Это кощунство!

Г о р г. Вы сами держали его в руках!

К о н г р е с с м е н. Так это я! Я держал и буду держать! Ковчег наш, а не твой. Откуда эта лишняя старуха?

Ш о п. Из Европы. Это знаменитое международное существо! Мы сами себе враги — и от этого погибнем.

К о н г р е с с м е н. Прочь старуху в Европу!

С е к е р в а. Прочь старуху в Европу!

А л и с о н. Где старуха? Дайте мне старуху! *(Снимает Тевно киноаппаратом.)*

Общий шум. Горг бросается к Тевно, пытается отнять у нее частицу ковчега. Тевно бьет Горга по голове частицей. Горг вырывает у Тевно частицу. Все присутствующие направляются к Тевно, окружают ее как центр скандала.

Горг, когда внимание всех сосредоточено на старухе Тевно, исчезает из толпы. Вот он у останков ковчега, где сейчас никого нет. Он выползает на четвереньках под золотую парчу — и выползает оттуда, держа в охапке все останки ковчега. Скрывшись на мгновение, он является вновь. Теперь у него в охапке вместо останков камни. Он их складывает под парчу и накрывает, как прежде было.

Потом вмешивается в общую толпу.

Г о р г *(как нунций Климент, тем же тоном)*. Энтимпаторум-гвак! Энтимпаторум-гвак! Мы победим! С нами бог и вещи его!

Конгресс снова приобретает вид парада эгоистов.

Ч е р ч и л л ь *(прогуливаясь об руку с братом и Кнутом Гамсуном, продолжает разговор с братом)*. Вы подумайте, я не тороплю вас. Вы нам необходимы, именно сейчас, в тяжелые опасные годы! Вы понимаете меня?

Б р а т. Нет, ничего не понимаю.

Ч е р ч и л л ь. А ведь это же ясно. Я вам говорю ясно, дорогой мой. Вы брат Иисуса Христа, вы родственник нашего господина бога! *(Мелко скороговоркой крестится.)* Да святится имя твое, да будет воля твоя, яко на небеси, тако и на земли... Раз ты брат господина бога — этого нам достаточно. По этой причине ты величайший авторитет современного мира. Понятно теперь?

Б р а т. Нету!

Черчилль. Вы будете императором земного шара: всякому болвану понятно. Вот он, всемирный император Иаков!

Гамсун. Ах, прекрасно, прекрасно: император! Это великолепно: император! Тогда будет всемирный очаг, а у очага один хозяин — старик, брат бога. Это хорошо. Это превосходно! А где я? А я тогда буду возле вас, я буду советником всемирного императора. Порядок, тишина, девушки в белых платьях, сосновая хижина, и мы с вами — два старика! Утром мы будем есть хлеб с молоком, а вечером хлеб с молоком и сыром...

Черчилль (брату). Соглашайтесь на императора! Это вам прилично.

Брат. А большевики! Они не любят всемирных императоров: они мне голову оторвут. (Пробует руками свою голову и поворачивает ее.)

Гамсун. Бог сильнее большевиков, господин брат бога по матери!

Брат. Да ведь забот будет много — с этим человечеством. Надоест оно мне.

Черчилль. А я! Я где же! Я буду при вас! С человечеством я один управлюсь. Вам ничего не надо будет делать. Будете чувствовать одно удовольствие.

Брат. Неохота... Подумаю, однако.

Черчилль. Не спешите, подумайте... Может, папой римским решитесь быть? Вам это вполне к лицу. А мы устроим.

Гамсун. Папой римским! Великая мысль! Так он уже есть римский папа! Самый лучший наместник Христа — это брат самого Христа. Вот и все! Он — папа!

Шоп (он подходит к Черчиллю под руку с кинозвездой Мартой Такс, отвлекает Черчилля в сторону). Господин Уинстон! Простите меня, но я надеюсь, вам ясно, какой он брат Господень! — вы понимаете меня?

Черчилль. Я понимаю. Вы же, однако, открыли останки ковчега! — вы понимаете меня?

Шоп. Понимаю, господин Черчилль.

Черчилль. Мы идем с вами к одной цели — к истине. Не правда ли?

Шоп. Это правда, господин Черчилль.

Черчилль. Продолжайте свой путь, господин ученый!

Шоп. Куда?

Черчилль. Туда же.

Гамсун (Шопу). Приветствую великого ученого и сердечно, вдохновенно поздравляю с мировым открытием, — поверьте, я желаю вам личного счастья и славы.

Шоп. Благодарю вас, искренно благодарю.

Марта Такс (отойдя с Шопом). Кто это? Такое знакомое лицо!

Шоп. Божий племянник.

Марта. А кто? Он смотрел куда-то ниже меня. Как его зовут?

Шоп. Он на ваш таз смотрел, он понимает в женском инвентаре. Это Кнут Гамсун, дорогая, он пишет книги посредством лирического расслабления желудка.

Марта. Фу! Все янки — грубияны! Они умываются кое-как, едят руками, говорят чепуху... А что делать! С кем нам водиться?

Шоп. Со мной! Утешьте меня, дорогая, доставьте мне радость. Я так много добра сделал человечеству, я так устал, что мне теперь необходимо счастье, просто для здоровья необходимо.

Марта. Да пожалуйста, — а в чем ваше счастье?

Шоп. В возвышенном! В чем-то возвышенном!

Марта. Как жаль!.. Как жаль, что я не могу вам помочь!

Шоп. Помогите! Помогите мне скорей! Утешьте меня, ради бога! Я не могу оставаться без удовольствия. Чего ради!

Марта. Я понимаю вас. Только во мне нет ничего возвышенного, есть одно низшее только. Что поделаешь!

Шоп. Я добрый. Давайте низшее. Следуйте за мной.

Марта. Куда, дорогой мой?

Шоп. В уединение. Скорее!

Марта. Скорее? А что там?

Ш о п. Там что? А там любовь! Вы глупы, что ли? Вы немка?

М а р т а. А любовь что?

Ш о п. Щекотка!

М а р т а (*гневно, в другой игре*). Отойди от меня, отойди, негодяй! Тебе страдать нужно, а не наслаждаться, пошлая тварь!

Ш о п (*в раздражении*). Тише ты, животное! Здесь всемирный конгресс, здесь ковчег стоит! (*Хватает ее за руку.*) Успокойся — и за мной!

М а р т а (*толкает его в грудь с большой силой*). Не прикасайся! Здесь ковчег стоит... Молись!

П о л и г н о й с (*подбегая*). Держитесь, шеф!

Ш о п (*еле удерживается на ногах*). Это не считается. Она дура!

П о л и г н о й с. Как не считается? — Она бьет умело. Считается!

Внимание некоторых лиц привлекается в сторону Марты. Марта закрывает лицо рукою.

Успокойтесь, успокойтесь. Что вы хотите?

М а р т а. Я хочу... Я хочу ударить его еще раз. Ах, как жить стало скучно, как подло!

П о л и г н о й с. Ого! Да вы человек! Слава богу!

Ева подходит и обнимает Марту. Марта обнимает ее в ответ.

М а р т а. Милая моя... Ты кто? Как тебя зовут? Я тебя видела где-то, давно когда-то, и забыла... Забыла я самое лучшее!

Ева стелает в ответ, словно стараясь сказать что-то.

Я поняла, я поняла... Прекрасная моя! Прости меня, прости меня. (*Целует Еву в губы.*)

Ц а д и к (*подходя к Марте*). Кого вы ударили — это главный, нет ли?

М а р т а. Главный! Нет, я не знаю.

Ц а д и к. Главный, главный! Он свободный, нахальный человек, — значит, главный. Я прав.

Ш о п (*цадику*). Что вам угодно? Скорее говорите, времени нет. Видите, времени нет.

Ц а д и к. Вижу, конечно, — времени нет. Дайте мне, пожалуйста, кусочек ковчега, — нашему государству!

К о н г р е с с м е н (*подходя к Шопу*). Он и у меня просил кусочек. Дать ему или нет — вы подумайте.

Ш о п. Подумал: нет! Гнать его к черту! А за что ему давать?

Ц а д и к. А за то — мы евреи и Ной есть наш родной еврей. Весь ковчег наш, а я прошу кусочек. Поймите меня — кусочек!

Ш о п. Это ложь и старомодная чепуха! Ной американец! Экспедиция Боба Спринглера доказала в тридцать втором году, что Ной был живой американец. Вы помните, господа, эту экспедицию? Ее организовала компания машиностроительных заводов — «Бабкок и Вилькос».

Ц а д и к. Не помню. Я этого не помню. А Ной еврей!..

Ш о п. Американец!

С е к е р в а (*внезапно явившись*). Американец! И наш президент верит так, а не иначе: Ной — американец!

Ц а д и к. И я также верю! Ну маленький дайте кусочек! Один маленький: больше не надо, будет уже много!

С е к е р в а. Идите и слушайте! Не раздражайте наше руководство!

Ц а д и к. Тогда парчу подарите. Парчу с ковчега!

К о н г р е с с м е н. Парчу можно. Пусть берет; и у них государство.

Ш о п. После конгресса только... После конгресса пусть сдернет с ковчега.

Ц а д и к. Я сдерну! Парчу я сдерну!

К л и м е н т (*возглашает с ящика-трибуны*). Гирги-горги-георгиорум!

Ш о п. Хочется мне чего-то!.. Полигнойс!

П о л и г н о й с. Шеф! Я вас слушаю!

Ш о п. Полигнойс! Закажите для меня телеграфом фирме «Зигфрид»

вечерние полуботинки типа «альфа» уфиолевого оттенка, вне сорта и стандарта, мой номер сорок два.

П о л и г н о й с. Я исполню, шеф.

Ш о п. Легче стало!

П о л и г н о й с. Я все исполню. *(Про себя.)* Хорошо, что будет война. Пусть поразят нас большевики. *(Уходит к радиопередатчику.)*

С у к е г а в а *(с ящика-трибуны)*. Я православный священник святой церкви... Я верю в бога как русский человек. Русский человек говорит: тело у него большевистское, а дух у него божий. Он говорит: не надо ему тела, пусть умрет на войне, а надо ему один дух божий, больше ничего ему не надо!..

Б р а т *(к японцу Сукегаве)*. Слушай — ты чей? Ты откуда?

С у к е г а в а. Мы японский православный священник токийской епархии. А вы?

Б р а т. А мы — брат Божий. Сходи прочь!

С у к е г а в а. Не буду сходить!

Б р а т. Врешь — сейчас сойдешь!

С у к е г а в а *(к ближним, слушавшим его)*. Как мне быть?

К о н г р е с с м е н. Брат Господень авторитетней вас — уходите!

Сукегава исчезает с трибуны.

С у п р у г а Ч а н К а й-ш и *(появляясь на трибуне)*. Человечество! Я к тебе обращаюсь, человечество! Вели отдать моему супругу Китай! Его у нас взяли неправильно, мы думали — так не может быть! Отдайте Китай моему супругу, а мы его больше никому не отдадим!

К о н г р е с с м е н. Ладно! Пожалуйте, Леон Этт!

Э т т *(с трибуны)*. Господа! Я хочу возвестить вам: что будет завтра с миром и людьми...

Г о л о с а. Что же? Ну говори! Пожалуйста, скажите нам! Отчего раньше не говорил?

Э т т. Господа! Завтра будет война. Большевики нападут на нас!

Г е р ц о г и н я В и н ч е с т е р с к а я. А где мы тогда будем?

Э т т. Герцогиня! Мы будем там же, где бывает мясо, пожранное псом, где сейчас находится мясо, скушанное вами вчера.

Г е р ц о г и н я В и н ч е с т е р с к а я. В желудке? Пса?

Э т т. Дальше, герцогиня, после желудка!

Г е р ц о г и н я В и н ч е с т е р с к а я. Не понимаю. Где дальше, где после?

Э т т. Простите, герцогиня... Итак, господа, завтра, возможно ранее полудня или позже него, начнется мировая война.

Т е в н о. Старо, глупо, господин профессор! Завтра — значит никогда.

К о н г р е с с м е н. Глупо! Прошу вас, мистер Уинстон!

Ч е р ч и л л ь *(появляется на ящике-трибуне; Этт исчезает)*. Правильно, мадам Тевно: завтра — значит никогда; война теперь начаться не может, она уже началась... Леди и джентльмены, господа! Все мы — дети единого небесного бога-отца, — да святится имя его! — но непослушные дети. Бог дал нам в руки атомную силу, сказав этим: приведите жизнь на земле в порядок, — а мы не послушались его!..

К л и м е н т *(ставши на ящик рядом с Черчиллем, провозглашает в подтверждение)*. Энтимпаторум-гвак!

Ч е р ч и л л ь. Бог указал нам на блоху как на смертоносного солдата, — и мы опять не послушались его...

К л и м е н т. Энтимпаторум-гвак!

Ч е р ч и л л ь. Ныне бог в третий раз обратился к нам с прямым своим словом. Дав нам открыть сокровенную тайну святой древности — Ноев ковчег, — Бог явственно говорит: спасайтесь немедля, спасайте тех, кто должен быть спасен, а врагов утопите в бездне...

К л и м е н т. Энтимпаторум-гвак!

Ч е р ч и л л ь. Гибель миру, если мы не услышим последнего слова божия!

К л и м е н т. Энтимпаторум!

Черчилль. Война начнется не завтра и не сегодня, а раньше: она началась вчера! Большевики нас бьют!

Герцогиня Винчестерская. Так что же нам делать, Уинстон! Чего вы медлите? У вас есть атом, блоха и ковчег, — и с нами еще бог! Достаточно! Чего вы боитесь?

Голоса. Так что же нам делать? Боже, спаси нас!

Климент. Энтимпаторум!

Черчилль. Я вас спасу!

Шоп. Пусть лучше бог!

Конгрессмен. Или мы — Америка!

Секерва. Лучше мы — Америка!

Черчилль. Не сумеете... Большевиков надо уничтожить трижды, чтобы они погибли один раз. Я знаю, как это делать. Я знаю большевиков, я научился у них отваге, а ненависть у нас своя. Нет лучшей жизни, как их смерть, их горе, их кровь, последний возглас их потомков! Боже, дай нам их теплые трупы! Боже, бей их!

Черчилль зашелся в крике; искусственная челюсть вылетела у него изо рта; находившаяся поодаль Ева увидела упавшую возле нее челюсть, подняла ее, оглядела, подержала и равнодушно забросила в горную пропасть.

Климент. Гвак-гвак-энтимпаторум!

Черчилль (*шипит беззубым ртом*). Восславим бога перед битвой! Объединимся вокруг святыни!

Конгрессмен. Ура!

Делегаты конгресса берутся за руки и идут хороводом вокруг останков ковчега; одна Ева занимается камешками в стороне, и Полдигойс сидит один у радиопарата.

Герцогиня Винчестерская (*к нунцию Клименту*). Святой отец, разрешите приложиться к святыне.

Климент (*с разрешающим жестом*). Энтимпаторум!

Конгрессмен. Это можно. Снимите покрывало!

Цадик. Это я! Я сдерну!

Он сдергивает парчу; под парчой горка голых камней. Цадик быстро сворачивает парчу в трубку и берет ее себе под мышку.

Конгрессмен. А где ж ковчег? Где святыне останки?

Цадик. Это святотатство!

Горг. Это кощунство! Большевики украли ковчег!

Шоп. Несомненно, несомненно. Они похитили великое открытие.

Климент (*в неистовстве, взойдя на ящик-трибуну*). Гирги-горги-гвак-гвак! Эмфалисто-стеворвариум!

Конгрессмен (*ко всем*). Ну кто взял — отдайте! Ведь это действительно империализм! Отдайте, пожалуйста, Ноев ковчег!

Всеобщее молчание; пауза.

(*К нунцию Клименту*.) Отец, прокляни тогда всех к черту, пусть земля сейчас содрогнется, а то мне одному придется отвечать! Проклинай!..

Климент (*подняв очи к небу*). Антремовельтано, интремовеле, жау-жау-зорх!

Брат (*поглядев на небо*). Боже, дай им!

Конгрессмен (*брату*). Проклинай сильнее! Бог вас не слышит!

Брат. Боже, дай им как следует: мошенникам, убийцам, обманщикам, мучителям и прочим всем разнообразным стервецам. Боже, дай им скорее гневной рукой!

Волны ослепительного разноцветного света, в том числе и черного света, содрогаясь, побежали по небу. Возник, тихий вначале, далекий звук; вот он усилился до страшного вопля и постепенно спал до безмолвия. Но волны разноцветного света по-прежнему бегут по небу. Все люди на сцене в ужасе

пали ниц, даже Полигнойс. Лишь брат остался стоять на ногах как был. Теперь он взял за руку Еву и держит ее, чтобы она не боялась. Пауза.
Первым поднимается Горг. Он уходит со сцены; возвращается с охапкой останков ковчега и кладет их на прежнее место; никто не интересуется действием Горга. Вторым очнулся Полигнойс. Он настраивает радиоприемник.

Радио. Бук-бук-бук! Где твой зад, где перед? Вот и муж твой идет! Привет, идиот! Бук-бук-бук!..

Полигнойс переключает радио!

..вительственное сообщение. Правительство Соединенных Штатов передает для всеобщего сведения. С целью показать пример разоружения правительство решило уничтожить свой запас атомных бомб. Уничтожение бомб производится в международных водах Атлантики. Впредь до указания всем самолетам и кораблям Атлантического бассейна не начинать рейсов во избежание возможной гибели или повреждения. Самолеты и корабли, находящиеся в движении, прекращают рейсы и заходят в ближайшие базы и порты. Правительство Соединенных Штатов призывает человечество к спокойствию.

К о н г р е с с м е н. Ура! Вставайте, господа! Жизнь идет нормально!

Ч е р ч и л л ь. Не совсем. Это война, господа. А где моя челюсть?

Б р а т (к Еве, прижавшейся к нему). Чего ты? Неба боишься? Не бойся, не бойся, сирота.

Ш о п. Полигнойс! Вы исполнили мое поручение?

П о л и г н о й с. Да. Башмаков уфиолевого цвета фирма временно не изготавливает. Я заказал цвета Индийского океана.

Ш о п. Прекрасно. Я стерплю этот цвет, я стерплю! (Напевая.) Бук-бук-бук, бук-бук-бук! Вот и муж твой идет... вот и муж твой идет...

П о л и г н о й с. Привет, идиот.

М а р т а. Опять война... На небе фейерверки, на земле могилы. Как интересно, черт вас возьми!

3-е ДЕЙСТВИЕ

То же место на горе Арарат. Тот же американский лагерь. Но теперь все пришло в другой вид: все обветшало, износилось, постарело, одичало, люди и предметы. Люди находятся здесь явно вынужденно, над ними грозное бедствие.

Кроме американской палатки, теперь здесь много землянок, шалашей, временных убежищ. На сцене те же действующие лица, что и во 2-м действии; теперь их, однако, словно стало еще больше.

Е в а, Г а м с у н и Г о р г вешают два котелка, разводят под ними из нескольких щепок костер. Другие люди тоже занимаются хозяйственным бытом. Конгрессмен и нунций Климент стоят на кучах житейского мусора и алчно обгладывают мясо с костей. Количество людей меняется на сцене, — они уходят по другую сторону горы, затем возвращаются; они занимаются житейскими делами.

На заднем плане, как и во 2-м действии, лежат останки ковчега, теперь открытые.

Ш о п. Когда же придут за нами корабли?

Г е р ц о г и н я В и н ч е с т е р с к а я (Конгрессмену). Неужели мы здесь погибнем? Неужели вы не можете устроить нам спасения? Зачем тогда вы хвастались — мы, Америка! мы, Америка! — при нас, когда у руля стояла Великобритания, подобного безобразия не было... Ах, где мой самолет? — улетела бы я отсюда на своей ракете!

К о н г р е с с м е н. Утешьтесь, ваше высочество! Вместе с нами погибнут и большевики! Это прекрасно!

Г е р ц о г и н я В и н ч е с т е р с к а я (к Черчиллю). Уинстон! По-моему, он глупец!

Ч е р ч и л л ь. Это естественно, ваше высочество. Задача в том, чтобы погибли только одни большевики, а мы должны процветать!

Г е р ц о г и н я В и н ч е с т е р с к а я. Ну конечно! Ну конечно! Вообще, по-моему, вся ихняя Америка это — как бы так ясно, популярно сказать?..

Г о р г. Шпана, ваше высочество! Популярно!

Г е р ц о г и н я В и н ч е с т е р с к а я. Шпана? — я не понимаю — это что. Но возможно, это правда: Америка — шпана!

Т е в н о. Ясно, шпана! И стрелять они не умеют. Попали в земной шар — и раскололи его, вода потекла. Вот большевики стрелять умеют! Те бы не промахнулись!

С е к е р в а. Америка сразу во всех бомбой попала. Вот она — Америка!
П о л и г н о й с. И в себя тоже попала!
Ш о п. Скучно, Полигнойс! Когда же придут за нами корабли?

Б р а т Г о с п о д е н ь приносит охапку кустарника и опускает топливо около Евы, возле тлеющего костра. Ева, Гамсун, брат и другие стараются разжечь принесенные прутья, но они не горят.

Ч е р ч и л л ь (*Полигнойсу*). Радист! Дайте Москву! Что думают сейчас большевики?

П о л и г н о й с. Трудно, господин Черчилль, но я попробую. Америка забывает все станции, она слушает только самое себя.

Ч е р ч и л л ь. Это обычно, это стало нормальным: всякий слушает самого себя. Но вы настройтесь на другого. Попробуйте.

Полигнойс работает у радиоаппарата.

Слышите кого-нибудь?

П о л и г н о й с. Слышу вопль! Москвы не слышу.

Ч е р ч и л л ь. Ищите Москву... Интересно и странно. Но этого даже я не понимаю. Почему большевики совершенно спокойны, когда весь мир гибнет, и они тоже?

П о л и г н о й с. Стоп! Нет, опять исчезло.

Ч е р ч и л л ь. Москва? Кто там?

П о л и г н о й с. Трио баянистов: Кузнецов, Попков и Данилов... Опять все исчезло...

Ч е р ч и л л ь. Нужнее всех нам сейчас Москва, нужнее всех Москва. Баянистов не нужно.

Б р а т (*у костра*). Не разгорятся! Одна вода. А что же? Всюду сыро стало, грунт насквозь промок.

Г о р г. А мы сейчас сухим подожжем.

Берет одно бревнышко из останков ковчега, зажигает его. К костру подходит нунций Климент.

Отец, мы вам кофе варим. Не обижайтесь, а то помрем скоро — свободная вещь!

К л и м е н т (*берет из останков другое бревнышко и подает его Горгу*).
Надо больше огня!

Ч е р ч и л л ь (*подходя к костру*). А мне готовите что-нибудь?

Б р а т. Вам кашку и лапшичку такую приготовим. Чего же беззубому человеку...

Ч е р ч и л л ь. Можно кашки, можно лапшички.

Г о р г. Оно бы лучше бекон, бифштекс, а коньячком бы заправить!

Ч е р ч и л л ь. О, да! О, да!

Г о р г. Да где же взять? Папский нунций сглодал последний мослак.

Б р а т. Вот до чего добаловались: сами империалисты не евши живут, и курить нечего! Горе!

П о л и г н о й с. Господин Черчилль! — Москва!

Р а д и о. Американское правительство решило ужаснуть социалистические нации массовым взрывом атомных бомб, чтобы затем атаковать эти нации и поработить их. Как известно, в результате разрушительного взрыва атомных бомб в базальтовой оболочке земного шара образовались скважины и трещины. Через них из глубочайших недр Земли начали фонтанировать могучие извержения девственных вод. Наступил всемирный потоп. Низменные части материков уже покрываются первым слоем воды. Расчет показывает, что через месяц вода достигнет вершины таких гор, как Альпы, Арарат, и им подобных. Советское правительство направляет свои корабли и продовольствие в районы наибольшего бедствия. Советское правительство примет

решение, направленное к спасению человечества, в том числе и американского народа.

Молчание. Общая пауза. Многие молятся.

Черчилль. Какое же решение примут большевики? Такого решения нет и его не будет. Всему должен быть конец; хорошо, что весь мир кончается при мне, на моих глазах...

Полигнойс. Неужели мы такие?.. Неужели я должен стать изменником?

Секерва. Вы что там, Полигнойс? Вы что такое сказали там в двух смыслах? — и даже в трех? Отвечайте!

Полигнойс. Ничего... Мне стыдно жить!

Секерва. С кем, где, когда вам стыдно жить? — говорите с точностью!

Полигнойс. С тобою, стервец!

Конгрессмен. Прекратить разложение! Мы еще в опасности, мы еще не спасены! Радист, дайте нам голос родины!

Полигнойс. Даю!

Радист. Бук-бук-бук! Бук-бук-бук! Где твой зад, где перед?..

Конгрессмен. Другую станцию!

Радист. Век-пек-интержек! Иря-иря-бирьбирьбош...

Конгрессмен. Третью!..

Радист. Выясняется, что значительное количество воды, затопляющей весь мир, обладает щелочными, лечебными свойствами; она может быть использована для лечения желудочных и нервных заболеваний...

Полигнойс (прервав радио). Вот она — Америка, жирная дура! Лечите понос водой всемирного потопы!

Конгрессмен. Радист Полигнойс! Вы арестованы с исполнением служебных обязанностей! Вы близки к измене Америке, мерзавец! Я чувствую это!

Полигнойс. Ладно. Мне теперь утопать неохота! Мне жить надо, чтобы все негодяи погибли, при мне погибли — и не жили больше никогда!

Шоп. Господа, отложим этот вопрос... Вода подымается выше! Когда же придут корабли?

Конгрессмен. В свое время, в свое время, профессор! Америка знает, когда нас спасать.

Секерва. Она все знает, Америка!

Шоп. А когда будет свое время? Смотрите, лягушки, жабы, змеи — все лезут к нам на гору. И сколько бабочек на вершине! — бедные прелестные твари!

Черчилль. Бедные, но прелестные! В раннем детстве, помню, я тоже хотел стать бабочкой. Да как-то не вышла, как-то не вышла из меня бабочка!

Герцогиня Винчестерская. Не надо, Уинстон, вам не надо быть бабочкой... Уинстон, спасайте нас наконец! Неужели я умру от сырости, в какой-то щелочной, в содовой воде? Что думают ваши большевики в Москве?

Черчилль. Они не думают утопать в потопах, ваше высочество. Им не хочется.

Герцогиня Винчестерская. Очень хорошо. Молодцы — большевики! И я не хочу утопать.

Черчилль. Но большевики утонут, сударыня.

Конгрессмен. И отлично!

Черчилль. И мы все утонем.

Конгрессмен. Большевики сказали, вода к нам подыметя через тридцать дней. Это же не скоро, господа! Америка вполне успеет нас спасти. А мы пока будем отдыхать на горном воздухе. Отдыхайте, господа.

Черчилль. А курить будем что? Нас никто не спасет. Чудес нет.

Марта. Чудес нет, а разум вот, наверное, есть. Без него почему-то нельзя.

Черчилль. Где же он, сударыня?

Марта. Не знаю... Где-нибудь он должен быть. Неужели есть только одна глупость и смерть? Как вы думаете?

Черчилль. Спросите у большевиков.

М а р т а. Хорошо, я у них спрошу... Старый вы тюлень! (*К Полигнойсу.*)
Радист!

П о л и г н о й с. Я вас слушаю, сударыня!

М а р т а. Сообщите в Москву... Напишите так, только лучше: «Москва, господину Сталину, — извините нас и спасите».

К о н г р е с с м е н. Не смей! Это измена!

Г е р ц о г и н я В и н ч е с т е р с к а я. А почему — не смей? Как вы смеете при мне кричать?

К о н г р е с с м е н. А я здесь главный, я из Вашингтона! Вам понятно?

Г е р ц о г и н я В и н ч е с т е р с к а я. Замолчать! Я герцогиня, а вы мошенник... (*К Черчиллю.*) Уинстон! Послушайте, обратитесь вы к генералу Сталину, в самом деле. Ведь он вас прекрасно знает. Объясните ему наше положение, это просто невозможно. Как вы думаете, мадам Тевно?

Т е в н о. Конечно — и немедленно! Большевики даже обязаны нас спасти. Пусть они теперь за все отвечают. Сейчас же пусть шлют сюда корабли и продовольствие! Это безобразие!

Г е р ц о г и н я В и н ч е с т е р с к а я. Вы слышите, Уинстон? Вам ведь курить нечего, — большевики должны прислать вам табак.

Ч е р ч и л л ь. Должны, должны, ваше высочество.

Г е р ц о г и н я В и н ч е с т е р с к а я. Так действуйте! Я вот уверена, что большевики не утонут, они слишком коварны, они и природу обманут. Ну что ж! На это время мы ухватимся за них и тоже не утонем. Действуйте, Уинстон!

К о н г р е с с м е н. Без меня действовать запрещается! Я сказал, а вы слышали! Америка помнит своих детей, и они не утонут. А вот те сукины дети, которые забыли Америку, тех мы и после потопа утопим.

С е к е р в а. Есть таковые!

Являются С е л и м со своими двумя турчанками и еще несколько турок; они несут, держа их на головах, гробы и небольшие новые лодки; каждый гроб и лодку несут двое людей. Всего приносят два гроба и две лодки. Они ставят свой товар на землю, устроив небольшой базар.

Б р а т Г о с п о д е н ь. Турка! Почем гробы?

С е л и м. Один доллар, один доллар, — всего только. Хороший гроб, всякому покойнику полезен.

Б р а т. А лодки почем?

С е л и м. Одна лодка — сто тысяч долларов.

Г о р г. Сколько?

С е л и м. Сто тысяч. Бери! Жить будешь во время потопа, плавать будешь, а кругом все утонут. Не за лодку беру деньги — за жизнь: недорого! Покупай и живи!

Г о р г. Значит, гроб — один доллар, а лодка — сто тысяч долларов?

С е л и м. Так — верно!

Ш о п. Что это за турецкая торговля? Что это за корабли?

С е л и м. Турецкая, турецкая... Бедному человеку тоже купить что-нибудь надо. А что он купит, когда всемирный потоп? Ему гроб надо! А другому человеку и на потопе жить нужно, он купит себе лодку, и с него за жизнь сто тысяч долларов. А сколько жизнь стоит? Купите ее дешевле?

Б р а т. Обожди, турка. Значит, богатому жизнь, бедному гроб.

С е л и м. А что? Так конечно! А турку деньги!

Б р а т. А турку деньги! А турку деньги, ты говоришь?

П о л и г н о й с. А турку убыток! Турку будет убыток!

Полигнойс приподымает гроб за один конец, брат за другой — и они бросают его в пропасть.

Горг и Абрагам помогают им в этой работе, и весь турецкий товар летит в пропасть.

С е к е р в а. Так, Полигнойс! А ты немножко американец! Молодец!

К о н г р е с с м е н (*Селиму*). Базара нет. Уходи прочь отсюда, уходи вниз!

С е л и м. Там сыро стало, там вода!

К о н г р е с с м е н. Утопай!

Ш о п (*Селиму*). Разве так торгуют кораблями во время потопа?

С е л и м. А что не так?

Ш о п. Во-первых, дешево. Во-вторых, недемократично: богатых и бедных нет; это тайна, дуралей.

С е л и м. Это правда. Твоя правда, что дешево. А во-вторых, гробы были сшиты прочнее лодок, на них тес суше. Лодки сразу бы утонули на воде, богатый жил бы в лодке минуты две или четыре, только всего; за это — сто тысяч долларов, и вышло дешево; надо мне думать лучше, плохая голова у турка. Иди домой!

Ш о п. Подожди, Селим... Достань там, обжарь и принеси, знаешь, такой тентерь-вентерь с хлебом и луком.

С е л и м. Какой тентерь-вентерь? Нету тентерь-вентерь, помирай!

Ш о п. Шашлычок, шашлычок — мясная; печеная жизнь на длинной такой железке!

С е л и м. Нету шашлыка, и лука нет, и хлеба нет, и табаку нет. Одна вода есть, — сам хотел, пей воду! Селим пошел.

Ш о п. Ступай к черту.

Селим уходит, и за ним уходят все турки и турчанки.

Черчилль (*Шолу*). Шашлычок хорошо покушать. И суп мясной хорошо покушать — густой чтоб был. Вспоминаете, профессор?

Ш о п. А какие были соусы, кремы, напитки, вина из виноградных гибридов Зондского архипелага!

Ч е р ч и л л ь. А печень! Печень тихоокеанского кашалота!..

Ш о п. Да, велика земля, а жрать нечего!

Г е р ц о г и н я В и н ч е с т е р с к а я. Уинстон, я кушать хочу!

Т е в н о. Кормите нас, мерзавцы, или сейчас же обращайтесь к большевикам! Я супа хочу!

Б р а т. У большевиков всегда щи мясные!

Т е в н о. И нам щи мясные!

Ч е р ч и л л ь. Молитесь богу, сударыня!

К о н г р е с с м е н (*Клименту*). А чего ты тут без дела ходишь? Ты зачем сюда явился? Это ты «гвак» кричал?

К л и м е н т. О, это я! Я прибыл сюда на религиозный всемирный конгресс, здесь был наш праотец Ной в ковчеге.

К о н г р е с с м е н. Какой Ной? А где же он?.. Вот что, ты свяжись с богом. Можешь?

К л и м е н т. Могу, конечно. Я архипастырь!

К о н г р е с с м е н. Свяжись с богом, архипастырь! Пусть он накормит людей чем-нибудь, — супом, хлебом, фасолью, чем хочет! Можешь?

К л и м е н т. Я помолюсь.

К о н г р е с с м е н. Да нет, что там молиться! Это долго: туда-сюда, пока ответ придет. Ты свяжись по радио. Пусть папа римский свяжется, ты его попроси, если бог тебя не примет.

К л и м е н т. Я обращусь к святейшему отцу.

К о н г р е с с м е н. И еще таксделай. У нас здесь есть люди старые, больные и прочие разные, которым давно пора на тот свет. Ведь на этом свете потоп, ты сам видишь, тут деваться некуда! Чего их задерживать! Отведи их туда! Рай там есть?

К л и м е н т. Есть, конечно.

К о н г р е с с м е н. Уведи их в рай, я тебе список дам, кого увести. И сам туда с ними. Понятно тебе?

К л и м е н т. Непонятно. Нет. Мне непонятно. Мне нельзя сейчас в рай, мне некогда, я здесь в командировке. Мне отчет надо сделать святейшему отцу.

К о н г р е с с м е н. В рай ему не хочется, а жить не евши хочется, — ишь ты гвак какой! Не веришь ты в бога! Ну, займи всех молитвой, чтоб я вас не слышал никого... Мне некогда! Гвак!

С е к е р в а (*Клименту*). Молись, тебе говорят! И всем вообще молиться,

делом заниматься, а не болтаться, не разлагаться: глядите, я вас вижу, Америка все учтет!

К л и м е н т (*провозглашая*). Элимпаториум!..

Опускается на колени в молитве. За ним опускаются на колени и молятся Сукегава, Этт, Абрагам и другие.

К о н г р е с с м е н. Полигнойс! Работайте на Америку! Вызывайте Вашингтон: я прошу прислать за нами миноносец!

Конгрессмен и Полигнойс работают у радиоприемника.

Т е в н о. Ваше высочество, неужели этот дурак поумнел? Он вызывает корабль!

Герцогиня Винчестерская. От страха, мадам. От страха умнеют иногда, только на короткое время.

Б р а т (*у костра*). Лапшичка готова!

Ч е р ч и л л ь. Давай, давай, брат Господень! Не остыла бы она, лапшичка!

Брат снимает с костра два котелка; один подает Черчиллю, другой оставляет себе; из одного котелка едят брат, Ева, Горг, Гамсун, к ним втискивается со своей ложкой и Секерва; Черчилль садится на землю несколько в отдалении от них и начинает есть один из своего котелка.

Э т т (*подползая на коленях, — он молится, — к котелку брата*). А мне дадите ложечку? Я говорил, что будет война!

Б р а т (*вытерев свою ложку концом своей бороды, ударяет ею Этта по лбу и отдает ему ложку*). Ешь молча!

Герцогиня Винчестерская и **Т е в н о** (*одновременно*). А нам?

Ч е р ч и л л ь (*поспешно подходя к ним с котелком*). Простите, ваше высочество! Простите, мадам! Я увлекся!

Герцогиня Винчестерская. Чем, чем вы увлеклись? Ах, Уинстон, Уинстон! Дайте нам...

Т е в н о. Ложки!

Герцогиня Винчестерская. Ложки! (*Обе вместе*.) Ложки давайте!

Ч е р ч и л л ь (*к Марте Такс*). И вам ложку?

Марта. Нет, благодарю. Я лапшу не люблю. Я мясо люблю, у меня зубы есть.

Ч е р ч и л л ь. И я, и я мясо люблю, — превосходная вещь, полноценный белок!

В это время Черчилль ставит котелок с лапшой возле Тевно и герцогини и приносит им от брата две ложки. Старухи жадно, быстро едят.

Б р а т (*Черчиллю*). Мясной навар я тебе сделаю. Будет вроде густого говяжьего супа, и вкус будет.

Ч е р ч и л л ь. Свари, пожалуйста, мне нужен говяжий суп.

Б р а т. Сними один башмак!

Черчилль снимает правый башмак, отдает его брату.

Австралийская кожа! Эта подойдет, — живи пока в одном башмаке. А на правую ногу портянку накрути. Дай я тебе покажу. Вот так нужно, — и ходи! Мягко?

Ч е р ч и л л ь. Мягко, удобно.

Б р а т. Ходи спокойно.

Черчилль ходит; одна нога обута в башмаке, на другую накручена портянка. Брат режет башмак Черчилля на мелкие ломти.
Резко стучит радиоаппарат.

П о л и г н о й с. Принимаю Америку!

Ш о п. Читайте вслух, Полигнойс. Когда там пришлют за нами корабли?

П о л и г н о й с (*читает ленту радио*). «Уполномоченный президента выражает осуждение всем американцам, которые находятся за пределами отечества и требуют для своего спасения корабли. Все означенные американцы должны любыми средствами приобрести, построить или конфисковать за границей корабли и немедленно направить их в Америку без лишних пассажиров — для спасения цвета нашей нации. Американцев за границей должно призвать к самопожертвованию, помня, что каждый может освободить место на корабле для спасения своего соотечественника и тем увековечить свое имя как герой. Президент помолится о них. Лицам неамериканского подданства спасение обеспечивают правительства по принадлежности».

Ч е р ч и л л ь. Хорошо!

К о н г р е с с м е н. Хорошо! Отлично!

Ч е р ч и л л ь. Не Америка нас, а мы все должны спасать Америку. Это мудро!

С е к е р в а. А то как же! У нас в Америке так! У нас мудро!

П о л и г н о й с. Слушай, Секерва. Хочешь быть героем?

С е к е р в а. А ты?

П о л и г н о й с. Я хочу... Пожертвуй собою, освободи место на корабле! Ты не бойся!

С е к е р в а. Ишь ты! А как пожертвовать?

П о л и г н о й с. Это не больно. Ты не бойся. Я тебе покажу. Это не страшно.

С е к е р в а. Поюжи!

Полигнойс и Секерва идут на край пропасти.

П о л и г н о й с. Я тебе покажу.

С е к е р в а. Поюжи. Ты не бойся. Зато польза будет отечеству, — как ты думаешь?

П о л и г н о й с. Польза будет отечеству.

Полигнойс бьет мощным ударом Секерву в спину; тот летит в пропасть.

Не страшно и полезно...

К о н г р е с с м е н. А где Секерва?

П о л и г н о й с. Пожертвовал собою, освободил одно место на корабле. (*Садится за радиоаппарат.*)

К о н г р е с с м е н. Отлично! Это отлично! Ура! Сообщите сейчас же об этом в Вашингтон. Скажите, чтобы Секерву этого наградили чем-нибудь и увековечили его, сообщите — у нас уже освободилось одно место на корабле. Вот уже я кое-что сделал!

М а р т а. Скажите, а на каком корабле у вас освободилось место? Я займу его!

К о н г р е с с м е н. Сударыня, чем задавать вопросы, жертвуйте лучше собою! Не будьте эгоисткой!

М а р т а. А я не американка, я эгоистка.

Ш о п. Тем лучше, тем выше ваш подвиг: швыряйтесь в пропасть, мадам. Не придут за нами корабли!

К о н г р е с с м е н. Правильно, профессор. Жертвуйте собою все, господа, всякая национальность может жертвовать собою. Кто еще желает пожертвовать собою? — тех я запишу в особый список. Записывайте, Полигнойс!

П о л и г н о й с. Открываю запись жертв в пользу Америки. Первый был Секерва, кто — второй?

Общее молчание. Пауза.

К о н г р е с с м е н. Никто... Сукины вы дети!

Б р а т (*он варит на костре суп в котелке, суп из башмака Черчилля*). А может, так, начальник, сделаем, — так оно еще лучше будет...

К о н г р е с с м е н. Как? Говори, старик!

Б р а т. А так! Ты первый кидаяешься в пропасть, — ты нам будешь в пример, — а мы все туда же за тобой. Кувырк — и нет задачи!

К о н г р е с с м е н. Кувырк — и ты дурак!

Б р а т. Ну? Иль правда?

К о н г р е с с м е н. Это глупая мысль старика. Как государственный человек, я должен сперва организовать всеобщее самопожертвование. А себя принести в жертву последним.

Б р а т. Вот тебе раз! Тогда-то к чему же? Тогда уж живи один как гад.

К о н г р е с с м е н. Глупый старик не понимает интересов Америки.

Б р а т. А она понимает: весь мир топит и себя самое. Эко дура, откуда такова?

К о н г р е с с м е н. Молчать, а то кувырк в пропасть головой!

М а р т а *(напевает и танцует)*.

Кувырком-кувырком
Темечком о камень.
Хорошо лежать ничком
В бездне под волнами.

Хорошо себя убить
И Америку любить;
Плохо, жить вот хочется,
Жить мне, сладко жить мне хочется!

К о н г р е с с м е н. Надо в пропасть броситься!

М а р т а *(механически повторяя)*. Надо — в пропасть броситься...

Ш о п. Песня хорошая, исполнение хуже, артистка толста. А где нам достать корабль? — миноносец, линкор, крейсер, дредноут, авиаматку, плот, плашкоут, шхуну, — что-нибудь! Вода, господа, подымается.

К о н г р е с с м е н. Корабль? Сейчас мы организуем корабль! Позвать ко мне турок! Мы их день и ночь заставим строить корабли...

Ч е р ч и л л ь. Турки? Им топор не по руке. Этот народ живет для отдыха.

К о н г р е с с м е н. А персы? Пусть персы работают...

Ч е р ч и л л ь. Еще курды есть... Это несерьезно, господа. В Шотландии наш король был посажен на бриг при поддержке артиллерийского огня с берега, но вскоре король был сброшен за борт. Вы слышали вчера сообщение. Вот что означает сейчас корабль... Есть один народ; он злодей, но он работник; может, он вам сделает корабль.

К о н г р е с с м е н. Кто? Где этот работник-злодей? Пусть работает сейчас же, мы ему за это простим кое-что. Кто это?

Ч е р ч и л л ь. Большевики. Прощать их не надо.

К о н г р е с с м е н. Не надо. А корабли пусть делают, мерзавцы.

Ч е р ч и л л ь. Конечно. Они же добра хотят человечеству. Пусть делают добро.

К о н г р е с с м е н. Пусть делают! А то мы бомбой по ним!

Ч е р ч и л л ь. Естественно.

Ш о п *(смотря в бинокль)*. А большевики пашут! — представьте себе, господа! Пашут по взгорью.

Ч е р ч и л л ь. Пашут? Во время всемирного потопа пашут? Удивительно, что я не могу понять их поведения. Неужели пашут?

Ш о п. Что поделаешь, пашут... Я вижу. Крестьянин сидит за рулем трактора и курит трубку.

Ч е р ч и л л ь. Курит трубку? *(Грызет пустую трубку.)* Пусть бы только пахал. Зачем же он еще курит?

Б р а т *(кладет в костер последнюю часть останков ковчега)*. Садись под дым. Подыши!

Черчилль садится на корточки за костром; брат раздувает костер; дым идет на Черчилля, тот усиленно вдыхает и выдыхает дым, засовывая его через свою пустую трубку.

А л и с о н *(являясь из-за горы с киноаппаратом)*. Господа, разрешите мне погибнуть последним. Мне нужно заснять самый последний момент жизни

человечества, последний взор последнего человека. Вы понимаете? Это великолепно, этому кадру цены нет! Можно?

Б р а т. Можно, это допускается. А кому ты продашь свой последний кадр?

А л и с о н. Да, — это вопрос!.. Может, большевикам?

К о н г р е с с м е н. Большевикам? Так значит, они уцелеют, болван?

А л и с о н. Не знаю. А пожалуй уцелеют! С ними это бывает.

М а р т а. Без них просто нельзя.

Б р а т. Без них куда же... (*Черчиллю.*) Поспел твой суп.

Ч е р ч и л л ь. Густой, наваристый, питательный, мясной, — да?

Б р а т. Сейчас попробую. (*Пробует суп на вкус.*) Хорошо! Бери, питайся, — не спеши, не обожгись...

Черчилль жадно питается.

Герцогиня Винчестерская. А нам? Уинстон, я слышу аромат мясного бульона... Правда ли это? Почему же нам давали пустую похлебку?

Ч е р ч и л л ь. А суп, ваше сиятельство, в Америке, вон там!

Герцогиня Винчестерская (*к Конгрессмену*). Послушайте, как вас? Подайте нам супу, или нет — лучше бульона!.. Только навару не снимайте, пусть он уж остается...

К о н г р е с с м е н. Старухи! Вам умирать пора. К богу обращайтесь, к архипастырям, к святым отцам, они здесь. Америка отдала им весь суп, весь навар и бульон, — на небо! Ступайте, ешьте!

Ч е р ч и л л ь (*наевшись*). Прекрасно, отлично!.. Еще несколько дней — и ни одного большевика не будет на свете! Итак, оправдался смысл моей жизни, брат Господень, — полностью оправдался!

Б р а т. Через несколько дней никого не будет... Так что же это значит? — Чтоб убить большевиков, нужно всех людей убить?

Ч е р ч и л л ь. О, да! О, да! Лучше у бога в могиле, чем на земле у большевиков. Понимаешь?

Б р а т. Не понимаю. Ты бы испробовал, потом говорил! Это ты накурился, наелся — и опять ошалел, озверел...

М а р т а. И я не понимаю... Ах, нет, — я теперь понимаю! Теперь понимаю!.. Большевиков захотели одних погубить, а погибает человечество. Они в середине жизни. Вот что такое!

Герцогиня Винчестерская (*к нунцию Клименту*). Архипастырь, это так или не так?

К л и м е н т. Гвак!

М а р т а (*на нунция*). Отойди прочь. Мне некогда! Радист, дайте Москву!

П о л и г н о й с. Кому Москву?

М а р т а. Мне!.. Зачем спрашиваете?

П о л и г н о й с. Простите... Что передать?

К о н г р е с с м е н. Ничего!

М а р т а (*радисту*). Приготовьтесь!

К о н г р е с с м е н. Не смей!.. Кому ты нужна там? Разве будет тебя слушать Москва? Ты подумай!

М а р т а. Будет!

К о н г р е с с м е н. Дурочка! Меня, федерального конгрессмена, государственного деятеля Соединенных Штатов, слушаются уже не все, — а тебя? Как ты сюда попала?

М а р т а. Не помню... Я иду! Я не хочу умирать, мое сердце полно силы, оно может чувствовать счастье...

К о н г р е с с м е н. Слушайся меня! Попала ты сюда просто за хорошее телосложение, мы подумали — это для Ноева ковчега кстати, и ты артистка, на вид не совсем дурна, а так ведь ты дурочка. Это хорошо, однако!

М а р т а. Это правда. Я дурочка. Мы все бедные, дурные и умираем от вас... Радист, пусть из Москвы пришлют мне корабль!

Ш о п. Ну и глупа!

М а р т а. Уже нет, не глупа!

Ш о п. Простите!

М а р т а. Прощаю... Мне пришлют корабль. В Москве любят кино, а я артистка, во мне есть талант. Если я не утону, я помогу им всю человеческую душу, я в одном образе сыграю целое умирающее человечество, чтобы его не забыли, — и большевики будут смотреть меня. А вам не дадут корабля! Кто вы такие? Конгрессмены, нунции, архипастыри, ученые мошенники, шпионы, политики, и все вы одно и то же — убийцы, теперь ясно! Ах, боже мой, зачем, зачем мы доверили вам жизнь?.. Большевики ничего вам не дадут, а нам дадут, мне и ей! *(Она берет за руку Еву, привлекает ее к себе.)* И ей дадут! А конгрессменов, политиков, нунциев из кого угодно можно сделать, вы — пустяки! — и шпионов можно. Я сама была шпионкой! Пишите, радист...

Полигнойс стучит ключом.

К о н г р е с с м е н. Стоп! Прекратить самовластие! Здесь я, а не вы! Ш о п. Здесь вы, шеф, конечно, вы! Но можно попробовать. Это не вполне глупо.

Ч е р ч и л л ь. Можно в виде опыта... Ничего не значит.

М а р т а. Глупцы! Я на борт вас возьму. Черт с вами! А то не стану звать Москву!.. Жить с вами еще в будущем — неохота!

К о н г р е с с м е н. Ступай, зови! Попробуем в виде опыта. А корабль я угоню в Америку. Ступай!

М а р т а. Сейчас!

К о н г р е с с м е н. Ну ступай. Иди, тебе говорят, к передатчику.

М а р т а. Ну я иду.

К о н г р е с с м е н. Ну иди! Ты иди бегом! Опять ты душой стала!

М а р т а. Опять... *(Полигнойсу.)* Пишите так. *(Бормочет Полигнойсу, тот стучит ключом.)*

П о л и г н о й с. И все?

М а р т а. Все. Подпишите: Ева и я, Марта.

П о л и г н о й с. Надо сказать, что вы знаменитая артистка.

М а р т а. Не надо. В Москве хвастаться ничем нельзя.

Нарастает вопящий звук летящего предмета. Все замирают. Затем все действуют соответственно своему характеру. Горгсвистит. Архипастыри падают на колени. Все стараются прижаться к земле, убежать, скрыться от опасности. Некоторые остаются в спокойствии: брат, Ева и другие.

К о н г р е с с м е н. Бомба!

К л и м е н т. Большевицкая!

Т е в н о. Большевицкая, атомная! Вот она! Вот она! На нас идет! *(Визжит — и ей вторит герцогиня Винчестерская.)*

Б р а т. *(глядит на небо.)* И где? Нету!

Шоп отталкивает Еву от Марты, обнимает Марту.

М а р т а *(борясь с Шопом)*. Что вам нужно? Идите прочь!

Ш о п. Мы умрем сейчас. Отдайтесь мне. Я не могу.

М а р т а. У меня нет ничего! Что вам отдавать?

Ш о п. О, дура!

М а р т а. Нас видят.

Ш о п. Не важно. Они все сейчас будут покойники.

М а р т а. Мы не успеем.

Ш о п. Успеем. Бомба еще летит. Пока она взорвется, пока волна ее нас достигнет, пока мы умрем, туда-сюда... Успеем!

Звук летящего предмета то словно приближается, то сразу удаляется, многократно отражаясь в горных пропастях.

М а р т а. Я боюсь!

Ш о п. Бойся! Только молчи!

Б р а т. Обождите! Опомнитесь!

Звук теперь явно и быстро удаляется в гулкой горной пропасти. Все прислушиваются в надежде, хотя испуг никого еще не оставил.

И брызги грязные откуда-то сверху летят!

Э т т. При атомном взрыве всегда дождь идет!
Б р а т. Молчи, специалист...

Звук замирает вдали. Тишина.

С е л и м (*голос его — сверху*). Эй, нижние! Кто там есть? Америка, ты там?

К о н г р е с с м е н. Америка здесь! А ты кто, — отвечай!

С е л и м. А мы турки. Мы здесь выше живем, тут суше будет. Потоп сначала вас утопит, Америку, а до нас не дойдет, пожалуй, мы выше, — как вы думаете?

Ч е р ч и л л ь (*забывшись*). Молчать, мерзавец! Открыть по ним артиллерийский огонь!

К о н г р е с с м е н (*также забывшись, командует*). Огонь!

Краткая пауза.

С е л и м. А огня нету, пожалуй! Ну вот, опять нету!.. Америка, слушай меня, Америка! У нас железная бадья сорвалась, отдай назад!

Б р а т. С чем твоя бадья была?

С е л и м. С чем была, того не отдавай. В ней хозяйственная, житейская жидкость была, нам ее не жалко.

Ч е р ч и л л ь (*Конгрессмену*). Америка! Твой спутник мочится на тебя! Орошает тебя помоями.

К о н г р е с с м е н. О, изменники! Эх, если бы не надо было нам утопать! Мы бы тогда показали всему этому миру, стервецу! Теперь нам ясно!

В это время из-за другого склона Араарата тихо и неожиданно подходит глубокий, однако быстрый на походку, привычный к ходьбе, старик.

Ты кто? Откуда явился?

А г а с ф е р. Агасфер.

К о н г р е с с м е н. Кто?

А г а с ф е р. Вечный жид, говорю тебе: Агасфер!

К о н г р е с с м е н. Это вот туда иди — к тому. Он заведует загадками природы и истории.

А г а с ф е р (*к Шопу*). Низом ходить сыро стало, земля замочла. А ноги старые, больные, ведь сколько лет земля меня держит... Мне бы сухих портянок в запас, шерстяных чулок можно, белья теплого, варежки, два свитера и еще что у вас есть.

Ш о п. А у тебя что есть?

А г а с ф е р. У меня список есть, что мне нужно. Я хочу...

Ш о п (*Конгрессмену*). Шеф! Нам Агасфер, вечный жид, нужен сейчас?

К о н г р е с с м е н. Это ваше дело. Годится он для славы Америки, можно из него что-нибудь сделать?

Ш о п. Не сейчас... Сейчас он едок, сейчас он шерстяное белье просит и все, что есть у нас... Курящий?

А г а с ф е р. Курящий.

Ш о п. Значит, и табак ему нужен.

Ч е р ч и л л ь. Мерзавец! Шпион! В пропасть его!

К о н г р е с с м е н. В пропасть его! Откуда он взялся среди потопа?

С е л и м (*голос его сверху*). Эй, Америка! Слушай меня, Америка! Отдай нам старичка! Мы его покормим чуть-чуть, а он нам сказки будет рассказывать. Нам сказки надо.

К о н г р е с с м е н. Бери его, бери его к черту отсюда скорее! (*Агасферу*) Ступай кверху, там тебе суше, теплее... Пошел вон, — в пропасть сброшу!.. Откуда берутся негодяи, когда ничего нету? Что?

А г а с ф е р. Я молчу.

К о н г р е с с м е н. Нет, ты говоришь, мерзавец!

А г а с ф е р. Я говорю: считай себя покойником! *(Уходит.)*

Раздаются позывные радиоприемника.

П о л и г н о й с *(у аппарата)*. Это Москва!.. Москва, господа!.. Телеграмма для Евы, для Марты Такс. *(Пауза. Полигнойс принимает телеграмму.)*

М а р т а *(в волнении)*. Боже мой, боже мой!.. Неужели жизнь прекрасна?

П о л и г н о й с. Сейчас увидим... Кажется, прекрасна! «Местным советским властям дано указание смонтировать у подножья Арарата для вас и ваших спутников корабль на сто пассажиров с запасом продовольствия. Желаю Еве и Марте долгой счастливой жизни. Сталин».

Всеобщее безмолвие. Все опустили глаза, словно великий стыд охватил всех.

М а р т а *(обняв одною рукою Еву, она стоит с нею на коленях на земле)*. Я уже счастлива. Я уже долго-долго прожила в эту минуту. На земле живет человек, которого можно любить бесконечной любовью; теперь я счастлива, потому что узнала его, а раньше я думала, таких людей нет, и погибала... Ах, Ева, услышь меня, что я говорю!

К о н г р е с с м е н *(Черчиллю)*. Вас я возьму конечно на борт. Еву эту и Марту мы возьмем временно, Америке они не нужны.

П о л и г н о й с. Как временно? Что значит, вы возьмете их временно?

К о н г р е с с м е н. Я им разрешу совершить подвиг самопожертвования, когда мы будем в океане. Корабли должны теперь приходить в Америку пустыми, — таков приказ правительства. Вы слышали?

П о л и г н о й с. Слышал. Но этот корабль советский, он для Евы и Марты...

К о н г р е с с м е н. Он советский, пока его нет. А потом он сразу будет американский, и еще с запасом продовольствия. Отлично!

П о л и г н о й с. Нет, он не американский! Он русский! Зачем ты из Америки, из моей родины, делаешь воровку, убийцу?..

К о н г р е с с м е н. Молчать, изменник!

П о л и г н о й с. Пусть теперь с тобой расправится мое сердце! Вы отняли у меня радость жизни, возьмите и мою ярость...

Он наносит сильный удар Конгрессмену. Тот припадает на мгновение к земле, подымается, сбрасывает пиджак, Полигнойс делает то же самое, начинается жестокая драка. В драке они двигаются, проходят по тропинке над пропастью, скрываются по ту сторону Арарата.

Ш о п *(вынимая из бумажника деньги, кладет их на землю под камень)*. Сто долларов на Полигнойса против шефа. Шеф будет на земле.

К л и м е н т. Сто, говорите? Гм, гвак! Двести за шефа против радиста.

Г е р ц о г и н я В и н ч е с т е р с к а я. Учтите пятьдесят моих за радиста!

Т е в н о. И я! И я! Десять за того, кто помоложе.

Ч е р ч и л л ь. Пятьсот! За нашего великолепного шефа!

Другие также держат пари, складывая деньги под камни. Шоп записывает ставки. Из-за той стороны горы показываются П о л и г н о й с и К о н г р е с с м е н. Они идут в драке по тропинке над пропастью. Конгрессмен хватается Полигнойса поперек туловища, приподымает его над пропастью с торжествующим лицом; Полигнойс обхватывает шею Конгрессмена, рвет его на себя — и оба летят в пропасть.

Ш о п. Господа! Выигравших нет. Возьмите свои ставки.

С е л и м *(голос его сверху)*. Кто же теперь у вас будет Америка?

Ш о п. Я очевидно. Очевидно я. А тебе что нужно, Селим?

С е л и м. Ничего не нужно, ничего... Две Америки у вас погибли. Одну мне жалко, другую нет. Жалко мне одну Америку, ах, как жалко! А другую нет, не жалко почему-то. Эх вы, железопрокат, Форд и компания, патефоны и зажигалки... Дедушка, брат Господень, иди к нам по делу.

Б р а т. Чего тебе. Сиди оттуда.

С е л и м. Иди, дедушка... Я тебе два хлебца дам. Покушайте хлеба, помяните души погибших.

Брат встает. Ева подает ему руку. Они медленно идут к Селиму вверх.

4-е ДЕЙСТВИЕ

Арапат. Та же обстановка, что и в предыдущих действиях; но есть и разница. Люди повеселели. Слышится непрерывная смешанная музыкальная мелодия от птичьих голосов, жужжания жуков, звука стрекоз, кузнечиков, стрекотания незримых насекомых. Все эти твари поднялись сюда, кверху, на сухое место, чтобы спастись от потопа, и здесь существуют, занимаясь жизненными обычными делами. Это создает праздничную обстановку. И люди выглядят теперь более счастливыми.

На сцене та же американская палатка. Но нет общего запустения, что в 3-м действии. Людей мало: они расселись по горе со всех ее сторон; по временам слышны их голоса.

Недалеке, чуть ниже под горою, слышно, как горят дрова в походной кухне и как жарится мясо на сковороде.

Изредка доносятся звуки автоматических молотков, шипенье газовой сварки — работа над монтажом большой металлической конструкции. К этим звукам более всего и прислушиваются действующие лица.

На сцене: С е л и м, две турчанки и Ш о п. Затем — другие.

На переднем плане нечто подобное ресторану на открытом воздухе: два-три столика под белыми скатертями, на столиках накрытые салфетками яства, у столиков работают Селим и его две помощницы-турчанки; они ставят кушанья.

Ш о п. Тише вы там гремите посудой!

С е л и м. А что, шеф? А почему нельзя греметь тарелкой, чашкой, ложкой? Ведь тут у нас пицца, яство, счастье, жизнь! Это прекрасно!

Ш о п. Пусть советская власть гремит и стучит, — ты слышишь?

С е л и м. О, я слышу, шеф! Я все слышу и все понимаю!.. Пусть стучит советская власть! Пусть большевики делают нам корабль. Ведь надо жить, а то потоп. Тонуть нам некогда.

Ш о п. *(прислушиваясь)*. Тонуть конечно нам некогда... А большевики стучат! Хорошо, превосходно! Пусть стучат!

С е л и м. А расчет со мной в два с четвертью раза! Меньше мне нельзя. Вы помните?

Ш о п. Мы помним.

С е л и м. Значит, так. Я вам один килограмм мяса, — один! — а вы мне два килограмма с четвертью, — два с четвертью! Я вам литр вина, а вы: Селим, получай два с четвертью литра! И за соль, и за сахар — мне в два с четвертью раза больше. Так или не так?

Ш о п. Так, Селим, так, мошенник.

С е л и м. Зачем мошенник? Жизнь — мошенство, я тоже. Мы тут жили на горе — худо, а сухо! А вы прилетели — вам надо всемирный потоп. А турка что может? — он Америке не ровня. Турка берет в два с четвертью раза больше за все, — а потом он еще нававит, он будет постепенно...

Ш о п. А мы потом взорвем атомную бомбу в потопе и сварим суп из турок.

С е л и м. Хорошо. Это будет потом. А кто мне теперь заплатит в два с четвертью раза больше? — такой вопрос!

Ш о п. Большевики, конечно. Из запасов на корабле.

С е л и м. Это я знаю. А где тут большевик, или — пусть — хозяин: кто платит, кто умный?

Ш о п. Хозяйки у нас две: Марта и Ева: Сталин им подарил корабль, а мы у них гости. И запасы продовольствия, которые погрузят на корабль, это их добро! С них и получай.

С е л и м. Ты не знаешь. Марта уже назначила главным капитаном на корабле Якова — брата Господня, у него и хлеб будет, и говядина, и консервы. Ты не знаешь.

Ш о п. Получай с брата.

С е л и м. Получу, получу, сполна получу! Старик — справедливый человек.

Ш о п. А ты с утопающих проценты берешь! Откуда ты взял эту цифру — в два с четвертью раза?

С е л и м. Как откуда?.. Ваш главный шеф, господин Конгрессмен, сказал, что наши турчанки в два с четвертью раза — как раз ровно так! — лучше и красивей американок!

Турчанки слышат и повизгивают от удовольствия.

Отсюда я и взял курс вашей валюты. Наша фондовая биржа вот где — в женщинах.

Являются Конгрессмен и с ним Сильвестр Чадо-Ек.

Конгрессмен (*Селиму*). Накормите его... И покруче, погуще ему что-нибудь: это наш солдат-космополит, бесстрашный солдат, новый человек всемирной американской нации.

Чадо-Ек. Керь-герь-герь! (*Подпрыгивает в судороге, а затем сразу усаживается за столиком — и ест и пьет с большой жадностью и скоростью.*)

Шоп. Шеф! А они стучат!

Конгрессмен (*прислушиваясь*). Стучат! Отлично! Пусть стучат! Вот скажут теперь в Вашингтоне: неглупый, скажут, наш Конгрессмен на Арарате. Эх, скажут, великий там существует старик: большевиков заставил корабли строить для спасения американцев!

Шоп. Это неглупо! Весьма и весьма неглупо! Может, и в самом деле вы старик великий!

Конгрессмен. Конечно, я старик великий! Это видно! Не спасти ли мне человечество от потопа?

Шоп. Охота вам! Нам и на корабле будет неплохо, а вода когда-нибудь сама высохнет.

Конгрессмен. Неверно говоришь, это мне в убыток! Тут дело, тут карьера! Упустить всемирный потоп мне нельзя, как бы он не просох, я что-то должен получить за него... Это так! Однако пусть меня запросит Вашингтон: как спасти человечество? А я отвечу. Это будет солидней!

Шоп. Это солидней, шеф.

Конгрессмен. Я тоже думаю: солидней.

Селим. А слушайте меня: где я буду, если буду?

Конгрессмен. Буфетчиком.

Селим. Подумаем, ответим позже... Угошайтесь, господа, — кушайте в долг! Пища моя, но большевики отвечают в два с четвертью раза. Турка согласен.

Шоп (*в счастливом настроении*). А там стучат! Вот-вот и корабль готов!

Конгрессмен. А там стучат! Большевики работают! Это отлично!

Шоп. Отлично! Они готовят нам жизнь.

Селим. Они дадут нам жизни! Факт будет!

Конгрессмен. Но ими надо руководить!

Все садятся и кушают.

Чадо-Ек. А сколько там большевиков — на сборке корабля?

Селим. Сорок шесть! Сорок шесть! Там два инженера-женщины, они собою хороши, как наши турчанки! Обратите внимание! Только не чешись, американец!

Чадо-Ек (*судорожно зачесавшись всем телом*). Сорок шесть! Это мне мало!

Селим. А для чего мало?

Чадо-Ек. Это пока не твое дело, турка!

Появляются Черчилль, герцогиня Винчестерская, Полигнойс, брат Господень, он в фуражке морского командира.

Герцогиня Винчестерская (*возбужденно — к Черчиллю*). Нам теперь надо обедать с утра и здесь же ужинать. Это естественно. Ведь потоп усиливается, вода может подмочить продукты, как вы не понимаете, как вы управляли страной!..

Черчилль (*ко всем*). Господа! Потоп усиливается. Прибыль воды увеличилась в пять раз. (*К брату.*) Капитан! Когда большевики соберут корабль?

Брат. Кто их знает? Через неделю, должно бы! Да они могут и скорее, у них все зависит от них же.

Конгрессмен (*брату*). Прикажите им свинтить, склепать, сколотить,

оснастить, запустить корабль немедленно — раз! Выдать пищу пассажирам вперед в сухом и твердом виде — два!

Б р а т. Это я сам соображу — как быть.

П о л и г н о й с. Я запрошу Москву.

Б р а т. Не нужно. Москва сама помнит... Вот идет хозяйка.

Являются Т е в н о, за нею М а р т а с Е в о й.

Т е в н о. Я говорю — пусть лучше они отдадут нам корабль! Мы поплывем на нем. Ведь он только немножко недостроен. Это ничего! И продукты в трюм положите. Смотрите не забудьте чего-нибудь от страха! Где мои вещи? Что за безобразие, жить нельзя стало!

М а р т а. Подайте ей кушать!

Т е в н о. Да, и кушать подайте, конечно! Вот сюда подайте, вот сюда.

М а р т а. Не волнуйтесь, господа! Большевики следят за потопом, нам корабль подадут вовремя! Кушайте и не сердитесь!

Б р а т (к Ч а д о-Е к у). А ты откуда явился и чужое ешь?

Ч а д о-Е к (снисходительно подавая документ). Вам это нужно? Вы верите в бумагу и печати?

Б р а т. Верю, когда она грамотная... Возьми. Кто ж ты таков, Чад-Ек номер 101?

Ч а д о-Е к. А ты кто?

Б р а т. Я брат Господень.

Ч а д о-Е к. Ага! Ясно! *(Вскакивает в конвульсии, содрогается и успокаивается.)* Значит, ты то же самое, что я. Брат Господень! Привет! Это хорошо: керь-герь-герь!.. А я спецчеловек Соединенных Штатов Америки, воин авангарда, космополит земного шара и новый человек будущего мира. Тебе понятно теперь? *(Изводится.)*

Б р а т. Понятно... Полигнойс!

П о л и г н о й с. Я вас слушаю, капитан!

Б р а т. Кто этот Чад-Ек? Может быть, это новое научное явление: ишь, его блохи грызут.

П о л и г н о й с. Не знаю, капитан. Мы спросим у профессора.

Ш о п. Этот? А это солдат-блоха. Он полон блох. На нем специальная герметическая одежда, и блохи вылезти оттуда не могут. А блохи заражены новой смертной болезнью... быстрой смертью.

Ч а д о-Е к. Так-так, именно так! А дальше не знаешь?

Ш о п. Не помню. Сейчас много в Америке таких изобретений.

Ч а д о-Е к. Я откармливаю своей кровью насекомых двадцать четыре дня, сегодня прошло двадцать три. А потом иду в район противника, отмыкаю одежду, пускаю насекомых на волю, одежду закапываю в землю, а сам домой. Врагу смерть, мне награда.

Б р а т. А тебя самого блоха не трогает?

Ч а д о-Е к. Трогает. Вот сейчас она жрет меня. *(Изводится и стонет.)* Но я терплю, я герой. Так надо, блоха растет и размножается. А умереть я не могу от блохи, у меня есть прививка.

Б р а т. Вот ты кто!

Ч а д о-Е к. Я спецчеловек. Все будут такие!

Б р а т. А сам ты американец?

Ч а д о-Е к. Нет. Отец из Сирии, мать — неизвестно. *(Он снова изводится; однако все время алчно ест; турчанки меняют ему блюда.)*

Б р а т. Не хватит тебе жевать?

Ч а д о-Е к. А блох кормить чем?.. Однако надо пойти повоевать. Дайте мне проводника в район противника. *(К брату.)* Пойдем со мной, старик! Это интересно. Были большевики — и вдруг не будет! Керь-герь-герь!

Ч е р ч и л л ь (жуя). Разумно! Идите, Чад!

Б р а т. Нельзя! Большевики нам строят корабль, они кормят нас. Куда нам деваться без них?

Ч а д о-Е к. Старик — идиот. Три зла, три удара сильнее одного! Или ты изменник, — так я тебя блохе отдам! *(Изводится.)*

П о л и г н о й с (*в размышлении, про себя*). Неужели, чтобы быть человеком, надо быть убийцей?

Б р а т (*к Марте*). Хозяйка! Чадо-Ек — американский спецсолдат. У него приказ — убивать большевиков блохою.

М а р т а. Разве?.. А вы кто здесь?

Б р а т. Я кто? Я здесь капитан корабля, я комендант Арарата...

М а р т а. Я вас смещу с должности, капитан!

Б р а т. Действовать, что ли?

М а р т а. А то как же! Нельзя кушать даром большевистский хлеб.

Чадо-Ек быстро собирает продукты в дорогу, укладывая их в вещевой мешок. Брат подходит к нему, подобрав по дороге добрый камень.
Марта и Ева садятся кушать.

Б р а т. Подыми руки вверх!

Ч а д о - Е к (*соображая*). Что ты? Я занят!

Быстро шарит по своей одежде, ища оружие, выхватывает маленький пистолет. Однако рука его с пистолетом уже находится в руке брата, и брат подымает ее вверх; другую руку, в которой камень, брат заносит над головой Чадо. Брат скручивает руку Чадо, пистолет его падает на землю. Брат бросает свой камень и свободной рукой вздергивает над головой Чадо-Ека и другую его руку.

Б р а т. Ты арестован!

Ч а д о - Е к. А ты убит! Я блоху выпущу!

Б р а т. Селим, Полигнойс, Шоп... вяжите его! Вяжите его втугую, чтоб он не чесался.

Селим, Полигнойс, Шоп, герцогиня Винчестерская и сам брат скручивают Чадо ремнями, которые подали им турчанки из инвентаря ресторана.

«...УВЛЕКАЯ В ДАЛЬНЮЮ АМЕРИКУ»

...ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.

Быт. 4, 12.

Ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег,

И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого.

Мф. 24, 38—39.

Горе им, потому что идут путем Каиновым...

Иуд. 1, 11.

1

Над «Ноевым ковчегом» Платонов работал в последний год своей жизни.

Сейчас он внимательно всматривался в будущее мира, ради которого он и его сверстники и друзья годами шли против смерти; он ревниво следит, чтобы разбитые огнем враги, охладевшие сердца его павших товарищей оставили после себя на земле тепло счастья и свободы¹.

Это — из черновиков повести «Молодой офицер» 1946 года.

«Как из зла в человеке сделать добро?» — над этим вечным вопросом размышляют в 1946 году герои чудно-страшной сказки «Добрый Тит»:

¹ ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 76, л. 110.

Агафон и Тит заблудились и попали в темный лес — в страну разрушенных предметов и враждебных душ. Этот мир, знаменующий собою, если понимать обобщенно, всю землю после войны, населен страшными существами².

«Вся земля после войны» перенасыщена в платоновском художественном мире знаками нового Чевенгура. Это и сироты окончившейся войны в рассказе «Семья Иванова», незабвенный Петрушка, в образе которого проступают черты Прошки Дванова с его недетским рационализмом. «Клеветнический рассказ А. Платонова» (В. Ермилов), «лживый грязноватый рассказ», автор которого «не видит и не желает видеть лица советского человека» (А. Фадеев), — такова была реакция официальной литературной общественности в 1947 году. Знаки Чевенгура — и в страшной засухе и голоде 1946 года. Платонов вспомнит в эти годы мелиоративный опыт своей юности, времени борьбы с поволжским голодом, — написанная им статья «Страхование урожая от недорода» будет отклонена в 1946 году — «Новым миром», в 1948 — «Литературной газетой». Взрыв американцами в августе 1945 года атомной бомбы над Хиросимой воскресит эсхатологические сюжеты его фантастики 20-х годов, в которой уже описано, как колеблется ось мира, сорванного с привычной орбиты страстными усилиями героев-ученых. В 1946 году Платонов создает пьесу о советских физиках — «Настоящее и будущее»³.

И все послевоенные годы — Пушкин. Пушкин как «образ высшего творческого деятеля», как «образ художника, творящего душу народа», как «деятель, благодаря усилиям которого в значительной степени сложились внутренние качества, так называемая конструкция русского народа, определившая его внутреннюю судьбу». Пушкин как «образ таланта», этой «формы любви к миру, преобразующей его», Пушкин как символ «духа народа», отвечающего на все гонения — «нарастающей мощью поэтической образности»⁴...

Сегодня мы можем обозначить лишь контуры творческого поиска Платонова последних лет жизни. Возможно, он и отступил на время от плана всемирной истории — «будущего мира», в которое всматривается автобиографический герой повести «Молодой офицер». Тревожный лик будущего присутствует в сказках 1948 — 1949 годов, живет в напряженном, трепетном и удивительно светлом мире рассказов для детей, в открытках из больницы для маленькой дочки Маши. Чевенгурское время — «время, как путешествие Прошки от матери в чужие города», «это движение горя» — постоянно всплывает в его записях 1950 года.

В начальной жизни человека бывает краткое время, когда его детскому сознанию словно впервые открывается внешний мир — во всей его действительности, резкости и несхожести с тобой, во всем, чем он подобен тебе и чем отличен от тебя, во всей его тайне и прелести. Это краткое время можно назвать духовным рождением, или временем, с которого начинается воспитание и образование человека, когда закладывается основание его будущей деятельной жизни, его гражданской судьбы. Такое первоначальное ознакомление с реальным миром, не загороженным любовью матери, обычно навсегда, до конца жизни запечатлевается в памяти человека. Чем далее отдалится во времени этот момент, тем более он представляется человеку как день радости и торжества, но это лишь тушующее, смягчающее влияние времени. На самом деле — это дни труда и напряжения для юного существа, хотя, несомненно, в этих днях, когда мир впервые приобретает ясный образ и нарекается именем, есть торжественная радость, остающаяся на всю жизнь⁵.

Эти строки написаны в первые месяцы 1950 года. В это время он сделает и первые записи к «Ноеву ковчегу». Первый нумерованный лист в папке с рукописью пьесы:

Д<ействие> пьесы

Эпоха воинов прошла, наступило время шпионов

Сделайте ветхость допотопную, буквально, т. е. эпох<и> Ноя [нрзб]

² Там же, ед. хр. 97

³ Там же, ед. хр. 98.

⁴ Там же, ед. хр. 28; см.: «Неизвестные записи А. Платонова о Пушкине» («Литературная Россия», 17.11.89).

⁵ Там же, ед. хр. 107, лл. 1 — 2. Рецензия на повесть С. Георгиевской «Бабушкино детство» (1949).

Другая сторона мошенничества — идиотизм; обязательно

Ноев ковчег

Эдмон Стивенсон — ученый-мошенник (открыв<ает> и закр<ывает>, что удобно)

Шоп Эдмон

Алисон — кинооператор, идиот

Секерва Иезекииль — разведчик

Фарч Теодор — ученый-дурак, циник, жизнелюб, [нрзб]

Ева Осская — секретарь экспедиции

Полигнойс Генри — инженер-геолог (?)

Ной

Бог-отец

Адам

Ева

Брат Господень Иаков

(А был такой? — да кажется был, — черт его знает! Только порочного зачатия)

Папа римский

Иуда? — [вычеркнуто. — Н. К.]

Веч<ный> жид

Рукопись пьесы состоит из 159 страниц: 21 развернутого листа, двух школьных тетрадей (I, II) и двух самодельных (III, IV), сшитых из машинописных листов, — возможно, так писателю, уже прикованному к постели, было легче писать.

Список действующих лиц уточняется и в рукописи. Исчезает фамилия ученого — Стивенсон, напоминающая героя европейца, что прибыл в Россию в год «великого перелома» (пьеса «Шарманка», 1930). Американский статус героя возникает не сразу: слово «американской» вписывается сверху, а Ева, первоначально племянница ученого, теряет родство с ним и превращается сначала в немую, а затем в глухонемую. Первоначально седьмой персонаж — «Иуда, бывший апостол Христа» — заменяется на Агасфера; восьмой персонаж — папа римский — на нунция папы римского. Рядом с Чарли Чаплином Платонов сбоку записывает возможное «слово» этого героя: «Я ничего не делаю: ищу прообраз великого человека вместо маленького, маленький умер или убит».

Первые страницы рукописи отмечены уточнениями американской темы. Запись на полях: «Хулиганство ам<ерикан>цев, поведение в мире как в трактире». Первые слова Шопы (по поводу убитого им скорпиона): «Хорошо! Первая жертва американской агрессии на древней горе Арарат». Фраза вычеркнута здесь же.

Еще сокровенный человек Фома Пухов, прошедший по дорогам гражданской войны, придет в 1927 году к мысли, что появилась особая порода людей — «идейных людей»: «...езде шляются — новую войну ищут». Это зоркое наблюдение Пухова осветит всю работу писателя над коллективным портретом «идейных людей» нового времени. Здесь особых затруднений в рукописи не отмечено. В черновиках Платонов оставит лишь некоторые штрихи к этим персонажам, носящие однозначную оценку:

Агнесса Тевно, международная старуха, представляющая культуру и совесть (л. 38) — последняя часть фразы вычеркнута.

Черчильль. <...> Я знаю, как это делать. Радость моего сердца — ненависть. Нет лучшей жизни как их смерть, их горе, их кровь, последний возглас их потомков (л. 63).

«Хоровод», — записывает Платонов на полях страницы, посвященной диалогам Черчилля и Гамсуна о новом императоре всего земного шара и о новом — мировом — очаге, диалогам, удивительным образом воскрешающим замысел великого инквизитора Прошки Дванова о царстве «интернациональных пролетариев», «классе первого сорта», который легко вести вперед, в светлое будущее, ибо «они не русские, не армяне, не татары, а — никто!..». В традиции этого «замысла» создается и своеобразный замятинско-оружеловско-платоновский новый герой — Чад-Ек № 101: «Это наш новый человек, солдат-космополит, бесстрашный солдат всемирной американской нации» (л. 144). Как своеобразный метагерой этого «хоровода» идеологов новой генерации предстает Агасфер. В черновиках остались некоторые его реплики.

Агасфер. <...> без малого две тысячи лет живы, сколько лет земля меня держит <...> Я хочу получить по плану Маршалла (л. 126).

В отличие от этих персонажей — всех веков и всех народов, которых можно назвать «окаянно отступившими от матери» («Чевенгур») мучителями Евы, — работа над маленькими людьми, занесенными властью государств на Арарат, шла труднее. И все-таки Платонов нашел их, так же как нашел маленького человека в обезумевшем от коммунистической идеологии мире русской провинции («Чевенгур»), в разрушенном западноевропейском мире («Мусорный ветер»), в утрюмом восточном мире царства Аримана («Джан»). В обстановке греха людского, распущенности, политической оглашенности Платонов находит для темы маленького человека его евангельские прообразы — Еву и брата Господня, светлых и чистых персонажей, которые милы и добродетельны абсолютно ко всем: «святые люди», «убогая», «простой человек» и т. д. На протяжении всей рукописи он делал пометки к образу Евы, приближая героиню к ее библейскому прообразу прародительницы рода человеческого («Ева — жизнь»):

Ева говорила во сне (л. 5)

Ева нужна (л. 9)

Еве скучно (л. 15)

Ева видит невидимое (л. 33).

В первоначальном списке действующих лиц уже зафиксировано — через диалог, — что Платонов будет вводить брата Господня в неведомой версии. Ее он дважды воспроизводит на полях рукописи.

Среди записей Платонова 40-х годов есть такая:

Христос как образ, созданный из чистого очарования — без новаторства, без теории, без чудес... Для художника великий клад⁶.

Чевенгурские метаморфозы проступают в эскизах «простых» американцев. Так, смущенный откровенной ложью Шопа радист Полигнойс задает следующий вопрос:

Зачем я работаю? Что я делаю? Неужели я такое ничто? (л. 18).

Платонов убирает последнюю фразу и выправляет монолог в диалог:

П о л и г н о й с. <...> Что я такое?

Ш о п. <...> Ничто.

В черновиках остались и многие прозрения актрисы Марты, бунт которой удивительным образом напоминает бунт русской Суениты — бунт женщины против власти и диктата идеологии: после слов «старый вы тюлень», адресованных Черчиллю (3-е действие), вычеркиваются следующие реплики:

Всю жизнь вы разводили смерть на земле.

Ведь вы даже при смерти думаете, что вы правы.

А принцип свой при себе храните.

Все остальные люди дураки, а принцип свой при себе держите.

А весь принцип ваш — смерть людям.

Сам уже под водой, а принцип у него за пазухой.

Вы думаете — один вы умный, а все дураки, и этот принцип при себе держите. А весь этот принцип ваш — смерть людям — вот что! (л. 84 — 85).

В черновой рукописи сохранились и первые наброски песни Марты:

*Хорошо себя убить,
Чтоб Америка жила.
Пусть Америка живет.*

Мертвым мать — земля.

⁶ Архив М. А. Платоновой. Записные книжки.

*Гамлет думал: быть — не быть,
Свободной жизнь была.*

*Плохо, жить вот хочется.
Надо — в пропасть броситься.*

Жить мне, жить мне хочется (л. 107).

Не сразу нашел Платонов образ для современной России. Первоначально радист Полигнойс распознает голос Москвы, когда слышит знаменитую песню М. Исаковского.

Полигнойс. <...>Я расслышал их. Гармонисты [играют — нрзб] песенку «Одинокая гармонь» (л. 74)⁷.

Однако этот почти символический «одинокий голос человека» из России убирается и заменяется текстом, в котором узнаются не только современные для тогдашней советской России политические лозунги, но и пророчества Платонова 30-х годов — о природе и власти техники над живым ее телом («О первой социалистической трагедии»).

Рад и о. Американские империалисты задумали запутать, деморализовать прогрессивное человечество массовым взрывом своих атомных бомб устаревшего образца. Они хотели заранее подорвать дух свободных людей, сокрушить их волю к сопротивлению, чтобы тем легче военным нападением уничтожить их, пойти на них войною. Но вышло иначе. Природа и история устроены по законам, не соответствующим целям империализма (л. 81).

Этот текст остается в черновой части рукописи.

Работа над 4-м действием шла тяжело. Исчезает привычная твердость платоновского почерка, пишутся и вымарываются целые страницы. Несколько раз он помечает на полях, что необходимо вернуться к финалу 3-го действия: «согласовать» смерть Конгрессмена и Полигнойса в финале 3-го действия и их «возвращение» — в 4-м. Однако Платонов уже не сможет этого сделать, как не успеет ввести в действие комедии заявленных «героев»: Чаплина, Эйнштейна, Шоу — и упорядочить список действующих лиц. Рукопись обрывается на странице 159. Лист, на котором Платонов записывает — 160, остался чистым...

В 70-е годы Мария Александровна говорила, что в последние месяцы жизни, работая над «Ноевым ковчегом», Андрей Платонович просил читать ему Библию и «Бесов» Достоевского. У его постели всегда лежали и газеты. Календарь событий первых послевоенных лет узнаваем в коллизиях пьесы, жестах и словах ее персонажей. Вот лишь некоторые из событий, зафиксированных советской периодикой и самым невероятным образом преображенных в пьесе.

5 марта 1946 года — речь Черчилля в Фултоне: «Если Россия не будет вести себя соответствующим образом, то она будет разрушена» («Новое время», 1945, № 8,

⁷ Ср. у А. Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ»:

«И вот однажды было объявлено:

— «Женушка-жена!» Музыка Мокроусова, слова Исаковского. Исполняет Женя Никишин в сопровождении гитары.

От гитары потекла простая печальная мелодия. А Женя перед большим залом запел интимно, выказывая еще недочерствленную, недовыхоложенную нашу теплоту:

Женушка-жена,
Только ты одна,
Только ты одна в душе моей!
Только ты одна!

Померк длинный бездарный лозунг над сценой о производственном плане. В сизовой мгле зала пригласи годы лагеря — долгие прожитые, долгие оставшиеся. Только ты одна! Не мнимая вина перед властью, не счесть с ней. И не волчьи наши заботы... Только ты одна!

Милая моя,
Где бы ни был я, —
Всех ты мне дороже и родней.

Песня была о нескончаемой разлуке. О безвестности. О потерянности. <...>

И мне, подпольному поэту, отозвалось чутье: я не понял тогда, что со сцены звучат стихи еще одного подпольного поэта (да сколько ж их?!), но более гибкого, чем я, более приспособленного к гласности» (часть 5, гл. 5).

стр. 20). 14 марта «Правда» печатает интервью Сталина, в котором речь Черчилля в США (в присутствии президента Трумэна) названа призывом к войне.

В июне 1947 года госсекретарь США Маршалл объявил о плане экономической помощи странам Европы. 12 — 13 июля в Париже проходит конференция по «плану Маршалла», на которой обсуждается «программа реконструкции Европы». 14 мая 1948 года — в соответствии с решением ООН — было провозглашено создание государства Израиль.

23 апреля 1949 года — народно-освободительная армия Китая занимает основные провинции страны; бегство Чанкайши на Тайвань. 3 октября 1949 года в Чикаго открылась американская профсоюзная конференция в защиту мира. С требованием «прекращения холодной войны против Советского Союза» выступил видный деятель негритянского движения Поль Робсон. «Делегат Питтсбургского отделения профсоюза рабочих электро- и радиопромышленности Том Фитцпатрик заявил, что Трумэн и его правительство предали интересы американского народа. Вместо обещанного Трумэном «нового курса» и мирного сотрудничества, сказал Фитцпатрик, американское правительство приняло «доктрину Трумэна», провозгласило «план Маршалла», заключило Северо-Атлантический договор, вооружает и готовит Западную Европу к войне» («Правда», 4.10.49). 30 ноября 1949 года — визит личного посланника Чанкайши в США, «заключение секретного соглашения между правительством США и гоминдановцами» («Известия», 5.1.50). Январь — февраль 1950 года: празднование тридцатилетия советской кинематографии; в газетах постоянно цитируется сталинское приветствие советским кинематографистам (1935), свидетельствующее о внимании партии, советской власти и «лично товарища Сталина» к кинематографу. Напомним, что в декабре праздновалось семидесятилетие Сталина и газеты были заполнены поздравительными приветствиями вождю. В 1949—1950 годах газеты густо сообщают о судебных процессах: в США — над руководителями компартии; в Будапеште — над «агентами американской и английской разведок»; в Болгарии — над «группой разоблаченных американских шпионов», в Париже... И еще — постоянные разоблачения современного мальтузианства. В «Известиях» от 20 января 1950 года читаем, что Берч, директор Бюро по изучению вопросов народонаселения (США), «требует сокращения населения Европы и расселения его в соответствии с потребностями американского генерального штаба. Еще год назад Берч требовал стерилизации населения маршаллизованных стран. Теперь в научно-популярном журнале «Сайенс ньюнс леттер» он занялся перенаселением Британских островов. <...> «хлестаковская легкость» решения судьбы целых народов».

По вопросам международной политики на страницах газет постоянно выступали И. Эренбург, А. Фадеев, К. Симонов, А. Сурков, С. Михалков, Б. Лавренев и другие.

О чем думал писатель-фронтник Андрей Платонов, что слышал он в этом яростном шуме времени, мы не знаем. В 1943 году в рассказе «Взыскание погибших» красноармеец произнесет перед умершей чужой матерью тихие слова: «Сейчас нам некогда горевать по тебе, надо сперва врага победить, а потом весь мир должен в разуменье войти, иначе нельзя будет, иначе — все ни к чему».

Мир не входил в разумение «нужды матери, рождающей и хоронящей своих детей и умирающей от разлуки с ними». Пространство вселенной все более приобретало у Платонова черты теперь уже мирового Чевенгура, который обрел и свою всечеловеческую генеалогию — «Кайново отродье». Апокалиптическая тема связала все миры — Восток, Запад, Россию, Америку — в какое-то единство, где мир с печатой Каинова греха предстал на грани уничтожения и исчезновения. С этим предчувствием Платонов уходил из жизни, зажигая в последних крохотных рассказах для детей свет очага, свет России в мире, все более погружающемся во тьму.

Через две недели после смерти Платонова «Ноев ковчег» поступит в редакцию журнала «Новый мир». «Всерьез говорить об этой вещи, по-моему, нельзя, как бы ее ни рассматривать» — это оценка К. Симонова. В пространном письме на имя Твардовского рецензент пьесы критик А. Тарасенков писал:

«А. Твардовскому. Александр Грифонович!

Я прочел пьесу А. Платонова «Ноев ковчег». Ничего более странного и большого я, признаться, не читал за всю свою жизнь. Не сомневаюсь, что эта пьеса есть продукт полного распада сознания.

Вот ее сюжет вкратце: на горе Арарат американцы делают вид, что нашли остатки Ноева ковчега. Вслед за этим на Арарате созывается антисоветский религиозный конгресс, на который прибывают Черчилль, Гамсун, папский нунций, шпионы, кинозвезда из Голливуда и другие лица. Их разговоры — пьяная шизофрения. Действуют также глухонемая Ева, брат Иисуса Христа и другие. Внезапно радио приносит сообщение, что США бросили запас атомных бомб в Атлантику, треснула земная кора и начался всемирный потоп. С горы Арарат киноактриса шлет телеграмму Сталину с просьбой спасти ее и кстати всех остальных Черчиллей, Гамсунов и проч.

Сталин отвечает приветственной телеграммой и шлет корабль спасать участников антисоветского конгресса. Дальше изложить содержание уже совсем невозможно: пьеса обрывается.

Видно, у Платонова был какой-то антиамериканский замысел. Он получил чудовищную деформацию, надо полагать, вследствие тяжелой болезни автора. Диалоги бессвязны, алогичны, дики, поступки героев невероятны. То, что говорится в пьесе о товарище Сталине, — кощунственно, нелепо и оскорбительно.

Никакой речи о возможности печатать пьесу не может быть.

Представить интерес она может только с научно-медицинской точки зрения.
3/II-51. С приветом Ан. Тарасенков»⁸.

Сложилась на первый взгляд парадоксальная ситуация. В это время — это годы холодной войны — антиамериканская тема имела зеленый свет в советской литературе и широко поддерживалась официальной идеологией. Почему же такая реакция на «Ноев ковчег»? Логика отзыва Тарасенкова отчасти может пояснить сюжет судьбы рассказа «Мусорный ветер» и реакция на него М. Горького в 1934 году. За антифашистской тематикой рассказа, также легализованной в советской литературе, Горький справедливо увидел в «Мусорном ветре» его далеко не официозное содержание. Рассказ «ошеломил» Горького своими прозрениями о судьбах Европы и о судьбах России XX века. Удивительным образом, но прозрения автора «Мусорного ветра» и «Ноева ковчега» оцениваются одним словесным рядом. У Горького — «ирреальность содержания рассказа, а содержание граничит с мрачным бредом». У Тарасенкова: «Ничего более странного и больного я, признаться, не читал за всю свою жизнь. Не сомневаюсь, что эта пьеса есть продукт полного распада сознания».

О финальной точке в судьбах произведений с «мрачным бредом» мы знаем: в 30-е годы отклоняется «Мусорный ветер», в 50-е — «Ноев ковчег». Между ними — семнадцать лет.

Платоновскую Америку нам еще придется открывать и постигать, так же как его Европу и Россию. Для суждения об этой теме у нас слишком мало материала. По восстановленным на сегодняшний день архивным источникам попытаемся обозначить лишь некоторые узлы открытой Платоновым Америки, наметить те реальные линии поиска Платонова — мыслителя и художника, которые тянутся к «Ноеву ковчегу» и могут откорректировать наши суждения о последнем, незавершенном произведении писателя.

2

В 1938 году Платонов опубликовал статью о Хемингуэе. Как это случилось с ним не раз, оставаясь в рамках официальной антиимпериалистической терминологии, он говорит по существу о себе. Он пишет о романах «Прощай, оружие!», «Иметь и не иметь», а кажется, что думает о «Котловане», о «Мусорном ветре», о «Джан», до публикации которых оставались десятилетия...

«Империализм подавляет и заражает не только людей, но и саму землю и траву, на которой живет человек. Идиллической хижины сейчас не может быть в мире — ее место потребовалось для аэродрома, и хижину снесли. <...> Для фашистского империализма нужен обязательно весь мир — до крайней глубины человеческой души, до последнего убежища в горной пещере и до последней сосны, которая пойдет на переработку во взрывчатое вещество, и этим веществом будет взорвана и земля, где сосна росла, и убежище с притаившимся в ней «чужим», «одиноким» человеком, поскольку он не желает присоединиться к фашизму». И на американской земле этот «одиноким человек» видится Платонову «сокровенным человеком», маленьким «прочим»: «<...> за грубыми словами и поступками, за беспощадными действиями героев Лондона и Хемингуэя таится человеческая, добрая, даже грустная душа, и мы можем видеть, как солдат, циник, бабник и пьяница, плачет над трупом своей женщины более неутешно, чем любой порядочный джентльмен-однолюб».

Можно сказать, что вся статья о Хемингуэе — это своеобразная шифрограмма к запрещенной теме Европы и Америки в творчестве Платонова. Теме, восходящей к раннему периоду творчества писателя. Теме, входящей, можно сказать, в самое ядро историософского и культурологического поиска Платонова. В 1923 году в «Рассказе о многих интересных вещах» возникает Америка как та страна, в которой Ивану Копчикову якобы суждено открыть тайну электричества, тайну материи мира. Самой Америки в рассказе нет, есть только путь к ней героя, претендующего на роль человекобога в мире. Этапы этого пути даны почти эмблематически: сиротство

⁸ ЦГАЛИ, ф. 1702, оп. 4, ед. хр. 853, л. 1. Здесь же с 1953 года находится машинопись пьесы.

(«— Кто его отец? — Глашка отвечала: — Не знаю. Нету отца»), юношеские «затеи» Ивана, мечта о новой нации («Надо другую нацию родить, — сказал Иван, — какой не было на свете. Старая нация не нужна»), коммуна — «большевицкая нация», встреча с «душой мира» — Каспийской невестой, посещение «мастерской прочной плоти», где трудятся «как звери» бессмертные люди, встреча с «сумрачным человеком», открывающим Ивану тайну мира как атомной пыли, «пыли трущихся и разрушающихся атомов», преодоление силы земного тяготения и выход в космос, посещение «вышних» стран — «чтобы найти там неведомые мощные силы и ими изменить родину — Землю». Финал рассказа знаменует последний этап на пути Ивана в Америку: «Человек остановился, а солнце вдруг потухло. И далеко на небе что-то зарычало, расступилось и ухнуло в голосистой последней тоске. Стал быть мрак».

Своеобразно заземляет Иванов путь в Америку следующий — новый — документ 1923 года: 21 июня председатель Воронежской губернской комиссии по гидрофикации и электрификации сельского хозяйства при губземуправлении Андрей Платонов обращался с письмом в Центральное бюро технической помощи советской России — «осуществить в Америке сбор пожертвованных или механического и электрического оборудования для нашей станции, предварительные работы по которой (изыскания, составление проекта и пр.) уже закончены. Нам необходимы: турбина (желательно Френсиса), генератор, трансформатор, провода, изоляторы, лампочки и пр.»⁹. В помощи Платонову откажут. Этот адресат фиксирует для нас достаточно обширную тему: Платонов и Центральное бюро технической помощи советской России, созданное в Америке русскими эмигрантами, а также Центральный институт труда. В 1923 году ЦИТ возглавил А. Гастев, соратник Платонова по Пролеткульту. Одним из магистральных направлений, над которым работал институт, была американская система управления хозяйством, механизация труда, фордовский экономическо-хозяйственный эксперимент. К Форду мы вернемся чуть ниже.

1923 годом датируются еще две любопытные работы Платонова, обнаруженные в его архиве. Первая — лирико-философское эссе «Невозможное», о новых людях, адептах идеи электромагнитного происхождения мира. Гимн науке, открывшей бесконечность, тайну вселенной — «вся бесконечность... есть свет, есть сфера электромагнитных соотношений», — обретает в «Невозможном» и свой культурный архетип: «Печальный и ласковый странник — Агасфер прошел и показал дорогу, ничего не показывая и не говоря. Мы должны увидеть мир его мутными тоскующими глазами»¹⁰. Еще в 1920 году в статье «Культура пролетариата» Платонов заметил по поводу романтического бесстрашия Агасферов науки: «Недавно я прочитал старую книжку одного ученого-физика, где он почти с уверенностью говорит, что сущность природы — электрическая энергия. Я совсем неученый человек, но тоже думал, как умел, над природой и такие абсолютные выводы ненавидел всегда. Я знаю, как они легко даются, и еще знаю, как природа невообразимо сложна, и верхом на истину человеку еще рано садиться, он этого не заработал, а скупа природа на оплату труда, нет хозяина».

Среди записей писателя 1926 года мы находим следующие:

Бог есть и Бога нету:

Он рассеялся в людях, потому что он Бог и исчез в них, и нельзя быть, чтобы его не было, и он не может быть вечно в рассеянности, в людях, вне себя;

*Мир есть тайна, всегда — тайна. Очевидных истин нет!*¹¹.

Вторая работа Платонова 1923 года, также оставшаяся в его архиве, — «Симфония сознания»; она посвящена книге О. Шпенглера «Закат Европы». В домашнем архиве писателя сохранилась также часть книги О. Шпенглера «Пессимизм» (1922) с пометами Платонова. В предисловии профессора Г. Генкеля Платонов подчеркивает тезисы Шпенглера о будущем духовной культуры современной Европы («самоистребление благодаря интеллектуальной утонченности»), о взаимосвязи фаустианско-ницшеанского индивидуализма и социализма, о социализме как форме упадочного завершения западной цивилизации, об экстенсивном характере социализма и капитализма, «империалистическом характере» целей этих разных систем.

В «Закате Европы» внимание Платонова привлекает шпенглеровская «морфология истории», логика его аргументации по поводу неизбежного кризиса и гибели любой культуры, в том числе и европейской:

⁹ Сообщено М. Немцовым.

¹⁰ Архив М. А. Платоновой.

¹¹ Там же.

Сейчас по Западной Европе курсирует ослепительная книга Освальда Шпенглера о закате Европы, о падении и смерти европейской культуры. Шпенглера там обожают и клянут, но и кто клянет, тайно любит его. Я где-то читал, что искусство есть мать любви, а Шпенглер — источник мощного искусства мысли. Шпенглер — универсальный мыслитель Европы, он свободен и радостно, не запинаясь и не сомневаясь, играет на современной чудовищно сложной клавиатуре культуры. Математика и религия, музыка и политика, история и инженерное искусство — все под его пальцами поет и служит его единой любимой идее — близкой катастрофе Европы. <...>

Книга Шпенглера — до конца честная книга, книга мужественного человека, полюбившего свою гибель, не верящего и не нуждающегося ни в каком спасении.

Гибель, катастрофа Европы — вот главный напев его книги. Культура становится цивилизацией, а цивилизация есть смерть культуры — тихо и, для маловерующих, убедительно говорит Шпенглер.

Культура — вообще культура, а не только западноевропейская — это когда человек, нация, раса делает в себе свою душу посредством внешнего мира.

Цивилизация — это когда уже душа сделана, закончена и энергия такой завершенной души обращается на внешний мир для изменения его на потребу себе.

Культура — когда мир делает душу. Цивилизация, когда насыщенная, полная, мощная душа переделывает мир. При цивилизации человек или раса, — т. е. ломоть человечества, — хочет весь мир сделать своей сокровенной душой, а при культуре человек хочет вырвать из мира только кусок его, что ему мило и необходимо, — душу.

Культура — это искусство, а цивилизация — техника, гидрофикация. Это не мысли Шпенглера, а мои, но, чтобы сделать анализ и прогноз современной культуры Западной Европы, которой сам Шпенглер есть совершенное произведение, я должен начать именно так, как начал.

Сделать это можно только в целом цикле очерков — так и будет сделано, ибо вопрос огромен, запутан, мрачен, а разрубать его не остроумно и не для всех это будет понятно, — следовательно, надо по ниточке его весь распутать. <...>

Шпенглер не верит в контакт, в преемственность, или даже в отдаленную родственность отдельных культур. Каждая культура одинока; рождается, расцветает и погибает в цивилизации без следа, без эха в истории и вечности.

Вторая часть статьи «Симфония сознания» — она называется «История и природа» — посвящена «содержанию культуры нового человечества, зачатого пролетариатом». Разрешение глубочайших роковых вопросов человечества — в истории, а не в природе, утверждает Платонов:

Отношение истории к природе то же, что отношение времени к пространству. История вовсе не есть только внутреннее человеческое понятие: если бы это было так, то мир был бы грудой независимых друг от друга вещей, а не живым цветущим организмом процессов, каким мы его знаем. <...>

И природа есть закон, путь, оставленный историей, дорога, по которой когда-то прошла пламенная танцующая душа человека. Природа — бывшая история, идеал прошлого. История — будущая природа, тропа в неведомое. Ибо неведомое есть невероятное разноцветное множество неродившихся вселенных, которое не охватывает раскосый взор человека — и только поэтому возможна и действительно есть свобода: есть всемогущество в творчестве, есть бесконечность в выборе форм творчества.

Итак, история, а не природа — как было, как есть теперь — должна стать страстью нашей мысли, ибо история есть взор вдаль, несвершившаяся судьба, история есть время, а время — неосуществленное пространство, т. е. будущее. Природа же есть прошлое, оформленное, застывшее в виде пространства время. И мы бы не должны знать природы, одну историю мы бы должны постигать, потому что история и есть наша судьба, а судьба — показатель нашей мощи, вестник цели и конца, или начало иной бесконечности.

История есть для нас уменьшающееся время, выковка своей судьбы. Природа — законченное время; законченное потому, что оно остановилось, а остановившееся время есть пространство, т. е. сокровенность природы, мертвое лицо, в котором нет жизни и нет загадки. Каменный сфинкс страшен отсутствием загадки. Но человечество живет не в пространстве — природе и не в истории — времени — будущем, а в той точке меж ними, на которой время

трансформируется в пространство, из истории делается природа. Человеческой сокровенности одинаковы чужды, в конце концов, и время, и пространство, и оно живет в звене между ними, в третьей форме, и только пропускает через себя пламенную ревущую лаву — время и косит глаза назад, где громоздится этот хаос огня, возвращается смерчем и вихрем — и падает, обессиливается, — из свободы и всемогущества делается немощью и ограниченностью — пространством, природой, сознанием¹².

В 1923 году редакция «Воронежской коммуны» не осмелится опубликовать — без дополнительной правки — статью «Симфония сознания». В 1926 году, работая над повестью «Эфирный тракт», Платонов вернется к статье; в рукописи повести и был обнаружен ее оригинал. Платонов уводит «Симфонию сознания» из современности середины 20-х годов в прошлое, в жизнь древней цивилизации, обнаруженной в тундре. Этот голос погибшей цивилизации — теперь это «Песни Аюны» — не будет услышан Михаилом Кирпичниковым, который отправляется за решением вопроса о тайне жизни в Америку, не будет услышан его сыном. Сокровенную тайну «Песен Аюны» прочитает жена и мать — Мария Кирпичникова, стремясь вернуть мужа на родину, домой: «Эфирный тракт открыт древними обитателями тундры»¹³. Но не дано вернуться в Россию ни Михаилу Кирпичникову, ни его сыну Егору. Центральные идеи Аюны — об истоках и причинах гибели цивилизации — зазвучат в самых разных мотивах и линиях «Чевенгура». В идеях мастера-наставника о конце света, что наступит после гибели последнего мастера, когда труд «из безотчетной бесплатной натуры станет одной денежной нуждой». В «забытых книгах» — в них пытается лесной надзиратель найти настоящему «подобие в прошлом», дабы не вести своих близких в новую погибель. В самых невероятных догадках Саппи Дванова — о Рафаэле, о самозарождении небывалой культуры на месте прежней...

В этом контексте идей русского «кризиса гуманизма» (А. Блок) и западноевропейского «заката Европы» возникает в середине 20-х годов в философской и художественной мастерской Платонова еще одно имя — Альберт Эйнштейн. В 1921 году Платонов напишет статью «Слышные шаги», посвященную одному из последователей Эйнштейна, математику Минковскому, автору книги «Пространство и время» (1919), — это был эйнштейновский период Платонова. В этом он дитя своего времени¹⁴. Прочитаем две любопытные книги, которые находятся в домашнем архиве Андрея Платонова.

Первая книга — «научный роман» Ш. Нордмана «Эйнштейн и Вселенная» (М. 1923). Вот ее основные положения, Первое: гипотеза абсолютного времени и абсолютного пространства, идущая в науке от Аристотеля и Ньютона, с научной точки зрения ложная; единственное время — психологическое. Второе: абсолютных точек опор в мире, космосе не существует. «Первая искусная дерзость Эйнштейна — игнорирование эфира» (стр. 39), а «пространственные отношения сами относительны в пространстве тоже относительно» (стр. 47). Третье: теория относительности опрокидывает представления о материи — «тело вовсе не имеет массы — если она электромагнитного происхождения, эта масса вовсе не неизменна. <...> Существует нечто, что при небольших скоростях можно принять за массу» (стр. 75), «нет больше материи, есть только электрическая энергия» (стр. 76). Четвертое: теория общей относительности отменяет принцип инерции механики Ньютона, закон всемирного тяготения, которому подчинен космос, где все взаимосвязано. Итак, туликов больше нет, восклицает ученый, нет тайн, разрушены «сами основания Знания» (стр. 79), ньютоновский закон всемирного тяготения «не может теперь считаться удовлетворительным» (стр. 85)...

Далее Платонов перестает читать «научный роман» Ш. Нордмана, о чем свидетельствуют неразрезанные страницы книги. Только отметим, что подобная картина разрушенного мира запечатлится в научной фантастике самого Платонова 1926 года («Лунная бомба», «Эфирный тракт»), а Исаак Ньютон почти эмблематически освятит название мест, где живут платоновские идеологи «сердечной науки» (Петропавлушин из «Эфирного тракта», Первоиванов из «Первого Ивана»).

¹² Цит. по первой публикации: Russian Literature XXXII. 1992, стр. 262 — 266; см. «Здесь и Теперь», 1993, № 1.

¹³ ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 70, л. 48. Эта часть текста отсутствует во всех изданиях повести.

¹⁴ См.: «Эйнштейном сорваны с якорей само пространство и время. И искусство, выросшее из этой, сегодняшней реальности, — разве не может быть фантастическим, похожим на сон? <...> После произведенного Эйнштейном геометрически-философского землетрясения — окончательно погибли прежнее пространство и время» (Е. Замятин, «О синтетизме» (1922). Цит. по кн.: А н н е н к о в Ю. Дневник моих встреч. М. 1991, т. 2, стр. 17 — 18.

Книга В. Тана-Богораза «Эйнштейн и религия» (М. — П. 1923) имеет фундаментальный для 20-х годов подзаголовок: «Применение принципа относительности к исследованию религиозных явлений». Опираясь на концепцию времени теории относительности, ученый отвечал на актуальный для эпохи борьбы с религией и церковью вопрос: «богословские высоты христианского олимпа», «одноименные иконы одного и того же божественного лица» (речь идет об иконах Божьей Матери) можно рассматривать как символы, легенды в одном ряду со снами и галлюцинациями — «общий принцип относительности связан именно с этой относительностью проявлений бытия и наших восприятий его. Оригинальность теории Эйнштейна в том и состоит, между прочим, что он разрушил эту антиномию между бытием и восприятием и слил их вместе» (стр. 116). В 1925 году, размышляя о религии, коммунизме и науке, Платонов выскажется — полемически — о способности науки заместить религиозную веру народа: «Вы скажете, что мы дадим народу взамен религии науку. Этот подарок народ не утешит» (статья «О любви»). Напомним, что и Макарян Ганушкин, вернувшись из Москвы, «знал, что наука с негодованием отвергает небо...».

Самые разные модификации и своеобразные двойники типа «чистой цивилизации» (определение О. Шпенглера), цивилизации, не отягощенной памятью культуры, возникают в творчестве Платонова 1925 — 1926 годов. Прежде всего это рассказ «Антисексус», где писатель соберет своеобразный хоровод рационалистов всего мира. Аппарат «Антисексус» как символ новой цивилизации, где человек избавлен от трагик жизни, от вечной муки причастности к всемирному акту грехопадения первых людей земли — Адама и Евы, — освятит в 1926 году американские страницы повести «Эфирный тракт». Калифорния, которую посетит Михаил Кирпичников, предстает как рай земной, где властвует религия благоденствия, утилитарного Эдема. Своеобразным двойником этого упорядоченного мира всплывает в это время у Платонова советская литература — «фабрика литературы»¹⁵.

Открытие Америки как нового типа цивилизации предопределило ту интонацию, которая сопровождает в его творчестве тему европейца. Вниманием к интимным вопросам европейского сознания, к его религиозной трагедии отмечен образ европейского скитальца инженера Бертрана Перри в повести «Епифанские шлюзы»: «<...>теплота его родины — скупой практический разум его отцов, понявший тщету всего неземного», «<...> отвернулся, заметив страшную высоту неба над континентом, какая невозможна над морем и над узким британским островом». Восхищение охватывает Перри при виде Храма Василия Блаженного: «<...>это страшное усилие души грубого художника постигнуть тонкость и — вместе — круглую пышность мира, данного человеку задаром». Для Платонова в «Епифанских шлюзах» трагична не только Россия, но и Запад. Он пишет трагедию их sobлазненности друг другом. «Епифанские шлюзы» — это январь 1927 года. В феврале и марте будет «Город Градов».

В апреле 1927 года страницы повести «Сокровенный человек» незримо посетит один из персонажей современной Америки — Генри Форд. К Форду у Платонова интимно-личное отношение и интерес как к инженеру-изобретателю, организатору промышленности и поэту, воспевавшему на страницах своих книг труд, машину и технику. Русский мастерской Фома Пухов выскажет ряд мыслей, созвучных и родственных идеям миллионера Форда. Знаменитое пуховское: «Хоть бы автомат выдумали какой-нибудь до чего мне трудящимся быть надоело!» — явно интонирует с одним из ключевых тезисов программы Форда об организации труда: «Тяжелый труд должен выполняться машинами, а не человеком»¹⁶. Обретают свою оценку на страницах книг Форда и замечательные диалоги Пухова с организатором производства комиссаром Шариковым, который, по наблюдению Фомы Егорыча, «не своим умом живет: скоро все на свете организовывать начнет». В книге Форда «Сегодня и завтра» мы читаем: «Мы не терпим администраторов, которые, вместо того чтобы давать указания рабочим, кричат и мешают работе. <...> Производством управляет не человек, а процесс труда»¹⁷. Перекликаются с фордовской программой и горькие размышления Пухова о ранней смерти по бедности его жены Глаши, и вымышленный эпиграф, который имеется в рукописи повести: «„Бедность — аномалия“». Форд»¹⁸. Можно продолжить этот ряд сопоставлений. Но это лишь одна из граней диалога Платонова с Фордом. Для Фомы Пухова, открывающего галерею платоновских «душевных бедняков», не менее важными остаются вопросы о главном богатстве

¹⁵ См. «Октябрь», 1991, № 10, стр. 196—200.

¹⁶ Ф о р д Г е н р и. Сегодня и завтра. М. — Л. 1927, стр. 54.

¹⁷ Т а м ж е, стр. 85.

¹⁸ Архив М. А. Платоновой. «Сокровенный человек». Рукопись, л. 1. Ср.: «Многие считают бедность естественным явлением. На самом деле это противоестественное явление» (Ф о р д Г е н р и. Сегодня и завтра, стр. 172).

бедных — о душе, его собственная одиночность в мире и печаль — что «никто на него внимания не обращал: звали только по служебному делу». Платонов сам уберет эпиграф и заменит первоначальное название повести «Страна философов» на новое — «Сокровенный человек». Это название вводит в историософию русской судьбы эпохи «чистой цивилизации» христианскую традицию: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, Но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (I Петр. 3, 3 — 4).

Вопросы, заданные в «Сокровенном человеке», узнаются и в записях Платонова 1929 года — записях, на первый взгляд исключающих друг друга. Осенью 1929 года, находясь в командировке в совхозах и колхозах Поволжья, отмечая в записной книжке неукомплектованность МТС техникой, Платонов вспомнит и Пухова и Форда и так откомментирует причины кризиса хлебозаготовительной кампании (идет год «великого перелома»): *«Из-за отсутствия Форда — где машина должна стоять 2 часа, стоит она 2 дня»*. Среди же набросков к незаконченной повести «Дар жизни» мы находим следующие записи: *«Бедность есть честь», «Россия держит мир»*¹⁹.

Полоса бедности и богатства в русско-американской теме у Платонова достаточно интересно представляет один из своеобразных блуждающих сюжетов его творчества — «Масло розы». Черновой набросок этого сюжета относится к 1926 году и находится в рукописи повести «Эфирный тракт» (1926 — 1927). Это рассказ о встрече инженера Михаила Коваля, бредущего в Америку в поисках розового масла, секрета бессмертия и благоденствия человека, и богомольца с Афона Феодосия. Итак, полоса двух идеологий жизни: Афон — символ русского монашества с его аскезой в достижении христианского идеала («Царство Мое не от мира сего») и новая религия — религия земного Эдема. Правкой первоначального текста (разрядкой в косых скобках обозначен первоначальный текст) Платонов по-своему отмечает смену культурной парадигмы национальной жизни.

Догадался? Это тебе не на Афоне свечки делать. А ты думал, я свечки там делать буду? Наша держава оттого и бедна, что бога помнит, а себя забыла. Вот я ей и напомню. А то картоха и рожь да просо.

Пройдя сквозь /Р о с с и ю/ европейский кусок СССР, /М и х а и л К о в а л ь/ Кирпичников достиг Риги.

<...> надежда на сотни /р у с с к и х/ советских лет.

<...> непрочность и страх /д е р е в е н с к о й/ сельской жизни.

<...> в гости на /к р е с т и н ы/ к кумовьям²⁰.

При правке наброска вписывается и местожительство Коваля-Кирпичникова — *«житель Гробовского уезда»*.

В первой половине 1927 года Платонову не удастся опубликовать «Эфирный тракт»: не проходила и история Аюны, и русские главы и американские. Однако Платонову было важно сохранить сюжет «Масла розы», и он вводит его в цикл рассказов «Родоначалники нации, или Беспокойные происшествия». Здесь вместо Кирпичникова в Америку отправляется известный Иван Копчиков, получивший наконец-то и новую прописку — *«житель Безотцовского уезда»*²¹.

Сюжет «Масла розы» тревожит писателя и в 1929 году; он оформляет его в самостоятельный рассказ, а в 1930 году, работая над повестью «Впрок», устраивает встречу «душевного бедняка» с богомольцем Фомой и Петром Маковкиным. «Душевный бедняк» прямодушно выскажется по поводу поездки теперь уже Маковкина в Америку и даст новую интерпретацию старого сюжета (темным курсивом в скобках обозначен текст, вписанный в рассказ в марте 1930 года):

Петр был уверен, что, действительно, нежное масло душиных и пьяных роз способно построить вечные здания в древних балках его родины, и в этих зданиях поселятся довольные, счастливые мужики (бедняки) со своими многочисленными семействами.

Он уже посчитал — сколько это денег будет, если каждая десятка даст по тысяче рублей чистого прибьтка.

Эта надежда на будущее счастье и шевелила его ноги по грязным полям его родины, гоня в далекую Америку (увлекая в дальнюю Америку).

¹⁹ ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 99, л. 11.

²⁰ Архив М. А. Платоновой. «Эфирный тракт». Рукопись.

²¹ Платонов А. Епифанские шлозы. М. 1927, стр. 249.

(Километра через три я догнал Петра и посоветовал ему сначала побывать в Москве у академика Вавилова, — этот человек полностью поможет Петру в исполнении его мечты и если нужно будет, то снарядит его и в Америку. Петр выслушал, поблагодарил и, отвернувшись от меня, молча пошел. Я не знаю, сделал ли он так, как я ему сказал, или его единственная, неотложная дума вытеснила уже из его сознания все второстепенные, вспомогательные мысли, необходимые для успеха главной идеи)²².

В машинописи «Впрок» — на полях этой страницы — сохранилась запись неизвестного рецензента: «Слабый эпизод. Если речь идет об утописте, надо подчеркнуть»²³.

Утопист исчезнет из текста многострадальной повести, но сомнения «душевного бедняка» останутся и, можно сказать, оправдаются. В конце 1931 года в Америку неожиданно отправляются герои повести «Ювенильное море» Надежда Босталоева и творец новой космогонии Николай Вермо. В этой новой модификации сюжет «Масла розы», превращаясь почти в фабульную точку, течет, однако, в ту же сторону — к прежним соблазнам и отпадению героев от родины. Консерватору Умрищеву, исповедующему принцип «не суйся!», поручит Платонов в финале повести высказаться о возможных последствиях поездки «юных разумом», «малолетних» Вермо и Босталоевой в «дальнюю Америку»:

«— А что, Мавруш, когда Николай Эдвардович и Надежда Михайловна начнут из дневного света делать свое электричество, что, Мавруш, не настанет ли на земле тогда сумрак?.. Ведь свет-то, Мавруш, весь в проводе скроется, а провода, Мавруш, темные, они же чугунные, Мавруш!..

Здесь лежащая Федератовна обернулась к Умрищеву и обругала его за оппортунизм».

При жизни Платонова повесть «Ювенильное море» не будет опубликована, как и последующие произведения — «Мусорный ветер», «Джан», «О первой социалистической трагедии», «Счастливая Москва», где темы настоящего и будущего цивилизации, культуры, природы, техники и маленького человека останутся центральными.

Такова предыстория «Ноева ковчега» в творчестве Платонова. Мы уверены, что это еще не все узлы и адресаты такой непростой — американской — темы его творчества. Это лишь то, что на сегодня обнаружено в творческой и художественной лаборатории самого Платонова. Оставим двери сюда открытыми.

²² Архив М. А. Платоновой. «Впрок». Рукопись, л. 118 — 121.

²³ Там же. «Впрок». Машинопись, л. 78.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

МАРК КОСТРОВ:

*

КАК УЦЕЛЕТЬ В НАШЕ СМУТНОЕ ВРЕМЯ?

Советы болотного жителя

На стыке трех губерний — Новгородской, Псковской и Тверской — вольно расположилось огромное, тридцать на сорок километров, Рдейское верховое болото. Шагаешь по нему на болотоступах и словно с горы скатываешься: нашлапка Моховщины в пятнадцать — двадцать метров высотой шапкой вздымается над материковыми кособокими деревушками, окружающими свободный мир. Да, да, свободный и от колхозов (когда-то Системе так и не удалось из-за непроходимых топей объединить острова, на которых жили жихари Рдейской Чисти), и от фашистов — вокруг болота бушевала оккупация, а внутри его жизнь текла так, как повелела ей эволюция, медленно, в основном по-старому. Да и после войны ничего не могли поделывать с упрямыми моховыми людьми местные Советы. Даже такую мелочь, как перестановка времени на час вперед или назад, депутаты внедрить в этом крае не смогли. Правда, иногда власти понимали своеобразие неповторимого мира. Так, например, в оные времена царское правительство (еще до Столыпина), отпуская солдат после службы по домам, награждало желающих землями на болоте: ты, воин, славно потрудился на приращивании земель к отечеству — фермерствуй теперь безналогово на островах.

Но чаще как цари, так и современная структура жалости к переселенцам не проявляли, поэтому и от наших постперестроечных, зараженных грибком совковости бюрократов милости тоже не жди. Период, который потребовался бы тебе только на оформление документов-разрешений, — годы. Поэтому занимай земли самовольно. В случае чего знай: в левом углу Полистовья, за Андроновом, во мхи опускается колонна некогда застрявших здесь грузовиков. Может, в ней добудешь рацию, ибо, по большому счету, она будет главный тебе помощник в борьбе с чиновником. Посылать SOS и обращения к передовым людям всего земного шара тебе понадобится после того, как ты укрепишься, разрастешься, отчего власти новгородские, псковские и частично тверские спохватятся и начнут на тебя жать с двух сторон, ты очутишься как бы между молотом и наковальней. Помни об этом, переезжая на житие в наши места.

Но главное — постарайся при переселении не попасть на крючок разным обещателям: сколько заверений мы уже слышали! И помни еще, что все это происходит в первобытной, только становящейся на демократические ноги стране. Так что, будущий мой господин фермер, твою семью впереди, если ты не уйдешь в рдейское подполье (кто-то покидает родину, а ты вот засядешь в болото), на материке ждали бы долгие годы, а может, и десятилетия становлений, путаницы и неразберихи. «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный» — вот тогда, может, вам и понадобятся острова Моховщины, где вы, как и беженцы из других многострадальных республик, укроетесь от люмпена и черни в болотах и лесах. В таком случае, дорогие переселенцы, вы должны помнить: в своих перемещениях во времени и пространстве вам на первых порах будет туго, может, даже придется шагнуть два шага назад, как я это делал, прожив почти год на одном из островов. Кстати, землянка размером два на два метра роется за день. Просто два лежака, которые ты потом застелешь сеном, остаются нетронутыми, вместо люка тебе на первых порах послужит лоскут пленки, а в головах, тоже на уступе, размещается пелка из какой-нибудь жестяной банки. Или вот как было раз — земля случилась глинистая, и я, не дорыв некий объем, соорудил в нем пещерку с дымоходом. Кстати, один мой знакомый первопроходец, осваивающий таким образом остров Домшу: «Дом здесь будет — ша! Не беспокойте меня больше никто», — добавлял к монологу этому еще

и маниловские мечты: мол, а дети мои оперятся, будут в глубь земли жилища вставлять — и тогда никакие энергетические кризисы нам не страшны...

Коней же попытайся найти сам. Однажды мне встретились две полудиких белых лошади, как бы теперь уже снова лошади Пржевальского, отпущенные на свободу одним сердобольным председателем, не пожелавшим сдавать тружениц на мясокомбинат. А у нас ведь как поступают со скотиной — выжмут, как лимон, а потом отправляют на свалку. Был случай еще, когда не поенные из-за божественного праздника Пасхи, наступившего сразу после Первомаия, бычки, словно сговорившись, навалились на ограду, чтобы потом разбрестись по всему Полистовью. Может, вам и доведется встретиться с их потомством?

Конечно, в дальнейшем тебе понадобится трактор. Мне кажется, тут ты никуда не денешься. Тогда, если по этому вопросу у нас разногласий нет, подбери их согласно моим отметкам на карте: «Т-25» завяз в болоте за Карабинцем, еще один трактор (забыл марку) ржавеет за островом Кокачево. Говорят, лежит за Рдейским озером, за Карлашанской Ситой самолет, но его сможет тебе указать только сын Марии Федоровны Геннадий, последний из могикиан в деревне Высокое.

И еще: прежде чем отправляться в новую жизнь, для летних передвижений тебе понадобятся болотоступы, их фотографии напечатаны в литературно-географическом ежегоднике «На суше и на море» (1982, № 22) и, главным образом, болотоход — мотоциклетный мотор, помещенный среди огромных конверсионных туполовских полунадутых камер численностью в шесть штук. Тогда тебе сам черт не страшен. По топам такое сооружение может продвигаться и в плывь. Чертежи его я в свое время тоже опубликовал в журнале «Конструктор»; его читатели — мастера на все руки!

Болотоход отлично перемещается и в снегах, но к зиме неплохо бы запастись лыжами. Кроме того, если самому срубить дом будет не под силу, зимой (уже с помощью трактора) из любой заброшенной деревни по окружности болота или с забытых людьми островов перевези выбранный по своему вкусу сруб. И мой тебе совет — большими домами первоначально не увлекайся, послушай рассказанную мне старожилками Межника полулегенду. В конце XIX века царское правительство, решив свое обещание об отмене налогов взять обратно, послало на рдейскую землю землеустроителей. Межник и был разделен ими (потому и Межник) — одна часть острова отошла к Пскову, другая моим землякам. До сих пор еще на нем просматривается межа, чем и пользовались еще несколько лет жихари, играя на нерасторопности властей, перекатывая с помощью ваг да бревен-катков домики через границу и объясняя представительным посланцам той или иной губернии, что они не их, а тех...

Бюрократия всегда была неповоротлива, что порой и рационально. Можно в любое время поискать для себя выгоду: они тебе — сюрприз, ты им — ответный подарок!

...Как-то вычитал я в «Уральском следопыте» про некое коммунистическое государство иезуитов в Парагвае после покорения его испанцами в XVI веке. Просуществовало оно более века. Сотня достаточно ловких отцов иезуитов безраздельно господствовала над 300 тысячами туземцев, соответственно оглуляя их бесконечными постами и молитвами, забвением заветов своих предков, чтением только двух-трех религиозных книг. «Отцы командиры» окончательно изуродовали аборигенов (ради равенства в нищете) работой, так что те вовсе перестали мыслить и рассуждать.

Разные же утопические рассказы про солнечные государства и города Томмазо Кампанеллы или Томаса Мора мы в школах проходили. Да что там Мор с Кампанеллой! На моем Рдейском болоте в XIX веке почти тридцать лет просуществовал 18-й военный округ, где свои опыты над нижними эшелонами народонаселения производил Аракчеев в том же духе единоначалия, одичания и экономии. Впрочем, об этом я уже писал в очерке «Поселянщина» («Новый мир», 1987, № 4).

Теперь же моя маниловская мечта: каждый остров — это самостоятельная, по душе тебе подходящая жизнь. У кого-то трактор и добытая неведомыми путями бензопила «Дружба», у кого-то набор чанов для дубления кож, а у кого-то (как у меня) — лопата. Ею на целый год я обеспечил себя продуктом на острове Межник при Русском озере¹.

При Рдейском же озере сельчане-христиане, если захотят, пусть восстанавливают монастырь: коробка его с нашу новгородскую Софию с пятью березами и более

¹ Кто заинтересуется моей робинзонадой на Рдейщине основательнее, отсылаю к своей книге «Житие на острове Межник» (М. 1990).

мелким подлеском на крыше (куда я не раз лазал за доколосовыми подосиновиками) сохранилась отлично. Ну а три самодельных кирпичных заводика неподалеку придется возводить заново. Только земляные холмики указывают их местонахождение.

И вообще, когда явишься на разведку в эти края, то заберись на купола обители, глянь на красоту, раскинувшуюся у твоих ног, и, мне кажется, ты согласишься на переселение. Особых материальных трудностей при этом я не предвижу, ибо полистовские болота — это золотой край, земля обетованная. Не только сухих шляпок беляков по ...дцать, с учетом индексации, рублей за килограмм повезешь ты, чтоб встать на ноги на первых порах, но главным образом клюкву — на будущий год эти красные шарики могут обернуться и валютой, если ты сдашь их зимой перекупщикам, точнее оптовикам. Со словом «спекулянт» я не согласен и вообще бы не придирался, не обыгрывал, как это делают некоторые депутаты, термин «теневая экономика»; пусть теневики и мафиози отмывают свои тугрики как хотят, раскроют свои кубышки, пустят в дело не только деньги, но и наконец-то раскрепощенные мозговые извилины. То есть мои острова (как представляется мне) — наиболее удобная модель для завтрашнего постепенного вхождения в рынок, к которому сегодня мы просто еще не готовы.

Но снова о ягоде клюкве. Если найдешь в себе силы отправлять ее с ухощинского или ручьевского аэродромчика на материк, к примеру, за границу, в Одессу, там, глядишь, тебе, чертыхаясь, и пару долларов за килограмм отвалят. На их ругань не обращай внимания: настала пора и сельчанину пощипать гегемона. Еще раз повторяю: меньше всего думай о горожанине — все придет в равновесие, все утрясется само собой. К пропасти мы не катимся, не слушай их пужаний, при внедрении в нашу жизнь свободного (на первых порах, а потом под приглядом нормального государства) рынка, внедрении многопартийной системы и при продаже земли «кому хошь» — хоть монополиям или новым помещикам, хоть заграницам — все потом придет естественным эволюционным путем в норму. Сольется, так сказать, с сотнями подобных болот и болотец: Васюганским, Гдовским у Чудского озера, Невым мхом у Ильмена. — в изобилии оставленных после прохода «призрака коммунизма» по шкуре нашей державы. Хотя бы и через эту самую проклятую свободу в торговле.

Вчера в Новгороде стоял я у водочного магазина, нагловатая кожанка тут же у очереди наружной торговала водкой из ящиков по повышенной цене: хочешь — стой, хочешь — переплати и сматывайся, экономь время. Так хотелось поддать ногой деревянную пирамиду, а сегодня смотрю: тот же парень уже сидит в ларьке. Разговорились — завтра он мечтает приватизировать магазин. Первоначальное накопление разбойничьего капитала у него обернулось не пьянкой, а делом. Не у всех так, конечно, но кто-то в «проценты» внедрится...

Продолжаю по теме. Южные западные государства зашевелились — бумеранговый закон: каждому действию соответствует равное противодействие; и вот результат — полмиллиона беженцев в растерянности бродят по стране, поэтому, турки-месхетинцы, армяне, жители радиоактивных зон, азербайджанцы, каракалпаки с Арала, русские работяги, евреи, может, кто и задумается о моих предложениях по вашему переселению в рдейский рай? Даже капиталистам, словом, всем желающим, выдает визу интернационалист Марк Костров, несмотря на нацию («...нет ни элина, ни иудея») и вероисповедание: славянофилам и западникам, сокращенному аппарату, демобилизованным офицерам и вообще всем членам КПСС (зачем им сегодня, как дореволюционному Ильичу, убежать за рубеж или вновь на митингах отвоевывать партимушество?). Всех, как мне кажется, перемелет настоящая троглодитская, неандертальская жизнь ну хотя бы лет этак за сто, чтобы был потом на земле сохранен генетический банк для будущих поколений, как бы повтор Ноева ковчега. У меня даже предусмотрена для коммунистов группа пустующих, окруженных пронницами и топями островов. Так что огораживать колючей проволокой марксистский архипелаг, как мне советовали некоторые, обязательно.

Ох как это трудно — после всего содеянного коммунистами не ненавидеть их! Тем более спектакль еще не окончен... А потому пусть там, на этих островах, из веточек-щепочек и строят новый модуль нетоталитарного социализма-коммунизма. Может, даже им стоит углубиться в историю поосновательнее? Хоть с нуля, с Адама или пусть с самих себя начинают. Ну взять моих знакомых, я не побоюсь назвать их фамилии, потому что буду их только хвалить. Это Валентин Стомба и Ольга Николаевна Рентьева — оба большие начальники. И в те и в нынешние времена их возражения против капитализма прочно засели в моей бедной запутавшейся головке.

Валентин Петрович, помню, нарисовал какую-то метелочку редких прутиков и по одному, крайнему, пустил слова «тоталитарный социализм». «А теперь, — сказал он, —

раз ничего с ним не получилось, пустимся по другой веточке — «коммунизм с человеческим лицом», а главное, надо, чтобы в сельском хозяйстве на колхозника приходилось, как и в Америке на фермера, полторы сотни лошадиных сил. Ну а если эксперимент опять не получится, пойдем по новому пруту — метла их множество имеет».

Ольга же Николаевна, та поступала более основательно и рационально: у нее до недавнего времени была огромная детективно-историческая библиотека, к ней в обмен на Ефремовых и Пикулей библиофилы несли собрания сочинений Ленина и Маркса, и она их читала запоем. Встретит тебя на улице и ну объяснять, что мы, оказывается, в последующих сменах власти исказили основоположников, и потому нужно, чтобы в верха пробрались хорошие люди. Вот когда, мол, это случится... Ветер на улице, холод, она теннисистка, аэробичка и хоть и в возрасте, а ходит без головного убора. Право, мне жалко одинокую, несостоявшуюся чемпионку региона, а потому стоишь, страдаешь, но слушаешь ее.

Встречи... встречи. Как-то во время скитаний по рдейскому краю на Мокром острове (есть вот такие места на болоте, к которым почему-то подходишь с опаской) у меня произошла странная встреча. Возвышенность хоть и была выше болота на полметра, но вся и в самом деле мокрая — в ямах, провалах, сочилась водою, и негде было стать на привал. Я решил, хотя дело клонилось к вечеру, покинуть ее. Не оставляя и чувство, что кто-то следит за мной. Уже на выходе, на самом мысу острова (оставалось каких-то десять метров до мхов), треснул вдруг над моей головой сучок... Я поднял голову: на меня с лохматого старого дуба смотрели человечесьи глаза. Я оцепенело глядел в их круглые немигающие зрачки без ресниц. Вдруг существо как-то странно пискнуло, переметнулось с сучка на сучок, закачалось на одной руке и исчезло. И только в городе все прояснилось: несколько обезьян сбежали от ученых, занимавшихся их акклиматизацией в Псковской области. Приживутся ли они самостоятельно на островах? Как перенесут зиму? Все это пока в стадии незапланированного эксперимента. Вот, может, и стоит вышеуказанным товарищам поработать с ними на практике?..

Зато с какой радостью встретил я на другой день на огромном плоском острове пастухов-молодоженов, слушал их человечесью скороговорку! Плечо к плечу стояли муж и жена около вагончика. Он — курчавый, похожий на Пушкина, она — голубоглазая, тоненькая. Они со станции Локня. Решили не дожидаться квартиры от государства, присмотрели домик, теперь вот пасут телят. Очень они были довольны своим медовым месяцем.

Свободный труд (воловий труд), а значит, и подъем экономики, то есть в конечном счете прекращение национальных распрей, — вот выход из создавшегося тупика. Не заставишь же нас снова вертеть быстрее колесики неизвестно куда ползущего паровоза, как нам советует блок общественно-патриотических сил.

Выступал я как-то по ТВ «Россия» с темой «Бартер, или Как выживать в смутное время человеку». Только что вернулся из глухого уголка Псковщины, где полтора года назад приспособился ремонтировать обувь, делать «вечные» лампочки, лить лампадки для церквей, но вот получил после выступления несколько однообразных писем, и в них мне пишут, что писателю такой мелочевкой заниматься стыдно, мол, оружие современного патриота — борьба! Ну что ответить им на это: кому-то надо же будет клеить подметки и восстанавливать перегоревшие лампочки...

Борьба, всякую борьба, даже в той залушице, откуда я только что с трудом выбрался: автобус Псков — Рига перестал ходить мимо нас. Но и там местные жихари тоже однажды попытались бороться, но скоро снова затихли, писали в основном письма в разные инстанции с категорическими требованиями, чтоб закрыть библиотеку (раньше в крае книги жгли, об этом ниже). Видите ли, никто в нее не ходит, а служительнице помещения прибавили до невиданных широт жалованье. Мне же Елизавета Федоровна помогла углубиться в историю. Теперь я знаю из шумерской глиняной клинописи, что же такое патриот в момент перехода человека из гомо вультариус в гомо сапиенс. Так вот, пять тысяч лет назад считали, что патриот — тот, кто любит не только свою родину, но и творит добро людям других народов.

«Вам нужны великие потрясения...» — мне по душе начало этой фразы фермерского реформатора Столыпина, но далее мы ее несколько изменили, ибо нам вдруг оказалась нужна не просто великая, а еще и социалистическая Россия. А мне почему-то все равно, в какой России быть, мне важно то болото, на котором я жил в рдейском крае; нынче всего несколько хуторков вокруг меня на границе с Эстонией, где я занимался огородничеством да ловлей рыбы. Встретишься с редким соседом: «Ну кто там теперь у нас царь?» — спросит он. «Двоевластие», «Борис II», «семибоярщина» —

отвечаешь ему и думаешь, где бы раздобыть эмалированные ведра для засолки белых, крепких, как фарфоровые тарелки, груздей...

И снова ныряю я в свои любимые мхи. Карту, если мне откажут воспроизвести ее в журнале, готов выслать наложенным платежом², ведь я тоже как бы на хозрасчете, тоже должен не стесняясь внедрять свою ИТД (индивидуально-трудоуловую деятельность). В схеме будут указаны не только удобные для поселения острова, но отмечены, повторяю, места скопления бесхозных комбайнов, тракторов, хотя в дальнейшем мне видится жизнь только экологически уравновешенная, лошадно-дровяная. Даже газету края предполагаю выпускать, нет, не на бересте, дерево надо беречь, а на отгиснутых и после обожженных глиняных табличках. Глянут люди через миллион лет в недра земли, и мы (а не только шумеры) отпечатаемся в их памяти.

Ну а пока разговор о сегодняшних летах: вот-вот выберем из многострадального шарика все его подземные богатства — и тогда что? Конец жизни? Потому-то и надо сегодня готовиться к возможной катастрофе. Не только тишина, цветочки-лепесточки ждут тебя в рдейском рае, но и хотя бы то же потепление климата, повышение уровня Мирового океана. Слушаю, как санктпетербуржцы спорят о нужности-ненужности дамбы, словно блохи на шкуре преддедникового мамонта. ведь завтра город на Неве будет полностью затоплен, мы же останемся восседать на вершине верхового болота! И неплохо, если ты созвонишься со мной, чтобы, лично приехав в Новгород, посмотреть те альбомы, что у меня имеются, не спеша обговорить свое житие на земле обетованной. И тогда для начинающих, насмотревшихся «Сельского часа» экзальтированных горожан я рекомендовал бы что-нибудь недалекое от цивилизации, куда можно было бы легко добраться, а если не понравится трудное на первых порах житие, если от необычных забот наступит скорое разочарование, так же легко удалось бы выбраться на материк. Подобных новин в Полистовье несколько. Например, «Две титьки» — два островка, словно огромная великанша когда-то рухнула навзничь и почти вся скрылась подо мхом. Зимой, помню, шел я мимо них в сторону Межника, и вдруг прихватило сердце. Огромное сосновое корневище на месте соска дыбилось к небу, под ним я жег костер, жмурясь на мартовском солнце. А воды для чая набирал не снеговой, а из живого милого ключика, что тек меж двумя холмами. впадая незамерзающей ленточкой в то место, где лобочку у великанши быть, — в Роговское озеро.

Еще помню, отойдя и отдохнув (три дня до этого я ночевал где попало): бросил в промоину блесенку, выдернув из нее пястку красноперых окуней на уху, и мартовское солнце, жмурясь, смеялось надо мною.

Позже мне жихари Фронина, деревеньки в четырех километрах от озера, расскажут о целебности вод озера, о том, что они нет-нет да и сбегают за его кристальной водицей для самовара. Безо всяких там Чумаков вода годами не портится.

Летом же я добирался до этих двух островков на надувной байдарочке от Замощья по канаве-копанке, по ней вы даже сможете (как это делают хитромудрые собиратели клюквы) в молочных бидонах сплавлять цугом буксировкой свою главную добычу, что вам поможет стать на ноги, — клюкву. Очень важно, повторяю, не зависеть от каких-то кредитодателей, а надеяться только на свои силы. Поэтому резиновую же лодочку под названием «Ласточка» я переоборудовал под распашные весла (и в скорости выигрываешь, и время в пути сокращается), а зеркало переднего обзора, как в кабине автомашины, помогает не выхлять в движении, спрямлять расстояние в светлое рдейское будущее...

Другое поселение для начинающих новичков хотя и в восьми километрах по прямой от Фронина — Замощья (автобус от Холма), но уже в Псковской области. До Гоголева от Локни (железная дорога) вы также доберетесь на автомашине, и до Язвов доедете, а далее черной, налитой до краев вязкой дорогой побредете на Свинаяево — большой, два на километр, остров. Там когда-то была утлая деревенька Свинаяево, а теперь стоит только чей-то вагончик с печкой, как люстра подвесками, весь усыпанный ласточкиными гнездами. Их понять можно: жили — не тужили при домах да сараях, а роины вдруг не стало, вот они и облепили стены последней сараюшки своими постройками.

Удивительный был сон у меня на Свинаяево под щебетание застенных птах, потом заскрипел дергач — до сих пор помню ту вечную ночь. А еще вагончик был сплошь окружен зарослями травостоя. Когда-то, после разгрома деревни, пасли в этих местах

² Мой адрес: 173014 Новгород, ул. Хутынская, д. 6, кв. 45, тел. 3-30-14.

скот, теперь осталась от тех времен аллея медноствольных осин и на унавоженной, раскопченной земле ковры удивленно раскрытых глазищ белых ромашек. И еще в полукиллометре от вагончика в сторону захода на озера Долгое и Круглое наткнулся я на огромный, угловатый, в пол-избы камень — по слухам, якобы метеоритного происхождения, но постепенно весь обколотый жителями округи для хозяйственных нужд.

Вы заметили, мой будущий переселенец, что я стараюсь вам предлагать места обязательно при воде, но не только для того, чтобы в трудные дни становления на новом месте вас выручала невеликая рыбка, как было со мною на острове Межник, а и для разнообразия жизни и отдыха в этой Рдейской Чисти. Хотя бы для того, чтобы ты со своей семьей и тихой песней мог покататься на лодочке по своему закатному озерку.

С Межником же получилось так, что однажды, после двух-трех статей Ильи Фоянкова в «Литературке» в защиту моей изобретательской деятельности, мне пришлось бежать из Новгорода, и целый год я прожил на болоте, в первые весенние месяцы (пока не вырос огород) питаюсь в основном окунями, ну и еще сморчками. Ставил в протоке между озерами Межник и Русское мережу, и рыба вваливалась в нее в изобилии. Вот бы какому-нибудь бобылю поселиться на Гормыльке, крошечном, в полсотки, островке при моем заколе. Кто-то будет заниматься на ближайших островах животноводством, кто-то земледелием, может, тем и другим вместе (кто как пожелает), а ты снабжал бы их зиму и лето из не замерзающего, как Гольфстрим, ручья фосфором. Тот же остров Межник в полчасе ходьбы от Гормыльки.

Дело в том, что озера Русское, Межник и Кокарево, расположенные в центре болотного Полистово-Ловатского массива (так официально именуется моя Рдейщина), находятся на самой высокой точке болота — на отметке в сто метров над уровнем Балтики, то есть ближе всего к солнцу в нашем Нечерноземье, а потому ягоды вокруг Гормыльки — морошка, брусника, черника — будут самые ранние, и если рыба тебя не сможет прокормить, то мой совет: добывай первые обменные товары через чернику. Суши ее на печи, сдавай за обрезом мхов в аптеки, но только умоляю тебя: не пользуйся в этом крае ягодным комбайном. Черника гибнет после того, как ты пройдешься по мхам этой грабительской железкой, через два года, клюква (недавно установил) через шесть-семь лет. Земля-то вокруг тебя теперь будет твоя, и болота вы поделите между собою, чтобы затем ревниво следить за разными разбойными временщиками-собираателями на собственной территории. Может даже, со временем, обогатившись, как в Канаде, займетесь клюквосеянием. Вот тут уж вам настоящие экологически обоснованные механизмы для сбора ягод непременно понадобятся. То есть начнете жить по принципу свободного рынка: на что на материке спрос, то и будете сеять в вашей маленькой, а позже и большой конфедерации.

По моим расчетам, в рдейском крае можно собирать 6 миллионов килограммов клюквы. Умножьте-ка эти тонны на СКВ! Грибы, мясо, масло, рыба (особенно, уверен, будет цениться с озера Полисть сушенная шемая — вкуснее забеленного сметаной и пропревшего в русской печи супца я не едал — и еще, естественно, пискуны — огромные, со ствол ружья, вьюны, что ловятся в металлические сетки-норты в проницах, протоках под болотными островами!) И, естественно, большие раки по 5 рублей штука. Их мы будем отправлять на материк «аннушками» или, как когда-то гусей наши предки, подстегивая прутиками, погоним по сырм мхам на Запад — вот тогда и заживем! При условии, конечно, чтобы раки вновь не попятлись и чтобы ни у кого не было претензий к прошлым территориям. А то, например, по Тартускому мирному договору 1920 года Эстония сегодня требует передать ей мои любимые Печоры с монастырем...

А еще я лично не решил, какую мне нишу занять в рдейском крае: скорее всего стану все же сапожником³, а не рыбаком или земледельцем. Буду бродить, как когда-то бродил с фотоаппаратом, по болотным жилым островам, но с сапожным инструментом — ремонтировать переселенцам обувь. Последнее время у меня очень качественная технология ремонта резиновой обуви получалась. Рыболову же края советую ставить изобку на Гормыльке. И еще прошу: будешь рубить домишко, заводить невеликий огородец при нем, не руби сосны вокруг себя и Межника — за южным обрезом его вод, в полукиллометре от берега есть бор, вот там и возьми два

³ Дед мой Поплий Васильевич Капустин держал большую сапожную мастерскую в Санкт-Петербурге, а для души на общественных началах был старостой церкви Кулич и Пасха при Обуховском заводе (ныне завод «Большевик»).

десятка полноценных стволов. Уж как-нибудь стрелой их зимой или займи коня в Ратче — деревеньке в пяти часах ходу от твоего пупыря. Там еще теплится жизнь и на «три дымка» имеется шесть полудиких лошадок. Так, на всякий случай держат их сельчане: вдруг заваруха какая начнется на Руси, а то, может, и вообще на всем земном шаре.

Ну а если ты рыбак «сурьезный», то селись лучше на главном озере края — Полисто. Для этого нужно уже не тебе, а вам, тут земель свободных поболее, по железной дороге витебско-ленинградского направления доехать, но обязательно с байдаркой, до станции Сушево, далее на автобусе по асфальту до поселка торфяников Цевло и, спустив лодочку на воду, плыть по речке Цевелке к вышеуказанному озеру. Уже на десятом километре и почти при впадении реки в Полисто пойдут по правобережью, по речкам Плотница и Странница (недалеко от их впадения в Цевелку), острова. Особенно хороши и романтичны для жития остров Осинник на Страннице. Хотя я бы его переименовал в Корабельный, что ли. Он весь состоит из песка и строгих огромных сосен. Помню ночевки на нем. В палатке, потом в вытащенной из воды байдарке бесконечный ночной страх, и не оттого, что однажды утром я обнаружил недалеко от моего кострища межвежьи автографы, — что-то экстрасенсорное витало в воздухе.

Об этом кусочке земли ты можешь порасспросить у Дуси и Васи Горавецких. Они-то и рассказали мне, что холмик не терпит одиночных поселян — ему подавай семейную фермерскую парочку. Оказывается, и острова на болоте имеют каждый свой характер.

До деревеньки Веряжа, где живут эти сельчане, всего час ходу от Осинника. У них ты сможешь даже купить молока и меду, а в дальнейшем разжиться и пчелиным роем — колоды у веряжцев старинные, из длинных долбленых бревен. Но главное, конечно, не грибы-ягоды и даже не рыба, они начальный этап бескредитного зацепа, а з е м л я и ваша с ней дружба. Но имейте в виду: жихари, о которых я пишу, — все люди пожилого возраста или мечтающие переселиться, как, например, санкт-петербургские горожане, к нам в Новгород или Псков, в более надежные места, крупные поселки типа Цевло, в этом случае вы всегда сможете купить за бесценок срубы домов. Это и к лучшему, ибо, повторяю, вдеревнях, хотя и брошенных, селиться новоселам не советую даже после заверений Верховного Совета. Для вас в нашей системе подойдут только ничьи острова. Да и власть-то местная, беспартийная теперь, чихает на законы — нам это хорошо известно...

Да, чуть не забыл: еще за островом Осинник, но уже по левую сторону Странницы, двигаясь вверх по течению, в одном из заливчиков встретите вы изобку с полусгнившими сетями, такую таинственную и замшелую, нечто кержацко-староверское, что об этом шалаше ничего не знают даже супруги Горавецкие. В ней, может, на первое время и поселитесь...

Долина же Странницы на своем пути в рдейский край уходит в бескрайнее болото, и клюкву-веснянку я собираю прямо с лодки. Но в месте расположения острова она сужена. Поэтому, если вам захочется простора, советую зацепиться за западный берег Полисто. Там, где начинается река Полисть, севернее покинутой людьми деревни Шипово, приткнулся к самому берегу окруженный с тыла каналом и клюквенными болотами, покрытый шелковистой травой-муравой, с редкими сорокалетними березами, гектаров на 5 бугор по названию Брежний. То есть именно то, что надо однодворцу. Напротив него, на восточной стороне, стоят Полистовские Ручьи с аэродромчиком и магазином. Правда, не могу сказать, что можно будет купить у Зои. Ламповые стекла если.

Их завезли сюда еще после первой мировой войны, когда существовала дорога в эти края, и все каких-то царских, небьющихся. Нынешние завозы товаров нерегулярными «аннушками» очень и очень мизерны. Может, осенью вам и удастся мешок муки выпросить, но лучше надеяться на лодку и поселок Цевло, в котором последние годы установлены в магазине пока еще бесталонные хлебные дни. Передайте в таком случае от меня привет Саше и Вале Федотовым — шоферу и секретарю сельсовета.

А посеуму надейтесь в основном только на свою силу, ловкость, сметку и молитву Бога, чтобы у власти подолее стоял кто-то один, в данном случае Ельцин. В любой переходный период обществу нужна стабильность, и меня, например, радует запущенная Гайдаром рыночная машина.

Но продолжайте. Надейтесь на мережи, которые вы будете ставить в камышах у подножья бугра, а свет добудете ветряком, видел однажды такой: из двух надрубленных и поставленных друг на друга бочек; на грибы и ягоды — не только клюквой богат берег, но и чернично-брусничные заросли будут окружать ваше пристанище сплошными

коврами. Да и орехи, малина, земляника не редкость в крае. А на Полести, как и на канале, — раки. Вадим, мой сын, не даст соврать. Он теперь, оставив позади черные армейские будни, снова бредит болотом — вспоминает, как мы с ним еще в его детстве ловили их недалеко от бугра, чтоб тут же в кипящем котелке превратить в редкий деликатес. Ну а картошку купите в деревнях — ее нарастает по восточному берегу озера столько, что весной лишки жители выбрасывают на улицу для «украшения» дорог. Говорят, последнее время они освоили самодельные дрожжи и картофель уже не выбрасывают. Но это только слухи — сами в этом вопросе, пожив какое-то время, разберетесь.

Дело в том, что, кроме лопаты, кос, топора, как я уже говорил, надо брать с собою сетку, а лучше изучить ее плетение, но... всегда у нас всюду «но», и в рдейский край могут нагрязнуг инспектора, а «плату» вы еще не освоите, а потому, по своему опыту, даю вам совет.

В тот год я жил на острове Горки Новгородские, под самым городом, в землянке, а мой зять Вова Аксаков (он родом из бесхлебного рабочего поселка Пролетарий) учил меня браконьерству. Для этого вбивайте колья в дно водоема так, чтобы они скрывались под воду, и по мере спада уровня реки вколачивайте и вколачивайте их далее к центру земли. Если же они упрутся в какие-нибудь там граниты, подпилите их ножовкой. А чтобы пеньки не белели, не выдавали своего местоположения бюрократу (инспектору в основном из оставших замполитов), крепите к торцам по пластинке коры или маскируйте их водорослями и тиной. То есть советую вам некоторое время продолжать в чем-то убогую и серую жизнь материка. Не сразу дело делается, не сразу вы обзаведетесь рацией. Будут отбирать у вас размаскированную сеть сегодня — отдайте ее, не сопротивляйтесь, плетите и плетите новые сети. В дальнейшем же сейте для этих целей коноплю и лен. Нет, лучше один лен, помните о светлом будущем нашей Республики имени Кострова. Я не буду возражать, чтобы вы ее так назвали, но только после моей смерти, и что-то (для воспитания и перевоспитания трудящихся островного объединения), перевирая и нещадно приспособившая, цитировали из моих обширных опусов. Я же со своей стороны обещаю быть координатором, откликаться на ваши запросы, распределять навечно среди желающих поселиться в Полистовье острова, отмечая занятые вами пупыри галочкой. Только хотелось бы, чтобы, как когда-то протестанты-индивидуалисты-трудолюбцы в Америку, в рдейский край переселились бы подобные люди — энергичные, деловые, сильные, напрочь лишённые рабской покорности, чтоб сделать его рдейским раем.

Но продолжаю о моем Полистовье. По реке Полисти, что начинается на нашей болотной возвышенности, полноводной и плавной, увидите уходящий вдаль и прямой, как самолетный след в небе, канал. В начале его на мысочке стоит удивительный соломенный то ли домик, то ли шалаш. Изучите обязательно его толстые сенные стены меж рядами вбитых в землю кольев и такую же пухлую крышу — вдруг вам придется очутиться в экстремальных условиях. Особенно умилила меня печка из жестиного ведра, труба, связанная из разнокалиберных консервных банок и пропущенная для несоприкосновения с сухой травой через глиняный блин с тележное колесо. Кто строил это пристанище? Бомжи? Одинокий рыбачок? Бесприютная семья беженцев? Всем рдейский край готов предоставить убежище.

Канал же, Шиповский, огромными стволами черного леса — ольхой и осиной — почти смыкается в верхах, и в тихих водах его удивленные шуки, ворочаясь под килем вашей байдарки, неохотно уступают первопроеходу путь. Вряд ли по нему когда-то плавали туристы: он черз двенадцать — пятнадцать километров (немного не дотянув до речки, впадающей в озеро Деревянец) кончается. По рассказам старожитов, по каналу, еще до быстрых колес, предполагалось освоить через Ашевку, Сороть и Великую путь из Новгорода в Псков, а если быть стратегичнее — путь из наших новгородских варяг в их прибалтийские.

А ведь наступит, дорогие поселенцы, такое время, и скоро наступит, что придется полистовчанину вернуться к речным путям, и дело не только в энергетическом кризисе: не вечно же вы будете жить замкнуто, обустроитесь, поднимете экономику, чтобы вновь глянуть на мир Божий. И тогда, господа, воды Полистовья будут к вашим услугам. Например, по Хлавице вы поплывете на юг, чтоб через Западную Двину в Днепр и далее в «греки»; по Полисти и Порусье (на север) захочется вам попасть в Вологодскую губернию и далее в Архангельск и Норвегию — пожалуйте, в вашем распоряжении речка Шульга, вы же из свободного рдейского края. В Персию — тоже можно пробраться через Ильмень и Мсту. Через Ладогу в затопленный Санкт-Петербург, чтобы ночевать в маковках его церквей, словно это новоклязьминское водохранилище...

Порой выйдешь на берег Волхова в весенние мартовские дни, смотришь, как особенно стремительно прибывает вода в реке, какие-то ураганы, ранее невиданные, возникают окрест — и в голове другие мысли: все эти стенания о гибели старинных домов, срочном, безотлагательном восстановлении храмов, споры Петросовета с мэрией, критика дамбы и так далее и тому подобное — все это детская игра в сравнении с надвигающейся катастрофой на Петроград-Ленинград и другие прибрежные скопища мира (кстати, в Америке уже перестали застраивать криминогенные берега); и только рдейский край — пупырь всего Нечерноземья, с которого на все четыре стороны света скатываются реки; не стану всем это сообщать, и есть та земля обетованная, тот Ноев ковчег, что даст нам возможность уцелеть и продолжить дело восстановления жизни на земле...

Но продолжаю свой путь по Полисти. Минуют две деревеньки — Ухопино и Борки, аэродромчик меж ними, где избушка аэропорта притулилась к самой воде, то есть псковичам через Бежаницы (Сущево) выгоднее добираться в эти места самолетом, вы попадете в Новгородскую область, в деревню Глодовскую, где отсутствует электричество. Поэтому ламповые стекла «от Зои» (так и надо говорить — «от Зои») в селении очень ценятся. И вообще жизнь рдейского края основана не на рублях, а на фразе: «Простой продукт (по-современному бартер) имеешь?» Даже клокотные отношения конкурентов-коопторговцев (граница областей) основаны на обмене. Все, что вы закажете летом, они привезут вам зимой. От дубленок до сахара, муки и бочонка атлантической сельди. Ну а если какое-то количество пудов денег вам понадобится, чтобы приобрести механизацию, живите по принципу: ни в коей мере не попадать в кабалу системе — часть клокоты припрячьте для индивидуальных оптовиков, они к вам приедут зимой и оценят ваши осенние труды соответственно, и трактор или танк (кругом же кипит, беснуется конверсия!) будет в вашем распоряжении.

А где еще я бы рекомендовал моим подопечным пристать к берегу — конечно, в «Америке». Так называют довоенный американский вагончик, настолько давно оставленный иностранными специалистами, что он весь вокруг себя пророс шестидесятилетними елями и его уже никому не сдвинуть с места. Как разыскать его, вам скажут глодовцы, подобрешные после этого подарка, да и я могу дополнить розыск сведениями — вдруг и Глодовская покинута человеком. Главный ориентир «Америки» — деревня Вороново, она в километре от вагончика.

...Вспомнил еще одно отличное ничейное место на Полисти. Не доплывая пяти минут до вагончика, по правую руку увидите озеро, скорее пруд с протокой, и огромные дубы. Мне рассказывали, что еще доаракчеевские жители, нуждаясь в красоте, сговорились не трогать этот остров, чтоб превратить его в парк. Уж не знаю, как вы поступите, я же, поставив в нем вигвам (может, постройка еще сохранилась), жил здесь целую неделю. А теперь вот иногда глянешь на фотографию, на тихую воду с перевернутыми байдаркой и деревьями в ней — остается только вздохнуть. Как нам не повезло... Как нам не повезло...

От вигвама, от «Америки» до новгородского автобуса, до Карабинца (Переезда) три часа плава по спокойной воде, в одном месте только надо будет преодолеть Серболовские буры — и вы сможете сообщаться с внешним миром через Новгородчину. Тем более в Карабинце можно будет купить вам спички и соль. Но в то же время, помня о возможном дальнейшем нашем обнищании, учитесь работать с трудом и огнем, ищите соленые источники на болоте — старорусские земли всегда славились солью, — а вместо сахара осваивайте мед. В Воронове в домике с балконом на чердаке лежала прялка, при Домше когда-то, по рассказам старожиллов, работал на сыром железе кузнец — то есть не очень-то верьте в сегодняшнюю игру по разоружению тех и наших правителей. Придет к власти какой-нибудь новый «великий гражданин» с трубкой (как все шатко у нас!) — и снова начнутся «ястребиные гонки»...

К счастью, сфаганму — отличные адсорбаторы разной дряни, пыли, окислов, углеродов, поглотители расплывающихся по стране рентгенов, температур, а потому и парниковый эффект и грязевые потоки вам на болоте не страшны. По поводу же Серболовских буров, то есть порогов в Полистовье, хочу сказать, что их на рдейской Полисти всего два. Далее река выйдет из болота и потечет вниз до Ильмея с перепадами через десятки бывших водяных мельниц.

О том, как я преодолел их в 1986 году на байдарке, я уже писал в сборнике «На древней земле» (Лениздат. 1989). Нынче только черные сваи да сливы остались от них, но возродить мельницы, чтобы вода колыхала по крайней мере хотя бы по два постава, думаю, можно будет. Но еще лучше наставить в рдейском крае на маленьких, величиною с пару соток, и открытых всем розам ветров островках крылатых мельниц. Увы, в стране, как сообщает нам ТАСС, их, действующих в Брянской области при деревне Ильино, всего одна штука, а потому звать старого мельника Карева для обмена опытом потребуются немедленно.

Ну и, кроме того, в том водяном или ветровом случае перед вами налицо вращающийся вал, то есть умелец сможет снять с него крутящий момент и для других разных целей. Например, для веретен по изготовлению тончайших кружев, если выращивать, как вспоминают деды, лен под хвостом, чтоб не матерел. Помните: «Или, бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыпется золото с кружев, с розоватых брабантских манжет».

И вообще в предвидении энергетических кризисов сажайте на вал хоть токарный патрон, чтоб точить пилястры для своих крылечек, или ходовой винт из того же дуба для давилного агрегата, лен же — это не только волокно, а и масло. Да и кирпич из глины — основа многих поделок — тоже любит формообразования с позиции силы. Мало ли для чего вам понадобится облегчающая ваш труд экологически чистая энергия воды и ветра. Наверное, в первую очередь для того, чтобы появилось у вас окошечко свободного времени для размышления обо всем, для песен за столом, для разговоров о возвышенном с соседом. Вы же будете селиться не близко, но и не далеко, на бросок камня от него, как это сделал Христос в Гефсиманском саду, удалясь для раздумий от своих сподвижников, но чтобы в случае опасности можно было прийти на помощь друг другу.

Теперь о восточной части болота, куда можно попасть только через Старую Руссу или, если мчаться до края по Рижскому шоссе, помнить о Холме и станции Локня. Главным в этих местах, конечно, будет Рдейский монастырь — еще вполне прочная коробка из кирпича-плинфы, которую определенной группе людей можно восстановить. Рдейская обитель (первое упоминание в летописях — 1666 год), рдейский край, Рдейское озеро — топонимическая цепочка, до которой можно добраться с разных точек асфальта Русса — Холм — Подберезье, деревень Наволок, Жемчугово, Чекуново, Пустыньки и главным образом Новичков, откуда ближе всего до этих земель. Внутри же монастыря советую для поселения выбрать не алтарь, где пастухи и туристы жгут костры, а келью Голубушки, конечно, придется убрать костыли, вбитые в стену, на которых партизаны когда-то распяли блаженную монашенку.

Однако продолжаю по теме. Прежде чем обосноваться в монастыре, вы, презрев шипение сотен змей в подвале, чтобы их изгнать, разложите в нем костер, а на черпа, что будут глазеть на вас изо всех углов, не обращайтесь внимания. В последние годы — годы вырождения человека, да, наверное, и не только нашего, — появились в округе гробокопатели. Они без смущения и угрызений совести в резиновых перчатках роются в могилах своих дедов, а их обобранные черпа разбрасывают по подвалам.

Порой кажется, что весь земной шарик катится куда-то не туда; 400 АЭС щетинятся на его поверхности, и появившись любые террористы регионально-местечкового уровня или мировых кланов, а то и обиженный на весь мир летчик (жена, к примеру, изменила или с жильем неувязки) врежется в станцию — и весь мир может превратиться в мутантов. И все из-за топлива, которого с каждым годом подавай ненасытному, обезумевшему прогрессу все больше и больше. Видите ли, сиять ночными огнями должны игорный Лас-Вегас или дорогая моя Москва.

Правда, ученые всего мира меня успокаивают: мол, скоро с помощью «томагавков» они внедрят термоядерную энергию — термояд на их жаргоне. И тогда тяжелого водорода, извлеченного только из одной миргородской лужи, будет достаточно, чтобы получить количество калорий, эквивалентных десяткам тонн нефтепродуктов. И вы знаете, дорогой читатель, может статься, что физики своего добьются. Но никто не задумывается (в рдейском крае все будет наоборот), что же произойдет с той вечной гоголевской лужей, если она лишится когда-то кем-то (Богом ли, природой, космосом?) заложенных и запрограммированных в ней составных частей. В том числе дейтерия и трития. «Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?»

Может даже, я не прав с клюквой, когда писал, что если разживусь валютой на болоте, то обязательно вторгнусь в природу через канадское искусственное клюкво-сеяние. Наверное, все-таки правильное оградить заповедник колочей проволокой и впустить в него количество жихарей, способное прокормиться естественными богатствами Моховщины и осторожным, почти первобытным, без минералки, хлебопашеством.

Только через такое согласие с природой и видится мне выход. А потому в моем Полистовье даже мельницы будут работать во благо — их всего-то и потребуется десятка полтора.

Ну ладно, хватит фантазировать, господин Костров, вдруг прерывает меня читатель, ведите-ка лучше меня в келью Голубушки.

Но для этого вам придется пересечь огромную церковную залу. Потолок ее теряется где-то в сумеречных верхах, за мраморным осыпающимся иконостасом

гукают таинственно голуби, на фреске среди апостолов сидит, задумавшись, Христос. Какой-то товарищ, упражняясь в стрельбе по неподвижной мишени, всадил в его лоб жакан, три вмятины поменьше роятся около сердца, и покачивается на огромной люстровой цепи в центре купола, поскрипывая костями, скелет. Про него рассказывают разные легенды: мол, это тракторист еще в далекие времена завязил трактор в болотах, кстати, труба выхлопная «ЧТЗ» до сих пор еще видна за холмом. Другая байка: два пьянчужки-охотника, те, что стреляли в Христа, заспорили у костра в алтаре, есть ли на свете Бог, матюгались на его счет, вдруг налетел ураган-смерч в выбитые окна, цепь качнулась да и зацепила люстровым крюком за новую рубашку одного спорщика (у нас как раз только-только начиналась борьба — «советское — значит, отличное»), сдернуло его с алтаря, закачало до смерти «чертову кожу», а второго двинуло по кумполу сорвавшимся ни с того ни с сего с потолка кирпичом. Я не очень-то поверил легенде, но как-то порылся в сенной алтарной трухе, оранжево засветилась берцовая кость, плюсна загремела, рассыпаясь, так что судите сами. И вообще монастырь очень сенсорен. Спокойно могут спать в нем ночами разве что люди с чистой совестью.

Ну а о покровителе обители Афанасьюшке, могилу которого периодически в прошлые годы разрывали по линии борьбы с «мракобесием» холмские комсомольцы, и о случае с писателем Юрием Казаковым над этой могилой хочу рассказать вам поподробнее.

Помнится, идти по глубокой моховой дорожке от Наволока было трудно. Шли мы хмурые, молчаливые, тогда еще болотоступов у нас не было, растягиваясь, чтоб отводимыми ветками не стегать друг друга. К вечеру блеснула наконец водная гладь. Я всегда шепчу про себя несколько слов приветия любимому Рдейскому озеру. Берега его высоки и надежны, как только выходишь на них, тотчас сбрасываешь резиновые сапоги, садишься на подстилку из хвои, прислонившись спиной к сосне, опускаешь ноги в воду.

Но мои друзья⁴, усталые, измученные переходом, почему-то не разделили моего восторга клонящимися над озером соснами, решетками Рдейского монастыря вдали на песчаном полуострове, привалом. Наконец Юра, посидев немного и не снимая сапог, вдруг заявил, что палатку здесь ставить не будем — он хочет ночевать в изобке, о которой я столько писал. «Но до нее еще шесть километров, — возразил я ему. — Чем здесь плохо: сухо, дров сколько хочешь, а красотища какая вокруг!»

В рдейский край я люблю приходить, когда садится солнце. Садилось оно и в этот раз, красное и усталое, в заозерную елочную дребедень. Так не хотелось идти дальше. Но Дима и Лида (чертовы подгослки!) поддержали Юру, мы пошли.

Последние годы что-то часто стали появляться над Нечерноземьем локальные полосовые ураганы. Не оставили они без внимания и эти места: береговая тропинка была перегоржена еще не успевшими перегнать стволами, и мы то и дело, выбиваясь из ритма движения, через них перелезали.

Монастырь издали, с края озера, по мере нашего продвижения к полуострову появлялся из-за деревьев с своими пустыми решетками все реже и реже. Наконец солнце завалилось за противоположный берег. И чем ближе мы в сумерках подходили к обители, тем яснее и яснее оформлялись в ушах сначала непонятные звуки, скрежетание внутри нее, потом «бом-бом», потянуло легким ветерком — билось где-то железо о железо. Поздним вечером продираться через огромный заброшенный монастырский сад не хотелось, да еще эти неприятные звуки — мы продолжали идти теперь уже по песчаному полуострову, огибая монастырские строения. «Куда ты меня завел? Да это же гнусный край, — вдруг сказал Юра, — даже комары не кусают!» Он, уставший до предела, уже не знал, к чему бы придраться. В своих новеллах я писал о том, что «Тайгу» брать в Чисть необязательно, и Казаков знал об этом. Ну а спутники его радостно и слаженно каноном запели: «Гнусный край, гнусный край... даже комары не кусают. Да-да-да...»

И вдруг Дима, словно ему вбили в рот кочерьяжку, резко замолк. Лида еще продолжала дакать, а Дима, сбросив рюкзак, лихорадочно рылся в нем, включил фонарик (на нас со всех углов леса уже наступала тьма) и стал писать в блокнотике: «...даже комары не кусают... я потерял голос», — преданный и верный поклонник Юрия Павловича Казакова. За ними Юра был как за каменной стеной.

Если бы знать! Но тогда еще и я не знал о всех странностях и легендах рдейского края. Это позже, когда водил в эти места одного ленинградского писателя, то на

⁴ С Ю. Казаковым были Дима и Лида Порушковы из Орла.

всякий случай предупредил его, чтоб он был вежлив и тих в полистовских болотах. И особенно при виде всяких могил, а то мало ли что... Считалось, что все это шутки Афанасия — местного святого, захороненного в прошлые времена у стен Рдейской обители. Ее с 1927 года, с момента закрытия женского монастыря, постоянно тревожили, как я уже говорил, районные атеисты, в основном в начале мая разрывали его могилу. Но упрямые старушки, словно их не убывало, на Троицу сбегались в обитель и все приводили в порядок. Порой даже неясно было, кто же в конце концов победит. А в 1989 году, сообщили мне, уже комсомолыцы, разделившись на две фракции, стали враждовать над захоронением. Была повреждена могила и в том, 1975 году, и рассерженный Афанасий легким туманцем будго бы бродил где-то в озерных даях, разными способами наказывая скептиков и маловеров.

Тогда же этот случай не насторожил моих спутников. «Он и раньше терял голос от временной усталости», — беспечно сказала Лида и вдруг схватила за сердце, за ней тяжело задышал и Казаков... А дальше в моей памяти стоит такая сцена — помнить ее буду вечно: силуэт Юрия Павловича по колено в багульнике, запрокинув «три звездочки», глотает и глотает коньяк, и видно на фоне темно-синего неба, набитого уже настоящими звездами, как неудержимо ползет вниз черный уровень жидкости (на всякий пожарный случай у меня была припрятана бутылка), а Дима отпавает Лиду валерьянкой. «Эгоист!» — хочется крикнуть мне, но я сдерживаюсь, молчу — это же Юрий Казаков, которому приходит письмо: «СССР, писателю Казакову». Сегодня он временно забыт, но «доживем до понедельника», схлынет вся эта публицистическая пена, и завтра людям снова понадобится настоящее искусство.

Потом был привал: «огнь дымистый» и чай душистый, — а наутро мы решили сходить в монастырь. У меня есть фотография: мои ведомые, опустив головы, бродят внутри здания. Чего только не было написано со времен закрытия монастыря на стенах!

Насмотревшись на остатки великолепного алтаря, взяв себе на память по лепесточку от мраморных роз, мы вышли на свет божий, и я повел своих спутников к могиле Афанасия. Как всегда, она была нарушена, а главное — исчез искусно выкованный древними кузнецами крест. И тогда Юрий Павлович предложил вкопать его снова. «Да где же он?» — «В келье Голубушки, вы что, не заметили?» Казаков вроде ходил рассеянно, молчаливо, но все замечал своими близорукими выпуклыми гляделками. «Да нет лопаты, — опять заленился я, — чем же вкапывать будем?» Дима не мог говорить, у Лиды вновь защемило сердце, и тут опять (хотите — верьте, хотите — нет) в дело вмешалась тень Афанасия. Никакой лопаты, прислоненной к дубу, росшему рядом с могилкой, не было, только Юрино ружье опиралось на ствол, и вдруг рядом оказалась отличная штыковая лопата с отполированной ручкой. И мы вырыли ею глубокую яму, приволокли из кельи крест. Казаков в его переплетения вставил поперек несколько арматурин и, забутив яму кирпичом, так крепко его установил, что как ни приедешь в край, а он стоит и стоит...

Ну а с Димой произошло новое чудо. Вот он на фотографии, положив руку на вкопанный крест, остекленев лицом и выпучив глаза, бормочет одну и ту же фразу: «Юрка, Юрка — кожаная тужурка», — добывает то, что должен был вчера высказать у костра: стихи Вознесенского, посвященные «другу Юре».

Короче: мы сделали доброе дело, и святой возвратил голос орловскому поэту Дмитрию Павловичу Порушкову. Край же словно повернулся к нам передом: из чащоб на тропу полз белый гриб, со спиннинггов срывались громкие окуни, угки впереди нас взлетали в таком изобилии, что писатель поминутно вскидывал ружье... и после выстрелов мы долго ждали падения дичи к нашим ногам. Поляны черники, гоноболи, брусники (на лесоповалах — малины) сменяли друг друга. Только подумаешь: «Нет картошки» — как у кем-то оставленного кострища, пожалуйста, лежит горка.

Потом Юрия Павловича не стало, но как, бывало, ни придешь в край, а крест, вкопанный его усилиями, все стоит и стоит. И вдруг его в конце концов кто-то расколотил. Позже скорее всего те же троицкие старушки наняли трактор и поставили на могиле мраморное распятие, но и его разломал наш российский нехристь и даже в назидание своей неутомимой деятельности тут же и орудие своего «труда» — кувалду — оставил. Правда, нижняя часть крестас горельефом сохранилась, ее до поры не трогают, вероятно, люмпены переключились на сегодняшних вождей. И еще помню: Юрий Павлович рассказывал нам тогда про Василь Василича Розанова, его (к счастью, он умер в 1919 году) не успели транспортировать, как Булгаковых — Бердяевых, за три моря. Так вот, Розанову прихожанами, как и Афанасию, был тоже поставлен уже не кованный — литой крест. Но рядом в церкви скоро сделали мастерскую для слепых, и они каждый раз, идя на работы, натыкались на него, а

потому взяли и разбили хрупкий белый чугун на кусочки. Слепые же, что с них взять! К счастью для человечества, недавно на их горизонте появился Святослав Федоров и, как ни мешают ему депутатский корпус и другие антирыночники, многим из нас возвращает зрение. Ну а из Рдейского озера, на котором стоит монастырь, вытекает река Редья; кто только ее не захламлял, не запружал, в Поддорье, райцентре, однажды полностью завалили грязью, но только остановились и облегченно вздохнули, как она снова потекла к светлому Ильмень-озеру. Вот так, а не иначе!

Возвращаюсь снова в те дни. Если вы захотите забелить настенные граффити, может, кроме только одной надписи: «Полюби эту вечность болот: никогда не иссякнет их мощь», вам придется с ломом-прощупывателем в руке сделать на юг от могилки сто тридцать маленьких шажков, чтобы наткнуться на доски ямы, где когда-то (еще до крепостного права) заложена была на гашение известь.

«Все медленно, не спеша должно происходить в этом мире, тогда толк будет», — внушал мне бывший пономарь здешних мест Иван Иванович Грозный, антипод организатора первых органов госбезопасности на Руси. Он и рассказал мне о тайнике.

Теперь про крышу монастыря. На нее ведет бесконечная, опасно вибрирующая, из корабельных сосен лестница. Когда-то при обителе существовало четыре деревни — Кокачево, Остров, Шапково и Высокое, а лестницу поставили недавние исследователи торфяного слоя, чтоб дать рекомендации нам о возможности его сдирания с поверхности земли, а заодно для себя ободрать и позолоченный купол обители. Но ничего из микронного сусального золота при переплавке у них не вышло, и тогда они водрузили, тоже расколотив центральный крест на куполе, красное знамя. Вскоре его разорвало ветром, и не стало ни креста, ни флага. А еще на центральном куполе красуется с грецкий орех малина и черная, блестящая, как глаза моей любимой Долиной, черника.

...И предпоследнее в моих опусах — для защиты своего края вам все-таки придется послать одного парня от 10 — 15 дворов в дружину имени Соловья-разбойника. Пусть хотя бы символически он защищает свою родину от разных внешних скуратовцев-спецназовцев. Другой сын пусть окончит агрономические курсы, говорят, в Литве уже есть техникум по выпуску фермеров широкого профиля. Именно широкого, потому что в этом крае крестьянину придется все делать самому: ремонтировать технику, токарить, пахать-сеять-убирать, налаживать передачи «России» или «Голоса Америки». Дочкам же советую учиться на фельдшерлиц или учительниц, а главное, чтоб поскорей и побольше рожали детишек. Крестить же вы их будете в православной церкви при Рдейском монастыре. Кому-то понадобится мечеть там, синагога, католический или протестантский храм, духоворам-беспоповцам из Сальских степей просто бревенчатый дом (и может, я к ним, а не к мусульманам примкну, я же в поиске — к кому притулиться после коммунистической пустоты, может, даже к дырникам, они обращаются к Богу непосредственно через дыру в потолке в Печорском районе Псковщины). Главное, для этих целей есть не только лес, но и глина, и полуразрушенные кирпичные плинфовые заводишки при Рдейской обители.

И, конечно, автоматически, как только окрепнет экономика края, сами собой появятся на болоте сказители и песенники, художники по росписи печей и фресок, резчики наличников и так далее... То есть красота и искусство войдут в ваше сознание сами собою, без нищенских, остаточных вливаний в культуру. Один только вид с вершины монастыря, просторы, раскинувшиеся окрест (синие озера, острова как уснувшие ежики, стальные ленты извивающихся рек и речушек, и все это на темно-зеленой замше болот), подтолкнут вас к различным выражениям вашей души, и, может, какой-нибудь новоявленный болотный Микеланджело вспомнит про камень в пол-избы. А может быть, случится и несколько иначе: сначала качественно освоим обжиг горшков, наварим, наедемся баранины, а потом уж будем обжигать разные свистульки и статуэтки.

Писаки же несчастливые, графоманы, словом, кто-то из нас, а скорее всего наши внуки, примутся и за эпос о судьбинах Рдейской Чисти. Про то, как жили в Полистовье при князьях и царях, про войну 1612 с ляхами и шведами, про святых Афанасьюшку и Василия, а главное — пусть опишут весь XX обыкновенный век, наше существование при генсеках, не забыв, конечно, и одного из жихарей здешних мест, Кострова Марка Леонидовича. И обязательно на глиняных табличках!

Но хватит теревить эту частнособственническую тему — не все же среди вас захотят такой беспокорно-фанатической жизни на первых порах, найдутся и люди, которые будут просто мечтать о выращивании бычков для города, некоем семейном подряде, полупреданные полуколхозно-общинному существованию, я же еще в начале повествования говорил о множественности мнений и поступков — только на

этом и может держаться рдейский рай. Для таких граждан я припас Груховку — остров площадью в 4200 гектаров. На нем до революции, да и после, жили 200 семейств, каждое имело до 10 коров. Немцы, приглашенные Екатериной Великой, конники Буденного, латыши, татары, другие народности, во времена нэпа еще более окрепнув, снабжали маслом и мясом не только Холм, но и Старую Руссу и Новгород. Второй Украиной был прозван остров сельчанами.

Увы, теперь там только травы и травы. Идешь лугами — в одном месте свечками стоит ятрышник, другой луг — белопенная таволга, розовый иван-чай сменяет желтый козлобородник. Растения, объединившись в сообществе и не мешая друг другу жить, поделили брошенную землю, мы же, человеки, оказались на это не способны.

Когда-то косили Груховку, но последнее время только в восточной части ее стрекочут косилки, хотя остров всего в трех километрах от асфальта, от Пустынек, и в сухие лета туда можно пробраться трактором. Вы же, уверен, набравшись сил, легко восстановите порушенную техникой дорогу — она же теперь будет в а ш а. И тогда советую обратить внимание на любопытнейшую вещь — газификацию Груховки. Еще нигде в мире и упоминания об этом способе освещения и кухонного использования не было, а на острове уже из газового болотного кармана при озере Большое Кожмино (бывшее Городецкое) дотошные немцы провели в становище свой трубопровод и пользовались метаном безо всяких ограничений. Жаль, что я еще не президент рдейского края, а то бы послал Литве несколько бочек этого волшебного топлива, а они мне в ответ на время семейную бригаду мелиораторов — только они, слышал, пунктуально и издавна умеют вести уклоны.

Еще можно достичь Груховки и по узкоколейке. Не доезжая до Холма, от дышащего на ладан леспромхоза Чекуново пойдет в глубь болот ржавеющая железка и снова появится, описав внутри края огромную дугу, где-то за городком, у поселка Сопки. Вы в этом случае поступайте так, как делают осенью одни прищипые добытчики клюквы: они привозят в рюкзаках колесики и утолнники, чтобы, собрав из них мини-дрезиночку, громыхать по Моховщине как ветер. Говорят, они даже проложили на деревянных поленьях одну рельсину куда-то в сторону от главного пути уже для велосипеда, и представляете, их действия остались безнаказанными — настолько дик и заброшен сегодняшний рдейский край! Даже часовые стрелки жители не переставляют согласно указаниям центра, а живут своими законами, и никто их не тревожит. Это еще раз говорит в пользу вашего переселения на болото.

Кстати, такие люди уже на нем появились. Из Великих Лук переехал с семьей в Ратчуслесарь Олег Сприбыль. Домшу занял гонец из Пушкина Борис Коказ, а до него там жил, но не прижился некто Малявкин из села Красного. Наиболее же упорным из них оказался Петя Горбунов из Юрьенок — это уже Тверская губерния. Вот уже более десяти лет живет он с Валей в этих местах. На сорок девятом году жизни после бесконечных ссор с женой он наконец решился — встал из-за стола, закинул рюкзак за спину, пошagal по Лиговке в сторону Московского вокзала. Три месяца жил на острове Лебединец, собирал клюкву. На заработанные деньги купил дом, развелся с супружницей (детей у них не было) и по пути в деревеньку клеил на маленьких станциях бумажки — «ищу жену»... На приглашение откликнулись три женщины — Петя выбрал ту, которая сделала в письме больше ошибок.

Но в основном, конечно, Полистовье — пустующая земля. Особенно мне, бродяге, хочется пожить уже не на Межнике, а на Старице, в чудесном, по слухам, местечке. Исходил массив вдоль и поперек, но так и не побывал, сил не хватило добраться до Червячка, так еще зовут ту Старицу, точнее, отрезок Порусьи, вдруг на два километра выходящий из-под мхов за песчаным островом Крыман.

И знаю об этом из специальной литературы, например из книги И. Д. Богдановской⁵, слышал и от сведущих, побывавших там людей про сказочную, буквально набитую испуганными лещами и судаками извилистую протоку. Якобы рыба, поднимающаяся с Ильменя по Порусье, чтобы достичь Русского озера, далее должна нырнуть в подмоховую трубу (по-местному — глухую речку) длиной в десять километров. Но первопроходцы побаиваются черного туннеля, мол, что там их ждет, на озере, и потому скапливаются на Червячке. За рыбой же слетается на Старицу всякая водоплавающая дичь, ну а берега у реки в высоких сосновых лесах, где, естественно, ожидает вас не тронутый человеком разного сорта гриб, томится никем

⁵ Богдановская-Гиенэф И. Д. Закономерности формирования сфагновых болот верхового типа на примере Полистово-Ловатского массива. Л. 1969.

не обобранная черника, а отойдете чуть подальше (особенно по левому берегу протоки) — белопенно, словно снег выпал, а позже, в июле, зажелтеет маслянисто моропка.

А далее Ивонна Донатовна Богдановская сообщает нечто интересное про разные островерхие песчаные бугры, в том числе про Крыман и Соколиную Бабочку — острова, недалекие от Червячка, — мол, возвышаясь одиноко среди болотной равнины, они производят сильное впечатление, и неудивительно, что с ними связаны многие легенды, главным образом о зарытых кладах. Вершины их обычно изрыты глубокими ямами, выкопанными искателями этих кладов.

Мне же не до находок, пусть «конвертируемую» валюту ищет молодежь, мне бы пробраться в эту тишь и пожить внутри нее без телевизоров и радиоприемников, споров между собою различных «спонсоров» целое лето, а может, и часть осени, а может, и годы, вырыть в сухих берегах землянку, питаться рыбой, грибами, ягодами и, испытав блесенку по перволедью, только тогда выйти на материк: здравствуйте! А в метрополи, глядишь, и нет никого — лишь черные, обуллившиеся обрубки леса стоят и ветер разносит обрывки прокламаций. Не дай Бог, не дай Бог, если это случится...

В нынешнем же году, в августе, собирается дойти до эльдорадо москвич Ярослав Всеволодович Михайлов с сыном Ваней. Может, кто из читателей согласится составить ему компанию? Михайлов, как он сообщил мне в письме (кстати, клоква в январе этого года стоила в Москве 800 рублей килограмм), думает начать поход со стороны Рдейского озера. Поэтому всем, кого заинтересует его путешествие, кто захочет составить ему компанию, я (с его ведома) сообщаю московский телефон Ярослава: 395-15-33.

Глядишь, за московскими энтузиастами потянутся и другие в наш благословенный рдейский край. И чем дружнее общими силами станем мы обживать Полюстовье, тем быстрее превратим его в место для жизни своей, своих детей и внуков. А значит, и уцелеем, не пропадем в наше смутное время...



В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

АЛЛА ЛАТЫНИНА

«Патент на благородство»: выдаст ли его литература капиталу?

Наш взгляд на русскую историю сегодня окрашен чертами ретроспективного утопизма. Отвергнув социалистическое настоящее ради вождя демократического будущего, мы разглядели ростки его в прошлом, возложив вину за октябрьский переворот не только на большевиков, не только на всю оппозиционную интеллигенцию, но и на литературу, в течение века атаковавшую все устои общества. Не отсюда ли радикальный вывод: литература либо должна отказаться от нравственного учительства и сделаться игрой, либо стать описанием мира, приняв действительный порядок как данность и сменив гнев на милость в отношении к капиталу, богатству, предпринимательству и предпринимателю.

Сетованиями на то, что русская литература обогнала купца, промышленника, богатого мужика, предпринимателя, полна современная пресса; автор статьи и сама внесла сюда некоторую лепту. Почему, однако, всматриваясь в историю, современный писатель (Солженицын) хочет разглядеть в фигуре энергичного разбогатевшего мужика не «кровопийцу» и «миродея», а выражение национальной энергии, направленной на созидание, в то время как для Достоевского и Толстого, Успенского и Гаршина, Чехова и Бунина приобретение богатства всегда сопряжено с моральными потерями? Не в том ли дело, что они видели перед собой «реальную натуру» и их взгляд был лишен черт ретроспективного утопизма, который заставляет нас искать в прошлом альтернативные варианты развития?

Современный художник, глядящая в окружающий его мир, пришедший на смену коммунистическому, вряд ли сделает шаг навстречу новым хозяевам мира. Литература по самой своей природе меняет местами иерархию житейских ценностей. Героем здесь оказывается не преуспевающий, а неудачник, не победитель, а побежденный.

Можно ли ожидать появления романов, «воспевающих» богача и предпринимателя в настоящем, подобно тому как воспела его современная передовая публицистика? Это, думаю, исключено. Полной гармонии художника и общества не предвидится; на наших российских льдинах не расцветет лавр, которым художник увенчал бы «победителя жизни».

РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

СПОР О СВОБОДЕ СОВЕСТИ

ВЛАДИМИР СЕМЕНКО

*

ДВЕ СВОБОДЫ

Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб.

2 Пет. 2, 19.

Где Дух Господень, там свобода.

2 Кор. 3, 17.

Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь.

2 Фес. 2, 7.

Вопрос свободы совести достаточно широко обсуждается на страницах церковной и светской печати. При этом основное внимание уделяется, естественно, разнообразному и весьма сложному кругу проблем, связанных с принятием союзного и республиканского законов о свободе совести, которые позволили Церкви жить в условиях относительной внешней свободы, независимо от секулярного государства. Обилие юридических тонкостей и чисто практических аспектов часто затемняет богословскую суть вопроса. Отходит на второй план видение этой проблемы с христианской точки зрения, изнутри Церкви, а не извне, со стороны секуляризованного мира. Думается, что весьма актуально для нашего времени звучат слова Н. А. Бердяева: «Чтобы бороться за свободу религиозной совести, нужно иметь религиозную совесть и признавать метафизический смысл свободы. Свобода религиозной совести есть нечто положительное и содержательное, а не отрицательное и формальное <...> Тот, кто формально отстаивает право свободы совести, тот обнаруживает этим отсутствие и религиозной свободы и религиозной совести»¹. Принципиальная трудность состоит в том, что указанный вопрос не может быть адекватно решен на уровне безрелигиозного сознания.

Даже достаточно поверхностное знакомство с текстами Священного Писания убеждает, что то понимание свободы, которое там дается, и то ее понимание, которое мы находим на страницах либерально-демократической печати, не просто сильно отличаются друг от друга — они несопоставимы.

Поскольку в результате грехопадения сотворенный свободным человек подпал рабству греха и тления, то в этом состоянии падшести он согласно христианскому пониманию принципиально несвободен: о какой свободе может идти речь для того, кто является рабом греха? Свобода обретается лишь в приобщении к жертве Искупи-

¹ Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М. 1989, стр.193.

теля, в смирении, ограничении своей самости, в отказе от богоборческого своеволия, на узком пути спасения. Вне Христа, вне приобщенности к божественной реальности Пресвятой Троицы человек в принципе не может быть свободен. В Новом Завете дается такое понимание свободы, из которого явствует принципиальная несовместимость ее со злом и своеволием. «Такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, — как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии» (1 Пет. 2, 15 — 16). В этом тексте, как и во многих других местах Писания, свобода выступает как нечто неотделимое от следования воле Божией. Лжеучители, обольстители, еретики и лжепророки, выступающие за «свободу» проповеди своих ересей и лжеучений, обещающие свободу, «будучи сами рабы тления», не имеют с подлинной свободой ничего общего.

По учению святого апостола Павла, так называемая свобода выбора сводится к выбору между двумя законами: законом «ума» и законом «плоти». «Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божию; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих... Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» (Рим. 7, 21 — 23, 25). Апостол предупреждает: «Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных» (1 Кор. 8, 9). «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти» (Гал. 5, 13; см. также Рим. 6, 20 — 22). Вполне недвусмысленно говорится о свободе и в Евангелии от Иоанна: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными... Всякий, делающий грех, есть раб греха... Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8, 32, 34, 36). Христианство упраздняет мирское, языческое понимание свободы и рабства: «...раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным есть раб Христов» (1 Кор. 7, 22).

Итак, не может быть и речи о свободе человека в состоянии греховности. Свобода падшей твари не может быть актуализирована силами ее самой, без участия благодати Духа Святого. Но потенциально свобода безусловно содержится в богосотворенной человеческой личности. Для лучшего уяснения этой реальности стоит обратиться к чеканным формулировкам выдающегося русского богослова Вл. Лосского. В своем «Очерке мистического богословия Восточной Церкви» он, разбирая вопрос о соотношении между дарованной человеку при сотворении непреходящей свободой и рабством греху, пишет, что человек призван стать богом по благодати. «Святой Василий Великий говорит, что человек есть тварь, получившая повеление. стать богом»². Это «не есть принуждение. Как существо личностное, человек может принять или отвергнуть волю Божию. Он остается личностью даже тогда, когда далеко уходит от Бога», но, конечно, и «тогда, когда содельывается совершенно подобным Ему в своей природе <...> Таким образом, выбирает ли человек добро или зло, становится Богу подобным или неподобным, он свободно обладает своей природой, потому что он — личность, сотворенная по образу Божию. Однако поскольку личность неотделима от существующей в ней природы, постольку всякое природное несовершенство, всякое ее «неподобие» ограничивает личность, затемняет «образ Божий». Действительно, если свобода принадлежит нам, поскольку мы личностны, то воля, по которой мы действуем, есть свойство природы <...> Природа хочет и действует, личность — выбирает; она принимает или отвергает то, что хочет природа. Впрочем, по мысли св. Максима, эта «свобода выбора» сама уже есть несовершенство, ограничение истинной свободы (здесь и далее курсив мой. — В. С.): совершенная природа не нуждается в выборе, ибо она знает добро естественным образом; ее свобода обоснована этим знанием. Наш свободный выбор говорит о несовершенстве падшей человеческой природы, о потере подобия Божьего. Затемненная грехом, не знающая больше истинного добра, природа эта устремляется чаще всего к тому, что «противоприродно», и человеческая личность всегда находится перед необходимостью выбора; она идет вперед ошупью. Мы называем эту нерешительность в восхождении к добру «свободой воли». Личность, призванная к соединению с Богом, к совершенному упокоению — по благодати — своей природы природе Божественной, связана с природой урезанной, искаженной грехом, разрываемой противоречивыми желаниями. Познавая и желая по своей несовершенной природе, личность практически слепа и бессильна; она больше не умеет выбирать и слишком часто уступает побуждениям

² Это место Лосский цитирует по кн. «Творения св. Григория Богослова». М. 1844, ч. IV, стр. 104.

природы, ставшей рабой греха. Таким образом то, что в нас сообразно Богу, втягивается в бездну, оставаясь в то же время свободным в своем выборе, свободным снова обратиться к Богу»³.

Итак, возможность так называемого свободного выбора между добром и злом, открывающаяся перед человеком в эмпирическом мире, возможность, к которой по традиции как к чему-то позитивному апеллирует либеральное сознание, является сама по себе последствием грехопадения, искажившего богосотворенную природу человека: если бы человек не пал, он, полный незамутненного знания о добре, устремился бы к добру естественным образом.

По мысли святых отцов, «свободный выбор» является в значительной степени иллюзией, поскольку свобода личности в нем затемнена грехом. Помня об этом, мы, естественно, не можем не задаться вопросом: почему же в состоянии райской безгрешности, когда искаженная грехопадением природа не тяготела над чистым актом личной воли человека, он все-таки пал? Не намереваясь вдаваться в исследование обширнейшей литературы, имеющейся по этому вопросу, укажем лишь на самоочевидный факт, что интересующая нас «свобода выбора» не просто появляется в результате грехопадения, она в определенном смысле лежит у его истоков.

Сущность соблазна, подсказанного змием, и последовавшего за этим грехопадения состоит не в выборе зла вместо добра (не будучи самостоятельной сущностью, а являясь лишь отсутствием блага, зло не может служить равноправным заместителем последнего), а в ложном, искаженном понимании свободы. Следуя своей сатанинской природе, змий искажает, «пародирует» Божественный дар свободы, подсовывая людям вместо свободы пребывать в добре, свободно и без принуждения служить Господу, пресловутую «свободу выбора». Как явствует из текста Писания, сущность грехопадения состоит не в том, что прародители «сознательно» выбрали зло (которого в раю просто не было), а в том, что ими была осознана сама возможность такого выбора, в результате чего зло и было введено в дотоле безгрешный мир (см. Быт. 3, 4—6). Вспомним, что запрет Бога относится не к совершению зла (безгрешный человек его не совершает по своей природе), а именно к познанию добра и зла, к познанию, которое, собственно, зло-то и рождает (см. Быт. 2, 16 — 17). Зло, которого Бог не сотворил, будучи порождением демонической воли, вводится в мир в результате того, что свобода человека осознается самим человеком в качестве свободы выбирать между добром и злом как между двумя равноправными субстанциями: зло осознается как реальность, могущая служить объектом познания и устремления человеческой воли. Оно актуализируется, и вместо обладания богоподобной свободой личность с необходимостью «выбирает» зло и попадает в рабство закону тления. Ибо, поскольку ничего не сотворенного Богом сатана все равно сотворить не может, актуализация зла в мире есть в конечном счете не что иное, как устремление воли человека к небытию, устремление, увлекающее за собою и всю тварь.

Либеральная иллюзия о существовании нескольких равноправных путей для человека в этом мире, основанная на неверии в Божественную реальность, есть нечто прямо противоположное христианскому учению о единственно спасающем узком пути, связывающем падшего человека со Христом и через эту связь открывающем перед ним возможность победить грех и смерть, вновь обрести утраченную в результате грехопадения свободу.

Хорошо уяснив эти истины, мы можем теперь обратиться непосредственно к проблеме так называемой свободы совести. Активные дискуссии в этой области велись в России в начале века на страницах периодической печати⁴ и на заседаниях Петербургского религиозно-философского общества.

В наше время лозунг свободы совести вполне правомерно выдвигается Церковью и общественностью с целью защиты верующих и их законных прав перед лицом атеистического государства. Эти усилия — установить демократический порядок в отношении Церкви — являются вполне позитивной тенденцией, особенно в свете совсем недавнего прошлого, когда секулярное государство едва признавало право религии и Церкви на существование и строило свою политику исходя из представления, что «религиозные предрассудки» в скором времени должны отмереть. Поэтому достижение внешней свободы для Церкви и верующих, установление в обществе духа терпимости было бы безусловным прогрессом в сравнении с недавними гонениями.

³ Лосский Вл., «Очерк мистического богословия Восточной Церкви» (в кн.: «Богословские груды». Сб. 8. М. 1972, стр. 67 — 68.

⁴ См., например, журнал «Миссионерское обозрение».

Однако в начале века лозунг свободы совести был главным образом лозунгом движений, носивших плохо замаскированную антихристианскую направленность. Проблема свободы совести усиленно выдвигалась на первый план не представителями какой-либо из христианских конфессий или сект и не приверженцами иных вероисповеданий, а либеральными журналистами, юристами, общественными деятелями, выступавшими противсамого принципа православного государства и стремившимися в конечном счете добиться отделения Церкви от государства, секуляризации последнего.

В этом плане весьма показательным является, например, доклад М. А. Стаховича на Орловском миссионерском съезде 1901 года, вызвавший бурную полемику. Уже в самом начале доклада Стаховича наряду с формальной апелляцией к тексту Священного Писания происходит необычайно характерная подмена христианского понимания свободы либеральным, при котором свобода во Христе уступает место свободе «хотения» и произвола. «Иде же Дух Господень — ту свобода, — цитирует Стахович. — Значит ли это, что где, по-нашему, дух не Господень, там не должно быть и свободы? Или, может быть, это значит, что где нет свободы, там нет и Духа Господня, без которого православие не может творить ничего...» Произведя, таким образом, подмену смысла новозаветного текста на противоположный при демонстративной апелляции к авторитету Писания, Стахович развивает эту мысль дальше: «Где нет свободы для слова, свободы для мнения, свободы для сомнения, свободы для исповедания, — там нет и места для дела веры, там не повеет Дух Господень, там пребудут бессильными все старания, всякое рвение!»⁵ Данное высказывание является ярким примером типично либерального и принципиально секулярного мышления. В приведенном Стаховичем новозаветном тексте свобода связывается с присутствием Духа, с полнотой бытия, понимается положительно. В высказывании же самого Стаховича свобода связывается в конечном счете с отсутствием внешнего принуждения (достаточно абстрактно истолкованного), с пустотой небытия, понимается отрицательно. Происходит нечто подобное описанному у нас выше акту грехопадения: обретение свободы во Христе и Духе Божием подменяется возможностью «выбирать» один из путей, предоставляющихся человеку в условиях полного отсутствия какой-либо внешней силы, ставящей властный запрет на пути его греховных страстей. Единственность и абсолютность свободы во Христе заменяется лживой «свободой», своеволием падшего человека в условиях «плюрализма».

В свое время Вл. Соловьев, противопоставляя характерный для новоевропейской философии подход в решении вопроса о свободе воли ходу мысли античных мудрецов, писал, что в последнем «еще не было нашей отвлеченной антиязы между свободой, в смысле независимости от всякого мотива, и необходимостью, в смысле перевеса сильнейшего мотива во всяком случае. Эти <...> философы слишком были заняты внутренним *качеством* мотивов. Подчинение низшим, чувственным побуждениям они считали рабством, недостойным человека, а его сознательное подчинение тому, что внушал универсальный разум, было для них настоящею свободой, хотя из этого подчинения достойные и добрые действия вытекали с такою же необходимостью, с какою из подчинения бессмысленным страстям вытекали дурные и безумные поступки»⁶. Спор о свободе совести в России на рубеже веков являет собой пример столкновения подобных подходов. В своей борьбе против «внешнего принуждения» христианской власти либеральные мыслители начала века, естественно, не задумывались о «внутреннем качестве мотивов», которыми будут руководствоваться люди при отсутствии этого принуждения. (Это качество в полной мере проявило себя в XX веке.)

Не случайно основным пафосом борьбы за «свободу совести» при видимой объективности ее глашатаев была свобода не столько даже для сектантов (немногочисленные и весьма мягкие преследования сектантов использовались лишь как предлог для нападков на православную монархию, на самый принцип государственного охранения религии), сколько в первую очередь для неверующих. Речь лишь по видимости шла о нейтральности государства в отношении различных религий и атеизма. В действительности «свобода совести» была нужна для легализации именно отпадения и именно от Православной Церкви.

Опять-таки повторялась вышеописанная ситуация грехопадения: змий предлагает «свободу выбора» как высший дар (своего рода «прыжок из царства необходимости в царство свободы»), а между тем прекрасно знает, что сам-то он давно уже выбрал зло.

⁵ «Миссионерское обозрение», 1901, № 11, стр. 530.

⁶ Соловьев Вл., «Свобода воли = Свобода выбора» (Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1900, т. 57(XXIX), стр. 163).

Государство, охранявшее господствующее положение православия в обществе, при всех своих недостатках в идеале было призвано как бы удерживать людей от своего рода второго грехопадения, от нового вкушения с древа познания добра и зла и подмены свободы во Христе бесовским искажением ее — свободой вновь отпавшей от Бога воли, то есть свободой произвола. Поэтому главный удар либерального свободоумия был направлен в действительности не против деспотизма (наличие которого в России в то время являлось в значительной степени плодом фантазии известной части интеллигенции), а в сердце российского уклада — идею симфонии Церкви и государства.

Стахович в уже упоминавшейся нами речи говорил: «Меня спросят: — Чего же вы хотите? Разрешения не только безнаказанного отпадения от православия, но и права безнаказанного исповедания своей веры, то есть совращения других? Это подразумевается под свободой совести? Особенно уверенно среди вас, миссионеров, я отвечу: да, только это называется свободой совести... Запретным пусть будет не вера, а дела, не чувство, а поступки»⁷. В этом контексте неясно, чем же «дела» отличаются от «веры», если требуется свобода безнаказанного совращения других. По справедливому замечанию оппонентов Стаховича, это как раз тот случай, в котором апостол учит «заграждать уста» «обольстителем и лжепророкам», уловляющим «в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении» (2 Пет. 2, 18).

Многие участники дискуссии, стоявшие на охранительных позициях, обращали внимание на уже указанную нами подмену понятия свободы. «...снимая всякие границы для свободы, этим самым лишают свободу именно того, что ограждает ее от порабощения, что обеспечивает ей полнейшую независимость, что, наконец, сохраняет в ней самое существо свободы, — писал, например, протоиерей А. Иванов в статье «Свобода и совесть». — Человеку дано от Бога право свободно выбирать добро или зло. Но это не значит, что самый факт выбора чего бы то ни было, безразлично — добра или зла, есть во всяком случае осуществление свободы <...> свободный выбор не может падать ни на что другое, кроме добра. Разумный выбор: вот едва ли не главный признак истинной свободы <...> Испорченная воля, ослепленный разум, ослабленная совесть, это все равно, что потерянная свобода, нравственное рабство»⁸. Приводя известный текст: «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Добраго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7, 18, 19), автор указывал, что не может идти речь о свободе, когда человек делает то, чего не хочет. Очевидно, что в этом случае мы имеем дело с порабощенной свободой. «Свобода по существу своему есть именно <...> нравственная необходимость делать только добро, исполнять волю Божию, делать только то, чего требует наша духовная природа, созданная по образу Божию. <...> Веруй, как хочешь, молись в своем доме или в своем храме кому и как угодно: вот свобода вероисповедания или веротерпимость, допущенная в православном государстве. Но не смей совращать православных, ставить им соблазн: вот ограничение этой свободы, необходимое для ограждения свободы православных в их религиозных верованиях», — заключает этот православный священник⁹.

Как справедливо указывали некоторые участники дискуссии начала века, спор о свободе совести в конечном счете был спором о религиозном призвании государственной власти. Должно ли государство взять на себя дело внешнего охранения и защиты веры, не вмешиваясь во внутренние дела Церкви и различных вероисповеданий и не допуская вмешательства Церкви в свои мирские дела, или же оно должно носить принципиально светский, безразличный к делам веры характер и быть одинаково терпимым к тому, во что верят его граждане, будь то Пресвятая Троица и Господь наш Иисус Христос, пантеон языческих богов, «высшее нравственное начало», «великий архитектор вселенной» или сатана?

Служащий Священного Синода и религиозный публицист В. А. Тернавцев в своем ответе Стаховичу подчеркивал, что борьба либеральных кругов за дехристианизацию государства в действительности выражала их стремление не к терпимости как таковой, а к установлению нового союза Церкви «с мирской и, в сущности, революционной свободой» и, соответственно, к подрыву в Церкви самого духа церковности. «Вместо старой лжи — мертвящей опеки государства, г. Стахович предлагает другую ложь: разрыв с государством, полную свободу отпадения и совращения <...> — писал В. А. Тернавцев. — Не эту свободу *верить, во что хочешь*,

⁷ «Миссионерское обозрение», 1901, № 11, стр. 535..

⁸ Там же, 1903, № 12, стр. 180, 181

⁹ Там же, стр. 182, 184

хоть в дьявола, принес на землю Спаситель, не она благословляется Церковью <...> В голом праве верить, во что хочешь, не заключается самого главного — искания Лица Божия и веры в Него. И замечательно, если человек ищет Бога, найдет и свободу, ибо только в Боге свобода. Если же человек ищет права верить — не верить, — права, как Бога, или скорее, как кумира, — не найдет ни Бога, ни свободы. И это везде и во всей своей истории»¹⁰.

Путь от христианской государственности к отделению Церкви от государства и провозглашению свободы совести есть, по Тернавцеву, не путь от меньшей свободы к большей свободе, а не что иное, как новое отпадение от христианства в язычество. Говоря о гонениях на первых христиан в Римской империи, некоторые авторы подчеркивали, что языческий мир в принципе был довольно терпим к различным верованиям. «Свобода» верить или не верить во что хочешь была в нем осуществлена в полной мере. «Ни одна политеистическая религиозная система не возвышала голоса в пользу своего абсолютизма: они мирно уживались совместно, даже выработался практический символизм такой толерантности, так называемый пантеон»¹¹. Язычеству был чужд дух христианского прозелитизма, основанный на монотеизме. Между тем гонения на христиан за их веру отличались особой жестокостью. Это объяснялось именно тем, что никакой терпимости в смысле безразличия и теистического плюрализма, свойственного язычеству, в христианстве нет; для тех, кто стоит внутри Церкви, истина Христова единственна и несомненна, для внешних же Откровение есть «огнь пожигающий», лишающий их внутреннего самоуспокоения в свойственной язычеству свободе произвола. Откровение кладет конец «свободе совести» — его можно принять или отвергнуть, но нельзя относиться к нему индифферентно. «Христианство подавляло в язычестве внутреннюю свободу его, убивая в нем чувство его религиозной и нравственной правоты, — говорил Тернавцев на одном из религиозно-философских собраний. — «Свобода» христиан была узами для язычников <...> Вера христиан в грядущий суд, проповедь, а главное, заразительное опущение близкого конца мира — это парализовало в язычестве и *желание, и право жизни*». Преследование христиан «было мстью за тяжкое лишение внутренней свободы *«верить во что верится»* и жить по такой свободе <...> Чувство пленничества являлось у язычества всюду, где вспыхивало христианское откровение <...> В этой борьбе язычество стояло за свободу веровать во что верится, против христианства, которое лишь во Христе возвещало освобождение и новую жизнь»¹².

Вполне очевидно, что либеральный пафос борцов за «свободу совести» в начале века был восстанием новой языческой совести против порабошавшей ее свободы Благой Вести, возвещаемой христианством. Суть дела состояла не в допустимости или недопустимости так называемого насилия (правильнее было бы употребить предложенный позднее И. А. Ильиным термин «физическое понуждение»¹³). По словам епископа Ямбургского (впоследствии митрополит и Патриарх Московский и Всея Руси) Сергия Страгородского, у того, кто усиленно апеллирует к веротерпимости, своя собственная вера недостаточно крепка.

Внешняя жизнь людей в государстве есть область, качественно отличная от внутренней, мистической жизни Церкви; ни одно земное царство никогда не будет тождественно Царству Божьему; но следует ли из этого, что христиане должны стремиться к тому, чтобы любое земное царство, остающееся за оградой Церкви, обязательно носило принципиально секулярный, нехристианский, языческий характер? Или же христиане, следуя духу своей веры, не могут не стремиться весь мир сделать христианским, пронизать его светом Христовой истины?

По словам К. П. Победоносцева, «государство безверное есть не что иное, как утопия, невозможная к осуществлению, ибо безверие есть прямое отрицание государства. Религия, и именно христианство, есть духовная основа всякого права в государственном и гражданском быту и всякой истинной культуры. Вот почему мы видим, что политические партии, самые враждебные общественному порядку, партии, радикально отрицающие государство, провозглашают впереди всего, что религия есть одно лишь личное, частное дело, один лишь личный и частный интерес»¹⁴. «Призрак мирской свободы целое столетие манем своею кажущейся человечностью и истиной», — говорил Тернавцев, подводя итог дискуссии. Свободы совести

¹⁰ Там же, 1901, № 11, стр. 521, 522.

¹¹ «Записки Петербургских религиозно-философских собраний (1902 — 1903 гг.)». СПб. 1906, стр. 134.

¹² Там же, стр. 202, 203.

¹³ См.: Ильин И. А. О сопротивлении злу силою. 2-е изд. Лондон. 1975, стр. 45.

¹⁴ Цит. по: «Церковный свет и государственный разум. Опыт церковно-политической хрестоматии». Сост. В. М. Скворцов. Вып. I. СПб. 1912, стр. 46.

«добиваются лишь как средства и под ее знаменем проводят дело партий и национальных ненавистей <...> И союз Церкви с атеистической и революционной свободой не будет ли для Церкви постыдным любодеением? <...> Сама Церковь этого никогда не сделает. Могут говорить люди *от имени Церкви*, но это будет обман, который сам отомстит за себя»¹⁵.

Нужно сказать, что сторонники церковного взгляда на свободу совести, высказывая это предупреждение, сами прекрасно сознавали, что оно скорее всего не будет принято во внимание: предчувствие грядущих катастрофических событий ошутимо витало в атмосфере дискуссии. В своем заключительном слове В. А. Тернавцев говорил, что «за временами бедственными наступят времена еще более бедственные». Общая тенденция времени отчетливо давала себя знать как извращение «самого представления о Церкви и ее священной загадке»¹⁶. Принять ее значило «девять веков терпения и надежды растоптать, как обман, ни к чему не приведший. Один ведь нераздельный человек действует как в Церкви, так и государстве. За те и другие дела он явится к ответу в день суда. <...> Противоречие между верою частного человека и безбожием общественного деятеля раздирает жизнь как государства, так и Церкви, ибо вера здесь обращается в «огнь пожигающий»; и тогда нам лучше было бы не знать христианства совсем и не принимать крещения»¹⁷.

Решать проблему свободы совести, по мнению Тернавцева, должно религиозное государство. Именно эта мысль о религиозном призвании государства, а отнюдь не слепое охранительство по отношению к существовавшему в то время в России государственному строю составляла основу пафоса противников либерального взгляда на «свободу совести». Они отнюдь не стремились затушевать негативные последствия той излишней зависимости Церкви от государственной власти, которая имела место в России в синодальный период, когда равновесие двух властей, свойственное «симфонии», было нарушено. Но истоки этих негативных последствий были вовсе не в самой идее «симфонии», а в ее искажении. «Для Церкви была гибельна своекорыстная опека государства, и это потому, что государства не ставили себе задачей социальное исполнение заветов Христовых»¹⁸. Однако даже при всех этих «искажениях» в XIX веке Российское государство отличалось такой степенью терпимости к инаковерию, которая может служить примером не только провозгласившему «свободу совести» большевистскому режиму, но и демократическому Временному правительству, которое в лице обер-прокурора Святейшего Синода В. Н. Львова «пыталось «освободить» Церковь от опеки государства путем глубокого государственного администрирования»¹⁹.

Но поскольку принцип веротерпимости отнюдь не предусматривает ложногуманистической вседозволенности, а, напротив, предполагает, что меч, находящийся в руках государственной власти, при необходимости может использоваться по отношению к разным проявлениям зла, необходимо вкратце остановиться еще на одной необычайно важной проблеме — проблеме так называемого государственного насилия в христианском государстве. Она стоит в центре уже упоминавшейся работы И. А. Ильина «О сопротивлении злу силою». Автор весьма убедительно показал, что боязнь так называемого насилия, испуг при одном упоминании о возможности «насилийственного» сопротивления злу, столь характерный для традиционно интеллигентского и либерального сознания, возникает вследствие смешения понятий. Ильин показывает, что насилие имеет духовную природу. Оно обращено на подавление свободы личного духа и коренным образом отличается от того, что философ называет заставлением. Насилие, утверждает Ильин, это предосудительное заставление, исходящее из злой души и направленное на зло. Признаком насилия является, по Ильину, наличие принципиально злой воли, а отнюдь не употребление физической силы или внешних средств принуждения. Чисто внешнее понимание насилия, основанное на фетишизме тела, не учитывает, что тело есть низшая из составляющих человеческого существа. Если некое действие направлено на то, чтобы лишить человека внутренней свободы, унижить и растоптать его духовное «я» (ситуация, столь разносторонне и виртуозно исследованная у Достоевского), то в этом случае мы имеем дело с подлинным насилием, которое в своих наиболее утонченных и опасных для личности формах отнюдь не обязательно связано с применением внешних средств принуждения. Если же действие направлено на то, чтобы поставить властный запрет на пути греховных страстей человека, защитить невинных людей от злодея и т. д. пусть даже

¹⁵ «Миссионерское обозрение», 1901, № 11, стр. 525, 524.

¹⁶ Там же, стр. 526.

¹⁷ Там же, стр. 527.

¹⁸ Там же, стр. 524.

¹⁹ Регельсон Лев. Трагедия русской Церкви. 1917 — 1945. Париж. 1977, стр. 27.

и при помощи внешних средств принуждения, то в этом случае мы имеем дело не с насилием, а с «понуждением» или «заставлением», служащим благой цели. Материалистическое и позитивистское сознание либерального интеллигента благоговееет перед телом. Но почему, спрашивает Ильин, мы должны благоговееет перед телом злодея, если сам он не благоговееет перед лицом Божиим?

Основываясь на сказанном, можно сделать вывод, что христианское государство в своем подавлении зла не затрагивает свободы личного духа человека. Оно ставит властный запрет на пути его греховных страстей, могущих стать опасными для общества. Если вспомнить использованные Вл. Лосским понятия «лицо» и «природа», то можно будет сказать, что принуждение в христианском государстве не касается свободы выбора человека, которая, как мы помним, относится к его личности; «внешнее понуждение» относится здесь к греховной и устремленной ко злу воле человека, которая есть свойство его природы. Задача христианской государственности — не подавление свободы личности, а как раз внешняя помощь последней в освобождении от «рабства греху», освобождении, которое само по себе является, конечно, духовной задачей внутреннего человека. Порочный человек может скорее обратиться на путь добродетели, если общество и государство мешают ему реализовывать свои дурные наклонности, чем если они предоставляют ему полную свободу в этом. Понятно, что внешняя роль христианского государства не может не быть неразрывно сопряжена с внутренней воспитательной и духовно-просветительной работой Церкви. Цель Церкви — абсолютна. Это — спасение. Цель христианского государства — относительна. Оно не может полностью одолеть зло, имеющее духовную природу, но может ограничить его, не дать ему захватить весь мир. Христианское государство — это и есть «удерживающий», о котором говорит апостол (2 Фес. 2, 7).

Итак, как мы знаем, упорные старания либеральной и леворадикальной интеллигенции увенчались успехом: многовековой союз Церкви и государства в России был разрушен. Это событие, как нам представляется, завершает долгий период секуляризации нашей страны, открывая период строительства «новой жизни» на внехристианских основах. Пресловутое отделение Церкви от государства было весьма характерным симптомом, высветившим общий дух времени — дух отпадения, предательства, мистического прелюбодеяния с князем тьмы, но и дух мученичества, стояния в вере, противления силам зла. «После 1917 года произошло не только отделение Церкви от государства (точнее, государства от Церкви), но и их разделение. Они прямо встали одесную и ошую»²⁰.

Случайно ли одним из первых декретов большевистского правительства был декрет об отделении Церкви от государства? Отнюдь нет. Для того чтобы начать планомерную работу по растерзанию тела России и растлению ее духа, новым властителям необходимо было прежде всего придать видимость законности преграде на пути какого-либо влияния Церкви на жизнь страны. И именно это-то стремление убить саму идею и память о Святой Руси считается порой позитивным «завоеванием Октября», открывшим путь к истинной свободе Церкви!

Очевидно, что конфликт между Церковью и новой властью, который иногда пытались представить как чисто политический, был неизбежен, ибо речь шла о разрыве почти тысячелетних связей в глубине народного духа, о ломке коренной установки лучших из русских пастырей на духовное руководство жизнью. Разрыв государства с Церковью, фактически происшедший еще до Октября 1917 года, знаменовал собою начало не периода свободы Церкви от «порабошавшего» ее государства, а периода новых гонений на христиан, чья вера стала теперь помехой для государственного строительства. В конечном счете провозглашение «свободы совести» стало симптомом уничтожения реальной свободы, которая в России была. Отнятие «удерживающего» — православного государства, являвшегося единственной и довольно уже расшатанной к февралю 1917-го преградой на пути людских страстей и пороков, — неизбежно привело к разнузданию этих страстей, невиданному разгулу насилия, потокам крови, то есть к реализации безбожной и ничем уже не сдерживаемой «свободы». В результате в России возник невиданный по деспотизму режим, при котором какая-либо внешняя свобода оказалась в принципе невозможной. Абсолютная безрелигиозная «свобода» с неуклонной закономерностью трансформировалась в абсолютное рабство. Потоки расплавленного хаоса застыли и превратились в массивное здание тоталитарного государства. Теперь это здание снова постепенно расплавляется...

²⁰ Карпец Владимир, «Российское самодержавие и русское будущее (На пути к православному государствоведению)» (Альманах «Выбор» [без года], № 8, стр. 226.

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА

*

РОКОВОЕ СЛОВО

В статье В. Семенко «Две свободы» затронуты два громадных вопроса. Первый, метафизический: о человеке как таковом; второй, общественный: об отношениях между человеком, Церковью и государством.

Конечно, наши рассуждения по первому пункту будут интересны тем, кого задевают за живое такие «абстрактные», непрактические на первый взгляд проблемы, как свобода воли, и такие упрямые антиномии, как отношения между свободой и истиной, свободой и добром.

Я тоже начну с Бердяева (ничего не имея против стихийно установленного ныне регламента обращаться к его мнению). Этот рыцарь вольнолюбия и творческого порыва всю жизнь воевал против «формального», «школьного» понимания свободы воли как свободы выбора, стремясь расчистить умственную сцену для свободы без берегов — «положительной творческой мощи, ничем не обосновываемой и не обуславливаемой, льющейся из бездонного источника»¹, из «ничто». Иначе говоря, пафос творца, не стесняемого Божественной волей, который вдохновлял Бердяева воспарить над бескрылой «свободой выбора», прямо противоположен озабоченности послушника, вернее, наставника в послушании, автора «Двух свобод», который хотел бы освободить людей от этого сомнительного дара, чреватого непредсказуемыми уклонениями от истинного, благого пути. Желание так или иначе обойтись без свободы выбора роднит, как видим, полярные умонастроения.

Между тем, сколько бы философ ни провозглашал онтологическую первичность свободы, которая, по словам Бердяева, есть «не только в конце, но и в начале», однако если признавать права мышления, а не только внушения, то совершенно необходимой предпосылкой признания человеческой свободы окажется ответ именно на «формальный» вопрос о свободе выбора, то есть на вопрос о независимости воли от внешних причин и о ее способности начинать ряд действий в качестве их первопричины. Только дав себе отчет в такой формальной свободе, мы получим право говорить о свободе вообще, о пребывании в свободе содержательной. А то может получиться, что никакой свободы нет, а есть лишь ее иллюзия, — как у «камня» из знаменитого рассуждения Спинозы, камня, который летит вниз по природным законам тяготения, но, будучи наделен сознанием, воображает себя свободным.

Свобода воли, в смысле свобода выбора, — не только не «школьный» вопрос, но он принадлежит к последним, «проклятым» философским вопросам («школьный» он, может быть, в том лишь смысле, что его нельзя обойти). Разрешение его необходимо, ибо этого требует вменяемость человека и его ответственность за свои поступки; но оно же до конца, средствами одного только разума, невозможно, ибо тут предполагается б е с п р и ч и н н о е и в то же время н е с л у ч а й н о е действие. На последней глубине человеческая свобода, непостижимая для рационального мышления, может быть тем не менее постигнута во внутреннем опыте. Однако это последнее постижение в свою очередь невозможно без того, чтобы рассудок не выполнил свою часть работы, не прошел весь посильный для него путь до конца.

Причем, как бы ни была трудна метафизика свободы и как бы ни была опасна свободная воля человека на деле, однако, устремляясь через ее голову к «высшей свободе» — положительной ли стихии творчества, по Бердяеву, или Божественной благодати, как ссылается В. Семенко на Послание к Галатам (5, 4), — мы теряем по дороге самую суть свободы, даем испариться ее эссенции («Если соль потеряет силу, то чем сделать ее соленою?»). Не признав, не осознав неотъемлемости метафизического права человека на выбор и его способности к независимым от всех детерминаций решениям и действиям, мы никогда не сможем отличить свободу от несвободы. И сколько ни будем потом повторять «это сладкое слово — свобода», слаще нам не станет, а под ее обликом смогут выступать самые разные варианты необходимости. Но ведь необходимость, как ее ни принаряжай и ни переименовывай, в свободу так и не превратится.

Именно такого рода обесслаивание, или, если хотите, обессоливание, человеческой свободы, и в том числе свободы совести (которая есть свобода воли, приложимая к вопросам веры), происходит в богословствовании В. Семенко. Как и полагается в подобных случаях —

¹ Бердяев Н. А. Смысл творчества. М. 1916, стр. 140.

в случаях борьбы со свободой воли, — опирается оно на высокие авторитеты святых отцов во главе с апостолом Иоанном, а также на мнения заслуженных теологов. Но единомышленники ли они нашему автору?

Вгляди́мся в евангельский контекст знаменитой максимы об Истине, которая делает человека свободным. Здесь идет речь не о метафизической проблеме — свободе воли и не о двух видах свободы, от одной из которых будто бы требуется отказаться во имя другой, а о конечном освобождающем благе, которое как раз и есть результат верного выбора. Говоря о том же предмете, апостол Павел использует слово «рабство» в характерной для Нового Завета стилистике, где парадокс на грани эпатажа призван перевернуть старые истины жизни. Оказывается, человек, который в своевольной жажде поддается соблазнам «ветхой» природы, непременно становится ее пленником, а тот, кто послушно идет в «рабство» к Богу и отдает, казалось бы, всю свою волю в подчинение, наоборот, освобождается от давления стихий, обретает благодатный мир с самим собой и высшие радости «Царствия Небесного» (ибо «иго Мое легко»).

Выражаясь на языке богословия, после грехопадения природа человека раздвоилась, в ней живут как бы два «закона»: повинуюсь одному, человек идет на поводу у своих влечений и приходит к рабству; повинуюсь другому, отказывается от соблазна и — получает свободу. Но избрание того или другого «закона» зависит от воли, и именно к ней обращена Благая весть. Не будь свободы воли, было бы праздным и бесполезным делом призывать к «познанию Истины» — ведь призыв этот обращен не к абстрактной «познавательной способности», а к внутреннему усилию.

Совсем не то у автора «Двух свобод»: о какой свободе идет речь, рассуждает он не без горечи, если человек является рабом греха?! Но в таком случае евангельский призыв должен звучать гласом вопиющего в пустыне. Ведь законченный раб, что бы он ни «познал», изменить ничего не может, а перемены, происшедшие помимо его воли, нельзя считать подлинной метанойей, переменной в личности. Потому рекомендуемое автором «приобщение к жертве Искупителя, в смиреннии» для «принципиально несвободного» человека, каковым, по этой логике, стал он после грехопадения, будет не чем иным, как безличным автоматизмом. Тем более невообразимо, чтобы человеческое существо с поработанной волей сумело отказаться от того, чего у него нет, — от «своеволия».

Кстати, цитируемый в статье В. Н. Лосский — не единомышленник автора, свобода выбора для него — это атрибут «личности» человека и его богоподобия: «...выбирает ли человек добро или зло, становится Богу подобным или не подобным, он свободно обладает своей природой, потому что он — личность». Неясно, на какие выводы читателя рассчитывает В. Семенко, приводя этот пассаж из Лосского. Может быть, на выделенную курсивом фразу Максима Исповедника о «несовершенстве» свободы выбора по сравнению с «истинной свободой» и на пояснительную строку самого Лосского: «Мы называем эту нерешительность в восхождении к добру „свободой воли“», действительно дискредитирующую таковое понятие. Но выраженная здесь мысль как раз противоречит и исходному положению Лосского, и всей христианской антропологии, утверждающей свободу воли в качестве у с л о в и я высочайшего, богоподобного достоинства человека. И кому бы такая мысль ни принадлежала и как бы ни чтили мы ее автора, мы не обязаны разделять ее уклона. Поддержкой в таком противостоянии будет нам служить сонм святых отцов и апостолов и сам Спаситель, своей Благой вестью и своим жертвенным подвигом обратившийся к свободной воле человека («...милости хочу, а не жертвы»).

Между тем намерение автора «Двух свобод» — доказать обратное: что свобода воли не д а р, данный ему изначально Богом, а д е ф е к т, появившийся вследствие грехопадения. Казалось бы, если не считать человеческое существо марионеткой, то необходимо предположить, что первый человек должен был обладать свободной волей, то есть способностью сознательно отклониться от прежнего пути послушания Богу, изменить райской этике доверия Ему, иначе говоря — увидеть перед собой альтернативу и сделать выбор. Человек мог не пасть, но Бог должен был, если хотел свободной к себе любви и доверия, дать ему возможность пасть — отвергнуться этой любви и выказать недоверие. Не инфинировал же его змий?! И на этот счет дает «чеканную формулировку» Блаженный Августин: дьявол не магически покоряет волю человека, а соблазняет его. В статье В. Семенко также с эмфазой утверждается, что в раю «зла просто не было». Но разве не змий встретился там Адаму и Еве? Рассуждая о том, откуда взялось зло, Кант (а ведь приятно пообщаться с этим ясным и бескомпромиссным умом!) пишет, что Священное Писание «злое <...> предпосылает, правда, в начале мира, но не в человеке, а в некоем духе, чье предназначение первоначально более возвышенно. <...> человек же впадает в злое только *через искушение*». «...нет таких причин в мире, — возвышает свой голос великий мыслитель в защиту основных метафизических прав человека, — которые могли бы заставить его (человека. — Р. Г.) перестать быть существом, действующим свободно»².

² К а н т И м м а н у л. Сочинения в шести томах. М. 1965, т. 4, ч. 2, стр. 47, 44.

Любопытно, что и на сей раз, отрицая свободу воли за подлинной природой человека и приурочивая ее возникновение к «истокам грехопадения», мысль автора статьи движется в направлении, противоположном патристике, которая учит, что до изгнания из рая воля у первых людей была полноценной, а после стала ущербной, отягощенной грехом. Впрочем, у автора куда ни кинь, все клин. С одной стороны, свобода выбора появилась таким неутешительным образом, с другой — как мы слышали от автора раньше, бесповоротное рабство у греха, в которое тут-то и впал человек, лишило его этой свободы. Вот и получается, что вроде бы она страшно губительная вещь, а в то же время ее и вовсе не существует. Подобное задание должен был выполнять булгаковский Иван Бездомный: создать образ Христа, наделенный всеми пороками, и в то же время убедить, что его прототипа никогда не существовало на земле.

Можно найти в статье еще один, усложненный, вариант описываемой концепции. Змий, дескать, своим соблазнительным предложением «актуализировал» в наших счастливых и невинных прародителях свободу воли тем, что впервые поставил их перед возможностью альтернативы. Однако, несмотря на вставленную промежуточную ступеньку в виде некоей дремлющей свободы воли, остается неясным все тот же вопрос: считать ли эту «неактуализированную», еще не пробужденную змием волю принципиальной недоделкой человеческой природы, заложенной в нее миной (тогда кто ее заложил — неужели Бог?) или наоборот — ее богатством и достоинством? Сущность грехопадения автор усматривает «не в выборе зла вместо добра», а уже в одном только с о з н а н и и «самой возможности такого выбора». Однако роль дьявола в наделении человека свободой воли тут явно преувеличена. Бог уже раньше успел просветить Адама и Еву по части существования альтернатив (как теперь любят говорить, употребляя это слово во множественном числе): «не ешьте!», сказал Он им, плодов с этого древа и тем самым ввел в о з м о ж н о с т ь в ы б о р а в их сознание. Конечно, не во вкусе яблок содержалось зло, но и не в самом по себе нравственном знании (что есть хорошее, а есть дурное), а в п р е с т у п л е н и и нравственного закона, данного обитателям рая в виде заповеди. Воспользуемся случаем и опять процитируем Канта: «По [священному] писанию, зло начинается <...> с греха (под которым подразумевается нарушение морального закона как *божественной заповеди*) <...> Моральный закон предшествовал [здесь] как запрет (1 Моисея, II, 16, 17)»³. Это равно приложимо как к нам, последним человекам, так и к нашим прародителям, первым человекам; заповеди приготовлены Творцом для всего человеческого рода. А иначе надо представлять их безгрешную, невинную жизнь как состояние некоей благой животности.

Так что исполнение заповеди, с которой Бог обращался к прародителям, прямо рассчитано, можно сказать, на механизм реализации, каковым и должна быть свобода воли. К счастливым животным или младенцам, к благостным невеждам незачем обращаться с заповедями. Состояние духа того, кто не нуждается больше в выборе как утвердившийся в своей преданности Истине, в своей праведности, поистине совершенное; оно, конечно же, выше состояния того, кто еще не сделал необратимого праведного выбора. Но это личное достижение употребивших усилие, так же как состояние невинности только что пришедших в мир людей, «фундаменталистская» мысль хочет превратить в основание для экспроприации свободы выбора у всего человечества⁴.

Надеюсь, в моей слабости к великому Канту ревнители православия не заподозрят «протестантских симпатий», а найдут для нее подлинный резон: восхищение его Redlichkeit, философской честностью, не угнетающей наш разум сверхзадачами религиозной партийности, но, напротив, воодушевляющей его неотступностью своей логики и глубиной зрения. Вообще для нас с нашей русской «нелюбовью к идеям» (Бердяев), а по сути — к последовательному мышлению, быть может, настало самое время вспомнить о популярном некогда лозунге «назад к Канту!», а заодно, ради прививки «ясности и отчетливости», и к Декарту — чтобы хоть как-то обуздывать привычку к неумеренному «мистическому гиперболizmu» (термин С. Дурылина), к страсти перелетать через требовательную реальность, через неумолимый естественный мир — прямо к сверхъестественному, а потом рассуждать так, как будто мы только что оттуда. Например, достаточно решить, что зло не укоренено в подлинном, ноуменальном бытии, чтобы не принимать его во внимание в своих интеллектуальных расчетах, изымая эту онтологическую идею из эмпирического опыта.

³ К а н т И м м а н у л. Сочинения в шести томах, т. 4, ч. 2, стр. 45.

⁴ Совсем неожиданно встретить подобные же настроения — на выгеснение неразумной свободы воли благой свободой в Боге — в статье Ю. Шрейдера («Обладать свободой или быть свободным?» — «Знани—сила», 1993, № 3). Проводимое тут противопоставление правильно мыслящего Фомы Аквинского Оккаму и Канту — плод недоразумений. Ибо все трое были достаточно глубокими мыслителями, чтобы понимать, что свобода выбора — это в конечном счете ведомство нравственной воли, а не прагматического знания, и составляет глубинную сущность и тайну личности. Акцентированные же различия между просветительски-рационалистическим уклоном во взглядах на человека у св. Фомы и волонтаризмом Оккама относятся уже к области антропологических частностей.

Аргументацию в этом духе тоже можно обнаружить в статье «Две свободы», а назвать ее хочется казуистической. Автор апеллирует к бытийной неравнозначности, неравновесности Добра и зла, поскольку у первого есть твердое обеспечение как у созданного Богом («зело добро»), а второе не имеет онтологических гарантий, живет без вида на жительство; плавает, так сказать, по поверхности... И как-то несолидно даже ставить их при выборе на одну доску. Вот что буквально говорится в статье: «Зло, которого Бог не сотворил, будучи порождением демонической воли, вводится в мир в результате того, что свобода человека осознается самим человеком в качестве свободы выбирать между добром и злом как между двумя равноправными субстанциями: зло осознается как реальность, могущая служить объектом познания и устремления человеческой воли». Оказывается, вот в чем дело! Не по той рубрике проводится. Были бы мы, к примеру, манихеями, которые утверждают равную укорененность в бытии начал и добра и зла, тогда бы автор разрешил нам пользоваться свободой выбора между ними, а при нашем мировоззрении... фи, какое невежество! Признавая за собой право выбора, мы этим непозволительно повышаем статус зла, наделяя его «бытием»; совершаем «гносеологическую гнусность» и вносим путаницу в онтологическую картину мира...

А если серьезно, то, пока мы находимся в мире здешней реальности, разве зло менее ощутительно для нас, чем добро? Могут возразить: человек редко выбирает зло как таковое, оно всегда украшается какими-нибудь чужими перьями. Согласна. «Будете как боги», — пообещал змий, и это, в сущности, то же самое, что объявил людям Создатель, но «только» другим путем. Зло обычно заключается в недостатке доверия и любви, а не в сознательном предпочтении злого начала как такового. Даже Люцифер, поднимая бунт против Создателя, не пленился красотой зла самого по себе, но захотел сравниться с Творцом в достоинствах, тоже «быть как бог». Тем не менее, несмотря на всю мимикрию зла и на самоубеждение человека, в глубине своей благодаря голосу совести, тоже данной ему, как и свобода, он, человек, всегда знает, где добро, а где он ему изменяет. Это и имеется в виду, когда говорится о выборе между добром и злом. Конечно, небытие и пустота не влекут к себе, а идут по пятам определенного выбора, как Немезида, но, в конце концов, человек, будучи суверенным существом, имеет право выбрать и их: свобода так свобода.

Итак, на небольшом пространстве рассматриваемой статьи были испробованы едва ли не все варианты аргументации против свободы воли. И от применяемых приемов, и от самой задачи веет чем-то родным и знакомым, хотя и отошедшим в прошлое, чем-то даже ностальгическим... Правда, святыни тут разные, метода же разоблачительства одна и та же, а главное, объект неприязни — один. В своем отклике на статью я еще не все эпитеты привела. Свобода выбора объявлена в ней и атавизмом язычества, и оружием нечистой силы. «Соблазн» выбора описан как плод «ложного, искаженного понимания свободы». Разве тут не вспоминается хорошо нам известное: «...свобода — это осознанная необходимость»? Все само собой укладывается на старые места... А этот пассаж: «Следуя своей сатанинской природе, змий искажает, „пародирует“ Божественный дар свободы, подсовывая (!) людям вместо свободы пребывать в добре <...> пресловутую „свободу выбора“ — разве не вызывает реминисценции о «хваленой свободе» буржуазного общества — «свободе умирать с голоду»? А «пресловутая „свобода выбора“» разве не парафраза ленинских «побасенок о свободе воли» — сакраментальной формулы, которой пытались уташать наш дух в течение десятилетий?

Откуда же это сходство между двумя антагонистическими учениями? Попробуем уяснить.

Вторая часть статьи В. Семенко, посвященная религиозной модификации свободы воли, то есть свободе совести, открывает нам, что все теоретические выкладки первой части действительно имеют, как стрела — мишень, конкретную цель: утверждение определенных взаимоотношений между паствой, Церковью и государством. Богословие выступило здесь на службе церковной политики, подобно тому как философия марксизма-ленинизма служила политике коммунистической — «формированию нового человека». Но будет ли человек, отмеченный родимыми пятнами капитализма, с отсталым, непросвещенным сознанием, двигаться в должном направлении, если его не подталкивать принудительным образом? Нет, не будет. Расчеты коммунистических идеологов были правильны: без «насилия — повивальной бабки истории» эта противоестественная утопия не воплотится. Близка к этому и логика В. Семенко: свобода падшего человечества, чреватая неприятными сюрпризами, должна уступить место «высшей свободе», свободе в Истине. Но так как человек цепко держится за свою прерогативу свободного существа, то необходимо также применить принуждение — на его же благо, для обращения к свету его затемненного грехом сознания. Но то, что позволено коммунистическому быку, не позволено Юпитеру. Использование «ветхой» идеологии силы в качестве христианской стратегии является не чем иным, как кощунственным подлогом. За все три года своей проповеди Христос ни разу не обращался к человеку, пренебрегая свободой его воли, а то сошел бы с креста и понудил поверить в Него. И в свою защиту Спаситель не прибег к принуждению: «Возврати меч твой в его место» (Мф. 26, 52), — сказал Он Петру и

не призвал «двенадцать легионов Ангелов», когда Его брали в Гефсиманском саду. Более того, Он оставил нам вызывающую заповедь: «...не противься злему».

Для того чтобы внедрить в христианское сознание «этику насилия», причем применительно не к злу, выраженному вовне, а к процессу внутреннего решения и предпочтения, приходится пускаться во все тяжкие. Самое трудное — это отнять то, что нам дано Творцом, подсунив вместо пряника черствый сухарь, и так, чтобы он казался съедобным. Человеку, утверждается в статье В. Семенко, дано от Бога право свободно выбирать добро и зло (прекрасно, пряник наш!), но это не значит (неужели, что-нибудь не так?.. что же?), что самый факт выбора чего бы то ни было, безразлично — добра или зла, есть во всяком случае осуществление свободы. Свободный выбор не может падать ни на что другое, кроме добра. С пряником не выгорело! Бог оказался щедрее его фактотумов. Но вы поняли, какая трудная работа у автора, какую виртуозную фразу нужно построить, чтобы убедить, что человек даже выиграл от некоторой корректировки Божественных даров. Но почему-то по глупой обыденной логике нам кажется, что «свобода», подменная «добротом», не лучше «свободы», отождествленной с «необходимостью».

Автору все время приходится заменять одни понятия и проблемы другими: «высшей свободой», как мы знаем, — свободу совести, а свободу совести («... так называемую свободу совести») — злом. Так же, как ранее автор объявил борьбу со свободой воли на том основании, что она не есть «высшее» состояние свободы, он в последовательном духе «мистического гиперболизма» объявляет борьбу со свободой совести на том основании, что она не «высший дар» (а то, что она залог всех других даров, это не важно). А поскольку надо оказывать «сопротивление злу» и от «проявлений зла» «защитить невинных людей» (кто спорит!), то и к свободе совести государство должно принимать меры пресечения. Тут логика «мистического гиперболизма» внезапно дополняется инквизиторской. Спору нет, религиозное волеизъявление — вопрос сложный: все опасные начинания зарождаются в виде предпочтений и идей; все вообще начинается в духе, изнутри, а потом выходит в физический мир, наружу. Заблуждения, ереси, секты. Чему же «заграждать уста» силою? Автор статьи, как видим, считает, что всему неортодоксальному. Бердяев в свое время назвал это «кошмаром злого добра».

Но ведь есть способ избежать его, есть руководство к действию: кесарю кесарево, а Богу Богово. Нарушение «естественного закона» (который сам есть проекция на земную жизнь закона Божественного) требует «естественных» средств принуждения, какими располагает государственная власть; разногласия же в области сверхчувственного, сверхъестественного — духовных средств убеждения. Любое религиозное инакомыслие, пока оно не входит в противоречие с человеческой природой и основами разумного общежития, должно считаться делом совести и потому неприкосновенно. Но если верование и его религиозный обиход нарушают эти основы, то оно подлежит правовому регулированию и запрету. Для этого годится любое правовое государство. Изуверские секты наподобие так называемого «Богородичного центра» должны преследоваться законом, поскольку они приводят к порабощению сознания, к разрыву детей с родителями, эксцессам злобы и психическим заболеваниям, иначе говоря — противоречат естественному порядку вещей и правам человека.

В. Семенко берет в оборот совесть, то есть отдает ее в руки предполагаемых христианских государственных институтов, под тем предлогом, что у Церкви и у государства есть обязанности вести «воспитательную и духовно-просветительную работу». Опять же: кто спорит? — забота о духовной атмосфере в обществе, о культурной среде нужна (иначе это будет «крысарий»), но ведь главный смысл подобной заботы состоит как раз в создании условий наибольшего благоприятствования для углубления совести, а не наоборот — для ее утеснения.

Автор элиминирует свободу совести во имя, как он утверждает, «единственной и несомненной» «истины Христа». Но если свобода без истины страшна (как это случается сейчас), то истина без свободы еще страшнее — она становится личиной лжи. Однако истина Христова «единственна и несомненна» именно потому, что в ее состав входит мысль о человеке как о существе высшего порядка, о царском сыне. Только царскому сыну дарят такие царские подарки, как свобода. Вот отчего, несмотря на тяжесть креста, который Он возлагает на человека, с Христом дышится свободно, и всякий, кто отнимает эту радость у христианина, является врагом Христа. Автор ищет союзников в среде христианских отцов церкви и богословов, однако в действительности их надо искать среди учителей ислама, ибо отрицание свободы совести — свободы воли, перенесенное на почву православия, означает не что иное, как его исламизацию.

Прочитав книгу И. Ильина «О сопротивлении злу силою», на которую опирается В. Семенко, Бердяев отчеканил: книга эта «способна внушить настоящее отвращение к „доброту“ <...> Никакая жизнь не может цвести в этом царстве удушающего, инквизиторского добра»⁵. Это удушье ощущается всяким, попавшим в круг его действия, им тяготятся все,

⁵ Бердяев Н. А., «Кошмар злого добра» («Путь», Париж, 1926, № 4, стр. 103).

кроме самих стратегов. Они по-своему рассчитывают на «формирование нового человека»; но, увы, человек сделан из упрямого материала, его можно исказить, но его нельзя переделать. Лишенный субстрата свободы, он не будет плодотворным, вместе с ним не будет плодотворным, цветущим и общество, которое за счет отнятия свободы задумали сделать христианским. И совсем не важно, как именовать политику несвободы: «принуждением», «понужением», «насилием» или «заставлением», в дистинкции между которыми погружается автор статьи, — смысл стоящих за ними действий один и тот же: угнетение души, угашение духа.

То, что провозглашается в статье, — это старая утопия лжеотократии, где государственный меч должен служить христианской истине, борясь с уклонениями свободной совести от истинного пути.

Свобода совести — предмет острой дискуссии в прошлом. За нее против церковных идеологов принудительной организации мира сражались высшие христианские умы. Можно вспомнить «громоносные обличения» (по выражению В. Соловьева), с которыми обращался Тютчев к папству в лице Пия IX в знаменитом стихотворении «Епископа». Среди всех грехов и неправд самым губительным оказывается одно:

Столетия шли, ему прощалось много,
Кривые толки, темные дела.
Но не простится правдой Бога
Его последняя хула...

Не от меча погибнет он земного,
Мечом земным владевший столько лет, —
Его погубит роковое слово:
«Свобода совести есть бред!»

Откуда же сегодня берется инквизиторский фундаментализм? Ведь нет никаких оснований предполагать, что Церковь, как в давние времена, будет выдавать еретиков в руки государственной власти, а та пользоваться карающим мечом для пресечения свободомыслия. По-видимому, тут действует все тот же характерный для духа нашего времени мыслительный экстремизм, порыв ошеломить парадоксом.

С частью парадоксов мы уже познакомились, но вот, быть может, главный: свобода совести — измышление либералов-атеистов. Это утверждение бросает вызов хорошо известным фактам (что тоже в духе времени): ведь сражались за свободу совести с идеологами принудительной веры Победоносцевым и Леонтьевым прежде всего христианские адепты — Хомяков, старшие славянофилы вообще, Тютчев, Достоевский, Соловьев. Достоевский запечатлел — от противного — свое понимание христианской свободы в грандиозном и ужасном образе Великого Инквизитора, который с тех пор стал мировым нарицательным символом принудительной теократии, извращения христианства. С. Н. Булгаков, называя свободу совести (*habeas animam*) «великим, священным и благодатным принципом», подчеркивал, что «требование свободы совести в устах позитивистов имеет чисто отрицательное значение <...> в основе этого требования лежит или религиозный индифферентизм, или же воинствующий атеизм <...> Совсем иное значение должно иметь это требование тогда, когда оно диктуется <...> религиозным энтузиазмом <...> Не случайно <...> что принцип религиозной свободы нашел себе в России наиболее пламенных, убежденных и красноречивых защитников среди <...> религиозно убежденных людей»⁶. Для Вл. Соловьева, как писал Булгаков, «дело религиозной свободы в России» было «самым важным и очередным делом после освобождения крестьян»⁷, поглотившим годы его жизни.

Этот великий христианский миссионер, мечтавший о введении христианских начал во все сферы человеческой жизни, работавший на «оправдание веры отцов», поставивший, в конце концов, в центр своей мысли и жизни образ Христа, был убежден в мистической, провиденциальной связи между угнетением свободы совести и судьбой страны, предощущал неминуемую за это расплату. Во время российского голода начала 90-х годов прошлого века Соловьев писал главному тогда «душителю свободы» обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву: «Политика религиозных преследований и насильственного распространения казенного православия, видимо, истощила небесное долготерпение и начинает наводить на нашу землю египетские казни <...> умоляю Вас не только для себя и для других, но и для Вас самих: одумайтесь, обратитесь к себе и помыслите об ответе перед Богом. Еще не поздно, еще Вы сможете перемениться для блага России и для собственной славы»⁸. Нет, не атеисты боролись

⁶ Булгаков С. Н., «Без плана («Идеализм» и общественные программы)» («Новый путь», 1904, № 11, стр. 342, 345, 346—347).

⁷ Там же, стр. 347.

⁸ К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки». М.—Пг. 1923. Т. 1, полутом 2, стр. 969, 970.

за свободную совесть человека, а настоящие ревнители христианства, подлинные духовные вожди России, замечательные «светские богословы», которых так не любила казенная синодальная власть.

И не свобода совести, которую с таким усердием искореняли идеологи и практики жгетократии, а угнетение совести насильственным добром, отвращая от Благой вести, предreshало неуспех христианства в мире, а вместе и судьбу мира, судьбу России. Силовые структуры, в том числе церковное начальство, встали между Христом и человеком, Христом и человечеством. Они пытались улучшить, «исправить», как выражается Великий Инквизитор у Достоевского, Его дело, изъяв у человека врученную ему Христом свободу, и этому делу навредили.

Более столетия назад Соловьев призывал церковное руководство отречься «от всех внешних вещественных, недостойных дела Божия средств и орудий» и развивал программу поместного собора, который должен «торжественно исповедать, что истина Христа... не нуждается в принудительном единстве форм и насильственной охране и что евангельская заповедь любви и милосердия прежде всего обязательна для церковной власти. Собор русской церкви, признав эту заповедь за высшее правило деятельности, должен ходатайствовать и перед светским правительством об отмене всех утеснительных законов и мер против раскольников, сектантов и иноверцев <...> Признавши, что истинная вера <...> не боится свободного исследования», собор «должен отказаться от духовной цензуры, как принудительного учреждения, оставив за церковью ее неотъемлемое право или лучше обязанность произносить свое порицание и осуждение всем тем мнениям, публично выраженным, которые противоречат православной христианской истине»⁹. Чтобы последовать по этому пути, верховному руководству Русской Церкви нужно было иметь такое же живое чувство вдохновения христианской истиной, какое владело русским мыслителем. При неверии в человека все «мирные» средства выражения своей религиозной ревности — в слове убеждения, личном примере и даже обличении — не удаются. Разучившись пленять, хотят взять в плен, но это значит, что пастыри отделились от Христа. Ибо Его мир пленителен и увлекателен, а с этими ревнителями и скушно и душно. И сегодня больше, чем тогда, когда запретитель был, подобно Константину Победоносцеву, фигурой ответственной и трагической.

Но дело переходит все границы, когда автор «Двух свобод», вспоминая опять же И. Ильина, хочет переубедить нас в отношении методов «физического воздействия», освободить от чувствительности к ним (вплоть до пыток то есть?!), от наших секулярных, гуманистических предрассудков, которые именуются тут «фетишизмом тела», не учитываю щ и м (!), «что тело есть низшая из составляющих человеческого существа». Поразительно, что говорится все это во имя и от имени того вероучения, в центре которого стоит факт крестных мук Спасителя, страданий Его распинаемого тела. Правда, сам Христос говорит: «...не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить: а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10, 28), но этим Он только сообщает нам подлинную иерархию бедствий, угрожающих спасению; к тому же здесь ничего не говорится о том, что телесные страдания несущественны, напротив, и тело не забыто. В безжалостности же по отношению к нашей плоти нет ни Божеского, ни человеческого. Более человечны, сострадательны и потому более христиански настроены вчерашние бунтари-революционеры, Андре Глюксман и другие французские «новые философы», которые в современном обращении с человеческим телом, этим бесконечно уязвимым пристанищем нашей души, увидели самый страшный симптом времени: «Тело стало ставкой века: любовник и скульптор оспаривают его у палача и полицейского»; все тайны нашего мира чертятся на человеческой коже, они говорят языком шрамов и увечий. Так кто же больше христианин — И. Ильин, В. Семенко или светский публицист из Парижа, столицы секулярной Европы?

Если с подобным рвением очищать веру в Христа от человеческого элемента, от свободы воли и совести, то можно прийти к такому православию, которое уже не будет христианством.

Нелюбовь к свободе человека — причина еще одного парадокса, теперь уже в нашей текущей общественной жизни. Казалось бы, ура, нет больше богоборческой власти, терзавшей Церковь, расстреливавшей ее служителей, разрушавшей храмы, поставившей затем ее на колени, в невозможную зависимость (и не давшей ей развестись с режимом «одесную» и «ошную» вопреки утверждаемому в статье), против чего изнутри Церкви уже на нашей памяти раздавались страстные и незабываемые голоса, в том числе епископа Гермогена, священников Н. Эшлимана и Г. Якунина. Но, может быть, еще важнее, что сделал коммунистический режим не с Богом, а с человеком, принудив его жить в противоестественном сообществе. Новая власть вернула Церкви свободу, имущество, монастыри, храмы, а россиянам очистила дорогу туда, вручила полную свободу совести, непригнетенной веры.

⁹ Соловьев В. С., Собрание сочинений. 1912, т. 3, стр. 242, 239—240 («О духовной власти в России»).

Но нет, заметная часть клира с подозрением и недовольством смотрит на освобождение страны «из-под глыб». Конечно, есть от чего сегодня отворотиться, у всех перед глазами эти картины, что на городских улицах, что на экранах ТВ и кинотеатров, на театральных подмостках... А в «литературе», прости, Господи? Страшно и чудовищно. Но ни из уст рядового иерея в храме, ни из уст известного православного иерарха на ТВ мы не услышим взволнованного и глубокого слова по поводу растлевающего влияния сегодняшних культурных тенденций на масс-медиа и установок, сокрушающих человеческий образ. Загряздать же уста блюстители православной дисциплины хотели бы «латинствующим» или баптиствующим проповедникам — с буквально ведомственным рвением.

Они смотрят с тоской назад. В чем же камень преткновения? Есть одно, главное, что отталкивает изоляционистов из Русской Церкви от настоящего и роднит с недавним прошлым, — это нелюбовь к свободе, а следовательно, и нелюбовь к человеку (где нет свободы, там нет любви, что правда, то правда); заметим а priori, это нелюбовь к чужой воле, а не к своей: В. Семенко приветствует от имени Церкви предоставление ей демократических свобод.

Есть одно, что тянет назад, к старой власти: она воспитывала, готовила «дисциплинированного человека», без свободы выбора, без свободы совести, в то время как новое Российское государство брать в руки меч не хочет.

Какая беда приключилась сегодня с Россией, что свобода обходится без истины, истина хочет обойтись без свободы! Демократия и Церковь разошлись между собой. Посмотрите, как убога либеральная идеология, дрейфующая по поверхности жизни. Сколько самодовольных учителей прогрессизма выскочило со своими рекомендациями на арену общественного мнения и старается своим беспочвенным умонастроением заполнить наше сознание, заменить старые духовные устои России. Их много, к сожалению, и в окружении президента. Я не говорю о тех замечательных практических работниках, которых он наскреб в правительство по сусекам, я не говорю и о демократических камикадзе в депутатском корпусе — я говорю о тех трубадурах пустой свободы, внушения которых не только плоски, скучны, но и опасны, если учитывать национальную историю, народную психологию и просто человеческий здравый смысл. («Вас не поймут», — говаривал один застойный философский начальник. И правильно сделают.)

Но церковная жизнь по большей части идет своим отдельным путем, не заботясь о христианизации общественной атмосферы, не пытаясь укоренить свободолобие в Истине и тем образумить его, создав в России фундамент христианского гуманизма и христианской демократии.

Чтобы завершить нашу тему на воодушевляющей ноте, приведем слова современного православного апологета митрополита Антония Блума, сказанные по поводу книги «Письма Баламута» столь же знаменитого апологета инославного: «Есть английский писатель Льюис, который написал книгу писем старого беса своему молодому племяннику. Это ближе всего вообще по типу литературы к Феофану Затворнику <...> и вот этот старый черт <...> говорит в одном из своих писем с недоумением: „Не могу понять... Христос говорит, что Он любит людей, и оставляет их свободными. Как же совместить это?“ И продолжает: „Я тебя люблю, но это значит, что я хочу тебя взять в свои когти, тебя так держать, чтобы ты от меня никуда не удрал, тебя проглотить, из тебя сделать свою пищу, тебя переварить так, чтобы от тебя не осталось ничего бы вне меня. Вот что я, — говорит старый черт, — называю любовью. А Христос, — говорит, — любит и отпускает на свободу...”»

ЧИТАЙТЕ В 1994 ГОДУ
НОВУЮ СТАТЬЮ РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ
«БОРЬБА С ЛОГОСОМ»

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«НАША ЛЮБОВЬ НУЖНА РОССИИ...»

Переписка Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой

Зимним вечером 1915 года две молоденькие курсистки впервые переступили порог особняка в Мертвом переулке, где происходило очередное собрание Религиозно-философского общества памяти В. С. Соловьева. Увиденное запомнилось надолго. «...Там, где столик лектора, замечаем величественную фигуру красивой дамы в длинном платье со шлейфом. Многие подходят к ней, почтительно раскланиваются, целуют руку, она приветливо улыбается. Среди подошедших замечаем массивную фигуру уже пожилого человека с явно выраженными монгольскими чертами лица. Дама — хозяйка этого дома, Маргарита Кирилловна Морозова... Она меценатка, субсидирующая издательство «Путь»... Склоненный перед нею в поклоне человек — князь Евгений Николаевич Трубецкой...»¹

Скажем спасибо молоденькой девушке, запечатлевшей — по наивности или неосведомленности — в словесном портрете стоящими их рядом; другим запомнились: «карельская береза гостиной, прекрасная бронза «еприге», изобилие цветов»; «потрясающе огромные бриллианты в ушах» хозяйки; общая атмосфера «яркого «александрийского» культурного цветения»². Есть портреты, семейные фотографии: Евгений Николаевич — с женой, в окружении детей, рядом с братом Сергеем; Маргарита Кирилловна — также вместе с детьми; на фоне портрета мужа кисти В. А. Серова; с гостями и сестрой — в саду своего московского дома³. Но нет (может быть, все же есть?) фотографии, на которой они стояли бы рядом. Мы так никогда не увидим выражения их лиц в те мгновения, когда встречались их взгляды.

Вполне могло получиться так, что их жизненные пути не пересеклись бы вовсе. Они принадлежали различным сословиям, которые и в начале XX века все еще сохранялись как замкнутые социальные миры. Дед Е. Н., князь Петр Иванович Трубецкой, николаевский генерал и сенатор, не появлялся в присутствии без мундира и золотой шашки «за храбрость»⁴; о деде М. К., Николае Федоровиче Мамонтове, известно лишь, что он был сыном очень богатого откупщика⁵. В то время как отец Е. Н. служил вице-губернатором в Калуге, отец М. К. проматывал родительское состояние в Монте-Карло. Е. Н. женился «по любви» на княжне Вере Александровне Щербатовой, дочери московского городского головы; М. К., «бесприданница», в восемнадцать лет была «взята за красоту» сыном «потомственного почетного гражданина и Тверской первой гильдии купца», Михаилом Абрамовичем Морозовым. В 90-е годы Е. Н. профессорствовал в Киеве, писал научные сочинения о средневековом папстве; М. К. бегать по курсам было некогда — да и незачем: она с мужем разъезжала по европейским столицам и средиземноморским курортам, а у себя дома (точнее назвать принадлежавшее Морозовым здание на Смоленском бульваре палаццо) устраивала приемы и балы,

Вступительная статья, составление, публикация и комментарии АЛЕКСАНДРА НОСОВА.

¹ Фиолетова Н. Ю., «История одной жизни» («Минувшее». Вып. 9. М. 1992, стр. 14).

² Степун Ф. А. Воспоминания. N.-Y. 1954, т. 1, стр. 262; Герцык Е. К. Воспоминания. Paris. 1973, стр. 121; Арсеньев Н. С. Дары и встречи жизненного пути. Frankfurt/M. 1974, стр. 61.

³ Заинтересованного читателя отсылаем к изданиям и публикациям: Трубецкой С. Е. Минувшее. Paris. 1989; Морозова М. К., «Мои воспоминания» («Наше наследие», 1991, № 6); Семенова Н., «Четыре эпохи» одной жизни» (там же); она же, «Морозовы» («Огонек», 1991, № 7). Обращаем особое внимание на книгу Натальи Думовой «Московские меценаты» (М. 1992), богатую интереснейшими подробностями морозовского быта.

⁴ См.: Трубецкой Е. Н. Из прошлого. Вена. 1925, стр. 16.

⁵ См.: Бурышкин П. А. Москва купеческая. М. 1990, стр. 167. М. К. явно стеснялась своих предков со стороны отца: вычерчивая родословную по линии матери до четвертого колена, она ничего не сообщает о семье отца.

на которые съезжались до двухсот человек. Добавим к этому традиционное для России взаимное недоверие благоприобретенного неродовитого капитала и потомственного аристократического оскудения...⁶

Их первая встреча состоялась, по-видимому, в конце мая бурного 1905 года. М. К., к этому времени тридцатидвухлетняя вдова с четырьмя детьми, предоставила свой дом делегатам Всероссийского земского съезда. Роскошные апартаменты, недавно наполнявшиеся артистической богемой, а по торжественным дням — мужчинами во фраках и дамами декольте, принимали новую публику: земских деятелей, либеральную университетскую профессию. Врубелевская «Принцесса Лебедь» и «Иветта Гибер» Тулуз-Лотрека, должно быть, с недоумением слушали странные речи — о свободе, народном представительстве, конституции. Наверное, и их владелица с не меньшим удивлением слушала выступавших ораторов, в числе которых были братья Сергей и Евгений Трубецкие.

Эпоха «между двух революций» запечатлена многими достойными летописцами — в том числе и теми, кто входил в ближайшее окружение Е. Н. и М. К.; однако ни один из них даже осторожным намеком не обнаружил своей осведомленности в истинном характере отношений, которые связали их жизненные пуги и судьбы. Обстоятельство, надо признать, довольно удивительное: ведь в культурной атмосфере «начала века» любовное чувство утратило качество исключительно интимного переживания — любовь превратилась в некое творческое действие, стала культурно и даже общественно значимым явлением. Состояние всеобщей влюбленности, переходящей в «любовь к любви», замечательно описал В. Ходасевич в статье «Конец Ренаты», посвященной памяти одной из героинь тех многочисленных любовных драм, что с шумом и надрывом, словно на театральных подмостках, разыгрывались на глазах многочисленной публики. Стремление превратить искусство в жизнестроительный метод, «слить воедино жизнь и творчество», разрушало границы между романом в жизни и романом в литературе. Воспоминания о той эпохе полны рассказами о любовных историях, страстях и изменах, причудливых треугольниках, о смелых экспериментах, убийствах и самоубийствах — и все это легко, изящно, л и т е р а т у р н о.

Десятилетняя любовная драма, пережитая М. К. и Е. Н., не стала фактом литературы — конечно же, не потому, что осталась неизвестной для окружающих; несмотря на все усилия, предпринимавшиеся для сохранения тайны, это вряд ли было возможно. Развивая намеченную Ходасевичем «типологию любви», можно сказать, что их роман разворачивался в культурной парадигме века минувшего: переживаемое ими чувство было для своего времени слишком искренно, глубоко, цельно, а главное, оно было слишком подлинно; и в нем отсутствовало именно то, на что XX век предъявлял особый спрос, — собственно л и т е р а т у р н о с т ь, игра, всегда предполагающие зрителя, пусть и единственного. Нельзя сказать, что они остались совершенно невосприимчивы к «ядовитым туманам» и «дионисическим экстазам» русского декаданта (в большей степени им была подвержена М. К.), но если бы им суждено было стать литературными героями, то героями классического романа; об их любовной драме, возможно, смог бы рассказать автор «Былого и дум». Но классический роман ушел вместе с породившим его веком, а новое столетие просто утратило тот язык, который требовался для такого повествования.

За десять лет «беззаконной» любви М. К. не раз приходила в полное отчаяние; в один из таких моментов она написала: «Никогда не суждено мне иметь двух радостей: быть твоей перед Богом и увидеть дитя, в котором соединились бы чудесным образом твои и мои черты! От нашей любви ничего не останется!»⁷ Но она знала: останется «Московский еженедельник», останутся книги, выпущенные ее издательством. Что ж, уже немало. Поэтому в другой раз она уверенно написала те строки, которые вынесены в заглавие настоящей публикации. Но она знала и то, что никто не будет об этом знать. Столько раз давала она клятву, что никогда не отнимет своего возлюбленного у его семьи, — и осталась верна данному слову.

Когда действующие лица и возможные свидетели давней любовной драмы, рассеянные по миру, окончили свой жизненный путь, М. К., пережившая трех императоров и двух диктаторов, написала воспоминания о своей жизни, подробно

⁶ Об отношении Трубецких к людям, проводившим время в стиле Морозовых, можно судить по воспоминаниям С. Е. Трубецкого, свидетельствующего, что «быть «богатым бездельником» и только жить в свое удовольствие казалось чем-то очень стыдным, почти позорным» (Т р у б е ц к о й С. Е. Минувшее, стр. 41).

⁷ ОР РГБ, ф. 171, к. 3, ед. хр. 6а, л. 22.

рассказала о своих отношениях с А. Белым, Метнерами, Скрябиным, Лопатиным. Помню удивление от первого знакомства с ее мемуарами: ничего не рассказала она ни о «Московском еженедельнике», ни о религиозно-философских собраниях, ни о деятельности «Пути» — ничего о том, что было связано в ее памяти с тем давним чувством. Для многих это явилось подтверждением не очень лестных отзывов о М. К. некоторых близких ей лиц — правда, на иронические пассажи по поводу увлекшейся философией меценатки были особенно щедры те, кто в свое время не добился ее благосклонности⁸. Она могла сделать так, что о ее любви и не узнали бы — никто и никогда; она этого не сделала, передав весь свой архив в отдел рукописей ГБЛ (ныне РГБ) вместе с теми тысячами писем, в которых запечатлелось все то, о чем она умолчала в своих воспоминаниях⁹.

В. Ходасевич, строго осудивший русский символизм за его одержимость желанием достичь единства жизни и творчества, все же признал, что в этом единстве заключена вечная правда. Переписка Е. Н. и М. К. — нераздельно-прочный сплав жизни и творчества, это роман жизни, сам собою отлившийся в форму эпистолярного романа. Как тут не вспомнить неизменного спутника их обоих — В. С. Соловьева, поразившего во время оно своих последователей утверждением, что действительность выше искусства. В чем мы и предлагаем убедиться...

Переписка Е. Н. и М. К. длилась с 1906 по 1918 год. В настоящей публикации представлена подборка писем за 1909—1911 годы. Именно в этот период обмен письмами становится постоянным и протекает с наибольшей интенсивностью. Один пример: с июня по 20 августа 1909 года Е. Н. отправлено около 60 писем, то есть примерно два письма каждые три дня. При отборе публикуемого материала мы руководствовались следующими принципами. Во-первых, все письма печатаются полностью, ибо купоры в интимной переписке вызывают лишь излишнюю работу воображения; во-вторых, мы стремились сохранить тематическое разнообразие эпистолярного: наряду с письмами, имеющими историко-культурное значение, в публикацию вошли письма деловые или бытовые; наконец, мы стремились по возможности сохранить (точнее, восстановить) характер того эпистолярного диалога, который происходил между корреспондентами все эти годы.

Несколько слов об «эпистолярном поведении» (термин Н. В. Котрелева) корреспондентов. Письма Е. Н. написаны мелким, аккуратным почерком, черными чернилами; стандартный почтовый листок обычно до конца не дописан. Почерк М. К. крупный, размашистый, чернила синие или фиолетовые. Бумага с вензелем «ММ» исписана полностью, слова в конце строки загибаются вниз. Стандартного листа часто не хватает, и текст продолжается на маленьких листочках, которых иногда бывает по нескольку в одном письме. Заключительные фразы с трудом втискиваются на бумажное поле, постскрипумы порой пишутся поперек уже написанного текста. Абзацев М. К. никогда не соблюдала.

В первые годы знакомства письма М. К. приходили к Е. Н. двумя путями: «официальным», отправленные по адресу проживания, и до востребования (первое в таком случае помечалось крестиком, что означало наличие второго); к сожалению, письма до востребования часто не сохранялись. С 1911 года М. К. писала Е. Н. в основном до востребования — эти письма уже сохранялись.

Значительные трудности представляет датировка писем. Имеются конверты писем Е. Н., тогда как конверты писем М. К. отсутствуют. Корреспонденты не всегда проставляли даты (особенно редко это делала М. К.). В комментариях к настоящей публикации аргументация в пользу каждой конкретной датировки опускается. В квадратных скобках в начале каждого письма дата указывается всегда по старому стилю.

Все письма публикуются по автографам. Письма Е. Н. к М. К.: ОР РГБ, ф. 171, к. 6, ед. хр. 3а, 3б, 4а, 4б; к. 7, ед. хр. 1а, 1б, 1в. Письма М. К. к Е. Н.: ф. 171, к. 3, ед. хр. 2, 3, 4, 5.

⁸ Многие современники были убеждены, что М. К. лишь субсидирует «Путь» — мнение, повторяемое по сей день. Между тем это было ее издательство, ею организованное и ею же руководимое.

⁹ В архиве РГБ отсутствуют какие-либо документы, проливающие свет на процедуру передачи фонда Морозовой; однако косвенные данные позволяют с достаточной уверенностью предположить, что архив был передан владелицей в 30-е годы и до смерти М. К. закрыт для исследователей. Сердечно благодарю сотрудников Отдела рукописей В. В. Абакумову и М. В. Могилеву за поиски документации, связанной с фондом М. К., и за сообщенные сведения.

При ссылках на материалы фонда Морозовой (171) указываются только номера картонов и единиц хранения.

1. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[23 марта 1909 г. Ялта. В Cap-Martin.]¹

23 Марта, Ялта

Христос воскрес²

Моя милая, хорошая, радужная и дорогая. Простите, что пишу карандашом, но я пока на биваке и так удобнее. К тому же эдак можно писать и лежа и в саду. Потому часто буду писать карандашом.

Приехал в Ялту только вчера, морем, в чудную погоду, и много о Вас думал: все Вы мне рисовались яркая, радужная, красочная и необыкновенно жизненная. И почему-то именно всегда море всего больше меня с Вами связывает, особенно голубое, лазуревое. Все рисовался мне морской путь к Вам в Ментону, мимо Греции, где как-то мое воображение представляло меня с Вами, и мимо Таурлины [?]. Вообще мысли о Вас — всегда радостные; то представляется средиземная лазурь, то кажется, что держась с Вами [за руки], я кружусь по комнате, то как-то весь светлею от Вашей солнечной улыбки; и рад в воображении. Доволен светлою, воздушно мечтой.

Вы сердитесь! зачем *только* мечтой? И тут начинается между нами наша вечная ссора. Я по природе медведь³. Могу мечтать без конца, не выходя из берлоги; и не замечаю, что мечта иногда переходит в сосание собственной лапы. Вас как реалистку этот медвежий идеализм бесконечно раздражает: Вы находите, что собственной лапой не насытишься! По обычаю русских охотников Вы берете длинную палку и с криком — «гербарий», «лимонадно-лампадный» и т. п. стараетесь выковырять медведя из берлоги: это охотничье занятие продолжается до тех пор, пока медведь не выйдет из берлоги и не облапит охотника!

Все-таки подумайте, какой же медведь «лимонадно-лампадный»!

Но я начинаю балагурить и врать — все оттого, что, разговаривая с Вами, незаметно для себя невольно прихожу в самое веселое, радостное настроение. Оно бодрое и радостное. Спасибо Вам, дорогой мой друг, за это; Вы тут — большую роль играете. Я бодр и радостен потому, между прочим, что теперь самая разлука нас соединяет. Я чувствую, что здесь я отогреваю, радую и успокаиваю другую любящую и бесконечно изболевшуюся по мне душу. Чувствую, что Вы в этом мне друг, поддержка и помощник, что Вы эту душу — также любите. Спасибо, спасибо, дорогая. И все мысли как-то хорошо складываются в таком настроении. Красивые образы зарождаются в душе в связи с чтением Гоголя; вся современная, прошлая и будущая Россия в них вливается с ее национальной и христианской задачей. Чувствую, что может нечто вылиться⁴.

Не тоскуйте же, дорогая; все мое хорошее не перестает [одно слово нрзб.] Вам. Только не слишком и не до конца сердитесь на Вашего медведя. А я крепко и без конца целую Вам руки. Хочу, чтобы Вы получили это письмо в самый день Пасхи.

Еще раз Христос воскрес
Во истину воскрес

Целую троекратно.

Ваш Е. Т.

2. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[30 марта 1909 г. Ялта. В Cap-Martin.]

30 Марта, Пасха

Милая Маргарита Кирилловна

Незаметно для меня прежде бодрое и веселое настроение изменилось. Не буду я с Вами балагурить в этом письме.

Мне нужно солнце, а его нет. Первый день Пасхи — целый день *метель!* Сегодня падают крупинки снега. Вот наша русская Ривьера на шаромыжку!

Поставили вместо гор какие-то небольшие ширмы, отделяющие от севера, поставили криво и сказали: «авось и так будет тепло». А северный ветер прорывает сквозь перегородку и все заносит снегом! Совсем по-русски: все на обмане и на жульничестве.

То ли дело у Вас за границей: построили *честно* Ривьеру, не жалея средств; устроили *настоящие* Альпы и поставили как следует, без надувательства; оттого у Вас тепло!

Отсутствию солнца способствует, конечно, отсутствие от Вас писем. Это начинает меня тревожить! Я послал Вам за это сердитую открытку. Но теперь гнев сменился беспокойством; какая Вы уехали из Москвы? Может быть, гневная, бурная, за что? Зачем Вам понадобилось, чтобы тут мою душу заносило метелью, не понимаю. Ведь все же делается с Вашего одобрения, согласия и даже по Вашей программе, в том числе и этот разъезд.

Подъем с Гоголем приостановился, потому что я все еще занят чтением и не перешел к письму; а много радостных минут я пережил, много красивых картин видел и красивой внутренней словесной музыки слышал. Надеюсь, что все эти переживания вернуться, когда перейду к писанию. Но... необходимо, чтобы к этому времени хоть бы какое-нибудь письмо пришло от Вас. Прощайте. Крепко, крепко целую обе Ваши руки, хотя они не пишут.

Ваш Е. Т.

3. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Последние числа марта 1909 г. Сар-Мартин. В Ялту.]

Христос воскрес, дорогой и милый Евгений Николаевич! Как Вы, здоровы ли? Как встречаете Праздник? Мы как-то его не чувствуем, так ошеломляет этот волшебный мир и так он далек по своему мистическому смыслу от смысла этого Праздника. Во всей этой красоте столько самоутверждения, в такой силе и красоте, что все забываешь и отдаешься этому влиянию. Эти краски, ослепительный свет, сверкающие искры, голубое сиянье, цветы, аромат — кружат голову, гасят мысли и подчиняют себе. Окончательно глупеешь, смотришь только и вдыхаешь все это. Надеюсь, что у Вас также хорошо! Как тут не *чувствовать* себя пантеистом? Как Гоголь верно говорит, «хочется вернуться к первоначальным элементам»⁵. В Сар-Мартин — удивительно. *Только* здесь и хорошо и, сравнительно, близко к природе. Сад кругом — просто рай. Я утром гуляю, сижу на камнях около моря. Любуясь этой природой, сливаешься, исчезаешь в ней; она поглощает, и радостно это состояние какого-то небытия. Обратное все у нас, на севере. Как наша природа духовна, объективна, как она пробуждает самодеятельность, просветляет душу! Наши леса на Волге. Вспоминаю их действие — и сейчас эта картина! Два мира и оба прекрасные; и то и другое нужно переживать, чтобы узнать мир во всей его глубине и красоте. Я очень рада, главное, этому чувству небытия. Очень хорошо, что душа молчит, находится в пассивном состоянии. Это отдых! Но, по существу, это все *мне сейчас* далеко, если бы запросить и пробудить мою душу; она только загипнотизирована. Но я хочу поддаваться этому гипнозу! Единственная область *жизни* моей души, кроме моего друга и ангела Мики⁶, это Гоголь! Боже мой, какие дорогие, чудные люди ест у нас, ну как не верить в Россию. Как все ее горести и страдания вынашивались этими великими душами! Вот *сейчас никого* нет, кто бы *так* любил Россию! Ах, если бы Вы вот *так* любили Россию — что бы это было! Об этом я всегда ужасно мучусь! Гоголь и Достоевский — две самых глубоких русских души, и обих коснулась какая-то тьма, и обе так звали свет и понимали его! Я согласна с Мережковским, хотя многое он противно и тенденциозно натягивает, что это объективная религиозная трагедия!⁷ Гоголь, какой это гениальный, мировой ум при отсутствии мировой живой любви, мировой души, действия! Одна любовь спасает, разрешает все! Как он звал ее, молил о ней, а она не приходила! «Чувство холодной черствости в душе!»⁸ Какой ужас (как я боюсь этого), нет ужаснее трагедии. Это бесконечная тема — Гоголь. Что Вы думаете об этой

его внутренней драме? Напишите. Конечно, он умнее всех был в свое время и начинал новый путь, действительно пророческий. Ведь сейчас мы именно так должны понимать задачу России, как он ее прозревал. Эта гениальная статья в «Переписке», «В чем существо русск<ой> поэзии». Как он прав, что «нужно *обратиться к истинно русскому, разгадать эту неразгаданную тайну русского ума, души, языка*». «Нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземном наречии всю дрянь, какая пристала к нам»⁹. Ну, какая прелесть это, как верно. Это про кадет! Мне неужели хотелось бы поговорить с Вами сейчас об этом и почитать все это! В письмах не вспомнишь миллиона мыслей, самых дивных и глубоко современных, вечных, рассыпанных повсюду! Как он понимал, что надо преобразовывать жизнь, просвещать душу любовью, подвигом! И это единственно верный путь. «Бороться сейчас не за временную свободу (права и привилегии), но за душу!»¹⁰ Ужасно хочется поскорее знать, что Вы думаете о Гоголе! Подробно напишите! *Что*, какую тему Вы сделаете лейтмотивом Вашей речи. Надо же напомнить на этом торжестве всем о любви к России. Неужели все будут говорить о литературе, а не о главном в Гоголе. Вы-то хоть скажете *живое слово*¹¹. А то страшно становится при мысли обо всех добродетельных старичках и отживших и не живших профессорах¹², которые будут болтать вздор обо всем рядом, а самого главного не узрят. Мережковск<ий> красиво разовьет, но подозрительно и нечисто, как всегда¹³. Я теперь очень счастлива, что Вы будете говорить. Вы один живой и истинно русский, можете все это почувствовать и зажечь! Это необходимо — будить душу. Еще одна есть тема у Гоголя — моя любимая, но об этом до другого раза! Скорее, скорее отвечайте на все вопросы! Жду с нетерпением! Сердечно преданная

М. Морозова.

4. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[7 апреля 1909 г. Ялта. В Москву.]

7 Апреля 1909, Ялта

Милая и дорогая Маргарита Кирилловна

Почта идет так безобразно медленно, что я должен писать уже сегодня, чтобы письмо пришло в Москву к Вашему приезду. Теперь уже не за горами время нашего свиданья. Я буду в Москве к 18 утром в Субботу, и мы, конечно, в тот же день увидимся; в обычный час я буду в редакции. С крайним нетерпением жду этой минуты; но для меня совершенно ясно, что ускорять ее еще я не должен. Пребывание в Крыму было очень полезно нам всем; но оставлять теперь мою жену одну со своими мыслями было бы *крайне для нее вредно*, а стало быть, вредно и для меня. Она приедет два дня спустя после меня, в Понедельник.

Дорогой мой друг! Как я рад, что всего этого Вам не надо пояснять, что во всем этом Вы мне помощница и что Вы с полуслова меня понимаете. Что за ангельская душа моя жена! Вот уже два дня как она по несколько раз напоминает мне, чтобы я отправил письмо *сегодня*, чтобы оно непременно попело к Вашему приезду, точно этого я сам не знаю; и сколько раз она повторяет, что хочет Вас видеть! Боже мой, за что я так избалован любовью!

Убийственно медленно идет почта, так что трудно отсюда представить себе, что делается у вас и обратно. Но чувствую и понимаю, что Вы погружены в Гоголя; и не скрою, что чувствовать мне это очень приятно, потому что этим хоть духовно уничтожается расстояние, вследствие чего я сосу свою лапу с большим воодушевлением.

Не торопите меня вопросами. Всего не объяснишь в письме, т. к. выливается много из-под пера и льется пока свободно и с подъемом. Скажу только, что мы встретились; основная тема, — конечно, — Россия; статья могла бы быть озаглавлена «Борьба с пространством в творениях Гоголя»; а самого Гоголя я изображаю как народный тип странника-богоискателя.

А ведь Вы меня в самом деле знаете, знаете настолько, что почувствовали даже, с какой стороны мне следует заглянуть на Гоголя.

На прощанье скажу Вам, что были в Ялте трудные, очень трудные минуты, часы и дни, труднее, чем я себе представлял; но всему Бог помог. Опять послал свою бесконечно ясную бездонную голубую лазурь над нами. Опять светло и ярко на душе.

Почему Вы говорите, что эта яркая южная природа противоположна и чужда светлomu Христову Воскресенью? С каких пор Вы представляете его себе аскетически? ведь оно — вечный юг, вечное солнце — реальный свет и реальное небо, — все в бесконечно более ярком виде, чем все нынешнее. Но все-таки ни от Крыма, ни от Ривьеры Воскресенье нас не отделяет; потому что и в водах, и в небе, и в цветах, и в деревьях *оно* отражается; я бы отверг новые небеса и новую землю, если бы не был уверен, что там будут и цветы, и зелень, и бесконечно реальные краски, и вся тварь воскресшая.

Вот подите же, Вы называете себя реалисткой. А кто из нас двух *в этом* больший реалист? Нет ли у Вас тут в представлении о новых небесах отвлеченного идеализма? Ведь новая земля — не *гербарий!!!*

Крепко целую Ваши руки.
Ваш

5. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[9 апреля 1909 г. Из Ялты в Москву.]

Милая, дорогая

Получил Ваше письмо, карандашом написанное на камнях¹⁴, и ужасно обрадовало меня то, что Вы пишете про чувство к моей жене: Пусть оно растет и углубляется; это особенно рад тому, что оно для Вас служит «мерилом». Это в Вас серьезное и глубоко. Поэтому меня не смущают Ваши нападения на мой «добродетель» и берлогу: это у Вас наносное и несерьезное и с новым мерилom несовместимое. Тут «хищнической» охоты не должно быть. А должны мы с Вами вместе подумать, как бы волос не упал с ее головы; без этого ни Вам, ни мне нет благословения. Никакое «развертыванье сил» не может иметь цены, если я стану мучителем и палачом моего ангела. О какой тут можно думать проповеди!

Помните, что для нее я — все. Самоотречение у нее безграничное; но столь же безгранично она меня чувствует — всякое мое слово, даже не сказанное, всякое чувство, только зарождающееся. Всякое письмо, мною полученное и ей не показанное, чувством слышит. Всякое изменение мое ко мне [себе?] ощущает как муку и болезнь.

Вот Вы все это возьмите во внимание и тогда поймете, почему были здесь минуты столь ужасающе трудные, когда я никакого выхода не видел и погружался в мрачное отчаяние. Чтобы Вы и я были радостны, нужно, чтобы она была радостна.

Вы это понимаете и чувствуете, а остальное должно отойти на второй план. Вы понимаете и то, до какой степени такие слова, как «добродетель», «долг» и т. п., тут неприложимы. Ведь не только у меня, и у Вас не «долг» действует на отношения к моей жене. Она просто вошла к Вам в душу и поселилась, без всяких стараний и усилий. Это и хорошо; за это я бесконечно благодарю Бога, а Вас люблю не меньше, а больше. Эти цветы никогда не увянут.

Ну прощайте же на сегодня. Крепко, крепко целую Ваши руки. Не сердитесь же на Вашего медведя. Кончаю Гоголя.

6. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[29 мая 1909 г. Москва. В St.-Blasien.]¹⁵

1909 29 Мая, вечером

Людам скучно, людам горе
Птичка в дальние страны
В теплый край за сине море
Улетает до весны!¹⁶

Милая, дорогая, хорошая

Боже мой, как сразу стало пусто, грустно, уныло в Москве после твоего отъезда. От тебя пошел шататься по родственным домам, чтобы как-нибудь

заполнить время; но пустая Москва — невыносима. Поняла ли ты, что я *нарочно* попался навстречу на Смоленском рынке, рассчитав время твоего отъезда, и что это должны были быть последние мои *одной тебе* понятные проводы, стало быть, — без профанации?!

В других письмах буду писать тебе «Вы», но ты читай «ты», а теперь не могу, не хочу, да и не нужно. Боже мой, сколько хорошего, радостного, веселого оставила ты по себе в моей душе: как после пролета падучей на небе остается долгий, светлый след, так, кажется, теперь и в моей душе. Только это — не бледный след, а целый сноп света. И хочется уйти от всего внешнего внутрь, вглубь, чтобы ловить, созерцать и удерживать этот свет в себе.

Медведь опять ушел в свою берлогу; но ведь и ему без солнца нельзя; и он ждет весеннего пробуждения и весенней игры света, чтобы радоваться. Дорогая моя, грустно, больно и невероятно, невозможно кажется, что мы не увидимся так долго. Не верится, и сквозь грусть все-таки радостно, потому что слишком реально, слишком действительно твое присутствие. Вижу тебя в зеркале в одном, в другом, в третьем; вижу под двумя образами у тебя, под образами в редакции¹⁷. Жадно впиваюсь во всякие подробности обстановки, тебя окружавшей, чтобы надолго с закрытыми глазами видеть. И вижу! Боже мой, ~~какая~~ неправда пространство, нас разъединяющее! Пойми ты, какая это ложь, когда в душе так близко, а верстами так далеко. И вот доказательство, что мир во зле лежит: в нормальном, должном, будущем мире — что близко душе, то и пространственно непосредственно близко. Вся громада расстояния происходит оттого, что материя непроницаема; нужно *преодолеть ее сопротивление*, чтобы доехать до того, что мило и дорого, и подвергаться для этого бессмысленной тряске в вагоне. И вся непроницаемость оттого, что мир — распавшееся, покинутое душой тело. Он одухотворится, но еще не одухотворен. ~~Пока~~ эта природа, которую ты склонна считать совершенством, только «натура» (по-латыни буквально — «имеющая родиться» — стало быть, еще не родившееся).

По мне, есть реальности выше «натуры». Все эти милые, *живые* уголки в твоём доме, в редакции, в твоей душе, в моей душе, все это живет, все это дышит, все это наполнено нашей *общей* жизнью вопреки непроницаемости; не близость моя с тобой мечта, не полет, не легкость, а наоборот — отдаленность, тяжесть, косность — вот что мечта и продукт больного воображения. Милая моя, пойми, что мир болен, потому что не целостен. Будем же вопреки ему целостны и здоровы!

Как я рад, что успел перед отъездом повидать тебя с твоими детьми и подружиться с твоей Марусей¹⁸. Ты видела, что я в эти дни рассматривал тебя и вблизи и вдаль, и спереди и сзади. Со всех точек зрения и во всех свойственных тебе обстоятельствах хотелось мне тебя видеть и запомнить. Вот еще одна милая обстановка и картина, — в твоём саду, с твоим Микой и с столь лезущей мне в душу Марусей.

Вот она сразу поняла, что расстояние вздор и что следует нам всем быть близко. Поцелуй ее от меня крепко, крепко, всегда радуйся и не верь разлуке, а смотри на небо и слушай, что тебе поет —

твой жаворонок.

PS. Он поет про истинную твердь, что не земля есть твердь, хотя она нам кажется твердью, а что твердь есть лазурь, синева, солнечный свет, словом, все то, что нам ~~кажется~~ нетвердым, призрачным, и что не небо держится землей, а земля — небом. Он видит мир в опрокинутом виде, но в этом он — прав. Наш мир — только негатив истинного мира; чтобы видеть позитив, надо опрокинуть негатив. Поняла или не поняла? Не заключаю из сего, что я усвою себе привычку стоять кверху ногами. Но *ходить на голове* я от времени до времени буду *от восторга*, когда буду тебя видеть. И право же, человек, *ходящий на голове*, более нормален, чем стоящий на ногах, последний представляет мир как он есть; а первый — мир как он должен быть.

Итак, в заключение сего послесловия беру тебя за обе руки и начинаю обычный танец, чтобы в вихре полететь туда, где поет жаворонок.

Боже мой, ты, кажется, сделала из меня декадента! Все оттого, что научила ходить на голове! Но это — от восторга! Вот что делает красота! Со временем она опрокинет мир, потому что сделает небо его основанием. Но уже теперь красота опрокинула что-то во мне, поставила все вверх дном в моей душе.

Кто тебе позволил делать в моей душе такой беспорядок? И не есть ли это новое доказательство того, что ты — тут, моя дорогая. Где ты, там и хаос, Unordnung.

Милая, не верь пространству, не верь разлуке. Тогда ее и не будет, она уничтожится.

Верь только жаворонку.

7. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Последние числа мая — первые числа июня 1909 г. Берлин. В Бегичево. Конверт и бланк: Continental Hôtel. Berlin, N.W. Neustädt, Kirchstr. 6/7.]

Дорогой и милый Евгений Николаевич! Слишком хочется поболтать с Вами, потому не могу удержаться, чтобы не написать Вам несколько слов. Еду и все думаю, вспоминаю Вас, милый и хороший, и благодарю за все без конца! Столько хорошего и светлого в глубине души, что оно даже слышится сквозь грусть и печаль настроения отъезда и разлуки. Это большое испытание моим силам — так долго не видеть Вас и моей сестры¹⁹! Надеюсь на Бога — он поможет мне не терять света в душе! Как я счастлива, что пришлось еще Вас повидать перед отъездом и встретить по дороге! Это мимолетно, но я сочла это радостным предзнаменованием! Значит, все будет хорошо и светло! Благодарю Вас за все, за все! Сейчас я полна планов! Мы с детьми обсуждаем, как будем работать, читать. Распределяем часы! Сейчас же по приезде я начну заниматься со страшным рвением! Всего на мою долю приходится от 6^{ти} до 7^{ми} часов занятий! Дай Бог, чтобы ничего не мешало это выполнять! Сегодня по приезде сюда пошли осмотреть музей старой школы! Он небольшой — есть чудные Ботичелли! Вчера все читала по дороге Чаадаева²⁰! Есть мысли, которые меня поразили, потом напишу Вам, я их заметила! Очень хорошо у него выражено многое, о чем всегда думаешь! Дети меня веселят и оживляют душу! Вчера у нас был день волнений! Мика был взволнован отъездом и ревностью к Марусе, потому запирает дверь все время, чтобы остаться со мной наедине, и плакал! Маруся тоже плакала и сердилась! Смешно и мило было ужасно! Вы покорили Марусю, она все меня просила сказать Вам по телефону, чтобы Вы ехали на вокзал и с нами в вагоне. Она объявила Freilein, что видела «ein Mann, der alles kann», вышло даже стихами! Что ж, ведь она права! Очевидно, Вы поразили ее воображение! Как Вы? Что делаете, как себя чувствуете, как занимаетесь? Обо всем, обо всем напишите мне, дорогой Евгений Николаевич, поскорее! Что Вера Александровна? Я ей пишу сейчас карточку! Все вспоминаю ее! Не хочу верить, что мы так долго не увидимся. Тут у меня как-то останавливается мысль и воображение, так мне грустно и темно! Но надо верить, верить! Что же делать! Буду ждать письма. Напишу по приезде в St.-Blasien! Сердечно преданная Вам

М. Морозова.

8. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[1 июня 1909 г. Бегичево. В St.-Blasien.]

Бегичево 1 Июня

Милый и дорогой друг

Приехал в деревню и вступил в отправление своих обязанностей: хожу по полям, вижу собственными глазами на них неурожай, ловлю и выгоняю из собственных хлебов моих же собственных лошадей. Возмущаюсь, когда вижу, что мужики проложили колесную дорогу через мою рожь. Словом, чувствую,

* Человека, который все может (нем.).

что мое Бегичево не онемечилось. Кругом родная неурядица. И странное дело, меня это одновременно и бесит и успокаивает; бесит как человека с европейской культурой и вдобавок — помещика, а успокаивает потому, что ужасно много в моей душе непобежденного, инстинктивного сочувствия к этому хулиганству.

Всякий русский — в душе хулиган. Будь я сейчас в Шварцвальде, я наверное сердился бы, что лугов топтать не дозволяется и что надо идти по дорожке под угрозой штрафа.

Принялся за занятия. В один день прочитал всю переписку Соловьева. Боже мой, как это мне его воскресило. Редко чьи письма так передают человека, как соловьевские; пишет совершенно так, как разговаривает. И господствующая нота та же — балагурство. Когда он не философствует и вообще не творит, — он только балагурит; таков был он в жизни, таков и в письмах. Нашел у него стихи, где это объяснено (стр. 19 стихотворений).

Таков закон: все лучшее в тумане,
А близкое иль больно, иль смешно.
Из смеха звонкого и из глухих рыданий
Созвучие вселенной создано²¹.

Для обыденщины в этой душе нет места — либо смех, либо рыдания. А вот удивительно сильное и лаконичное выражение того, о чем мы в Москве столько говорили в лучшие, восторженные минуты.

«Я не только верю во все сверхъестественное, но, собственно говоря, только в это и верю. Клянусь четой и нечетой, с тех пор, как я стал мыслить, *тяготеющая над нами вещность всегда представлялась мне не иначе как некий кошмар сонного человека, которого давит домовой*» (Письма, стр. 33—34)²².

Когда я писал про лживость и кошмарность расстояния, отделяющего Бегичево от Шварцвальда, я еще этого письма не знал.

В общем, я еще не вошел в силу: напротив, после Москвы и испытанного там подъема чувствую некоторый упадок — un affaissement. Но оно и неудивительно: моментального возвращения веселости и бодрости не может быть в такой дали от Villa Bristol. А тот подъем, который дается работой, наступит не скоро: для этого надо втянуться. Но унынья у меня во всяком случае нет и теперь.

Почту берут, крепко, крепко целую ручки и.....

9. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[8 июня 1909 г. St.-Blasien. В Бегичево.]

8^{го} июня

Дорогой Евгений Николаевич! Какая я глупая, по рассеянности наклеила не ту марку на письмо к Вам; боюсь ужасно, что Вы его не получили. Хотя меня очень утешает, что и на Вашем письме была марка в 7 к<опеек>. Ах, как досадно, если Вы не получили моего письма! Спасибо, спасибо за письма! Пишите чаще хоть словечко! Как это меня бодрит и радует, когда я вижу Ваш почерк. Я все еще не совсем хорошо себя чувствую. Работа начинает налаживаться. Я только что написала Вам, как получила Ваше письмо, и Вы также пишете о работе, что это не сразу приходит. Я это понимаю! Так же и с музыкой! Я прочла «Великий Спор»²³ — очень хорошо! Чудно сказано о христианской политике — богочеловеческом домостроительстве, как он говорит. Все его основные мысли мне так знакомы из Ваших разговоров и статей и вообще так близки моей душе, что я уж к ним отношусь как к своим мыслям. Вообще Соловьев удивительно ярко выражает полноту жизни как согласование вечного, идеального и деятельного начала. Его мысли о Церкви также чудные. Все вообще, что он говорит, принципиально глубоко верно, но отчего в проведении в жизнь все становится таким уродливым! Например, национальное чувство — как оберечь его от вражды и обособления? Ну как оно может не враждовать? Насчет Польск<ого> вопроса он вполне прав, что

дух сильнее крови. На этом основании Поляки всегда будут ближе с Европой, а нас предадут, по-моему, как только будет возможно. Также и все эти Славяне!²⁴ Во всем прав Соловьев, но только не понимаю я того средства, которое он указывает, как могущее быть началом возрождения духа Божия. *Соединение Церквей*, примирение Востока и Запада через это соединение! Я с ним согласна, что необходимо соединение Востока и Запада как деятельного начала с мистическим, но это задача внутренняя, прежде всего психологическая. А это выйдет какое-то механическое соединение, а нужно прежде всего органическое, а результат уж сам явится. Это все в мыслях очень красиво построено у Соловьева, чересчур схематично, но не глубоко. Гораздо более я согласна с Чаадаевым, он говорит в своем 3^{ем} письме на стр. 271: «чтобы нам вполне переродиться в духе откровения, мы должны пройти через великое испытание, через всеильное искушение, которое весь христианский мир испытал бы во всей полноте, который на всей земле ощущался бы как грандиозная физическая катастрофа; иначе я не представляю, как мы можем очиститься от грязи, оскверняющей нашу память». Это замечательно верно, как для отдельного человека, так и для всего мира. И еще важнее, по-моему, внизу там же примечание: «для нашего времени положительным счастьем является вновь открытая с недавних пор историческому мышлению область, *не зараженная гомеризмом. Влияние идей Индии* уже сказывается на ходе развития философии благотворным образом. Дай Бог, чтобы мы пришли окружным путем к той цели, к которой короткий путь не мог нас привести»²⁵. Это начало пути к той же цели, но это действительно верно и взято из глубины. Нужно вообще изменение всего внутреннего «метода», всего направления, духа мышления и вообще внутреннего пути. Это глубоко важно и должно подготовить почву для действительного слияния двух начал. Надо позаимствовать от Востока его идеи. Как же иначе, как не через восприятие этого мистического метода, может произойти изменение и взаимное проникновение Востока и Запада. А в России и через нее это и может лучше всего начаться. Опять как Чаадаев говорит, что «западный силлогизм нам незнаком, мы не воспринимаем преемственных идей человечества». Поэтому мы и более свободны начать новое. Простите, что я так распространюсь об этом, но это очень, очень важно для меня, потому и пишу Вам и очень прошу, напишите, что Вы об этом думаете? Непременно ответьте. Мне очень хочется уяснить себе, что Вы об этом думаете? Какой путь, через что надо идти, чтобы направить весь этот корабль к желанному берегу! Когда же все перестанут суетиться и толкаться в темноте! Когда из «недотыкомков» (так Сологуб называет всех)²⁶ превратятся в богочеловеческих строителей? Напишите.

10. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[11 июня 1909 г. Бегичево. В St.-Blasien.]

11 Июня 1909 г.

Дорогая Маргарита Кирилловна

С большой радостью получил открытку с необыкновенно симпатичным видом на Philosophenweg²⁷, а также письмо от 6 Июня. Philosophenweg приводит к дому, где читаются сочинения Соловьева; так оно и исторически произошло — именно немецкая «философская дорога» к нему привела. Значит, это — путь верный. Странным образом последнее Ваше письмо пришло ко мне через Москву, а потому шло 5 дней.

Я также теперь только что одолел «Теократию» и читаю «La Russie et l'Eglise Universelle»^{**} — необходимое к ней дополнение²⁸. Вероятно, можно заказать какому-нибудь книгопродавцу. Много нового выясняется мне в этой

* Дорога философов (нем.).

** «Россия и Вселенская церковь» (франц.).

теократии. Соловьев не то чтобы отказался от нее, но оставил эту мечту в конце жизни («Три разговора»). Теперь нужно, чтобы эта теократия стала окончательно «*Überwundener Standpunkt*». Ни в какие рамки человеческой теократии Божеское царство никогда не влезет. Это — в сущности, попытка Петра — построить три кущи для Иисуса, Моисея, Или и удержать на земле преображенное Божество. Нельзя! И мы хотим сделать то же с нашим освободительным движением, но последние годы доказали, что Христа земля не принимает и во всяком случае — в себе не удерживает. Земля не готова еще, а когда она будет готова, — будет сразу само Царствие Божие, а не промежуточная ступень теократии. В сущности, уже в «Трех разговорах» Соловьева это промежуточное звено выпадает: вместо теократии — соединение церковей где-то в пустыне в лице немногих верных, а потом — сразу кончина мира.

Вы не думайте, что этот мой ход мыслей похож на монашеский аскетический пессимизм. Нет! Я все-таки вижу здесь, на земле, огромную задачу — готовить эту самую землю к преображению. Только все-таки это не будет боговластие, потому что *внешним* образом до конца мира Бог еще не будет царствовать. *Внешним* образом будет скорее торжествовать зло; апостолы не даром говорят, что если бы мы только в этой жизни надеялись на Христа, мы были бы несчастнее всех человеков.

Мне удастся доказать, что теократическая мечта Соловьева — не что иное, как последний остаток славянофильства (Россия — народ-богоносец). Она и есть «богоносец» — это правда, в идее, в умопостижимом характере; но эта идея осуществится в чем угодно, только не в политическом могуществе. А Соловьев мечтает именно о могущественной русской теократической Империи²⁹. Возможно, в будущем нам придется пройти через целую серию внешних неудач и бед, чтобы возгорелся в нас огонь: удачи чаще всего заставляют народы забывать о религии. Я боюсь, что русский народ только тогда сможет исполнить свое религиозное назначение, когда ему на земле станет уж очень плохо. Ну, прощайте, крепко целую Вашу руку. Жена Вас целует. У нас после потопов два дня чудной погоды; только к ночи дождь.

Ваш Кн. Е. Турбецкой.

11. Е. Н. Турбецкой — М. К. Морозовой

[В одном конверте с предыдущим.]

№ 6

Милая и бесконечно дорогая

Я также пишу Вам два письма и по той же причине: второе — совсем, совсем между нами. Хорошо, что дети в Villa Bristol не дают плакать, т. е. мешают отдаваться слезам; а то ведь эдак можно совсем известись! Нельзя *всегда* сдерживаться; но ведь можно и вечером поплакать, когда дети легли спать, не так ли? А все-таки я ужасно надеюсь на моего милого «Ваньку-встаньку», — на силы, которые в Вас есть и несомненно Вас вывезут.

О моем настроении много говорить не буду; почему? Потому что не следует слишком в нем копаться: иначе доковыряешься до боли. Скажу только, что по отношению к Вам оно неизменно, моя милая, дорогая. Вот другое письмо мое в этом конверте очень характерно. Почему ход мыслей о Соловьеве так сам собой отливается в письмо к Вам; потому что так связано с Вами все, что я думаю. Вот этот Philosophenweg в St.-Blasien правда замечателен, но символичен: он приведет Вас ко мне, моя бесценная, дорогая.

Что касается моего здоровья, то оно — так себе: увидим к концу месяца, можно ли вылечиться здесь или надо ехать за границу, так же и относительно жены.

Прощайте, мой ангел дорогой
крепко, крепко

* Устаревшая точка зрения (нем.).

12. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[11 июня 1909 г. St.-Blasiën. В Бегичево.]

11^е июня

Многоуважаемый Евгений Николаевич! Сейчас собралась написать Вам под свежим впечатлением только что прочитанного Еврейск<ого> вопроса, как получила Ваше письмо, как раз с советом его прочесть³⁰. Я эти два дня поднялась духом, так увлеклась этой вещью! Очень, очень много там моих самых любимых и сокровенных мыслей. Я теперь определила, что это во мне иудейское сидит. Есть там много и Ваших любимых мыслей, с которыми и я согласна, на стр. 140—1—2—3. Мне очень хочется Вам написать и отметить все, что мне особенно запало! Какая прелесть эта молитва: «скоро храм твой создай, скоро, в дни наши, как можно ближе, нам создай, нам создай!»³¹ Господи, как это хорошо, как это близко моей душе, эта тоска и это желание! Как-то поднимаются все надежды и силы от этих слов. Может быть, где-нибудь, в чем-нибудь увидим — переживем! Это родные мне звуки! Я теперь определила, кроме того, что я религиозная материалистка. Вот как у Соловьева замечательно выражено: «Еврей не хочет признавать такого идеала, который не в силах покорить себе действительности и в ней воплотиться. Он верит в невидимое, но хочет, чтобы невидимое стало видимым и проявляло бы свою силу». Потом еще: «Еврей не относились к материи с равнодушием и отчуждением, ни с враждой»³², т. е. нужно любить эту самую *материю*, чтобы она преобразилась и перестала быть материей сама по себе. Только тогда жизнь может быть сколько-нибудь прекрасной и отражать хоть в слабой степени идеальное, а иначе раздвоение и уродство! Ну вот теперь самое замечательное: «Религиозный материализм происходит не от неверия, а от избытка веры, жаждущей своего исполнения, не от слабости духа, а от его силы и энергии, не боящейся оскверниться материей, а очищающей ее и пользующейся ею для своих целей»³³. Все это мои любимые темы. Но как удивительно это все выражено, как тонко; сколько мудрости, жизнерадостности, яркости в этом мировоззрении! Вот потому-то из этого и родился Христос, с такой силой *любви к людям*, к миру! Вот вследствие отсутствия такой любви и провалилось Платоновское государство — это Ваше³⁴! Впрочем, Вы — буддист! Не по мыслям, я про мысли не говорю, а по чувствам к миру и вообще ко всему! Нужно, чтобы все чувства проникали в самые недра земли и ее преобразали! Тогда и родится Христос. Конечно, все это я подразумеваю символически, он может родиться в виде книги, дела, но непременно в соединении, в проникновении в мир. Замечательно глубоко говорит Соловьев, что в Христианстве нам открылся крест и новое отношение к страданию, которое было непонятно иудеям³⁵. Все, где Соловьев говорит о религиозном, внутреннем или мыслит отвлеченно, — он просто гениален! Но его мысли в применении к действительности, или когда он их облакает в более конкретное, — мне всегда не нравятся! Конечно, я мало понимаю и боюсь слишком смело рассуждать и критиковать, но Вам мне всегда хочется излить все мои мысли, а Вы мне скажите, если я думаю глупости. И странное дело — все эти его рассуждения мне кажутся не серьезными, легковесными. Этот диалектический способ всегда меня ужасно отвращает, он как-то остается висеть в воздухе, нет крови и плоти в этом мышлении. Эти красивые схемы просто раздражают и после такой глубины кажутся слащавыми и внешними. Менее последовательное мышление, но идущее из недр жизни, всегда в конце концов даже последовательнее. Мир ведь весь в глубочайших антиномиях. А как только начнут гладко выводить одно из другого, так все дальше и дальше уходят от действительности и остаются висеть в воздухе. Поэтому все его рассуждения о соединении Церквей, о роли России, Польши и Еврейства ужасно ложные!³⁶ Отдельные остроумные мысли как перлы везде рассыпаны. — Как меня загла эта вещь и органически как-то приобщила к работе. Опять я приобрела мой *refuge** — радуюсь этому ужасно. Пишите, пожалуйста, как идет Ваша работа? Ответьте на мои письма, что Вы думаете обо всем этом.

Преданная Вам М. Морозова.

* Пристанище (*франц.*).

13. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[17 июня 1909 г. Бегичево. В St.-Blasien.]

Дорогая Маргарита Кирилловна

Мое последнее письмо — почти полный ответ на Ваше; Соловьев к концу жизни бросил теократию; в предисловии к переводу Платона он прямо говорит, что должен был отказаться от любимой мечты³⁷. Почему? Он убедился, что соединение Церквей может привести к Царствию Божию на небе, а никак не на земле; в «Трех разговорах» оно происходит в пустыне, между горстью христиан разных исповеданий; никакого *внешнего* могущества теократии в результате не наступает, а, напротив, — сразу настает конец мира. «Теократия» — остаток панславистской мечты о внешнем величии России; в «Трех разговорах» С<оловьев> приходит к заключению, что скорее внешнее унижение может побудить Россию исполнить свое внутреннее назначение. По-видимому, и Вы так думаете; я — так же. Только вражда Чаадаева против «гомеризма» и его пристрастие к Индии мне непонятны и чужды; не понимаю, почему это Вам нравится: ведь Греция и гомеризм — олицетворение жизнерадостности, а Индия — нездорового, враждебного жизни аскетизма.

У нас по-прежнему за исключением немногих сравнительно редких дней — почти непрерывный потоп. В церквах молятся о появлении солнца и прекращении дождя. Не скажу, чтобы это было мне полезно. Мое здоровье весьма неважно и отъезд за границу вдвоем весьма вероятен, тем более что в доме очень сыро, что никому не полезно. Большая часть прогулок совершается в непромокаемых плащах и высоких сапогах.

Ну, прощайте, дорогая Маргарита Кирилловна, крепко целую Вашу руку.
Ваш Кн. Е. Т.

14. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[18 июня 1909 г. St.-Blasien. В Бегичево.]

18^е июняИмение наконец куплено — я радуюсь ужасно!³⁸

Дорогой Евгений Николаевич. Спасибо за письмо! Ужасно обрадовалась всему тому, что Вы высказываете о теократии. У Вас так хорошо и ясно выражено то, что мне хотелось Вам сказать в моем предпоследнем письме. Конечно, это совершенно верно, что земля не удерживает Христа, если она и принимает его временами, и никакой такой строй, где бы Христос жил и властвовал, — невозможен! А если и наступит такое время, когда зло будет преодолено, то *э т а* жизнь кончится! Вот какая мысль мне очень нравится, это что соединение церквей должно произойти где-то в пустыне, в лице немногих верных, как Вы говорите! Это действительно верно и так будет! И эти верные, как апостолы, начнут действовать, в корне перевернут направление мысли, перестроят образование и воспитание. С этого надо начать, а внешнее явится как результат. Надо *сделать других* людей! Я удивляюсь, право, как это все русские философы утверждают, что Россия должна идти своим особенным путем, а сами в то же время пропитывают ее западными основами. Надо прежде всего определить индивидуальность России, найти ее путь, установить то, что ей свойственно. Как хорошо об этом говорит Чаадаев в письме к Сиркуру, к неизвестн<ой> и в последнем к Тургеневу³⁹. Это поразительно, как много общего в направлении мысли Чаадаева с Соловьевым. У Ч<аадаева>, по-моему, ум глубже, чем у С<оловьева>, но он менее талантлив и красочен, чем С<оловьев>. Природа его беднее! Ведь «Вехи» это хотя отдаленная, но все-таки попытка встать на путь исканий: каков лик России? Слава Богу, я просто счастлива бываю, когда вижу эту книгу! Только бы не заглохла эта живая струя! Вот в Вашей статье о «Вехах» мне очень

* Было: *вчетвером*, далее зачеркнуто: (*Верочка, Соня, Екатерина Ильинишна*).

нравится полемическая часть, но заключение как-то пусто, слишком обща положительная сторона!⁴⁰ Вот Ваша задача! Помните, я всегда мечтала о церкви, т. е. вот об этом соединении верных в пустыне. Все они должны сплотиться в одной любви, в одном желании — отдать себя на служение одному великому, *единственному* великому делу! Начать его из самой глубины жизни. Произвести внутренний переворот, своей любовью и живым словом зажигая души и обращая их к Богу! Не верю я, чтобы молодежь, которая ищет прекрасного и подвига, не пошла бы за ними! Только отсюда, только так надо идти, чтобы создать, подготовить будущее. Я тоже с Вами согласна, что наверное Россия сознает *вся* целиком свое религиозное назначение, когда ей на земле станет страшно! Но вот эти посвященные должны уже быть готовыми, сплоченными, чтобы в нужный момент сказать слово и указать путь, и не формальное слово сказать о нравственном долге и правовом порядке, а конкретно, делом показать, в чем должен воплотиться идеал, и притом в живом и близком Русскому народу образе. Это святая и глубокая задача! Не жаль отдать всю душу и всю жизнь за это! Теперь надо пользоваться этим моментом переоценки и глубокого брожения, тут-то и заложить прочно этот камень! Вы должны это сделать! Вот почему я так священно и с таким страхом отношусь к этой Вашей работе! Не критикой только Соловьева она должна быть, нет, она должна быть теократическим делом. Вы должны сказать свое глубокое слово, указать пути! Если его не услышат теперь и не последуют ему, то пусть не это будет мерилом его правды! Если его и не признают, то оно все-таки не умрет, а всплывет и засияет в будущем! Его мерилом должен быть свой собственный внутренний суд! *Степень* любви, *степень* горения, *степень* страдания за мир! В этом никого не обманешь! Вот что должно быть мерилом! Нужно собрать все силы в самого себя, углубиться и работать без конца! Господи, как мне хочется, чтобы это было, чтобы в Вас горело все по-настоящему, упорным, глубоким, скрыто-внутренним огнем! Чтобы Вы сделали даже жестоки ко всему, что Вам мешает. И помните — здоровье нужно, нужно, чтобы хватило сил сказать свое слово, во всей полноте раскрыть всего себя, а потом и умереть хорошо! Лучше просиять, загореться, отдать всю душу и уйти, чем прозябать почтенным профессором. Ответьте непременно на все это, только хорошенько напишите! Верите ли Вы, чувствуете ли Вы себя вооруженным всеми духовными силами и есть ли у Вас твердое решение идти и отдать себя этому делу? Ответьте непременно! Ведь это единственная моя надежда еще из той сферы «оттуда». — Ну довольно! Я коснулась моей любимой сферы и чувствую, что понеслась безудержно! Как Ваше здоровье? Его укрепление есть тоже дело теократическое, в виду общей цели. Здесь просто фабрикуют здоровье — я подобного ничего не видала. Нельзя не поздороветь! Кроме всех лишений я здесь лишена природы: никакого простора, никакой жизнерадостности — все стиснуто, угрюмо, черно — льют дожди. Занимаюсь я много, играю много! Кончаю Теократию, которая мне не нравится. Завтра начну читать письма о христианской жизни Еписк<опа> Феофана⁴¹. А потом буду читать «Критику отвлеч<енных> начал». «La Russie et l'Eglise Universelle» выписала уже. Напишите на всякий случай, какое это издание. Потом, как называется книжка Amédée Thierry? Пишите скорее и не ленитесь подробнее ответить на вопросы.

Ваша М. М.

15. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[25 июня 1909 г. Бегичево. В St.-Blasien.]

25 Июня

Дорогая Маргарита Кирилловна

Прежде всего о моих занятиях Соловьевым. Ведь эти занятия едва начались, а я уже чувствую, что они много мне дали: опять что-то загорелось, и вылилась из-под пера одна большая статья «Патриотизм и национализм»⁴², в которой Вы увидите, что что-то зажглось. По тому, как летится, я чувствую,

что горит; надеюсь, что будет разгораться; но на Ваш вопрос, чувствую ли я себя во всеоружии, я скажу — «еще нет». Ведь это «всеоружие» — не начало, а венец дела, которому я хочу служить. Могу только свидетельствовать о моей решимости служить, а затем — что Бог даст! Только оставьте это выражение — «теократическое дело». Я верю в Божье дело и в Божье царство; а «теократия» — только человеческая фальсификация; такой порядок, где Бог только ограничивает и сдерживает зло, прибегая для того к светскому мечу, — не есть еще Божье царство; Бог может царствовать только *изнутри*, а не *извне*. Я думаю, что внешней теократии на свете в смысле действительного Боговластия нет и не будет, потому что в деле спасения она была бы тормозом; человечество на ней успокоилось бы, что было бы концом христианского прогресса. Вообще где Божье царство, там зло уже побеждено; оно ни в коем случае не может быть только *внешним* порядком. Поэтому теократия, в которой внешний первосвященник и царь правят над людьми независимо от их вероисповедания, убеждения и воли, — сушая нелепость с христианской точки зрения; если христианство требует совершенно свободного единения людей со Христом, то принудительная теократическая власть с государственными полномочиями ему, по существу, противна.

Вы спрашиваете о моем здоровье; оно недурно, и я чувствую себя бодрым; но все-таки еще нет коренного излечения; и вот почему мы 30^{го} Июня трогаемся в путь, чтобы 2^{го} числа быть в Берлине. Не знаю, куда пошлет нас берлинский доктор; нам московский усиленно рекомендует Neuenahr (недалеко от Кёльна).

Соловьева La Russie et l'Eglise Universelle. Paris, Albert Savine, editeur. 1889.

Тьери наиболее интересные вещи:

- 1) St. Jean Chrisostome [et l'imperatrice Eudoxie]
- 2) Nestorius et Entyches⁴³.

Прощайте, целую Вашу руку. Моя жена Вас целует.

Ваш кн. Е. Трубецкой.

Милая и дорогая, Вы не поверите, как сильно действуют на меня Ваши призывы и как дорого мне участие Ваше в моей работе. Ах, как бы хотелось увидеться.

16. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Между 25 и 30 июня 1909 г. Бегичево. В St.-Blasien.]

Пишите: Berlin, Hôtel Continental.

Дорогая Маргарита Кирилловна

Теперь наш отъезд в Берлин окончательно решен; мы выедем из Москвы 30^{го} Июня, а там — куда пошлет берлинский доктор. Это не означает плохого состояния моего здоровья; но надо поступить в ремонт скорее в предупреждение худшего.

Получил Ваше письмо и открытку с рейнского водопада⁴⁴. Относительно Соловьева Вы многое чувствуете верно. Схематизм и диалектическое построение хода всемирной истории, несмотря на замечательный блеск, — самая слабая и даже легкомысленная часть этой философии. Все эти построения к концу его жизни рухнули, как карточные домики. Посмотрите, что от них осталось в «Трех разговорах». Не только нет речи о могущественной католической и русской империи, — но Россия — даже не самостоятельное государство: она — сначала под китайским игом, потом — под властью антихриста. Где же русско-польско-еврейская теократия?⁴⁵ Соединение церквей влечет за собой уже не политический переворот, а кончину мира.

Вообще та доля лжи, которую Вы в построениях Соловьева инстинктивно чувствуете, заключается именно в его идее теократии. Он считает государство *частью тела* Христова и требует, чтобы оно походило на церковь! Если довести эту мысль до конца, то получится нечто ужасное: такое государство должно исключать из себя всех иноверцев; нельзя же от неверующих мусульман и

иных не католиков требовать, чтобы они занимались осуществлением католической теократии. В результате — без деспотической власти и без инквизиции в самом средневековом смысле для осуществления такого государства не обойдешься. Соловьев этого не понимал, потому что он был, в сущности, слишком восточный неотмирный человек и большое дитя вместе с тем.

Что касается «материализма» в еврейском смысле, то в этом религиозном смысле — я также материалист; только не знаю — в этом ли смысле Вы называете себя материалисткой; во всяком случае, в Ваших цитатах из Соловьева нет ничего, под чем бы я не подписался.

Знаете ли Вы, в чем слабость Соловьева? Несомненно в Обломовщине. Гончаров прекрасно понял Обломова, потому что это — он сам; в Обломове — его собственная *бездеятельная*, созерцательная природа; но когда в противовес Обломову он попытался изобразить *деятельный*, практический характер, то вышел карикатурный, несимпатичный и совершенно неправдоподобный немец Штольц: таких не бывает.

Вот теократия Соловьева и напоминает мне этого *Штольца*; из черт, недостающих Обломову и России, не построишь ни идеального человека, ни идеального общества, а только отвлеченную и нежизненную схему. Курьезно, что за изображение практического идеального христианства взялся самый непрактический человек, какой только существовал в нашей непрактической России⁴⁶. Чтение Соловьева укрепляет в мысли, что России не суждено политическое величие: она будет велика тем, чем был велик Соловьев и прочие ее гении, — не внешним, а внутренним своим делом. Какой урок заключается в том, что *внешние* замыслы Соловьева рухнули? В религиозном творчестве мы можем достигнуть великого; а в политике — дай нам Бог хотя бы сносного.

Теократия, в сущности, — попытка влить вино новое (Царствие Божие) в ветхую форму государства. Неудивительно, что вино разорвало мехи; и так как мы, русские, — по самой нашей природе — любители нового вина, то «мехи», по всей вероятности, всегда у нас будут дырявые. Немцы на этом основании всегда будут считать себя высшей расой: у них такого вина нет, зато мехи — превосходны. Поеду в Германию и, поскольку питье вод не помешает, посмотрю, каково у них и то и другое.

Крепко целую Вашу руку.
Ваш Кн. Е. Трубецкой.

17. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[27 июня 1909 г. St.-Blasien. В Берлин.]⁴⁷

10^е июля

Дорогой Евгений Николаевич! Надеюсь, Вы хорошо доехали и здоровы! Большое спасибо за два последних письма — очень им обрадовалась. Очень счастлива, что Вы решили собой заняться и приехали сюда. С каким доктором Вы будете здесь советоваться? Напишите мне подробно обо всем, что он Вам скажет, куда пошлет, поскорее напишите! Вот хорошо бы, если бы он Вам велел ехать в St.-Blasien, но вряд ли! У нас погода адская, ни одного солнечного дня без ливня! Я помню, что каждый год, когда мы жили в Тверск<ой> губ<ернии>⁴⁸, мы тоже думали, что там особенно дождливо, т<ак> ч<то> это не в одной Калуге. Но, оказывается, и здесь то же самое! Так что я лишена и наслаждения природой! В прошлом письме я забыла Вам написать, что я прочла у Соловьева, что «Когэн» значит по-еврейски *поставленный*, помазанник, поставленный для особого назначения⁴⁹. Это очень мне понравилось — уж не посланник ли это антихриста, чтобы затуманить умы и отвлечь?⁵⁰ Вы как-то очень несимпатично отнеслись к очень мне понравившейся у Чаадаева (да и всегда меня этот вопрос очень интересует) мысли о влиянии Индийск<ой> философии. Действительно, отношение Ч<аадаева> к Греции не глубокое, и в этом он не прав. Что же может быть, в человеческом смысле, прекраснее и радостнее Греческ<ого> искусства и вообще всего! Этого Ч<аадаев> не мог почувствовать по холодности и

безжизненности своей природы. Но ведь дело не в этом, я думаю, а в том, что весь этот греческий рационализм хотя и обучает мыслить, но никогда не направит мысль на религиозный путь и не даст раскрыться мистическим сторонам души, а без этого какой же возможен переворот! А тем более в России к<a>к более родственной Востоку. Да и каким же образом возможно реально представить соединение Вост<ока> и Запада к<a>к не этим внутренним путем: взяв форму у Запада, а содержание у Востока. Именно его мистический внутренний мир. Я очень радуюсь, что в «Критике отвлечен<ых> начал» затронут вопрос о мистическ<ом> восприятии к<a>к основе знания⁵¹. Этот вопрос меня очень интересует. Что Вы об этом думаете? Ответьте непременно хорошенько! Конечно, не отношение к миру меня интересует в Индии. Все, что Вы пишете о Теократии, — мне очень, очень нравится! Ну пишите скорее, теперь письма будут идти один день — ведь до Фрейбурга⁵² одна ночь от Берлина!

До свиданья
надеюсь.

Очень хороши публицистические статьи Солов<ьева>.

18. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[3 июля 1909 г. Берлин. В St.-Blasien.]

Милая и дорогая

Нас посылают в Neuenahr, причем мое состояние не вызывает опасений. Получил Ваше письмо; наскоро отвечаю, так как тороплюсь. Как Вы еще меня мало знаете! Если бы не это письмо, я просто бы приехал в St.-Blasien. Но теперь мне хочется, чтобы в моем приезде были и Вы немного соучастницей. Ведь приходится мне думать не только о себе, но и о Вас, моя дорогая. Если я приеду к Вам на один день, будет ли это в теперешнем настроении Вам полезно или вредно? Будет ли *после* хуже или лучше, решайте сами. Я же, конечно, жажду Вас видеть. Если это не вредно, пишите просто, чтобы я приехал, без комментариев. А мне ужасно как хочется Вас видеть и прогнать это Ваше настроение, коему не должно быть места.

Только не торопите меня. К нам в Neuenahr придет старая воспитательница моей жены; только тогда я могу уехать; до тех пор потерпите. Ведь, право, раз Вы будете знать, что мы увидимся, Вам будет лучше. Бросьте Вы наконец это нелепое, вредное и никому не нужное настроение. Как мне нужна Ваша радость жизни. Крепко, крепко целую Вашу руку. Пишите Neuenahr, postlagernd* (это рядом с Кельном).

Это письмо — *секретное*. Если ответ будет официальный, то фраза — «очень буду рада Вас видеть» будет значить, что мой приезд Вы не считаете вредным. Вы же сами *пока* не ездите. Я воспользуюсь одним днем промежутка в лечении.

Еще раз крепко целую руку
Ваш Е. Т.

19. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Первые числа июля. St.-Blasien. В Neuenahr.]

Дорогой Евгений Николаевич! Я так и знала, что Вас пошлют в этот Neuenahr. Мои мечты о St.-Blasien разлетелись. Ну что же делать! Дай Бог, чтобы Вам лечение принесло пользу и окончательно поправило бы. Надеюсь, что и Вере Александровне будет полезно это пребывание. Я все-таки не теряю надежды, что, если будет возможно, Вы приедете к нам, дорогой Евгений Николаевич, Вы знаете, как я была бы Вам рада. Конечно, если только это будет возможно. От Вас до Freiburg всего 9 ч<асов> езды — т<ак> ч<то> Вы потеряете только один день. И мне очень хотелось бы приехать к Вам перед

* До востребования (нем.).

отъездом в Биарриц, который, вероятно, состоится через три недели, т. к. мой сын возвращается туда морем из Англии и мы должны с ним съехаться в Биаррице. В Биаррице я думаю пробыть около месяца и вернуться в Москву к 1^{му} сентября. Я конечно не дождусь этого времени! Так я соскучилась по всех и по всему! Потом в сентябре у меня будут новые хлопоты по устройству имения! Там уже начинается ремонт теперь и будет окончен к осени. Но нужно устроить парк и обдумать план постройки флигеля и служб, которых нет! Я счастлива, что будущее лето я буду жить *дома!* Дети тоже очень рады — это был очень радостный день здесь, когда мы получили телеграмму, что имение куплено! — Сейчас читаю «La Russie et l'Eglise Universelle» Соловьева. Третья книга очень интересна, есть глава удивительно красивая и увлекательная! Вы недовольны моим выраженьем «теократическое дело» — а я все-таки решаюсь на нем настаивать, т. к. не знаю лучшего выражения для определения дела именно в этом смысле и определенно задающемся этой целью. Я так всегда думала о «Еженедельнике» — что это теократическое дело! Тут вовсе нет теократии как строя достигнутого, но теократия к<a>к идеал должна нами руководить! Должны же мы *строить* жизнь, преследуя известную цель, идя известным путем к Царствию Божию. Ну, а как Вы называете то дело, которое идет к этой цели, преследует и раскрывает ее? Это конечно религиозное дело, но это как-то неопределенно. И Соловьев в Теократии употребляет это выражение, разбирая ист<орию> Ветх<ого> завета. О теократии как строе и о соединении церквей я согласна вполне с Вашими мыслями. Но о теократии к<a>к *идеале* земного устройства — можно думать и иначе, и о деле, имеющем вполне определенный религиозный смысл и цель, хотя и могущий проявляться во всех областях жизни, можно думать к<a>к теократическ<ом> деле. Как Вы думаете?

Сердечно преданная М. М. Пишите!

20. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[5 или 6 июля 1909 г. St.-Blasien. В Neuenahr.]

Милый и дорогой Евгений Николаевич. Пишу два слова — тороплюсь. Я получила сейчас от Веры Алекс<андровны> посылку. Пожалуйста, *ни за что* не ездите в Freib<urg>, если В. А. останется одна!⁵³ *Для меня* это будет очень неприятно и испортит мне всю радость Вас видеть! Конечно, я была бы очень счастлива, если бы Вы могли приехать, но при таких условиях удовольствия для меня никакого не будет! Уверю Вас. Целуйте от меня Веру Александровну и поблагодарите за письмо и подробности о Вас. Только от нее я всегда что-нибудь знаю толковое. Вы же пишете крайне бестолково. Слава Богу, что доктор нашел все хорошим, но смотрите, берегите себя!

Ваша М. М.

21. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[5 июля 1909 г. St.-Blasien. Neuenahr. Конверт и бланк: Kuz-Hôte Bad Neuenahr.]⁵⁴

Дорогая Маргарита Кирилловна

Вместо того чтобы самому приехать, я Вас приглашаю приехать сюда, и вот почему.

Доктор строжайше запретил отлучаться более чем на 1/2 дня; ставит это условием выздоровления. Между тем, чтобы видеть Вас сутки, надо истратить на путешествие еще два дня.

Ужасная обида; но здесь, поверьте, мы все-таки будем видеться хорошо и наговоримся, тем более что Вы не стеснены сроками. Потом я могу еще проводить Вас до Кёльна или до Бонна; словом, увидимся как следует. Ах как хочется увидеть Вас. Только уж лучше приезжайте *поскорее!*

Можете ехать или по железной дороге, что *скорее* (1/2 суток), или по Рейну на пароходе (чудная прогулка). Так приезжайте же, милая, дорогая,

хорошая, и будьте радостны. Крепко целую Ваши руки. Известите телеграммой, так как комнату надо припасти заранее.

Еще раз целую ручки

Ваш Е. Т.

22. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[6 или 7 июля 1909 г. St.-Blasien. В Neuenahr.]

Дорогой Евгений Николаевич! Я уже Вам телеграфировала, что собираюсь приехать в пятницу. Поезд приходит в Remagen в 5 ч<асов> 34 м<инуты> вечера, в Neuenahr — не знаю точно когда. Очень радуюсь Вас видеть. Конечно, Вам не следует нарушать лечения и уезжать сюда, в St.-Blasien, хотя я об этом очень грущу! Но я настолько всегда думаю о Вашем здравии, что даже с этим примиряюсь. Не такая уж я эгоистка, в самом деле. Получили ли Вы мои два письма на *poste restante*. Я пришла к убеждению, что Вам не стоит писать. Вы *ужасно* отвечаете на письма, т. е. просто *ничего* не отвечаете! Вообще я с Вами будубраниться и хотела бы хорошенько, но *только* из-за Веры Александровны немного себя сдержу! Боюсь, что она на меня рассердится! Ну, до свиданья!

Преданная Вам

М. Морозова.

Телеграфируйте, могу ли я приехать в пятницу? Может быть, другой день Вам удобнее? Но телеграфируйте, т. к. я должна заказывать себе *automobile*. Ах да, возьмите мне комнату, если можно, то с *salon* и уборной, а если нет, то все равно.

23. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Телеграмма. Neuenahr. В St.-Blasien. Принята 21 (8 ст. ст.) июля.]

Arrive preferable samedi telegraphiez Neuenahr villa Humbolt si pouvez*.

24. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[16 июля 1909 г. Neuenahr. В St.-Blasien.]

16 Июля, здание почты, Нейнар

Милая моя, дорогая, душка, красавица и красота поднебесная

Все что у меня есть горячих, нежных, ласковых слов — все это твое, мое сокровище. Сейчас написал тебе из виллы Humbolt в *зеленом* конверте; а теперь пишу с почты в *голубом*, понимаешь, мой ангел, моя родная, моя любимая!

Вот уже второй день как ты уехала, и все еще не прекращается воодушевление, радостный подъем, как будто ты еще тут со мною, а не за тридевять земель. Ах Боже мой, какой ты источник радости; и как это бесконечно хорошо, что эта радость — ничем не подорвана, — ничем решительно таким, что бы омрачало душу и мешало бы нам обоим прямо глядеть в глаза и Верочке и всему свету.

Маргоша моя дорогая, какой ты источник радости, радужная моя. Не унывай же и в отсутствии радуй меня известиями о твоём бодром, хорошем настроении. Помни, что ты всегда со мной, всегда живешь в *моем восторге*, и пусть будет тебе так же море по колено, как и мне.

Ты бодрость в меня влила, ты меня воодушевила; радуйся *этому*, а не тогда, когда я унываю и грущу по тебе. Не могу я унывать сейчас, потому что еще уношусь в восторге, потому что всеми фибрами души чувствую тебя, что ты со мной, моя глупенькая, мой ангел.

* Предпочтительный приезд среду телеграфируйте Neuenahr villa Humbolt если можете (франц.).

Сейчас буду купаться, потом пойду домой и займусь Соловьевым. А теперь крепко, крепко целую тебя, как люблю, и подымаю тебя высоко, высоко, над головой, моя родная. Хочу кружиться с тобою в облаках и радоваться.

Твой жаворонок
(Tubario)⁵⁵

25. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[17 июля 1909 г. Из St.-Blasien в Neuenahr.]

17^о июля

Дорогой и милый Евгений Николаевич! Как я обрадовалась, получив Ваше письмо сейчас! Спасибо, что вспомнили день моих именин, он от этого стал еще веселее, конечно!⁵⁶ Вы не можете себе представить, с какой светлой и обновленной душой я вернулась из Neuenahr! Полной грудью и в глубину души я вдохнула свет и тепло! Благодарю Вас всем сердцем, что Вы меня позвали. Набравшись бодрости, я надеюсь теперь менее мрачно переносить свое одиночество! Во вторник ночью мы будем в Париже, Hôtel Chatham, и останемся до пятницы или субботы вечера. Напишите туда, пожалуйста. В Биаррице мы остановимся и будем жить в Hôtel Victoria — это выяснилось, т. к. с виллой дело расстроилось. — Я ужасно смеялась, что Вы «хватили» Мазельвейна⁵⁷. Хотя Вы и действительно ein Mann, der alles Kann, но все-таки, пожалуйста, будьте осторожны. Маруське я передала Ваш привет и поцелуй, и она велела Вас целовать «много, много, много раз, девятнадцать, семнадцать и еще прибавить семнадцать раз, приезжайте к нам сюда, сюда, милый, дорогой ангелочек». Это буквально ее слова. Я их несколько сократила даже. Но особенно она требовала, и Мика тоже, чтобы я написала дорогой ангелочек! Ей очень хочется скорее послушать Ваше хрюканье. Я буду очень рада, если Вы поедете в Байрейт и послушаете там эту чудную музыку!⁵⁸ Напишите мне подробнее о лечении. Помогают ли Вам воды, есть ли улучшение и как действуют на Вас ванны? Напишите о работе, как она идет. Буду ждать письма в Париже. До свиданья, дорогой Евгений Николаевич, благодарю Вас без конца за все хорошее, светлое! Вы всегда так поддерживаете и обновляете мою душу, так я чувствую себя бодрой и полной энергии. Получила много писем по возвращении, и, между прочим, от Котляревского. Он, между прочим, пишет, что очень хорошая Ваша статья о «Вехах», что в ней отразились «сильные стороны его духовной природы»⁵⁹. Получила письмо от Лопатина. Он описывает свое житье-бытье очень типично. Он с Веней ведет беседы о философии, мирно гуляет и пишет, что они часто и много говорят обо мне⁶⁰. Это меня обрадовало, и стало любопытно послушать эти разговоры! До свиданья, будьте здоровы.

Ваша М. Морозова.

26. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[18 июля 1909 г. Neuenahr. В St.-Blasien.]

Милая моя, дорогая, радужная и хорошая

Пишу тебе как самому дорогому другу, который должен всякую заботу со мной делить.

После твоего отъезда мне было нелегко. Тут только я увидел, сколько боли и муки накопилось в другой милой душе.

Все это тщательно от меня скрывалось. Но, проснувшись глубокой ночью и услышав тихие стоны, я понял, до чего она измучилась и исстрадалась.

Не от твоего приезда, — нет: это за целую зиму наполнялось, теперь же произошел кризис. Я увидел, что ее душа — словно открытый нерв, который терпит сильную боль от всякого неосторожного прикосновения. И боль углубляется «бережением меня» — боязнь ее выдать, чтобы меня не расстроить и тем не повредить моему здоровью.

Боже мой, какая тут глубина любви и жертвы, какая чистота и настоящая, героическая святость.

Но устала она до бесконечности и нуждается в бережении и помощи.

Маргоша, мой дорогой, мой милый друг. Как я рад, как я тебе благодарен за то, что ты это все понимаешь! Зимой часто будет нелегко! Но теперь и ты нам поможешь; ты все понимаешь своим горячим, пылким сердцем и твоею милой, женской чуткостью.

Видишь, мой дорогой друг, как откровенно и свободно я пишу тебе из Badenstadt'a. Не пеняй, если в Россия я — осторожнее. Кроме всех прочих опасений, я убежден, что наши письма перлюстрируются русской полицией⁶¹. Зачем же ей выдавать мою и твою тайну.

А теперь, душа моя родная, крепко, крепко целую тебя и жду письма на имя Tubagio. Обещаю уничтожить немедленно. А Bادهaus — никакой опасности.

Еще раз целую крепко!

27. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[20 июля 1909 г. Neuenahr. В Париж.]

Дорогая Маргарита Кирилловна

Большое спасибо Вам за письмо. Маруську и Мику многократно от меня поцелуйте и скажите, что я — в долгу перед ними. Весь зверинец изображу, когда увижу, еще пилу, молнию, фейерверк и прочее, что вспомню.

Очень рад окончательно принятому собственному решению — прослушать весь Ring* в Байрейте. До сих пор я слушал отдельные оперы; но целиком все, да еще в таком чудном исполнении, приходится слышать в первый раз.

Чтобы Вы не говорили, что я оставляю Ваши вопросы без ответа, я нарочно сейчас перечел Ваше последнее письмо. Вопросов там два — о моем здоровье — оно превосходно. Исчезают некоторые болезненные явления, от которых я не мог отделаться годами.

Другой вопрос о моей работе. Начал писать, и пишется. Но тут Верочка меня бранит, зачем я пишу сейчас не сразу большую работу, а только эту «Крушение теократии» у Соловьева⁶². На сие отвечаю: эту — составная часть работы, который составит одну из глав или разойдется по главам; но иначе я не могу теперь, потому что план *всей* большой работы пока у меня еще не сложился.

Вчера и сегодня утром тут было совсем тепло, солнечно, и мы совершили чудную прогулку в Altenahr⁶³; но теперь опять серо, пасмурно и дождь; терпенья нет! Все-таки для отдыха лето необходимо, а его нет.

Очень рад и для себя и в особенности для Верочки приезду Fr. Kämpfer, которая уже два дня с нами.

Крепко целую Вашу руку.

Ваш Е. Трубецкой.

28. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[20 июля 1909 г. Париж. В Neuenahr.]

Понедельник

Дорогой Евгений Николаевич! Только завтра утром мы уезжаем отсюда в Биарриц⁶⁴. У меня заболел зуб, и пришлось его лечить. Здесь жара тропическая — очень тяжело после горного воздуха. Но несмотря на это, все-таки Париж всегда гарцует своей красотой и поэзией. Особенно я люблю в нем эту легкость и какую-то дымку, которая его опутывает и делает все здания воздушными. Каждый квартал в нем своеобразен и прекрасен *своей* красотой.

* Кольцо (нем.).

Вчера были у обедни в Notre-Dame. Я, конечно, молилась за Вас и за всех Ваших, и особенно о том, чтобы Ваше лечение было вполне успешно. Это составляет предмет моих самых горячих желаний. Напишите подробно о Вашем лечении и самочувствии. Ужасно радуюсь, что Вы будете в милom Байрейте, хотя мне грустно, что я не могу послушать все вместе с Вами. Пожалуйста, вспомните обо мне, когда будете слушать некоторые места, особенно: I В Валькирии, дуэт *Зигмунда* и *Брунгильды* (Зиглинда лежит *спящая около*). В этом дуэте столько таинственной красоты. II В Зигфриде *Waldweben**, вся эта сцена. Еще дуэт Зигфрида и Брунгильды. III В *Göttardämmerung*** момент смерти Зигфрида и марш. Непременно хорошо послушайте эти места, хотя Вы и знаете их. Когда слушаешь все подряд и в Байрейте, то отпадают все условные и подчас грубые стороны и выступает весь внутренний гениальный дух, вся волшебная и стихийная красота⁶⁵. Сколько в Вагнере дионисического, беспредельного, по-моему, сколько природы и земли и в какой красоте! Очень важно отдалиться этой струе и оставаться глухим и слепым ко многому искусственному и немецки-безвкусному. Вы это оставьте, а напишите подробно о Вашем впечатлении и размышлении по существу. Очень буду ждать подробного письма об этом. Надеюсь, что оно не будет скептическим и что Вы переживете живое впечатление. Я себя чувствую очень хорошо и весело, рада, что завтра мы будем у океана. Целую Веру Александровну и жду письма,

Ваша М. М.

29. М. К. Морозова — Е. Н. Грубецкому

[25 июля 1909 г. Биарриц. В Neuenahr.]

Четверг 12^{но}

Дорогой и милый Евгений Николаевич! Спасибо за карточку, получила ее по приезде. *Ужасно радуюсь*, что Вы в хорошем расположении духа и, главное, довольны результатом лечения. Вы прекрасно сделали, что поехали за границу. Путешествие хотя иногда и тягостно, но обновляет и освежает. Слава Богу, что Neuenahr оказался таким благотворным для Вас. Видите, что и работалось Вам хорошо! Все это прекрасно! Поездка в Ваугеuth, я надеюсь, довершит благоприятное впечатление и даст большой внутренний подъем. Я здесь, в Viargiz, думаю основательно поправиться на воздухе, который тут удивительный. Половину дня буду лежать у моря на песке, с книжкой. Сегодня прочла «Три речи о Достоевск<ом>»⁶⁶ и в восторге. Сколько удивительных, чудных мыслей. Непременно хочется с Вами прочесть и некоторые места, особенно замечательные, по-моему. Нельзя не любить Соловьева самой *живой* любовью. К нему относиться не как к писателю, а как к самому близкому, дорогому другу и учителю. Вот в области музыки первым и самым близким был для меня прежде Вагнер и долго царил один, пока я не добралась до Бетховена. Так душа постоянно открывает мир. Последние года мне в Вагнере много стало не доставать. Скрябин мне этого не прощает, говорит, что я пошла назад тем, что ставлю Бетховена выше Вагнера⁶⁷. Но одним Бетховеном без Вагнера не могу жить, одно пополняет другое. А вот из писателей никого так нельзя полюбить, как Соловьева! Я понимаю, что Вы хотите сначала отдельно остановиться на главных темах у Соловьева. Необходимо выработать не только свой критический взгляд, но и выйти за пределы Соловьева, ступить шаг вперед. А для этого надо очень глубоко продумать каждый из основных вопросов в отдельности, чтобы потом прийти к окончательному выводу и завершению. В этой задаче такие богатство и глубина, так радостно над ней работать. Я в восторге, что Вы чувствуете, что дело идет. Слава Богу! Только Вы и можете сделать это. Жду с нетерпением письма из Ваугеuth! Очень буду радоваться, если ничто не

* * Лесной шум (нем.)

** «Гибель богов» (нем.).

помешает Вам насладиться им вполне. Самая жизнь в Bayreuth'e мне ужасно нравится, так уютно и есть единение⁶⁸. Все живут одним! Ну, до свидания!

30. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[31 июля 1909 г. Neuenahr. В Биарриц.]

Дорогая Маргарита Кирилловна

Пишу Вам несколько слов нарочно *перед* Байрейтом, чтобы сказать Вам, что *скептического* отношения к Вагнеровской музыке у меня нет и о Байрейте я думаю как о празднике для себя. Весь Ring я уже давно слушал в разных городах Германии и Австрии. Вы говорите, чтобы я обратил внимание на дуэт Зигмунда и Валькирии и на смерть Зигфрида: да это вещи, которые я давно и безумно люблю, а Trauermarsch* могу, закрыв глаза, прослушать наизусть. Что касается «Дионисиевой волны», то хоть в жизни она меня не уносит, но в опере вызывает во мне большой подъем, *когда она разбивается у меня под ногами*: так ей и полагается. В жизни она нужна не для того, чтобы люди загорались Дионисиевым огнем, а для того, чтобы *по контрасту и в борьбе с ним зажигался другой, подлинно Божий огонь*.

Пишу Вам в самый день отъезда. Осталось выпить всего два стакана, чтобы кончить лечение. Хотя с корнем еще не вырвана болезнь, которая была у меня лет 20, все-таки за эти двадцать лет я не чувствовал себя так хорошо, как теперь. Считаю, что этот результат превосходен. Много наработал о Соловьеве: если считать размер «Вопросов Философии», то этюд вышел равен статье о Когене⁶⁹; но это только подготовительный этюд: печатать я его пока не намерен: пусть хоть обозначится целое.

В № от 8 Августа «Еженедельника» пойдет моя статья «Подъем конституционного курса», — обратите внимание. Написано с огнем, — не с дионисиевым, а сортом выше, и вылилось.

Крепко целую Вашу руку

Ваш Е.Трубецкой.

Верочка Вас крепко целует.

31. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[1 августа 1909 г. Байрейт. В Биарриц. Конверт и бумага: Fritz Ribenstahl. Büro und Weinhandlung. Prinze Albrechtstrasse, 5.]

Ура!

Милая моя

Слово «ура» относится не к Байрейту, где я еще ничего не слышал и не видал кроме обдирального ресторана, из которого я пишу, а единственно к тебе и твоему письму, полученному здесь. Ты не можешь себе представить, какую радость оно мне доставило и какую родную душу я в тебе ощутил — именно в том, что ты начинаешь любить Бетховена *больше* Вагнера и что он восполняет тебе его недостаток.

Люблю я и Вагнера ужасно; но все-таки в этом признании — все мое, что есть в тебе, — огромный шаг *вперед* от Скрябина, который, съедаемый Дионисием, катится в бездну и перестает понимать безусловную красоту.

А ты, моя дорогая, уже имеешь прочный, высший этаж над Дионисием. Так-то, мне проповедуешь Дионисия, а декадентам — моего Бетховена.

Весь Вагнер в нем есть, в той *буре*, которая предшествует молитве, в самой сонате a passionato, которую ты играешь. Но есть и молитва — чудный надзвездный мир, где эта буря разрешается.

Дорогая моя, ведь в этом — вся моя жизнь с тобой за эти годы: чувствуешь ли ты это? А я! Как сильно, как крепко, как горячо я это чувствую, моя родная.

* «Траурный марш» (нем.).

Там — в этой надзвездной сфере ничего нас не разлучает; там мы живем вместе [одно слово нрзб] реальной и прекрасной жизнью. А все Скрябины с их Дионисиями кажутся жалкими и ничтожными. Ну прощай и *вперед* на этом пути, моя дорогая, ненаглядная и милая. Крепко, крепко тебя целую. До скорого свидания.

32. — — — — — убецкой — М. К. Морозовой

[3 или 4 августа 1909 г. Байреит. В Биарриц.]

Дорогая Маргарита Кирилловна

Пишу Вам, прослушав «Reingold» и «Walküre» — в ожидании Зигфрида на сегодняшний день. Это не просто наслаждение музыкой и драмой, а *переживание* того и другого, тем более что другого делать нечего. С раннего утра — чтение либретто в пустынном Байрейтовском парке, потом обед, прогулка, *сон* среди дня с специальной целью — сохранить всю свою восприимчивость к моменту представления; потом — самое священнодействие.

С величайшей радостью я вижу и чувствую, что Вагнер для меня остается целым, несмотря на более сознательное и критическое к нему отношение. Войдя в Байрейтовский театр, я испытал то же радостное волнение, как 15 лет тому назад, и оно оправдалось, хотя прежде восторг мой был более слепой, а теперь я стал более зрячим.

Многое отрицательное разглядывает мой глаз, вижу я рутинную сторону творчества Вагнера — злоупотребление лейтмотивами, которые вовлекают его места в шаблонность и формализм; чувствую страшные длинноты, откуда происходящие; вижу несовершенства постановки, — даже отдельные доски на полу сцены; кстати, я горд тем, что в декоративном искусстве немцы не годятся в ученики Коровину и отстали от нашего Большого театра на 1/4 столетия по крайней мере!⁷⁰

Но как незначительны эти пятна на солнце в сравнении с самим солнцем, с огромной, захватывающей силой впечатления. Дай Бог сил, чтобы выдержать эту драму до конца, с неослабевающей восприимчивостью. И на философскую глубину этой музыкальной драмы у меня открываются глаза. Вся эта драма — сплошное искание искупителя, *героя*, который был бы свободен от грехамирабов и потому мог бы спасти этот мир. Но такого героя не находится: все создания Вотана подобны ему самому, — т. е. смертны. Тут вся драма самого Вагнера и смысл его искусства. Все оно — титанический порыв — возвыситься над дионисиевским началом, которое порождает лишь смертные создания, — найти мир бессмертный и нетленный. Эту задачу — найти нетленное — Вагнер впоследствии прямо и сознательно поставит себе в Парсивале; но тут он натолкнулся на границу своего гения. Парсиваль из зрелых созданий Вагнера несомненно — самое слабое: не чувствуется силы в этой победе над Дионисием: религиозность этой музыки — в самом деле немного постная; вот почему она оттолкнула Ницше.

Тут мне припоминается Ваше последнее письмо: Вы также ощутили *границу* Вагнера и поэтому полюбили Бетховена. Путь — совершенно правильный: именно у него подъем *в надзвездную высоту*, который Вагнеру не по плечу. Поэтому именно у него можно найти исцеление от того безысходного пессимизма, который подтачивает творчество Вагнера. К чему приводит господство дионисиевского начала? Ко всеобщей жажде смерти, жажде конца. Все Вагнеровские герои, начиная с Вотана, мечтают умереть, — желают смерти не как перехода к лучшему — на это они не надеются, а как простого уничтожения.

* «Золото Рейна» и «Валькирия» (нем.).

А с этим сопоставьте шиллеровский тек<с>т к 9 симфонии Бетховена:
«Ниц падите все преграды,
Обнимитесь, миллионы».

К Бетховену от Вагнера Вас ведет правильное чутье *смысла жизни*, — того самого, что недостает Скрябину и комп.

Наиболее насладительные для меня места: в «Золоте Рейна» дивный стихийный пролог, жалобы и стоны дочерей Рейна, дивный конец с радугой; в Валькирии весь 1й акт, особенно рассказанная в музыке история любви Зигмунда и Зиглинды, сражение героев, предсмертная беседа Зигмунда с Брюнгильдой, полет Валькирий и Feuerzauber*.

Зигфридадо сегодня я любил меньше всех опер «кольца»; посмотрим, что будет сегодня.

Ну, прощайте, крепко целую Вашу руку.

Ваш К. Е. Т.

33. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[7 августа 1909 г. Биарриц. В Бегичево.]

Пятн<ица> 20^{го} авг<уста>

Дорогой Евгений Николаевич. Ужасно удивилась Вашему письму еще из Neuenaahg, что это Вы там на меня наклеветали? Я ничего подобного Вам не писала. Ни о какой «Дионисьевой волне и огне» я не думала и тем менее хотела это проповедовать. Вы, наверное, не прочли моего письма, а теперь уж его разорвали, потому считаю необходимым повторить вкратце то, что я писала. Я употребила выражение «дионисический, беспредельный, природа и земля», характеризуя сущность Вагнера, как я ее себе представляю. Мне кажется, что это начало в нас основное, хотя он как гений прозревал *умом* в другое и хотел его достигнуть. Дионисическое в Вагнере является, по-моему, как самое прекрасное, мировое, объективное, и отнюдь не в пошло-декадентском, субъективном смысле. Уверяю Вас, что «дионисическое» экстаза Скрябина разбивается у *моих* ног, и действительно такому и нужно, и *его* я буду слушать только в опере. Но дионисическое-стихийное Вагнера как объективное начало хотя, может быть, и не исчерпывает моей души, но составляет очень большую глубокую красоту жизни, больше, чем красоту только. Я его представляю в духе религиозного материализма, помните, что Соловьев говорил о иудейском⁷¹. Это очень глубокое, прекрасное, жизненное и мистическое. Скорее, я думаю, тот не полный человек, кто этого в себя не включает. Вопрос другой, исчерпывает ли это всю сущность души или она сумеет взять крест и через него подняться над земным. Чего, говорит Соловьев, не поняли иудеи, чего *не мог, хотя понял*, Вагнер в Парсифале. Может быть, я не так говорю, но Вы поймете, если захотите. Потом я говорила, что если отдаться этой струе (т. е. внутренней сущности Вагнера), то не будешь замечать всей, иногда грубой, безвкусыности, как музыкальной, так и художественной. Слушая весь Ring целиком в Байрейте — совсем особенно его переживаешь. Потом я переименовала некоторые мои любимые места, желая, чтобы Вы вспомнили *обо мне*, слушая их. Вот все, что я писала. Как раз Вы *все это* и пишете из Байрейта, но более полно, конечно. Вы умеете лучше и красивее выразить свою мысль. Пожалуйста, напишите два слова, что Вы берете все это назад, что Вы говорили или хотели сказать, а то я чувствую внутреннее препятствие говорить с Вами, нет подъема и доверия. Я отнеслась слишком горячо к тому, что Вы поедете в Байрейт, и к Вашему впечатлению от него. Никогда не надо относиться слишком горячо! Но это понятно, потому что мне очень дорого и свято воспоминание моих пелеринаже^{**} в Байрейте 7—8—9 лет тому назад. Сколько моя любовь к Вагнеру во мне пробудила, какой подъем сил для борьбы с жизнью мне дала, какой красотой ее осветила.

* Волшебный огонь (*нем.*).

** От французского pelerinage — паломничество.

Это первый восторг, который я пережила в жизни. Это был толчок к освобождению. Все это *впервые* возникло во мне там через музыку и переживалось в полном одиночестве. Не может это воспоминание не быть дорогим для меня. До свиданья! Надеюсь, Вы здоровы и хорошо доехали. Крепко целую Веру Александровну. Здесь чудесно, погода дивная. Я чувствую себя прекрасно.

Ваша М. М.

34. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[8 августа 1909 г. Бегичево. В Биарриц.]

Бегичево 8 Августа

Дорогая Маргарита Кирилловна

Трудно представить то состояние восторга и подъема, в котором я вернулся домой после Байрейта. Я превратился в какой-то музыкальный термос: все вагнеровские мотивы довез с собой в деревню в том виде и в той температуре, какую они имели в Байрейте. День и ночь слышу музыку, различая голоса каждого отдельного инструмента: то рог Зигфрида, то мотив их любви с Брюнгильдой, то трауерсмарш, то трио дочерей Рейна: все вместе — одно сплошное волшебство. А вместе с тем лезет из души вся музыка, когда-либо слышанная — до Фрейшютца⁷² включительно: все это Вагнер задел, расшевелил и довел до кипения. И к здешней родной калужской красоте в связи с этим явилась какая-то необыкновенно повышенная восприимчивость. Родина встретила как настоящая мать: такого безоблачного неба никогда я здесь не видал; а теперь, когда я Вам пишу, — снопы, света врываются в мой кабинет. И какой воздух, какой аромат! Запах сена, цветов, поспевающей ржи и еще чего-то! Целая симфония запахов и красок навстречу музыкальной симфонии. А все вместе создает в душе ту легкость, какая ощущается во сне, когда летаешь по комнатам! Знаете эти сны, когда тело теряет тяжесть и можно оставаться неподвижным на любой высоте или плавать в воздухе!

Все это — несмотря на массу весьма отрицательных впечатлений родины: грабятщие чиновники, ворующие студенты и литераторы. Все воруют. Ваш Эллис изобличен в вырезывании страниц из книг Румянцевского Музея!⁷³ Но все это у меня остается как-то на поверхности и не затрагивает центра души: в ней есть достаточный всему этому противовес.

Ну, пора за Соловьева. Прощайте, крепко целую Вашу руку.

Ваш Е. Т.

35. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[14 августа 1909 г. Бегичево. В Биарриц.]

14 Августа

Дорогая Маргарита Кирилловна

Очень был рад наконец получить Ваше письмо. Оно странствовало неделю и пришло только сегодня. Не понимаю, за что Вы обиделись и что, собственно, мне следует брать назад? Если я высказал мой взгляд на Дионисиеву волну, то из этого не следует, чтобы Вы ее проповедовали. Возможно, что в моем письме был легкий оттенок дразнения по отношению к «Вашему» Дионисию: в разговорах это бывает. Не помню, было ли в письме. Но ведь с тех пор, пожалуй, я писал Вам и другое по поводу Бетховена, где выражал большую радость тому, что Вы вышли за пределы Вагнера и совершили полную духовную эмансипацию от Скрыбина и скрыбинства. Так что — за что же, собственно, меня бранить?

Я не узнаю нашей местности. С самого приезда стоят прямо золотые, очаровательные дни. Знаменитый «прешпект» настолько просох, что по большей части его можно ездить на велосипеде; в тени 21—23 градуса. А краски — что-то необычайное. Осеннего еще мало: только небольшие желтые пятна в березках и краснота в диком винограде; прочее — яркий изумруд, коего тут целое море, в особенности на скошенных клеверных лугах.

Настроение хорошее; одно только жаль — много мешают заниматься, и мешает то самое, что я — в России — дома. Вдруг вызывают в Калугу на целый день — выбирать члена государств<енного> Совета от земства⁷⁴. Потом — маневры у меня в имении: я принимал офицеров с целым полком [?] с музыкой. Было забавно и весело; потом была канонада. Потом приехал *homme d'affaires*, которого я принимаю теперь по делам именья.

Словом, хоть и лучше дома и насладительно, но заниматься в скучном Neuenaht'e я как-то больше поспевал.

Одно слава Богу — все здоровы. Я чувствую себя сильно поправившимся и очень бодрым. Какая-то физическая легкость и неутомимость. Что это — чудный здешний воздух, результаты Нейнара или то и другое вместе? Очень рад, что Вы и дети поправляетесь. Ну прощайте же, Верочка Вас целует. Крепко целую Вашу руку.

Ваш Е. Т.

36. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[15 августа 1909 г. Биарриц. В Бегичево.]

Дорогой Евгений Николаевич! Спасибо за письмо из деревни. Как я рада, что Вагнер так Вас воодушевил и Вы ощущаете такой подъем. Конечно, нужно скорее этим пользоваться и писать. Именно о Соловьеве писать особенно хорошо в таком подъеме. Он соединяет в себе оба мира, и поэтому от Вагнера к нему протягивается нить и многое разрешается. Хотя мир земной Соловьев понимал более созерцательно и не воплощал его в такой силе и солнечной красоте, как Вагнер, но зато нет у Вагнера таких крыльев, такого воздушного полета в небеса, как у Соловьева. Вы верно говорите, что вся философия Ring'a есть искание Искупителя, героя и спасения. Это отражение драмы всего человечества и правда глубоко потрясает. Много мыслей и чувств навеивает Вагнер, а главное, подымает силы как никто. Какой в нем огромный, именно титанический, призыв к борьбе и к победе. — Я очень много радостного и важного для себя переживаю, но говорить о себе не стану, т. к. Вы еще не разрешили моего внутреннего препятствия, о котором я Вам писала. Это время очень много читала, сейчас кончаю «Критику отвлеченн<ых> нач<ал>». Очень большое удовлетворение дает его «всеединство», такая полнота, ширина и столько жизненной правды в его мыслях. По-моему, «Основание идеализма» Сергея Николаевича⁷⁵ совершенно то же самое, разве в некоторых деталях есть разница. В воскресенье, завтра, собираюсь с моими знакомыми в Lourdes, это очень интересно, а в следующее воскресенье 23^{го} авг<уста> мы уезжаем отсюда в Париж, Hôtel Chatham, и в субботу 29^{го} я буду в Москве. Надеюсь, что Вы напишете сюда или в Париж. До свиданья, желаю Вам всего лучшего. Надеюсь, Вы здоровы? Сердечно Вам преданная

М. Морозова.

Я ужасно смеялась на «Ваш Эллис», он вовсе не мой, я его терпеть не могу! Маруся сегодня опять Вас вспоминала и объявила: «я очень люблю этого, который свистит».

37. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[20 августа 1909 г. Биарриц. В Бегичево.]

Четверг

Дорогой Евгений Николаевич! Как я была рада сегодня получить Ваше письмо. Я уже начала тревожиться, что Вы не получили моего письма. Надеюсь, что Вы получили еще другое письмо и две открытки? Я не дожидусь возвращения в Москву, считаю не только часы, но минуты. Ужасно радуюсь, что скоро Вас увижу, так хочется обо всем с Вами поговорить. Как хорошо, что у Вас такая хорошая погода, что Вы можете насладиться вдоволь деревней

⁷⁴ Посыльный (франц.).

перед возвращением в Москву. Как я счастлива, что это последнее лето странствий для меня, что я буду наконец дома с будущего года. А я совсем серьезно на Вас обиделась за «Дионисиеву волну» и целую неделю не могла написать спокойного письма, а все выходило очень бурно, потому я рвала и не посылала. Конечно, будь это в Москве, я побранилась бы с Вами и на другой день забыла бы, а здесь, не имея возможности излить свою досаду, я пролилась целую неделю. Т. к. мы теперь скоро увидимся, то я не буду распространяться обо всем, что я здесь прочла и передумала. Этот месяц я как-то с особенным воодушевлением читала и занималась. Особенно меня потрясла «Критика отвлеченных начал». Пожалуйста, перечтите две последние главы 45—46, если Вы их не перечитывали теперь. Хотя Вы их и знаете, но пожалуйста, для меня перечтите. Как чудно, вдохновенно и пророчески все, что он говорит о *«великом таинственном искусстве — свободной теургии»*. По-моему, это *зерно, смысл всего* Соловьева, в этом скрещиваются наука, искусство, религия и, главное, жизнь. В этом весь Соловьев, вся его душа, вдохновение, прозрение в будущее и *указание пути!* Это замечательно! Давно я не испытывала такой радости, как читая это. Перечитывала тоже многие Ваши статьи и в Еженедельнике и другие и наслаждалась. Как Вы трудно пишете! Как много хорошего и радостного для себя я пережила опять, перечитывая их. Вообще много хорошего на свете, правда ведь? Надо только уметь всему этому радоваться всей душой и верить, и тогда легко! Ну, до скорого свидания.

Ваша М.

38. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[20-е числа августа 1909 г. Биарриц. В Бегичево.]

Дорогой Евгений Николаевич! Пишу Вам последнее письмо перед отъездом отсюда. Как я радуюсь возвращению в Россию, Вы не можете себе представить. Чувствую в себе избыток сил и рвусь к жизни и деятельности. Как хочется всех видеть! Как буду рада прийти в милую редакцию! Много думаю о Еженедельнике. В письмах к Сергею Андреевичу⁷⁶ старалась поддерживать его твердость в дальнейшем. Еженедельник должен продолжать это дело объединения и пробивать свою маленькую тропинку сквозь чащу и темный лес. Это верный путь! Надо продолжать твердо идти вперед и не бояться неудач! Еженедельник сделает свое дело, и в свое время оно будет создано! Ничего не пропадает. Никак нельзя разрушать такую бескорыстную, чистую и светлую почву — это так редко среди окружающего мрака и хаоса. Всему этому Вы положили начало, и Вами все это держится и направляется, дорогой Евгений Николаевич! Нужно, чтобы это не мешало Вашей другой работе, но, по-моему, не менее важно, чтобы Вы стояли стражем и под Вашими знаменами объединялось бы все лучшее! Это необходимо! Я вижу, как понемногу начинает пробиваться в сознании то, что Вы говорили *первый*. Вехи особенно это подтверждают. Это меня наполняет большой радостью. Теперь мне кажется необходимым, чтобы Вы издали сборник Ваших публицистических статей с начала освободительного движения. Пусть массы его не прочтут, но нужно, чтобы это вспомнили, сознали некоторые. Он даст наглядную картину Вашей твердости и правды⁷⁷. А это нужно и полезно сейчас. Ну до свиданья, очень рада, что до скорого.

Сердечно преданная

М. Морозова.

39. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[22 августа 1909 г. Бегичево. В Берлин, Hôtel Continental.]

Дорогая Маргарита Кирилловна

Это — мое последнее письмо; другое уже Вас не застанет. Пока пишу, дождь льет и наливает, а небо безнадежно сыро. Ну что ж, я, слава Богу, набрался запасов солнца — и тепла и света; работа идет хорошо и служит

источником постоянной интенсивной радости. Работается скоро, так что рассчитываю написать здесь вдвое больше, чем в Найнаре, и несомненно виден берег, т. е. если ничего не помешает, я вывезу отсюда законченную часть страниц в 100; но не в этом дело, а в том, что отношение мое к теократии проясняется для меня окончательно, — в воззрении на государство, на отношении его к религиозному идеалу исчезают темные пятна, раньше застилавшие поле зрения. В смысле самоопределения то, что дает мне эта работа, — огромно. Оттого велика и доставляемая ею внутренняя радость. Днем я уже не могу спать из-за нее — слишком велико возбуждение от этой работы.

Вагнер во мне начинает умолкать, хотя нынче ночью я все еще слышал увертюру к Reingold и Waldweben из Зигфрида; но все-таки чувствую, что что-то на всю жизнь во мне останется от этого паломничества в Байрейт, какой-то подъем, «призыв к борьбе и победе», как Вы говорите.

Сам того не подозревая, оказал услугу Михаилу П. Поливанову. Он прислал мне окончание своей статьи об Ибсене, чувствуя, что я должен реагировать ввиду расхождения в религиозно-философских взглядах. Я с огорчением прочел нечто не то когенианское, не то вообще имманентистское и написал жестокою критику. В результате Поливанов взял статью назад, пишет, что я расшатал его философию, и благодарит⁷⁸. Статья моя, таким образом, пропала для печати; но я этому рад, т. е. рад поводу ее пропажи. Уж очень больно смотреть, как ученики моего брата один за другим уходят в эту философию, которая *время* и все *временное* возводит в абсолют.

Коген, Авенариус, Скрябин — все это вариации на одну и ту же тему — «смерть и время царят на земле»; вопреки Соловьеву они смерть и время «зовут владыками»⁷⁹; ужасно мало теперь людей с крыльями, способных взлететь над временем. И эту свою неспособность выдают за философию! Мне хочется драться, когда я это вижу. Толпа всегда будет принимать их за учителей жизни, потому что они сами не выше ее и этим самым льстят ей; ей лестно признавать философами людей, которые ей по плечу и насквозь понятны благодаря своей философской вульгарности.

Покойный Аксаков говорил: «со всяким игом можно примириться, но иго глупости невыносимо»⁸⁰.

Верочка Вас целует. Ну прощайте. Крепко целую Вашу руку.

Ваш Е. Т.

40. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[22 декабря 1909 г. Москва. В Москву.]

Моя дорогая, родная и хорошая

Пишу тебе рано утром, пока никто не вставал, и пошлю так, что никто не узнает, — через массажиста. Вот уже третий день, что я лежу: повредил себе ногу гораздо серьезнее, чем предполагал: не только ходить не могу, но вчера еще едва мог ступить на ногу: возможно, что порваны связки.

О тебе имею известия через Елену Кирилловну⁸¹, слава Богу, недурные; но тоскую ужасно без тебя. Повреждение моей ноги также связано с тобой: я бежал стремглав в редакцию, чтобы там уединиться и оттуда написать тебе письмо, и растянулся на тротуаре так, что сам потом не мог подняться из-за подернутой ноги. Поднимал меня извозчик.

Хорошо еще, что это случилось, когда видеться мы все равно не можем. Лежанье предрасполагает к усердной работе над Соловьевым. Он двигается хорошо! Но больно, обидно и тоскливо тебя не видеть. Когда можно будет, извести, изменив почерк на конверте. Я к Рождеству надеюсь выходить, если массажист не обманывает.

Боборыкина в Среду секи вчетвером: я, Бердяев, Хвостов, Лопатин: он почти ничего не был в состоянии ответить. Высекли так больно, что среди речи Лопатина он ушел со скандалом, не дослушав. Подобного не было с основания Псих<ологического> Общества⁸².

Ну прощай, моя радость ненаглядная, дорогое мое сокровище. Ах, как хочется тебя видеть. Целую крепко.

41. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[13 января 1910 г. Москва. В Москву.]

Милая, дорогая, хорошая и горячо любимая

Завтра мы встретимся в первый раз после последнего тяжелого разговора. Я хочу, чтобы это письмо ты получила раньше. Два дня места себе не находил, был вконец угнетен и пришиблен... Гнетет всегда носящаяся в воздухе, а теперь как-то особенно сильно почувствованная возможность утраты — утраты самого близкого, дорогого и милого. Этот гнет — настоящий ад, и только теперь ночью я немного ожил: мне блеснули надеждой твои слова, что нет подвига, который ты не могла бы сделать ради меня, и что на все, на все можно тебя подвигнуть добрым и горячим словом.

И вот это горячее слово я тебе хочу сказать теперь. Милая, родная, — с утра до вечера я полон мыслью о тебе, с утра до вечера перебираю в своем уме, сколько дорогого, бесконечно милого грозит лишить меня судьба. Неужели все должно рухнуть, и наша с тобой умственная и духовная жизнь душа в душу, и это взаимное понимание, которого так много, и эта совместная деятельность в «Еженедельнике». За что, почему, отчего? Неужели я должен себе сказать, что *личная* моя жизнь и личная радость кончены навсегда?

Я обращаюсь к тебе с мольбой, со слезами. Милая, родная, ради Бога, именем всего святого, береги ты наши отношения, не разбивай их, не разбивай мою и твою душу: *ведь это зависит от тебя*. Не требуй от меня того, что сделает меня ничтожным и гадким в моих глазах. И если ты услышишь мою мольбу, а я в тебя верю, бесконечно верю, то сделай так, чтобы по твоей улыбке, взгляду или по словам, если успеешь в редакции, я понял, что ты меня услышала не умом, а всей глубиной твоего сердца.

Ах как ты мне нужна и дорога, как тяжело, уныло, мрачно и тоскливо без тебя. И как радостно с тобой.

42. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[12 апреля 1910 г. Ялта. В Москву.]

Понедельник 12 Апреля

Милая и дорогая

Пишу тебе с Ялтинской набережной в первую возможную минуточку (приехал вчера вечером) и все-таки знаю, что до получения этого письма ты много раз успеешь вознегодовать за то, что я будто бы не пишу.

Ужасно много передумал и переживал я в дороге. Все то хорошее, волнительное, мучительное и прекрасное, что было за эти годы и месяцы, прошло передо мною. И на одном настроении я остановился с особою любовью, на том, что было, если я не ошибаюсь, во Вторник 6^{го} Апреля вечером после редакции, когда все волнение вобралось куда-то внутрь и мы оба разом почувствовали блаженство и спокойствие.

Дорогой и милый друг, самое прекрасное в жизни — когда чувствуешь это непосредственное соприкосновение с нездешним. Самое радостное, хорошее и прекрасное у меня и у тебя связано именно с *этими* минутами. Почему? Потому, что мы оба чувствуем, что *это* не может умереть! Нет иной прочной связи кроме связи бессмертия: в иную я не верю. Когда же я ее чувствую и переживаю, сомнения отпадают; тревоге конец; тогда ничего не нарушает моей светлой радости быть с тобой. Ах родная моя, дай Бог и тебе и мне силу этой радости, чтобы ничто и никогда ее у нас не отнимало. Я говею; надеюсь, и ты. От всей души и сердца повторяю

Христос воскрес, моя милая, дорогая и родная⁸³.

43. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[14 апреля 1910 г. Ялта. В Москву.]

Ялта 14 Апреля 1910

Милая, дорогая и хорошая

Сначала мы приехали сюда словно в Архангельск: было серо и холодно, холоднее, чем в Москве.

А теперь! — Все одно сплошная лазурь: голубой океан и сверху и снизу: что-то голубое и огромное так и вливается в душу. Каштан цветет, соловей поет, Соловьев идет вперед, а в церкви поют: *ныне силы небесные с нами*⁸⁴.

Душа моя и радость! Чувствую я в себе мощный подъем этой голубой волны! Как бы я хотел, чтобы она перелилась и тебе в душу, без меры, без границы, и всю тебя охватила! Боюсь, что ты в сумрачном настроении, думаю о тебе ежечасно, и хотелось бы тебя согреть всей нежной теплотой вечного, незаходящего солнца.

Дорогая моя! Обращаюсь к тебе с мольбою. *Удержи для меня, сохрани для меня эту лазурь*. Пойми ты, до какой степени это от тебя зависит. В твоей власти, чтобы ты приобщалась ко всему прекрасному, возвышенному и бескорыстному, что есть в моей душе. От тебя зависит разгонять облака и тучи, быть моей радугой, моей радостью. Чего тебе не хватает? *Сознания и чувства собственности?* Да, понимаю и чувствую это! Но как хотелось бы мне теперь в ответ на это показать тебе это море и это небо, на которое я люблю из моего окна. Оно и мое, и твое, и миллионов других Божьих созданий, а вместе с тем — ничье. Когда этот голубой океан наполняет душу, как-то *упраздняется собственность*, упраздняется все отдельное, исключительное: все мы принадлежим друг другу, все близки бесконечно.

«Все братие: друг друга обьемем, и тако возопием: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав»⁸⁵.

Вместе со смертью будем побеждать и время и расстояния. Получив это письмо, почувствуй ты эту победу: сознай и представь наглядно, *неотразимо*, что нет тысячей верст между нами, что ты со мной и я с тобой!

Ах прости, моя дорогая, что ничего житейского о себе не сообщаю: до житейского ли сейчас, когда вырастают крылья в душе! Эти крылья — ведь они твои, их я не чувствую без мысли о тебе. Чего же тебе больше? Что может быть вообще больше этого? Ах милая, умей радоваться, всегда радуйся и слушай внутреннее пенье. Душа поет!

Пусть поет всегда!

44. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[15 апреля 1910 г. Москва. В Ялту.]

Четверг

Дорогой Евгений Николаевич! Христос воскресе, поздравляю Вас с праздником и от души желаю Вам всего лучшего. Надеюсь, что у Вас хорошая погода и Вы пользуетесь вполне Вашим пребыванием в Ялте. У нас прямо лето, чудесная погода. Сегодня начинаю говеть с детьми, а в Субботу будем причащаться. Очень много хлопот по издательству, о рисунке на обложку и о книге Булгакова и Соловьева. Я действительно исполняю обязанности секретаря. Это мне самой должно выяснить, в чем состоит все дело издательства. Я этим очень довольна, т. к. люблю сама знать дело⁸⁶. Миллион хлопот также и в устройстве дома в деревне. Как видите, я живу очень суетливо, но по вечерам сижу дома, благодаря этому много читаю и с детьми и одна. Надеюсь, что Ваша работа идет хорошо. О здоровье Вашем Вам сейчас думать, слава Богу, особенно нечего, <как> <что> Вы, наверно, много сделаете. Поцелуйте от меня Веру Александровну, я ей тоже пишу.

Преданная Вам
М. Морозова.

45. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[22 апреля 1910 г. Ялта. В Москву.]

Милая, дорогая и родная

Ты не поверишь, какой отрадой были мне твои два письма «до востребования», в особенности второе, после исповеди. Такое в них все близкое, родное, хорошее. И такое глубокое чувство взаимной гармонии, понимания⁸⁷.

У меня такая была *очень хорошая* исповедь и очень близкая к твоей. Собственно, вся исповедь была связана с тобой, т. к. вообще с тобой связана вся моя духовная жизнь и в светлом, хорошем, прекрасном, и в темных эгоистических личных порывах. Обе стороны я раскрыл на исповеди и встретил, к удивлению, большое понимание. Не было требований, чтобы я тебя оставил; напротив, священник понял, что не это нужно. Он сказал: «раз отношения у Вас в основе духовные, то пусть они такими и будут: старайтесь свести все на хорошую духовную дружбу. Христос поймет и простит: он сам испытал и знал, что такое дружба с женщиной. Только не омрачайте Вашей души: Вам нужно сохранить всю ее для того великого дела, которое Вы делаете».

По-видимому, это — мой приверженец и читатель⁸⁸; но не в этом дело. А дело в том, что твои письма так и обдали меня впечатлением глубокой духовной близости с тобой, близости к тебе самых интимных моих переживаний. Оцени этот парадокс! — Все, что, казалось бы, должно было нас разъединять, нас сближает; и наоборот, отчуждение происходит от самых пламенных и страстных порывов друг к другу, когда они *только* личны и эгоистичны. Есть на свете *холодный огонь*: и жжет и леденит душу в одно и то же время; его я боюсь больше всего на свете. Вот в твоих двух письмах я чувствую другой огонь, который меня согрел и наполнил еще большею любовью к тебе. За то спасибо тебе, моя родная.

Соловьев мой подвигается; но я все еще сижу в таких его частях, где не может быть воодушевления. Чисто аналитическая, а потому преимущественно разрушительная работа *лока*. Но это разрушение для меня крайне важно и в созидательном отношении, потому что именно оно открывает положительные задачи. Чтобы знать, как осуществлять «великий синтез», надо, во-первых, ясно сознать, что доселе он терпел крушение и, главное, — *почему*. С этой точки зрения критика «Критики отвлеченных» нач^{ал}» мне дает ужасно много. Другой вопрос, будет ли это только подготовительный этюд для меня или нечто годное для опубликования в этом виде.

У нас все хорошо. Верочка была переутомлена в Москве, а здесь отдыхает. Соне лучше. Она начала купаться. Я также купаюсь.

Христос воскрес, родная и дорогая.

46. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[25 мая 1910 г. Михайловское. В Neuenahr.]

Вторник

Дорогой, милый, радость моя, ангел милый! Где ты, где ты, мое сокровище? Если бы ты знал, как тоскует мое сердце, как потухло все кругом, как опустела жизнь. Я даже не знаю, что со мной, что будет, как я вынесу такой разрыв в то время, когда нет, кажется, предела моему порыву к тебе, мой прекрасный! Как жестоко так все рвать, и можно ли это безнаказанно? Нет ли у чувства *своих* законов? Так все это таинственно и скрыто от нас самих. Ну да что об этом теперь говорить, ты уехал, ты далеко, ты один и я одна! Вот что ужасно для меня. Я думаю обо всем, что ты говорил, и одно меня мучит (впрочем, и еще многое): ты сказал: я там должен *тоже* прощаться! Что же это значит? Неужели ты также и там прощался, неужели, неужели? Боже, Боже мой, как все это ужасно, как вынести это! Все мое существо болит и рвется! Какая пытка! Вот я знаю, что не надо этого всего писать, но я принуждаю себя это сделать, иначе совсем ничего не напишется, и я замолчу, что хуже. Ты не отвечай на это ничего, только прочти и брось! Я вся в мучении, волнении и неразрешенных чувствах, что делать, что делать, как быть с самой собой, куда уйти от себя! Ангел милый, бесценный мой, обожаю тебя безгранично, без конца, всей душой, всем существом. Целую тебя, моя радость! Жду письма скорее.

Твоя Гармося.

47. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[29 мая 1910 г. Neuenahr. В Михайловское.]

Суббота 29 Мая

Наконец опять милый, дорогой, желанный почерк, Маргосин почерк, и милые, безумные, глупые, но дорогие слова. Пять дней шло письмо. Спасибо, что дошло. Долго я ничего не понимал в этом письме. Мне в первую минуту было безразлично, что ты написала, просто радовало все, каждое *твое* слово, просто твой почерк.

Только перечитав письмо в третий раз (три раза в минуту), наконец понял его смысл. Вопрос, *так* ли я прощался «там» — разумеется, не нуждается в ответе, ибо он обиден: дура, *так*, разумеется, в двух местах не прощаются!

А теперь слушай, моя дорогая, ответ на то, что ты пишешь о моей «жестокости»! Ведь *не я* не пустил тебя сюда! Твой, собственный твой внутренний голос не пускает. Никаких *внешних*, от меня идущих запретов нет. Стало быть, есть внутренний запрет? Почему же *я* жесток, когда мне самому так больно, так мучительно и трудно без тебя! Я тебя *только* не зову, и Бог видит, как это мне тяжело. А если *ты* не едешь, то, стало быть, и твой внутренний демон или ангел-хранитель тебя не пускает.

Мы с тобой во всем бесконечно близки, и в том, что влечет нас друг к другу, и в том, что борется против этого порыва. И в этом я тоже тебе не чужд, что бы ты об этом ни говорила!

Но довольно об этом. Принялся за Соловьева. Сначала пальцы были словно свинцом налитые, мозги тяжело ворочались, душа *вся болела*, конечно все той же болезнью — Гармосей. Потом сделал усилие, и пошло. Но Гармося не исчезла, не ушла в дымку, а только преобразилась: из боли и муки она превратилась в что-то радостное и бодрящее. Так что, милый, дорогой мой спутник в радости и в печали и во всем, — во всей моей внутренней жизни — Друг! *Другое я.*

До свидания, моя Гармося, до свидания, моя ненаглядная и бесценная, моя улыбка и солнце! Вот видишь, я тебе теперь пишу без увещаний, не я пишу, а сама душа моя пишет.

48. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Конец мая — начало июня 1910 г. Михайловское. В Neuenahr.]

Милый, дорогой, родной, прекрасный! Сейчас получила твои два письма и совсем схожу с ума от радости! Только что написала опять *очень* глупое письмо — прости, прости, мое сокровище. После получения от тебя письма я оживаю и окрыляюсь. Сейчас не могу удержаться, чтобы не написать несколько слов. Прости, мой ангел милый, что на каждой минуте надоедаю тебе письмами, но не могу иначе. Пишу все несуразно! Целый день бегаю по всему имению до изнеможенья. Играть еще не начала — жду фортепьяно. Отдыхаю часа два за книжкой — читаю Гарнака. В душе хаос с одной стороны, но твердо и ясно с другой, пока Silentium, «молчи, скрывайся и таи»⁸⁹. Ты говоришь, что у меня то же, что и у тебя, что я так же думаю, нет, мой бесценный, на этот раз ты ошибаешься! У меня совсем, совсем другое! И *очень* твердое, но другое! Ну до свиданья, ангел милый, дорогой, прекрасный! Прости за все письма, я бы сдерживалась, но реже писать *сейчас* — лишняя мука, да и ни к чему, никому я неприятного не делаю, а только тебе могу надоесть. Целую крепко, крепко.

Твоя Гармося.

49. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Первые числа июня 1910 г. Михайловское. В Neuenahr.]

Прекрасный мой друг! Волшебный мой ангел, желанный мой! Как я тебя люблю, как обожаю! Прошу тебя, услышь сейчас мое сердце, мою душу! Вся,

вся я полна тобой, мой бесценный, любимый, родной! Какой ты друг, какое счастье иметь такого друга! Все, все я сделаю, все жертвы соглашусь принести, лишь бы сохранить тебя для себя, моего драгоценного! Впрочем, я вру, прежде чем я буду приносить все жертвы, я хочу одну минутку, одну маленькую минутку радости, *моей* радости в жизни! Подумай только, ведь это *единственная* моя минута, когда я живу — это с тобой! Но только совсем, совсем с тобой, *одной* с тобой в целом мире, хотя на минуту! Я знаю, что за это все отдам и все вынесу! Тогда мне не страшна жизнь и все лишения! *Я знаю*, что я зачерпну такой силы, такой радости, такого огня! Ангел ты мой! Я это все так ни за чем пишу, так просто изливаю тебе душу, ты можешь ничего не отвечать на это! Целую тысячи раз все, все мое милое, дорогое, прелестное, радость моя, жизнь и счастье.

Твоя Гармося.

50. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[9 июня 1910 г. Neuenahr. В Михайловское.]

9 Июня Нейнар

Гармося моя дорогая, мой милый, неоцененный и горячо
любимый друг

Пишу тебе, чтобы опорожнить весь мой мешок. Носить и накоплять такую тяжесть в душе и не говорить тебе до дна все, что во мне, прямо невыносимо.

До сих пор не объяснял тебе как следует, в чем моя тоска и боль. Только жаловался, что она *есть*. Теперь прямо *скажу*, в чем дело. Когда ты упрекаешь меня в «гамлетовщине» и говоришь, что есть минуты, когда надо *действовать*, эти слова меня жгут, потому что они попадают в больное место. Да, дорогая моя, *надо действовать*; а раз надо действовать, надо делать *что должно*, чего бы это ни стоило!

Милая моя и дорогая. *Оба мы чувствуем*, что отношения наши дошли до той точки и до того напряжения, при котором *прежнее* становится уже невозможным. Должно наступить что-то совершенно новое. Но что именно?

Начну с самой страшной для моего чувства возможности. Об окончательном разезде, о разрыве и не думаю. Не потому, что это невыносимо для чувства, — нет! Если бы мы с тобой пришли к заключению, что это *должно*, что так Бог велит, то надо было бы это сделать *во что бы то ни стало*, хотя бы от этого сердце разорвалось пополам.

Но тут меня удерживает всегда то, что ты знаешь. Многое я осуждаю в моих к тебе отношениях, но осудить их *целиком по совести не могу*. В молитве зарождалось это письмо: спрашивал я у Бога и у Матери Божьей, точно ли *все* в наших отношениях *дурно*, предосудительно, так, что их нужно *просто* прервать. И несмотря на бури и жестокие сомнения в душе моей, что-то *по совести* мне говорило, что в наших отношениях есть *святыня*, которую нужно беречь. Сколько святого идеализма, сколько порывов ко всему прекрасному и святому, сколько воодушевления во мне зародила и зажигаешь ты! Бросить это — зачем? Такого вельня в душе своей я не чувствую.

Но чувство мое к тебе не так просто и не так односложно. Есть в нем другая сторона, на которую совесть кладет ясный и мучительный запрет. *Тут* молитва решительно *не пускает*.

Милая моя, получил твое письмо с письменным призывом, где ты говоришь об «одной минуте». *На одну минуту* будь мой, совсем мой, а потом я согласна на *всякие жертвы* и все перенесу ради тебя.

О «минуте» скажу после. Пока начну с того, что ты сама чувствуешь необходимость «жертв». Какие же это жертвы?

Ты меня хорошо знаешь и чувствуешь, что мне тяжело, невыносимо жить в неправде, в полном противоречии со всем тем, во что я верю всей душой. Дорогая моя, сама жизнь и чувство, твое и мое, ставят вопрос: кого же, наконец, я люблю больше — тебя или Бога. Если я скажу, что *тебя*, ведь этим я произношу себе смертный приговор: тогда надо поставить крест надо мною и как над человеком и как над деятелем и выбросить вон, как дрянь, ничего

не стоящую. Бога надо любить *всем сердцем и всею душою*, и эта любовь — *обязывает*. Тут не рассуждения, не «голова» говорит, а само сердце вопиет; тоска смертная и мука невыносимая, — когда делаешь что-нибудь против этой любви, — вот что свидетельствует о ее необходимости. Какая тут «голова», какие тут рассуждения, когда слезы душиат и человек катается по земле от боли.

Этой верой я живу, мой друг, и вырвать ее из моего сердца значит вырвать и самую душу. Ты мне говорила как-то о компромиссах и что я сам же об этом писал. Да, дорогой друг, писал и не какось. Но ведь есть компромиссы двоякого рода — компромисс с *несовершенством* и компромисс с *грехом*. Первый — сам Бог благословляет: он благословил и брак и государство, хотя *совершенство*, конечно, — в безбрачии и в безгосударственности. Все это разрешается *ввиду нашего несовершенства и не есть грех*. Но с *грехом* у Бога не может быть никаких сделок и компромиссов: тут кладутся законы безусловные.

Ты меня хорошо знаешь, настолько, что *этой веры* ты не можешь надеяться во мне изменить. *Переубедить* не можешь. На слабость мою надеяться сама *не хочешь*. Знаешь, что на этом пути я не могу найти счастья, а несчастным меня видеть не желаешь! На что же тебе в этом направлении надеяться. Ты это прекрасно понимаешь: поэтому ты теперь и говоришь всего только об «*одной минуте*». Но на это я скажу вот что. После «*одной минуты*» вторая такая же минута становится еще желательнее, еще соблазнительнее, после второй минуты — третья и т. д. Скажи по совести, можно ли тут положить *какой-нибудь предел*? И не есть ли разговор об «*одной минуте*» — самообман и иллюзия? На этот вопрос ответь сама, но только не перед своим чувством, а *перед Богом*. Впрочем, ты уже мне говорила как-то, что «*одну минуту*» нельзя понимать буквально! Но если эта минута — продолжительная, то переход к той пустыне, которая после наступит в будущем, — еще ужаснее.

Что же делать. Продолжать жить по-старому, как в прошлом году в Москве? Чувствую, что это было бы *слабостью* и большой виной — прежде всего *перед тобой*. Внушать тебе самые сильные желания, раскалять добела, устраивать, как ты говоришь, «ядовитые испытания» твоему чувству, а потом — его не удовлетворять? Это жестоко, и каждое письмо твое мне говорит, что этого теперь *нельзя* и не следует делать. У любви действительно есть свои требования и свои законы. Это я чувствую, — чего таить, — и на самом себе. Когда я с тобой, под твоим очарованием, я также начинаю терять самообладание. Если выдержи искус, то будет *трое несчастных* и измученных понапрасну. Не выдержи — то же самое: ибо сам при таком ужасающем раздвоении счастлив не буду, стало быть, тебе счастья тоже не дам и еще бесчеловечным образом заставлю смотреть на все это и терзаться третье существо!

До сих пор все между нами делалось в надежде, что любовь преобразуется в дружбу. Но пора и тут отбросить иллюзии. Само по себе наше чувство, если ничего для этого не делать, ни во что другое не превратится, а только из дня в день и из часа в час будет разгораться в огромный пожар. Я по себе чувствую, как оно растет: если сейчас ничего не предпринимать, то скоро всякая борьба станет невозможной: наступит что-нибудь такое, после чего надо будет или разъехаться окончательно, или отречься от всего святого, отречься от Бога. Но тогда и Он отретется.

Я чувствую, что нужно *теперь* или *никогда* сделать отчаянное усилие, чтобы сохранить святую наших отношений. Я вижу для этого только один исход: *на эту зиму* надо мне уехать из Москвы. Пишу тебе это нарочно *отсюда*, чтобы ты не могла подозревать никакого «влияния». Не только *об этом* в Бегичево не писал, но даже имя твое в письмах туда и оттуда не упоминается! И не буду писать и говорить, пока мы с тобой *оба* не придем к окончательному решению.

Я тебе много раз говорил, что *без тебя* никакого решения не приму. Я понимаю его только как жертву *с обеих сторон*, вполне сознательную и добровольную. Имею к тебе безграничное доверие и потому знаю, что ты на эту жертву пойдешь, если убедишься в ее необходимости. Если же нет, то укажи какой-нибудь другой исход; я его не вижу!

Можно против этого возразить, что разлука на *одну зиму* — все-таки полумера, которая ничего не изменит. С этим я не согласен. — *Для тебя* эта зима может иметь один очень желательный и даже необходимый результат. Ты должна привыкнуть строить свою жизнь *не на мне одном, найти себе* какое-нибудь дело, которое бы тебя занимало *безотносительно ко мне*. А то ведь со всяким моим отъездом все рушится. А когда я тут, то нет у тебя иного интереса кроме меня; а я *все-таки не твой*, что служит источником мучений. Если же у тебя найдется содержание для жизни и дело без меня и создадутся соответственные с этим привычки, то тогда и встреча со мною потом создаст менее ядовитых испытаний и переход к дружбе, может быть, и станет возможным, чего теперь нет.

А для меня это отсутствие будет иметь действие *Афона!* О *счастьи* говорить нечего! Знаю, что иду на страдания и на крест. Но ведь не счастье есть цель жизни. «Аще кто хочет по Мне итти, да отвержется себе, да возьмет крест свой и да идет вслед за мной». Вот слова, которые меня сейчас мучают, потому что я их не исполняю и буду радовать[ся], когда я их исполню. Вне этого креста нет у меня надежды сохранить и нашу духовную связь, милая, дорогая, нежно любимая Гармося. Какого креста не понесешь ради этого!

Верочку до сих пор умышленно оставлял в стороне, чтобы ты не думала, что все дело в ней. Она *о себе* не пишет, но мальчики пишут, что и сейчас она почти не ест. Я знаю, что это значит. Нужно ли доказывать, что ей год отдыха необходим. Боюсь, что Москвы она не вынесет.

Но повторяю, что тут дело решается совсем не ее страданиями, потому что твое *человеческое* страдание, если говорить только о человеческом, совершенно ему равноправно и заслуживает такого же внимания. Но тут дело не в человеке и его страданиях, а *в Боге*. Что Он велит, то и свято. Есть нечто высшее у каждого человека, чем личное чувство, хотя бы самое святое и сильное.

Если бы ты была моей женой, а я был бы, скажем, по призванию военным, то ведь не стала бы ты требовать, чтобы ради любви к тебе я не шел на войну или убежал к тебе с полясражения. Ничтожества и малодушия ты не пожелала бы мне ни при каких условиях. Но ведь это значит поставить жизненный идеал и долг, из него вытекающий, выше любви.

Так и теперь! Пожелаешь ли ты для меня пути слабости, малодушия, измены идеалу? Нет, Гармося! В отношениях с тобой ты требуешь от меня мужества и силы. Ты знаешь хорошо, что если не будет силы во мне *как человеку*, то не будет ее и в моем деле. А дело мое ты любишь и всей жизнью своей мне это доказываешь.

Друг мой дорогой, обсуди это письмо так же, как оно написано, со слезами и молитвою. И не отвечай первое, что придет на ум. Продумай ответ. Ведь я от тебя не убегаю. Увидимся еще не раз летом и осенью и поговорить можем обо всем этом до дна. Ах как хочется, как нужно нам с тобой хорошо, хорошо обо всем этом переговорить, и *не на бумаге*. Тоска моя, любовь моя, радость моя, ангел дорогой, как жажду я тебя сохранить, как жажду тебя видеть и слышать. Тогда бы ты увидела и *поверила* в безграничную любовь к тебе, которая все это говорит и пишет.

Не несчастья я боюсь, а зла! Если мы сделаем по-Божески, то будь мы сейчас хоть беспредельно несчастны, — все выйдет светло, прекрасно и хорошо. Бог поможет. Вверяю себя и тебя Богу и Матери Божьей. Дорогая, милая, светлая, радостная.

Крепко целую.

51. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Около 15 июня 1910 г. Москва. В Neuenahr.]

Дорогой мой, радость моя и счастье! Ты теперь уже получил мою телеграмму и знаешь, что я приеду в субботу. Дорогой мой, будь покоен, я тебя не стесню и, если тебе это будет чем-нибудь неприятно, то я и уеду сейчас же.

Вообще что бы ни было, а иначе я сделать не могу, это свыше моих сил, потому не сердись и пойми меня. Я не могу не прийти, не повидать тебя, не побыть с тобой, хотя денечек, не излить всей моей тоски по тебе! Если бы ты знал, сколько нежности и любви в моей душе, положительно сердце мое не выдержит! Всю жизнь готова тебе отдать, любовь моя и радости! Не думай, что мной руководит хотя бы тень чего бы то ни было, кроме безумной любви и нежности! Умоляю тебя, подари мне несколько дней, будь весел и радостен, милый ангел мой! Никакого «насилия» я никогда не хочу, ничего я не «требую» (что ты написал в последнем письме — мне это глубоко больно), будь таким, каким ты хочешь, только будь радостным и беззаветным. Ах, как я об этом мечтаю. Я бы не могла перенести твоего отъезда, если бы не знала и не решила, что бы ни было, что я поеду и повидать тебя, хотя бы на минутку. Все еще было в Москве готово, и паспорт и даже купе, на этот день. Вот тебе доказательство, что я не думала о том и вовсе не хотела, чтобы ты меня звал. Я понимаю, что ты этого сейчас не можешь, понимаю вполне и несколько ни одной секунды против этого не возмущалась, уверяю тебя. Я сама исключительно, всей своей душой, без всяких внутренних препятствий не могу представить себе, как это я могу не поехать. Это и есть то ясное, о чем я тебе писала. Говорить я тебе не хотела раньше, не хотела тревожить, с одной стороны, а с другой — мне хотелось «поегозить» с тобой, хотя, может быть, и неудачно. Прости все мои глупости, если они тебе не понравились! Мне всегда хочется играть немножко с тобой! Мне стоило огромного усилия, труда не поехать раньше, но я не смела. Я понимаю, что ты должен отдохнуть от всего и от меня и полечиться. Потом и я всё время была занята устройством жизни. Теперь я всем домашним сказала, что поеду на несколько дней в Финляндию, остальным нет дела, никто не узнает. Еду на Ригу, хотя это, кажется, лишний день (какое мученье), но зато меня *никто* не увидит. В Neuenahr остановлюсь, где ты хочешь! Может быть, в этом большом отеле, в больших отелях меньше заметно. Впрочем, как ты хочешь! Надеюсь, что ты несколько дней побудешь еще в Neuenahr. Женичка, пойми, что когда я подумаю обо всем лете, о зиме, об этих лишениях, постоянной спешке, меня охватывает ужас. Для сохранения своей души, для спасения своих сил и жизни я должна побыть с тобой, вздохнуть свободно, набраться радости и света, чтобы быть тебе какой нужно, бодрой и радостной для тебя, для детей и для всех! Это очень, очень серьезно, и я знаю, Бог видит, что это мнестоит жизни и всех сил! Радость моя, поверь моей любви и прости мне.

Твоя Гармося.

52. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[28 июня 1910 г. В вагоне поезда Вязьма — Калуга. В Михайловское.]

№ 3

Милая и дорогая

Пересел в Вязьме на нашу проселочную Сызрано-Вяземскую жел. дорогу и пишу тебе в последний раз в пути.

После Германии меня обдаёт все больше чувство, что я в стране «кое-каков», т. е. у себя дома. Особенно ясно я это ощутил, когда мой артельщик категорически заявил, что из Вязьмы до Пятковской он вещей в багаж не сдаст, «потому что в вагоне будет слободно». Действительно «слободно»: один диван завалил вещами, на другом лежу сам. И не видно ни стоячих усов, ни круглых, гневно удивленных глаз (also skandalisiert*). Напротив, кондуктора явно сочувствуют, понимая, что так и быть должно.

«Слобода»! Сколько тут хорошего и страшного. В первую минуту она радуется как свобода от узости, ограниченности, условности и «буржуазности». Но уже во вторую минуту находит тоска и страх; потому что пока эта «слобода» — только хаос: всякий влагает в нее что хочет — самодурство,

* Также шокированных (нем.).

каприз, барство! «Захочу — и положу ноги на стол». Захочу — и буду жарить сапоги всмятку (*unerhörte Frechheit*⁴).

И кроме сапог всмятку ничего в этой стране не жарят. Даже к философии Соловьева применимо это любимое славянское кушанье. Нет, нельзя себе позволять быть «коекаком». Охватывает чувство тяжести и ответственности перед этим беспредельным и хаотическим пространством. И в каждой пяди этой земли я сильно то радостно, то мучительно чувствую тебя, моя родная, хаотическая и неограниченная Гармося, самый милый и бесценный из коекаков.

Родная моя, помоги мне, облегчи тоску мою и задачу, помоги мне ввести предел в то беспредельное, что есть и во мне и в тебе. Без этого ни из тебя, ни из меня ничего не выйдет! Хочется утверждать хаос против Германии, против всего слишком ограниченного, прилизанного и скромного, хотя бы и добродетельного. Но утверждать «слободу» или хаос *безотносительно*, как что-то само по себе дорогое — нельзя. Иначе этот океан все затопит. Друг мой родной и хороший, как мне нужна, как мне необходима твоя дружба. Сожми мою руку крепко, крепко и помоги.

Целую тебя крепко.

53. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Между 28 июня и 3 июля 1910 г. Михайловское. В Бегичево.]

Дорогой мой, радость и свет моей души! Боже мой, как я была счастлива получить твою открытку и письмо с дороги! Безгранично благодарю за добрую весть, ангел мой, как она была мне нужна, какой подъем и какую радость она влила в меня. Если бы ты знал, сколько сил, надежды и веры сейчас наполняют мою душу! Конечно, я верю и знаю, что в наших отношениях есть высший смысл, знаю, во имя чего они, знаю, что они должны служить достижению действительно *свободной* жизни в духе. Знаю, что нужен подвиг, нужна жертва! И с глубокой радостью моя душа жаждет и того и другого! Дорогой мой, бесценный, ты всегда призывал меня к лучшему, к высшему, всегда через тебя Бог говорил со мной! И теперь вот, когда вся моя жизнь дошла до предела радости здешней, блаженства, когда небо для меня слилось с землей, тогда снялся с души какой-то покров, и опять через тебя вижу ясно, что за этим открывается. Новый путь, новая жизнь, новая радость, но более глубокая, более свободная, более близкая к Богу, к истинному свету. Знаю, что для достижения этого надо взять крест, надо с верой и любовью смириться душой. Ангел мой, бесценное мое сокровище, я знаю и верю, что я тебя опять найду, опять встречу, опять заслужу, опять безгранично будет радоваться моя душа. Ты единственный, кому принадлежит все мое существо, вся душа, потерять тебя — есть *конец* жизни для меня! Я не только умру для себя, я умру для детей, для дела, для всего. Могу ли я согласиться умереть, когда вижу перед собой возможность жизни. Пусть страданья, пусть борьба, пусть лишения, но они ведут к возрождению, к воскресенью и к тебе, к твоей душе, ко всему, что тебе свято! Не только смысл твоей и моей жизни сохранится, но он должен засиять с новой силой, я знаю! Дорогой мой, молю тебя, поверь мне, ты так во мне сомневаешься, я это чувствую, и мне очень больно! Не отнимай у меня надежду сохранить для тебя всегда лазурь и с тобой вместе идти светлым, радостным, хотя я знаю, что трудным, путем. Если бы ты знал, как я благодарю Бога, благодарю тебя, мой ненаглядный, за все, что было, как это все освободило, разрешило мою душу, как возвысило ее. Будь ты светел, будь спокоен за все душой, мой друг прекрасный и дорогой! Помни одно, из всей глубины души моей говорю, что с тобой одним, около тебя спасение моей жизни и торжество того прекрасного, чего, правда, все-таки ищет моя душа! Говорю тебе это перед Богом и опять повторяю тебе, что *бескорыстно* по смыслу мое чувство к тебе. Все силы отдам, чтобы доказать это на деле. Для себя, во всем — делай как хочешь. Я же для себя, практически, вижу необходимость прекратить «Еженедельник». Это мучительно и ужасно для

⁴ Неслыханная дерзость (*нем.*).

меня, но неизбежно. Это нужно сделать как можно скорее⁹⁰. Это одно даст мне силу искать выхода и бороться с собой в ежедневной жизни, что необходимо. Обо всем мы поговорим, решим и сделаем все при свидании. Пиши скорее обо всем подробно. Пиши *обо всем* ради Бога! Если бы у меня был твой талант, сколько бы я написала сейчас, сколько новых тончайших нитей можно бы провести и затронуть! Как много таинственного открывается в душе, как все, казалось бы, такое противоположное, связано между собой! Надо только суметь овладеть всем этим даром Божиим, суметь быть достойной такой красоты и радости! Душа моя, счастье мое, жизнь моя, друг дорогой, бесценный. Будь спокоен! Если бы ты знал, *как* мне хорошо и ничего не страшно, одна радость и вера! Пиши! Надеюсь, до 14^{го}, не правда ли?

54. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Между 8 и 11 июля 1910 г. Михайловское. В Бегичево.]

Дорогой, милый друг! Какие счастливые дни были вчера и третьего дня — я получила твои дорогие письма — мой ангел милый! Какое было счастье! Целых четыре дня я оставалась без известий и томилась ужасно, даже написала тебе слезное послание. Получил ли ты *все* мои письма, напиши, их было *четыре*, это пятое? Наконец-то ты пишешь о своем здравии! Как это меня огорчает, что ты захватил эту инфекцию в Neuenahr.

Очень обидно! Будь осторожен и поправляйся совсем, дорогой и любимый мой! Как я счастлива, что у вас все хорошо и устраивается так, как ты хотел и находишь нужным. Если не будет никаких изменений от тебя, то я еду в Москву 18^{го} утром, с дачным поездом, и буду дома в первом часу дня. Как ты приедешь — позвони. Я очень смущаюсь тем, что 18^{го}, 19^{го} будут в Москве Гр<игорий> Ник<олаевич>, Серг<ей> Анд<реевич> и Струве⁹¹. Это может помешать и расстроить нашу беседу! Я очень боюсь, как бы они к тебе не пристали и не отняли тебя у меня! Это будет ужасно! Никто не должен знать, что я буду в Москве 18^{го} и 19^{го}, я буду скрываться! Для этого я еду в Москву завтра, буду в редакции и устрою все дела. А то и меня Серг<ей> Анд<реевич> может потребовать, он мне писал. Я ему писала, пока проблематически, что возможно, что я должна буду отказаться от поддержки «Еженед<ельника>» ввиду неустройства в делах, что у меня на этот год может не быть нужной суммы денег⁹². Я ему писала, что это пока между нами, что никто, кроме «Вас и Евг<ения> Ник<олаевича>», этого пока не знает, но что я боюсь, что это может случиться. Я нарочно так предупредила, чтобы Серг<ей> Анд<реевич> не был потом поражен как неожиданностью. Ты не можешь себе представить, как мне было больно это писать! Сколько труда, жертв, сил и мечты были положены в это дело, и вдруг *я сама* так пишу и должна так поступать! Это ужасно! Надеюсь на Бога, что он мне поможет, хотя на другой лад, но продолжать то же дело, что оно не умрет, а будет для меня жизнью и даже с тобой! Это для меня все! Дорогой, бесценный, любимый, родной друг, как мне хочется все сделать, чтобы окрепло мое хорошее настроение, как ты пишешь, Бог поможет мне *спасти* мою жизнь, ведь это *вся моя жизнь на весах*! Я это сознаю. Не должно, не смей все умирать, *должно* жить в силе, в красоте, в радости. Чувствую подъем сил и веры прямо невероятный! Здоровье мое так хорошо, как никогда! Господи, только бы сохранить и спасти ту радость, тот подъем, ту силу, которую мы можем дать друг другу! Разве страшны все жертвы, какие бы ни были нужны для этого! *С этим сокровищем*, которое нигде и никогда уже не найдешь, ничего не страшно и можно и нужно идти бодро в жизни и все делать для других. Если бы ты знал, какой подъем сил я чувствую, все делаю с громадным увлечением! Играю, читаю, хожу с детьми! Мика и Маруся просто такие милые и так ласковы со мной — одна радость! Они оба мечтают о твоём приезде сюда и хотят почему-то непременно, чтобы ты приехал на неделю. Я их уверяю, что это нельзя, что у тебя твоя семья, но они и слышать не хотят. Маруся при этом говорит «ангел Евг<ений> Ник<олаевич>», даже *мое* слово и тут нашла. В случае изменений 18^{го} не забудь, что 17^{го} я не могу приехать, т. к. мои именины, ну а после всегда могу. Целую крепко, крепко и нежно.

Твоя Гармося.

55. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[12 июля 1910 г. Бегичево. В Михайловское.]

№ 6

Милая моя и дорогая

Не понимаю, что творится! Одновременно с последними письмами я отправил тебе телеграмму (Малоярославец, Морозовой), что буду в Москве 18 утром; но на другой день получил уведомление, что телеграмма не доставлена «за выбытием Морозовой в Серпухов». Очевидно, есть какая-то другая. Поэтому телеграммы больше отправлять не буду или в крайнем случае телеграфирую «Малоярославец, почтою Оболенское» (нарочным Михайловское не дойдет, т. к. этого имения никто не знает). Если не будет новых извещений, то буду в Москве в 7 1/2 утра 18^{го}; если случайно проснешься около 3^х — 3 1/2 часов ночи, то подумай, что я в это время проезжаю мимо разъезда № 15; я тоже подумаю, и таким образом мы хоть в мыслях встретимся недалеко от твоей милой дачи; твой же поезд будет не в час дня, как ты ошибочно думаешь, а в 12 в Москве. Не могу тебе выразить, как я буду рад тебя видеть и как для меня важно это свидание.

Насчет Струве и комп. не беспокойся. Мне слишком хочется самому тебя хорошо повидать! Всего вероятнее, что устроят какой-нибудь завтрак или обед; но ведь в Москве нам во всяком случае нельзя быть столь же неразлучными, как в «Королевской зиме»⁹³; а к тому же я заеду к тебе. Меня все еще страшит возможность приезда Северцова, коего лечение, по-моему, должно кончиться около 18^{го}; но, во-первых, он может денек-другой обойтись без меня; а если бы даже пришлось из-за него ускорить мой отъезд, то я бы это наверстал, приехав к тебе в деревню не в счет абонемента — потом.

Занятия мои идут очень продуктивно. Природа здешняя продолжает служить для меня источником *огромного* наслаждения. У нас началась жатва, и я с радостью смотрю на неслыханный, завидный даже для юга урожай ржи — плод многолетней борьбы с антикультурностью всей природы и населения. В виде насмешки, впрочем, потравлена в лоск собственным же скотом именно та десятина, на которой был произведен опыт высшей культуры: такого опыта Россия вытерпеть не может и считает себе за оскорбление: национальное чувство возмущается, когда кто-либо пытается превратить родную землю в Данию. Значит, придется помириться на чем-нибудь среднем.

Ужасно мне жалко нашего милого «Еженедельника»; как мне о нем не болеть, когда столько души и столько любви с ним срослось. Утешаюсь тем, что будет сохранено нечто бесконечно более дорогое... Милую мою Марусю расцелуй от меня хорошенько. Надеюсь, что она (и ты) получила мои фотографии из Königswinter'a.

Крепко целую мою дорогую именинницу и на всякий случай уже теперь поздравляю, т. к. письма ужасно запаздывают.

56. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[14 (?) июля 1910 г. Михайловское. В Бегичево.]

Милый, дорогой друг! Я очень поражена историей с телеграммой, т. к. всегда к нам телеграммы доходят. Действительно лучше писать так: Малоярославец, Морозовой, имение *бывшее Обнинского*, с нарочным. Пишу это на всякий случай. Письма идут совершенно фантастически, то три дня, то на другой день приходят. Твои фотографии мы получили; у Маруси она висит на стене в ее комнате, а у меня спрятана вместе с другими драгоценностями в ящик. Начала читать Бергсона, меня в высшей степени интересует его нить мысли, которую я еще не вполне уяснила себе, но вопрос поставлен животрепещущий: «теория познания есть теория жизни»⁹⁴. Очень это меня задевает. Настроение мое все такое же бодрое и *внутренно* покойное и

решительное. Надеюсь, и ты бодр и здоров. Радуюсь, что работа идет хорошо и хозяйство твоё тебя радует. Жду с нетерпением 18^{го}. Мы с Сусанн<ой> Мих<айловой>⁹⁵ все обсудили о «Еженедельн<ике>». Дело в том, что вопрос об окончании связывается с вопросом о контракте на квартиру, который надо или теперь заключить, или покинуть квартиру. Придется в августе все обсудить и для этого всем собраться в Москве, т. к. если все решат, что с моим уходом дело и вообще кончается, то оно должно кончиться к 1^{му} сентября. Я хочу вернуться в Москву и начать жить на совершенно новых условиях, а то мне это все слишком будет больно и тяжело и я могу не найти достаточных сил для предстоящего мне испытания. Есть минуты, когда *должно* думать о себе не для себя, а для всех и для всего. Не забудь, что мотив моего ухода для всех есть недостаток средств, нужных для ведения «Еженедельн<ника>». Если ты будешь говорить с Григ<орием> Ник<олаевичем> и Котляревск<им>, то скажи им об этом. Я Серг<ею> Андр<еевичу> писала уже⁹⁶. Мы с Сусанн<ой> Мих<айловой> устроим контору издательства у меня в доме и будем заниматься с ней этим делом. Ты меня успокоил насчет Струве и К^о — а то я перепугалась! Ну, до свиданья, милый, хороший и родной мой друг. Я знаю, что мой поезд приходит в 12 ч. в Москву, но бывает опоздание. До свиданья, до свиданья, до скорого — какая радость.

57. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[6 августа 1910 г. Бегичево. В Михайловское.]

№ 1
6 Августа

Милая и дорогая

Начну с самого для тебя интересного. После двухнедельного долгого обсуждения все мы наконец пришли к согласию, чтобы я просил себе командировку на вторую половину года. Как-то всем это оказалось удобнее: для сыновей при этой комбинации жертв — никаких, а только одно удовольствие; в финансовом отношении затруднения отпадают. Наконец, я надеюсь, что это будет лучше *для самого главного*: именно нужно, чтобы наши отношения в Москве установились по-новому уже до отъезда за границу и чтобы от этого воспоследовало успокоение *для всех*, о чем мы при свидании так много говорили.

От души надеюсь, что все это, Бог даст, наладится так, чтобы всем было *в душе* легко.

Теперь у нас все относительно хорошо, хотя сначала было очень тяжело и трудно. Ну, да что же об этом размазывать! Повторяю, *теперь* стало легче: по крайней мере, все на чем-нибудь остановилось и впереди виден исход.

Теперь предстоит подать прошение Мануилову⁹⁷ о командировке на второе полугодие. Если это осуществится, то предстоит отъезд в Декабре. Это будет нелегко и тебе, и мне, но все же это легче, чем на год, а *для души*, для спокойствия совести, для равновесия и прекращения раздвоения это, увы, необходимо. Ты не можешь себе представить, как я тебе благодарен за то, что ты с этим миришься, и насколько ты мне от этого становишься ближе и дороже, если ты еще можешь стать мне дороже, чем ты есть.

Получил письмо от Струве. Он пишет между прочим: «обидно, что такой флаг, как «Моск<овский> Еженед<ельник>», оказался спущенным»⁹⁸. Мне не столько обидно, сколько жалко: уж очень много хорошего связано для меня с этим флагом. Конечно, флаг не пропадет; но жалко целой дороги, теперь оконченного цикла жизни. Жалко наших с тобой там переживаний; жалко и независимо от наших отношений многого, особенно вторичных собраний, всегда столь интересных.

Нужно, чтобы по крайней мере в будущем из этого что-нибудь выросло. От всей души надеюсь, что это будет не уничтожение, а превращение. А пока прощай, моя дорогая. Крепко тебя целую. Я совершенно здоров.

58. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[7 августа 1910 г. Михайловское. В Бегичево.]

Ангел милый, радость моя! Не могла дожидаться сегодняшнего дня, чтобы писать тебе. Я сама себе назначила написать в субботу и послать в воскресенье. Это было нелегко, так и тянуло писать без конца. Вся душа, все существо мое переполнено тобой, мой драгоценный друг. Дай только Бог, чтобы мое лишение принесло у тебя хотя какое-нибудь успокоение, избавило бы от лишней боли. Если бы ты знал, как мне хорошо, как я много чувствую сил в душе, как много бодрости и веры. Надеюсь всем сердцем, что и ты бодр и спокоен, мое сокровище дорогое, Господи, какая радость возможна в жизни, как нужно мне быть благодарной Богу, что Он мне посылает такие волшебные минуты, когда не веришь, что живешь на земле, когда реально, совсем реально чувствуешь, что летишь на небеса. Я знаю, что эти минуты дают силы выносить жизнь, они преобразуют душу, подвигают ее, пробуждают в ней все лучшее! Я теперь знаю минуты настоящей, безбрежной радости! Дорогой мой, светлый мой, лучезарный друг! Как я верю, что все будет хорошо, что будет победа, что всегда будет радость! Будь ты спокоен, бодр и верь, тогда все у тебя будет тоже хорошо! Я много мечтаю о будущей зиме и вижу, что она будет очень хорошая и серьезная для меня. Бог мне посылает большую помощь тем, что дом продан (а он окончательно продан). Это невольно заключит мою жизнь в более интимную рамку, меньше будет суеты, меня больше оставят в покое внешние люди. Совершенно спокойно и отговариваясь квартирой я могу избежать многого утомительного и берущего силы. Все силы я сосредоточу на работе внутренней, как душевной, так и по созиданию серьезных дел для своей жизни. Ко всему этому я просто рвусь душой, лишь бы мое солнышко не покидало меня надолго, а сияло бы и всходило бы на моем горизонте и освещало мой путь! Побольше и поглубже должна я развить в своей душе то начало добра, которое Бог мне раскрывает в жизни! Сохранить и оберечь мое сокровище — вот задача! Вчера получила грустную записку от Струве по поводу окончания «Еженедельн<ика>». Напоминание об этом меня огорчает до слез, очень, очень это больно вообще. Он пишет: «спущен флаг, и это отзовется больно в душах тех, для кого этот флаг символизировал нечто важное и дорогое»⁹⁹. Это меня задевает за живое, и с этим я не примирюсь! Пусть «Еженедельник» кончен, но я верю, что хотя в другой форме, но это дело — наше дело — будет жить и флаг вовсе не спущен. Нет, «дело» должно быть и будет! Вчера был Шварц — он мне и Мике очень понравился. Умный доктор с западными приемами. Все, что он сказал, правильно и очень многое мне объяснило. Слава Богу, ничего опасного, вообще никакой болезни он не нашел. Все в нервах и артритизме [?], необходим строгий режим. — Ради Бога, милый друг, напиши мне обо всем. Хотя в общих словах I о своем здоровье и настроении, II о настроении В. А., III о Ваших планах на зиму, есть ли что-нибудь новое или есть ли уже решение. Ради Бога ответь на эти три вопроса скорее, жду очень, очень нетерпеливо. Очень, очень, очень прошу, шевельнись и откликнись, ответь! Но только ответь на все три вопроса, а то ты всегда забываешь. Надеюсь, что завтра получу от тебя словечко! Ну, будь здоров, спокоен! Я погружена в чтение твоей рукописи! В следующий раз, когда окончу, напишу все свои размышления. Пока крепко, крепко целую и надеюсь!

Твоя Гармося.

Мы нашли квартиру на Знаменке, по моим требованиям лучше желать нельзя¹⁰⁰

На будущей неделе еду в Москву для совершения купчей. Надеюсь 20^{го} августа еще быть в Москве и увидеть одного милого, грозного человека! Получила милое письмо от Левона. Он хвалит «Еженедельн<ик>» за лето¹⁰¹.

59. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[12 августа 1910 г. Михайловское. В Бегичево.]

2^е письмо

Дорогой и милый друг! Получила твое письмо и нашла в нем ответ на все

мои три вопроса. Слава Богу, с души свалился страшный камень. Я глубоко счастлива, что Вы не едете на всю зиму. Это вполне правильно и хорошо во всех отношениях. Ты увидишь, что все пойдет к лучшему. Только не горячись и не требуй всего сразу, не приходи в ужас от каждого пустяка и не подписывай сразу каких-то отчаянных и безнадежных резюме. Также вот отъезд на 4 месяца зимой меня пугает: комкать свой курс и беседы со студентами и уезжать Бог знает куда и зачем на так долго. Это не может меня очень радовать, даже очень, очень огорчает. Тем более когда еще не известно ничего — а вдруг все пойдет лучше, В. А. будет гораздо спокойнее и это все ни к чему! Ужасно боюсь этого! Конечно, мой друг, я тебе высказываю *мои* мысли и чувства! Делай все как хочешь! Если ты видишь, что для спокойствия В. А. это необходимо, что иначе оно не будет достигнуто, то, конечно, нужно поехать тебе, а мне молчать и покоряться. Я только прошу тебя ничего не делать сгоряча! Ну да вообще это твое дело. Слава Богу, если все теперь благодаря этому решению стало лучше. Очень, очень я счастлива за тебя, а то у меня также постоянно болит душа обо всем этом. *Лично* же у меня наоборот очень, очень много хорошего в душе, много надежд и планов, и большой подъем сил я чувствую. Как бы мне хотелось, чтобы и ты наконец перестал так страдать и отдаваться каким-то сомнениям! Сколько у тебя впереди прекрасного, какая светлая, яркая задача. Я очень была тронута, что ты с чувством говоришь о «Еженедель<нике>», а главное, выражаешь надежду на то, что *будет* дело, что *наше* дело вновь воскреснет, хотя в другой форме! Боже мой, да это *единственная* моя вера и надежда! Вся цель, весь смысл всего прекрасного, что мы с тобой переживаем, все в этой вере и надежде: должно быть дело вместе, общее живое дело — и будет! Я все положу на это — лягу костями. На весь этот будущий год я смотрю как на переходный, необходимый, чтобы поставить и укрепить, как каменную крепость, *все принципы житейские* между нами и тем наконец приобрести *настоящую* свободу отношений. Без жертв это невозможно, и перед ними я преклоняюсь. Все жертвы не возьмут силы, а удесятерят их — этого я не боюсь. Не нужно только напрасных, бесплодных лишений — этого я никогда не признаю. Тут мы будем вечно с тобой сражаться! Ну да ничего, это сражение не врагов! Ты не можешь себе представить, как я мечтаю о будущем деле, к которому я буду теперь готовиться. Я вижу, что ты неизбежно будешь его делать со мной, если не заперешь исключительно в свой кабинет и университет. Я надеюсь на это всей душой, потерять эту надежду для меня — потерять все. Ради Бога, мой друг, не забывай этого. Ты веришь, я надеюсь, что я вынесу твой отъезд, если он будет нужен, и не упаду духом, потому что я верю, что он не может разрушить главного для меня. Я буду бояться конечно только напрасной потери твоих сил, времени и ущерба твоему делу и *ужасно* буду тосковать по тебе. Неужели В. А. не успокоится через некоторое время, убедившись, что ее семья ничего не лишается, что ты всегда с ней и с детьми, никуда не уходишь! — Сегодня надеюсь получить письмо от тебя, очень нетерпеливо жду! Я счастлива, что ты здоров, Шварц мне говорил, что твое здоровье очень хорошо, только ты очень нервен. Это верно! Я очень этим всем довольна. Во всем решительно я никакого ущерба для тебя не наблюдаю, наоборот, все прекрасно. А в будущем будет еще лучше! Одно только и очень важное — это успокоить В. А., и опять-таки я в это верю. Ради Бога, мой друг, будь покоен, работай и верь всему светлому. Надеюсь 20^{го} тебя видеть? Напиши об этом, т. к., в сущности, это меня в настоящую минуту *очень* интересует. Надеюсь, что увижу тебя. Напиши, производит ли хотя какое-нибудь действие, что я пишу редко.

Твоя Г.

60. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[14 августа 1910 г. Бегичево. В Михайловское.]

№ 3

14 Августа 1910

Милый и дорогой друг

Не удивляйся, что я пока не назначаю точно дня моего приезда в Москву.

Вероятно, придется приехать не 20^{го}, а несколько позднее. Только в Четверг 19^{го} Августа Мануилов увидит гр. Камаровского (декана), и, следовательно, только в тот день выяснится, когда будет назначено заседание. Очевидно, оно не может быть назначено на другой день!

Сейчас с большим подъемом перечитал твое *единственное* письмо после нашего последнего свидания; с нетерпением жду второго.

Много-думал по поводу этого письма о твоей и моей московской жизни. Перемена — громадная. Закрытие «Еженедельника» и твой переезд будут иметь последствия неисчислимые, и хотя это и трудно, но, надеюсь, будет хорошо и для тебя и для меня. Перемена квартиры в самом деле даст тебе возможность зажить по-новому. Что же касается «Еженедельника», то грустно и жалко всего хорошего, что есть в прошедшем; грустно, что не будет наших собраний и особенно наших заседаний там вдвоем; жалко комнаты с портретами, с Васнецовым и Бёклиным¹⁰², но в смысле *дела* не могу не сказать, что «Еженедельник» для меня уже прошедшее: *теперешним* моим задачам и настроениям он не соответствует. Писать о чем-либо *текущем* я сейчас не могу без насилия над собою, которое не окупается результатом! А если так, то зачем же я стану наполнять «Еженедельником» твою жизнь. И твои силы, твое время и средства должны послужить чему-нибудь другому, более соответствующему потребностям времени.

И опять-таки я думаю, что с точки зрения объективной (помимо наших личных обстоятельств и чувств) прекращение «Еженедельника» — не простая случайность. Если бы он оказывал глубокое влияние и был необходим, мы, вероятно, нашли бы способы его продолжать. А что он не влиял — это обуславливается не одной общественной психологией, но причинами более глубокими. Чтобы оказывать глубокое духовное влияние, мысль должна очиститься и углубиться. Должны зародиться новые духовные силы. Нам нужно не дилетантское богоискательство Бердяева и не постное масло Булгакова, а нечто более глубокое и сильное. Публицистика, как я ее понимаю, должна питаться философией и углубленным религиозным пониманием! Стало быть, философия — первая задача, а публицистика вторая или даже третья!¹⁰³

Наши настроения — спокойные и хорошие. Мое — ужасно углубляется. Со страхом, с робостью перед великой ответственностью пишу главу о богочеловечестве и чувствую, что необходимо в это уйти с головой. Работаю много и с величайшим наслаждением. Это — главное; ничего существенного от тебя не таю; в общем, стало легче.

Ах моя милая, родная, какое блаженство будет, когда станет совсем легко. А легко может быть только с тобой, благодаря твоим и моим усилиям, а больше всего — благодаря Богу, если Он даст сил и мудрости.

До скорого свидания, бесценный и дорогой друг, целую тебя крепко.

61. М. К. Морозова — Е. Н. Грубецкому

[17 (?) августа 1910 г. Михайловское. В Бегичево.]

3^е письмо

Дорогой мой, милый мой ангел! Какая досада, что заседание не состоится 20^{го}. Я так радовалась возможности тебя скоро повидать! Дай Бог, чтобы оно состоялось 21^{го} или хотя 23^{го}. Как я ни сдерживаю себя, но признаюсь тебе, что *очень* хочу тебя видеть. Почему ты не получил моего 2^{го} письма, я его послала 12^{го}? Известие о том, что ты послал прошение, а следовательно, отъезд на несколько месяцев состоится, меня сразило! Как я ни подготавливала себя ко всякому возможному решению с твоей стороны, но я только теперь поняла, как я надеялась, что отъезд как-нибудь не состоится. Конечно, это лучше, чем на всю зиму, но все-таки это грозит четырьмя месяцами, чего доброго! Как я молила Бога, чтобы *это* горе меня миновало! Это известие поразило меня в самое сердце, как что-то неожиданное! Одно рассуждать и думать, другое — переживать. Я так страдала эти дни, что даже заболела! Сейчас привела сама себе много очень строгих, разумных доводов, и опять

силы поднялись и я чувствую себя опять покойно и бодро! Пожалуйста, не тревожься этим, мой милый дружок! *Требую* даже, не смей жалеть меня! Пишу тебе это не для того, чтобы жаловаться, а чтобы ты знал все, что я переживаю, знал, *как* я борюсь с собой и, следовательно, как сильно во мне желание, чтобы тебе было хорошо, чтобы все было хорошо! Радуюсь, что у Вас стало лучше! Слава Богу! Надеюсь, что твое решение и отъезд принесет серьезное успокоение и, главное, прочное, так, чтобы его не нужно было повторять! Как я счастлива, что ты хорошо работаешь и пишешь о таком важном. Действительно, по-моему, самое интересное и важное — это о Богочеловечестве и еще о мистическом познании. Я очень обстоятельно, много раз прочла твою главу о теоретической философии¹⁰⁴. Так хорошо все объяснено и установлено твердо, так хорошо все это расчищает путь и подготавливает почву для исследования самого главного. Прочтя все это, чувствуешь потребность получить ответ и углубиться в вопрос о мистическом познании, единственном истинном познании. Каково оно, каким же образом происходит оно в нас? Страшно интересно, что ведь в нем участвует воля, действие, подвиг. Хорошо бы не только это установить, но и проникать в глубину этой тайны, пробираться в ее плоть и кровь. Что ты обо всем этом думаешь и что напишешь? По этому поводу посмотри III^ю главу у Бергсона (о Смысле жизни), он говорит много интересного, по-моему¹⁰⁵. Я в восторге от того, что Эрн говорит в своей статье против «Логоса», об «отсутствии систем у Русск<их> мыслителей. Всякая система лжива, плод кабинетности (!!!)». Соловьев призрачен там, где он оставляет путь интуиции, обольщается миражем систематичности»¹⁰⁶. *Как* я с этим согласна! Этот ужасный, гибельный диалектический метод, мертвое начало, потому всегда все, им созданное, гибнет с течением времени. Бессмертным остается то слово, которое сказано из глубины мук души, пережито, хотя и могло современникам казаться непоследовательным! Конечно, если в нем была правда живой души, то оно неизбежно глубоко *логично*. Самое-то важное, что оно не создано логикой, а явилось результатом действия и страдания, как откровение! Вот суть того, что *н а д о*, что не должно быть дилетантск<им> Богоискательством Бердяевых и Булгаковых, но ему малобить и *философией*, хотя бы и прекрасной. Должно быть *живое искание, живое дело, прекрасная жизнь!* По-моему, кроме этого надо написать новую теорию познания, *динамическую* теорию познания, как хорошо сказано у Эрн¹⁰⁷. Кажется, у Соловьева есть только намеки на это, но нет чего-нибудь определенного, правда? Ужасно меня волнует и интересует, как ты напишешь обо всех этих самых глубоких вопросах, которые составляют суть души Соловьева, что ты скажешь и как наметишь путь? До свиданья, радость моя, надеюсь, надеюсь, до скорого! Жду известия. Целую крепко. Лучше пошли телеграмму.

62. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[21 августа 1910 г. Михайловское. В Бегичево.]

4^е письмо
Суббота

Милый друг! Спешу сообщить тебе, что я переезжаю совсем в Москву, в понедельник 23^{го} августа, мне необходимо устраивать квартиру. Пишу это, т. к. сомневаюсь, что твое заседание состоится теперь, а следовательно, до 31^{го} или 1^{го} мы не увидимся. Пиши мне в Москву, на Смоленский бульв<ар>, до 10^{го} сент<ября> мы еще в доме остаемся. Вчера получила твоё письмо. Напрасно ты беспокоишься, что я тебя в чем бы то ни было собираюсь уговаривать. Будь совершенно спокоен и верь *моей дружбе*, она неизменно по отношению к тебе. Уезжай, мой друг, если это тебе необходимо и так тебе говорят твои чувства, разве я могу тебе в чем-нибудь не помочь как друг. Как мне жаль, что ты так страдаешь, такое мучительное раздражение переживаешь. Я далеко не думаю, что это «пустяки», а вижу, что нужно всячески стараться, чтобы этого не было больше. Для этого я все сделаю, чтобы ты

успокоился. Про себя скажу, что все это время глубоко грустила о распадении милого и дорогого дела, нашего кружка и собраний в «Еженедельнике», и отчаивалась в душе найти возможность продолжения этого дела, хотя в другой форме, конечно. Но вот эти дни очень, очень была утешена, очень во мне подняли дух письма многих и, главное, Сергея Андреевича¹⁰⁸. Хочу верить, что сама жизнь идет мне навстречу, не напрасно, может быть, потрачено столько сил, веры и жертв, что-нибудь живое у меня, может быть, останется, живое в том смысле, как я его люблю и верю. Надеюсь, что нам с Сергеем Андреевичем и с другими удастся сохранить отношения, завязавшиеся в нашей редакции, и продолжать это дело, найти ему новое русло. Будь покоен, ни продолжения «Еженедельника», ни твоего какого-нибудь председательства или редакторства *не будет*, все это отклонила и писала Сергею Андреевичу, что тебе надо писать и уехать. Одна только мысль о любимом деле меня может теперь воодушевить и заставить не потерять энергию и силы.

Надеюсь, ты получил мое 3^e письмо. Какая досада вышла с моим конвертом, я их все выбросила. До свиданья, мой друг, надеюсь, до скорого. Извести, когда приедешь. Будь совершенно покоен!

63. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Между 22 и 26 августа 1910 г. Бегичево. В Москву.]

Милая, родная и горячо любимая Гармося

Ты не можешь себе представить, какую радостью наполнило мою душу твое последнее письмо. Точно сноп света в нее ударил, и такой нежностью я наполнился к тебе. Это со мной всякий раз бывает, когда я не то что умом пойму, а осязательно, своей душой почувствую твою дружбу, твою жертву, твою глубокую ко мне любовь. Ах, как я тебя люблю, моя дорогая, как особенно люблю в эти минуты. И что ты ими делаешь со мной! Вдруг какой-то тяжелый камень спадет с души и легко становится. Ты не знаешь, моя дорогая, сколько в этом камне тоски по тебе и какой я вижу просвет, когда вдруг чувствую тебя без камня, чувствую возможность светлой, хорошей и любовной дружбы с тобой в согласии с моей совестью и с общим делом!

Как мне хочется за это порадовать тебя. И порадую. Вот прочитай отдел «Печать» в «Речи» за воскресенье 22 Августа, что там говорится по поводу прекращения «Еженедельника»¹⁰⁹, и порадуешься. Увидишь, что мы с тобой недаром работали. — И поработаем, Бог даст, еще: потому что наше направление нужно. Но ни минуты я не раскаиваюсь в прекращении самого «Еженедельника». Во-первых, когда мы временно исчезнем, нас больше оценят. Пускай о нас «потерявши плачут». Во-вторых, воскреснуть нам подлежит в новом виде: форма «Еженедельника» обветшала. «Вехи» имели огромный успех, хоть они питались крохами с нашего стола. В чем тут разгадка? Да в том, что сборник издается, когда есть возможность что-нибудь высказать, а в еженедельном издании наоборот, многое пишется только для того, чтобы наполнить номер. Если мы с нашими идеями освободимся от лишнего балласта и станем писать только в меру нашей собственной потребности высказываться, то очень может быть, что мы возродимся — в форме ли периодических сборников или чего другого, я не знаю, — но непременно возродимся¹¹⁰.

Жить в Москве и не делать какого-нибудь общего дела с тобой для меня невозможно! Но сейчас и пока тебе большое спасибо за отстранение меня от «редакторства, председательства» и т. п. Милый, дорогой и добрый мой друг! Ты понимаешь, что мне в данную минуту нужно. Ты все понимаешь своей нежной, любящей и чуткой душой. Спасибо, моя дорогая, хорошая. Крепко тебя целую.

Получила ли ты мое последнее письмо из Оболенского или оно там застряло? Я там пишу, что наше заседание будет только 3^{го} и что я буду у тебя около 8 вечера 31^{го}. До скорого свидания. Целую еще раз.

64. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[23 декабря 1910 г. Берлин. В Москву. Конверт и бумага: Berlin, N.W. Neustadt. Kirchstr. 6/7. Continental Hôtel.]

Берлин 23 Декабря¹¹¹

Милая Гармося

Чтобы не забыть, начну с делового. Доктор по болезням сердца, которого я тебе рекомендовал для Мики, — *Prof. Kraus*, живет в Берлине, Brückenallee, 7. На дому принимает несколько торопливо; будет основательнее смотреть, если ты позовешь его в гостиницу.

Еще вот что: ты забыла заплатить счет Прагеру (Buchhandlung* Prager, № 21, Mittelstrasse, zwischen Friedrich and Neustadt Kirchstrasse) около 219 марок. Пошли ему банковым переводом около этого.

А теперь, оставивши эти глупости, поговорю с тобой по душе и сообщу все тебе интересное.

Первое — наше здоровье — слава Богу. У Верочки, к счастью, ничего органического, хотя нервная система в ужасном состоянии. Во мне не найдено ничего плохого, но Воас хотел было на возвратном пути засадить меня в свою санаторию, но на мой энергичный протест немедленно сдался и засадил на 6 недель на строжайшую вегетарианскую диету. Это сейчас вполне соответствует моему настроению, которое и без того вегетарианское; как и почему, — тому следуют пункты —

Вчера вечером в день приезда в Берлин пошел с мальчиками шататься по улицам, — от нечего делать¹¹². Зашли в театр-синемаграф, и там неожиданно я получил такое сильное впечатление, что даже заболела грудь, напала тоска и до сих я не могу отдышаться от кошмара.

Среди плоских немецких витцов** и добродетельных мелодрам вдруг одна правдивая и реальная сцена. Просто — внутренность аквариума — жизнь личинки хищного водяного жука, а потом самого жука, — все это увеличенное во сто раз, так что личинка (с надписью sehr gefräßig***) имела вид огромного живого дракона, который с четверть часа пожирал всевозможные живые существа — рыб, саламандру и т. п., которые отчаянно бились в его железной челюсти.

Я не могу представить себе более наглядного и ужасного изображения бессмыслицы естественного существования. Это та неумышленная, беспощадная и бесплодная борьба за существование, которая наполняет всю жизнь природы с тех пор, как есть животный мир. Ты не можешь себе представить, как сильно я в эту минуту ненавидел пантеизм и хотел убежать из этого мира. Редко так сильно ощущал «афонское» настроение. Может ли быть клевета на Бога гнуснее той, которая утверждает, что это божественно!

Ужас мира, покинутого Богом, подчеркивался неимоверной бессознательностью и пошлостью немецкой обстановки, особенно кельнерами, которые предлагали «rafräichissements»****, пока дракон пожирал свою живую еще добычу, и музыкой, которая неизвестно зачем этому аккомпанировала сентиментальными аккордами. Второй день у меня от этого болит все утро, — противно думать о себе самих, т. е. о людях, потому что наши бойни, а тем более войны, разумеется, — та же сущность в менее жестокой и безобразной форме¹¹³.

Когда же на другой день после этого Боас прописал мне вегетарианский режим, то это было словно продолжение того же назревшего хода мыслей. Точно организму вредно то, что ненавистно душе! Между прочим, и Соловьев был вегетарианцем¹¹⁴.

Вообще ужасен этот мир. Как только начнешь его утверждать, так сейчас же станешь этом самым водяным жуком, будешь безжалостно жрать и

* Книжная торговля (нем.).

** От немецкого der Witz — шутка, острота.

*** Очень прожорлива (нем.).

**** Прохладительные напитки (франц.).

уничтожать чужие жизни, и животные и людские! Вообще «любовь к миру» — противоречие; между настоящей любовью и этим миром нет ничего общего. Любовь — такой сдвиг, который ничего не оставит на месте в этом мире. В самом своем умопостижимом корне она ему противоположна! Правда, дорогая? Все разрешение жизненной задачи в этом огромном и мощном повороте жизни в любви к любви. Вся ценность любви — в мире ином! Но Боже мой, как это трудно! Какого подвига требует любовь; и какая ложь — любовь без подвига. Какая правда в том, что Зигфрид должен подыматься в гору, чтобы достать *из огня* свою Брунгильду!¹¹⁵ Вагнер несомненно ощущал ту любовь, которая *на границе* здешнего.

Милая и дорогая моя Гармося, не бойся подвига и не страшись этого огня, хотя бы он сжег и многое, что *кажется* дорогим!

Не тоскуй, моя родная: чем больше он в нас сожжет здешнего, тем ближе мы будем друг к другу. Пусть соединит нас и спаяет нерушимое, вечное. Христос с тобой.

Целую тебя крепко.

Завтра еду в Рим ----- Ах как бы хотелось хоть одним глазком на тебя взглянуть!

65. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[24 декабря 1910 г. Москва. В Берлин.]

24^е дек<абря>

Здравствуй, мой дорогой, милый Женичка. Прости, что я так скоро пишу¹¹⁶. Во мне происходит целый день сегодня борьба: хочется ужасно написать, а с другой стороны, боюсь. Через некоторое время постараюсь взять себя в руки и в этом. Пока не могу, неудержимо хочется поблагодарить тебя за твое дорогое, чудное письмо! Милый мой, дорогой мой, прекрасный мой, спасибо тебе за него! Как оно нужно мне! Пиши чаще, моя радость, хоть словечко! А если бы ты посмотрел в мои глаза, то сколько любви, сколько самой нежной, самой страстной, самой бесконечной любви ты увидел бы в них! Моя радость, мое утешение — ты! Не забывай меня, Женичка, умоляю тебя! Ах как я боюсь, что ты меня забудешь, отвыкнешь от меня, я тебе стану чужая! *Всесделаю*, но только чтобы этого не было, чтобы не допустить этого! Как я была счастлива получить твое письмо, если бы ты знал! Я живу, думаю и делаю все, все так, как если бы ты все время стоял передо мной, все слушал, все видел, все знал, и я знаю, что ты был бы доволен мной, мой ангел бесценный! Бесконечно счастлива тем, что ты бодр и что сознание того, что ты делаешь, успокаивает твою дорогую, чудную душу! Надеюсь, ты скоро начнешь работать и не слишком увлечешься беготней и суетой. Дай Бог, чтобы это пребывание принесло В. А. успокоение и тебе тоже отдых, сокровище мое! Утром и вечером крещу тебя и молю, чтобы все было хорошо, но молюсь, чтобы и меня ты не забыл.

Твоя Гармося.

66. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[27 декабря 1910 г. Рим. В Москву. Из Рима в Москву.]

Roma, Via Tritone, 36, Pensione Lomi

27 Декабря
№ III

Милая и дорогая Гармося

Ты не можешь себе представить, как я был обрадован здесь первым твоим письмом от 23^{го}, написанным в таком хорошем настроении! Сегодня — Понедельник — ровно неделя, как мы расстались; и столько разных мыслей мимо меня промчалось. А я так же, как и ты, — еще *не верю* в разлуку, т. е. душа моя еще не понимает, что мы с тобой расстались на такой *долгий* четырехмесячный срок. Что это такое? И даль и близость чувствуются в одно и то же время. Иногда мне кажется, что ты вот тут — рядом со мной, и хочется заговорить с тобой. А иногда мучительно чувствуется отдаление...

Это бывает, особенно когда испытываешь какое-нибудь сильное переживание. Слишком привык я делить с тобой всю мою духовную жизнь. А когда вдруг этого нельзя, становится тоскливо и больно.

Вот хоть, например, сегодня видел я с мальчиками Сикстинскую капеллу — фрески Микеланджело, а потом с высоты и чудную панораму Рима — с Апенниннами, покрытыми густым снегом (вещь исключительно здесь редкая). Я сильно был взволнован и потрясен этой красотой: в моей душе воскрес целый мир, который я переживал много лет назад; и я бесконечно обрадовался тому, что этот мир во мне уцелел; обрадовался, между прочим, и контрасту, потому что рядом с этим Рафаэль почти перестал для меня существовать¹¹⁷. Но все это мне тотчас же напомнило, что весь этот мир, который так глубоко во мне засел — Италия, ее искусство и природа, — мир, *не разделенный* у меня с тобой, и меня взяла тоска!

Сколько угодно могу говорить о нем с тобой словами, но этих красок, этого ослепительного сияния солнца, этого творчества, живописи, которые переворачивают душу, — мы вместе не переживали. А все святое, духовное, хорошее я хотел бы пережить с тобой, перелить из моей души в твою и обратно!

Жизнь наша еще не вошла в колею; вчера устраивались, переезжая в [одно слово нрзб] в пенсион; сегодня, *по-видимому*, устроились окончательно (адрес в начале письма) и недурно. Раскладка только окончена, Соловьев выложен, и я за него принялся, хотя пока еще ничего не написал. Верочка вдребезги разбита *всякою* усталостью, и московскою и дорожною, и моральною и физическою, и пока еще не может наслаждаться. Но я надеюсь на одно: чтобы усталость прошла, нужно, чтобы она *обнаружилась*: в Москве она обнаруживалась, может быть, в меньшей степени, чем здесь, потому что там была против нее напряженная, но поэтому тоже утомительная борьба. Мне кажется, что это — неизбежная *détente de nerfs**, за которой, если Бог даст, последует и отдых. Только очень скоро его нельзя ожидать: уж слишком она измучилась!

Ну, прощай моя родная, еще раз спасибо за письмо, которое так меня утешило и обрадовало. Крепко, крепко тебя целую.

67. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[29 декабря 1910 г. Михайловское. В Рим.]

29^е дек<абря>

С новым годом, дорогой мой, от всего сердца желаю тебе быть здоровым! Будь бодр, работай хорошо, и все, Бог даст, будет хорошо. Посылаю письмо Маруси, она *сама* захотела тебе написать. Ты ей тоже напиши словечко, а то она огорчится. Пишу это письмо из деревни, завтра возвращаемся в Москву. Здесь чудно хорошо. Снег блестит, все обсыпано инеем и залито розовыми лучами солнца. Ночи лунные — прямо волшебные. Мы здесь устраивали елки — у себя и в сельской школе для деревенских ребятишек — очень весело смотреть на их радость. Праздник для меня очень труден сейчас. Прервались обычные занятия издательством и школой и общение со всеми на *этой* почве — невольно много остаешься сама с собой. С детьми очень трудно, никакого успокоения, за исключением Маруси пока. Встреча праздника была очень грустна, сердце разрывает, глядя на Лёлю¹¹⁸, да и самой не легче. Нет семьи ни у нее, ни у меня — мы с детьми не составляем единства, чувствуем и ищем совсем другого. Внешне обоюдно уступаем друг другу, а внутренне и те и другие угнетены. Читаю каждый день Евангелие и много размышляю. Добираюсь до самых глубин, туда, где все лежит и решается «Высшим Светом, где воля Неба»¹¹⁹! Как мизерна, как ничтожна наша так называемая *сознательная* воля, как беспомощно *сознание* человеческое, как оно коротко. Как оно не знает, *зачем* что-нибудь делает человек, *что* он делает и *куда* он придет.

* Нервная разрядка (*франц.*).

Маленький у него горизонтик! — Читаю твою книгу «Григорий VII» и *тебя* там ни секунды не чувствую¹²⁰. Все — и посвящение — рационализм и ученость. Это интересно исторически, это прекрасное твоё *среднее*, но это не *ты*. Но это грандиозная картина, и я понимаю, что она могла привлечь твой взор как картина. Сию секунду получила твоё письмо из Берлина — его привезли из Москвы. Ужасно рада, спасибо, милый, что написал. Пиши чаще — мне очень нужны твои письма. Радуюсь, что здоровье В. А. в основном хорошо. Видишь, как ты все преувеличиваешь! О твоём здоровье думай серьезно и исполняй все, ради Бога. Понимаю твой ужас перед тем, что делает презираемая тобой материя, и твоё вегетарианское настроение. Я всегда думаю о вегетарианстве, — соблюдаю посты, но чувствую, что должна идти к цели путем «мирного обновления»¹²¹, ещё чувствую много соблазнов на пути, а то как бы не сорваться — это хуже. Всегда соглашаюсь с тобой, что пантеизм ложь как мировоззрение, но никогда не могу согласиться и всегда скажу, что он не ложь как переживание, как психологический момент. Если, хотя на минуту, не сольешься с хаосом, не погрузишься в него, не познаешь, что такое мир. А для этого необходимо видеть, чувствовать Бога во всем. Ужас охватывает при виде *реальной* картины природы — это правда. Но вот если бы мы не сталкивались с этой ужасной реальностью, не стремилась бы наша душа победить и преобразить этот ужас. Ужасно чувствую и слышу твою душу, мой ангел, это все трубные звуки моего солнечного всадника «оттуда». До бесконечности жажду, чтобы огнем в тебе горело все горе, все несовершенство мира и твоё собственное. Тем больше ты сделаешь, тем ближе ты будешь всему и всем. Одно меня всегда ужасает — это твоё стремление перескочить в мир «иной». Ужасны твои слова, что любовь к миру есть противоречие, — ужасны. Как же, когда любовь к миру есть основа и источник познания и любви к Богу, она свята потому, что только через нее нам дано увидеть Бога. Смысл, завершение любви в мире «ином» действительно, но ценность как раз наоборот. Огонь любви затем и есть, чтобы глубже нас взять к земле, заставить плотью и кровью полюбить жить на земле, слиться с ней, переживать все ее радости, чтобы мы не покидали ее, не убегали от ее ужасов, а оставались на ней и этой любовью спасали ее и себя, что неразрывно связано. «Свет из тьмы

*Над черной глыбой
Вознестися не могли бы
Лики роз твоих,
Если б в сумрачное лоно
Не впивался погруженный
Темный корень их»¹²².*

Вот мое
любимое!

Конечно, должен быть подвиг, но я понимаю, подвиг жизни на земле, через расцвет всех сил и всей красоты. Отдача себя миру и жизни не во имя свое, конечно, а во имя торжества света для него и для себя. Нет, я всегда приду к другому, чем ты. Лишь бы *искренно* и *свободно* идти, лишь бы было *подлинно* то, к чему пришел, чтобы нашел человек самого себя в этом — тогда не будет убит ключ жизни в душе и не будет она бесплодна. Не только в природе чтобы не было убийства и насилия, но и в духе чтобы его не было! До свиданья, мой дорогой! Пиши скорее. Целую тебя крепко и нежно.

Твоя Гармося.

68. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[5 января 1911 г. Рим. В Москву.]

№ 6

5 Января 1911

Милая моя, дорогая и хорошая

Гармося, спасибо тебе за твоё дорогое и хорошее письмо из деревни. Оно меня успокоило и потому, что твой отъезд в деревню объяснил мне промед-

ление в письмах, и потому, что я из него увидел, что мое берлинское письмо не чрезмерно тебя взволновало и огорчило. Это я особенно рад, потому что это мне ужасно развязывает язык, чтобы говорить с тобой в письмах *безбоязненно*, как я говорю с тобой с глазу на глаз.

Вот ты пишешь про «любовь к миру», что это чувство должное. А знаешь ли ты, в чем тут недоразуменье. В том, что *здесь совсем нет мира*, а потому нечего и любить. А то, что мы называем миром, — только порыв и стремление создать мир, пока еще не удавшиеся. Существа, борющиеся за существование, за счастье, за любовь, — не образуют цельного *мира*, а образуют хаос, ведь это две противоположности! Вот ты пишешь про сестру твою Лёлю, что она несчастна. Оставляю в стороне сопоставление с тобой, потому что ты — вовсе не несчастна. Но почему несчастна Лёля? Все оттого, что *мира нет*, а есть хаос: она несчастна, *для того чтобы была счастлива другая женщина!* Какой же это мир: ведь мир есть *целое, мир, лад*; а где нет целого, а есть только бесчисленное множество враждующих между собой дробей, там *мира нет!*

А при этих условиях как возможно пантеистическое настроение; как оно может быть правдой, когда неправда самый пантеизм. Ведь переживать Бога значит всеми фибрами ощущать, что этот природный непросветленный мир — *безбожен*.

Говоря о «любви к миру», ты всегда разумеешь любовь, и именно любовь половую. Но на высших ступенях своих это чувство и в самом деле *образует* мир, т. е. создает нечто новое, чего здесь в самом деле нет, потому что она приводит к самоотвержению, к победе над эгоизмом и к утверждению «мира иного». А на низших, средних и вообще *естественных* ступенях половая любовь утверждает все тот же хаос, борьбу за существование. *И горе побежденным*. Закон этой любви тот, что Лёля должна быть несчастна, чтобы другая была счастлива, что всякое вообще или почти всякое счастье построено на чужом несчастье. *И горе побежденным*. В мире животном этот закон наивно выражается во всеобщей *кровавой* борьбе из-за обладания любимым предметом. А у людей — сердечные муки, которым часто предпочитают смерть.

Если «погрузиться в мир» всецело, то нужно воспринимать весь мир *целиком*, а не небольшой уголок, где встречаются две любящие души. А чувствовать и воспринимать *целиком* весь ужас всеобщей беспощадной и не прекращающейся борьбы, составляющей *здешнее*, к счастью, никому не дано: иначе бы люди не вынесли жизни: только оттого мы ее и выносим и любим, что не слишком погружаемся в «мир», а или смотрим на него поверхностно, или воспринимаем *«мир иной»*.

Я увлекся спором с тобой и забыл, что ты можешь подумать, что мое настроение очень мрачное! Совсем нет, ангел мой дорогой, милый и хороший! Душа полна нежности и ласки к тебе и любовью. Но люблю я тебя по-своему и люблю твой дорогой образ — *в мире, там, где в самом деле есть мир*. И хочу от души, чтобы твоя душа утверждалась там, т. е. в мире, а не в хаосе. Пусть хаос вылетит в дымовую трубу, где он шумит! Прощай, моя дорогая. Целую тебя крепко.

КОММЕНТАРИИ

В настоящих комментариях приняты сокращения: МЕ — журнал «Московский еженедельник», ВФП — журнал «Вопросы философии и психологии».

¹ Адрес на конверте: Франция. Cap Martin (près Menton). Hôtel du Cap. Курорт, где отдыхала М. К., находится на Лазурном берегу, близ Ниццы.

² Пасха в 1909 г. приходилась на 29 марта.

³ Образ медведя, к которому Е. Н. прибегает для автохарактеристики, совпадает с впечатлением, которое он производил на посторонних. Ср. в воспоминаниях А. Белого: «Войдешь к Морозовой: в креслах сидит — грузноватый, высокий Е. Н., молчаливо прислушивается к пестроте разговоров; и вдруг рывом косолапой руки и интонацией, не соответствующей содержанию слов, принимается тяжелить разговор; и все, что ни есть, уплотняется; с осторожностью, с тактом, силясь противников не задеть, он пробивает себе дорогу; представьте медведя, ходящего по канату; кто стал бы смеяться над движением его лап, видя, что «мишка» не грохнулся с первого шага с каната...» (Б е л ы й А. Между двух революций. М. 1990, стр. 269).

⁴ Находясь в Ялте, Е. Н. готовил речь о Гоголе для предстоящих в апреле торжеств по случаю столетия со дня рождения писателя (см. прим. 11).

⁵ Неточная цитата из письма М. А. Максимовичу. Вряд ли М. К. имела в своем распоряжении издание писем Гоголя: скорее всего цитата заимствована ею из книги Д. С. Мережковского «Гоголь и черт», где она выделена автором (М. 1906, стр. 86; см. также прим. 7, 8).

⁶ Сын М. К. Морозов Михаил Михайлович (1897—1952), прославленный знаменитым «Портретом Мики Морозова» В. А. Серова (1902; Государственная Третьяковская галерея); впоследствии известный театровед, специалист по творчеству Шекспира.

⁷ Творческую трагедию Гоголя Д. С. Мережковский полагал в неравновесности в его натуре двух начал — языческого и христианского (см. прим. 5).

⁸ Сквозной мотив многих частных писем Гоголя, опять-таки особо выделенный Д. С. Мережковским («Гоголь и черт», стр. 162—163, 165—166).

⁹ М. К. соединяет собственное резюме последних страниц статьи Гоголя «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» с неточной цитатой отсюда же.

¹⁰ Неточная цитата из указанной статьи Гоголя.

¹¹ Речь Е. Н. «Гоголь и Россия» была произнесена в торжественном заседании Императорского Московского университета и Общества любителей российской словесности в актовом зале университета 26 апреля 1909 г., состоявшемся сразу же после открытия памятника Гоголю на Пречистенском бульваре (см.: «Гоголевские дни в Москве». М. [1910], стр. 64—65; собственно текст речи — стр. 115—127; ранее была опубликована в МЕ, 1909, № 16, стр. 2—18). М. К. принимала участие в праздничном «в числе оказавших гостеприимство иностранным гостям» («Гоголевские дни...», стр. 49): в ее доме остановился Э. М. де Воюэ.

¹² Реминисценция из стихотворения Н. А. Некрасова «Я не люблю иронии твоей...». Университетская профессора помимо Е. Н. была представлена С. А. Муромцевым, М. И. Сперанским, И. И. Ивановым, Ф. И. Коршем.

¹³ Д. С. Мережковский не смог принять приглашения Общества «по случайным причинам» («Гоголевские дни в Москве», стр. 13).

¹⁴ Данное письмо в просмотренных нами единицах хранения не обнаружено; очевидно, было уничтожено Е. Н. из-за содержания.

¹⁵ Адрес на конверте: Германия. Schwarzwald. St.-Blasien. Villa Bristol.

¹⁶ Авторство стихов неизвестно.

¹⁷ То есть в редакции МЕ — Пречистенский бульвар, дом Кальмер. В коллекции М. А. Морозова насчитывалось 60 икон (см.: Д у м о в а Наталья. Московские меценаты, стр. 92).

¹⁸ Дочь М. К. Мария Михайловна (род. 1905/?), в замужестве Фидлер.

¹⁹ Сестра М. К. Елена Кирилловна, в замужестве Вострякова. На протяжении всей долгой жизни сестры поддерживали доверительные, дружеские отношения.

²⁰ См. прим. 25.

²¹ Строки из стихотворения «Посвящение к неизданной комедии» (курсив Е. Н.). Сборник стихотворений В. С. Соловьева (М. 1901) М. К. подарила Е. Н. перед его отъездом в Ялту (письмо к М. К., 6, За, л. 42).

²² Из письма Н. Н. Страхову (см.: «Письма Владимира Сергеевича Соловьева», т. 1. СПб. 1908; курсив Е. Н.). Летом 1909 г. в Бегичеве Е. Н. приступил к своим «занятиям Соловьевым», которые продолжались несколько лет и завершились выходом книги «Миросозерцание В. С. Соловьева» (М. 1913). Вероятно, толчком к началу этой работы послужило планировавшееся участие Е. Н. в сборнике о национализме, который предполагалось выпустить вслед за «Вехами». В мае этого года А. А. Стахович писал П. Б. Струве о «сборнике большом, серьезном, издать который предельно не позже Сентября <...> Изъявили согласие принять в нем участие и за лето написать большие статьи С. Н. Булгаков, Кистяковский, Е. Н. Трубецкой и П. И. Новгородцев» (цит. по: Колеров М. А., «Архивная история сборника „Вехи“». — «Вестник Московского университета. Серия 8. История», 1991, № 4, стр. 16; там же подробно о неосуществленном замысле).

²³ Имеется в виду работа В. С. Соловьева «Великий спор и христианская политика» (1883).

²⁴ Ср. у Соловьева: «По духовному своему существу польская нация и с нею все католические славяне примыкают к западному миру. Дух сильнее крови; несмотря на кровную антипатию к немцам и кровную близость к русским, представители полонизма скорее согласятся на онемечение, чем на слияние с Россией» (С о л о в ъ е в В. С. Сочинения в 2-х тт. М. «Правда». 1989, т. 1, стр. 71).

²⁵ М. К. читала книгу М. О. Гершензона «П. Я. Чаадаев. Жизнь и творчество» (СПб. 1908; в этом письме и далее цитаты даны по этому изданию). Мы видим, что репертуар будущего издательства «Путь» складывался уже летом 1909 г. (в 1913—1914 гг. издательство М. К. выпустило «Сочинения и письма» П. Я. Чаадаева в двух томах, подготовленные тем же М. О. Гершензоном; см. также прим. 28).

²⁶ Персонаж романа Ф. Сологуба «Мелкий бес». Эта книга была подарена М. К. В. А. Трубецкой весной 1907 (?) г.; приводим краткое сопроводительное письмо, освещающее сложные отношения между ними:

«Милая Маргарита Кирилловна

Посылаю Вам Евангелие от Св. Иоанна и «Мелкий бес» и с этими двумя противоположностями посылаю Вам еще крепкий сердечный поцелуй.

Много мы обе за эту зиму переживали и переживали, могли друг от друга оттолкнуться и друг друга чуждаться, но мы лично ближе узнали друг друга, и то чувство, которое могло бы нас

разъединить, нас сблизило, мы соединились на *хорошем, высоком и чистом* чувстве, и я верю, что наше с Вами сближение глубоко.

От души обнимаю Вас. Дай Вам Бог хорошо провести это лето и дай Вам Бог душевного мира.
Любящая Вас

Вера Трубецкая» (2, 35, л. 1—2).

²⁷ В ответ на открытку с видом на «дорогу философов» со следующим пояснением: «Вот эта дорога идет над нашей виллой, и мы каждое утро гуляем по ней» (3, 2, л.58). «Дорогой философов» в Германии называют дорогу, с которой открывается красивый вид, как бы располагающий к размышлениям.

²⁸ То есть «Историю и будущность теократии» и «Россию и Вселенскую церковь» — основные работы, в которых Соловьев изложил свои теократические идеи. Последняя в русском переводе Г. А. Рачинского будет выпущена книгоиздательством «Путь» в 1911 г. (см. прим. 143).

²⁹ Здесь впервые сформулирован основной пункт, на котором выстроится концепция соловьевского творчества, развернутая в работе «Миросозерцание В. С. Соловьева».

³⁰ В письме от 6 июня Е. Н., в частности, писал: «Очень втягиваюсь в Соловьева и очень много в нем замечаю для меня нового, почему и надеюсь, что из этой работы что-нибудь путное выйдет. Кстати, очень важно для ознакомления с ним прочесть «еврейский вопрос» в т. IV» (6, 3а, л.30). Е. Н. и М. К. читали Соловьева по собранию сочинений в восьми тт. Точное название работы — «Еврейство и христианский вопрос» (1884).

³¹ Соловьев приводит заочную пасхальную молитву о пришествии мессии (см.: Соловьев В. С. Сочинения в 2-х тт., т. 1, стр. 217—218).

³² М. К. цитирует несколько неточно; ср.: там же, стр. 219.

³³ Ср. там же, стр. 220; курсив М. К.

³⁴ Такая идея была сформулирована Е. Н. в работе «Социальная утопия Платона» (ВФП, 1908, № 91, 92; отд. изд.—М. 1908).

³⁵ Имеется в виду следующее место: «Окончательная цель для христиан и для иудеев одна и та же — вселенская теократия, осуществление божественного закона в мире человеческом, воплощение небесного в земном. Этот союз неба и земли, этот новый завет Бога с творением, этот совершенный круг и венец всемирного дела одинаково признается и христианством и иудейством. Но в христианстве нам открылся сверх того и *путь* к этому венцу, и этот путь есть *крест*. Вот этого-то крестного пути и не сумело понять тогдашнее иудейство» (Соловьев В. С. Сочинения в 2-х тт., т. 1, стр. 226—227).

³⁶ Ср. у Соловьева: «Наступит день, и исцеленная от долгого безумия Польша станет живым мостом между святыней Востока и Запада. Могущественный царь протянет руку помощи гонимому первосвященнику. <...> Тогда прославится вера Христова, тогда обратится народ Израилев. Обратится потому, что вьявь увидит и познает царство Мессии в силе и деле» (Там же, стр. 253).

³⁷ «С нарастанием жизненного опыта без всякой перемены в существе своих убеждений, я все более и более сомневался в полезности и исполнимости тех внешних замыслов, которым были отданы мои так называемые „лучшие годы“» («Творения Платона», М. 1899. т. 1, стр. УІ).

³⁸ Михайловское, Малоярославецкого уезда, Калужской губернии (ныне в границах Московской области), близ Боровска.

³⁹ Упомянутые письма напечатаны в книге М. О. Гершензона (см. прим. 25).

⁴⁰ Трубецкой Е. Н., «„Вехи“ и их критики» (МЕ, 1909, № 23). В веховских кругах статья была оценена как «дружественная» (см. письмо А. С. Изгоева М. О. Гершензону от 29 июня 1909 г. — «Минувшее». Вып. 11. М.—СПб. 1992, стр. 275).

⁴¹ Феофан (Говоров Георгий Васильевич, 1815—1894) — епископ Владимирский и Суздальский. В 1866 г. удалился в Вышинскую пустынь (отсюда его именование Феофан Затворник). Его религиозные сочинения пользовались широкой популярностью: упоминаемые «Письма о христианской жизни» выходили в 1891, 1899 и 1908 гг. М. К., очевидно, читала последнее издание.

⁴² См. МЕ, 1909, № 27.

⁴³ Тьерри Амэде (1797—1873) — французский историк; Е. Н. рекомендует его культурно-исторические очерки.

⁴⁴ Открытка с видом Rhenfall, послана «по дороге на автомобиле из St.-Blasien в Constanz» (3, 2, л. 26).

⁴⁵ См. прим. 36.

⁴⁶ Один из примеров житейской непрактичности Соловьева Е. Н. привел во вступительном очерке «Личность В. С. Соловьева»; так, Соловьев был очень удивлен, что на земское собрание допускаются посторонние: «Как он мне сказал, он думал, что «земство — что-то в роде канцелярии». В особенности в области экономической он поража́л примитивностью своих суждений» («Миросозерцание В. С. Соловьева», т. 1, стр. 7).

⁴⁷ 23 июня Е. Н. известил М. К. телеграммой из Калуги: «Arrivons Berlin 2 juin estivez Continental» [«Приезжаем Берлин 2 Июня пишите Continental»] (6, 36, л. 54).

⁴⁸ В имени Поповка, в двадцати пяти верстах от Твери, на даче, принадлежавшей фабрике Морозовых. «Это была лесная дача <...> Дом был простой, бревенчатый, внутри обитый тесом. В доме было всего комнат шесть <...> Окружали дом бесконечные леса, которые тянулись на много десятков верст». В год свадьбы с М. А. Морозовым молодожены приехали сюда по Волге на собственном пароходе «Новинка» (Морозова М. К., «Мои воспоминания», стр. 96).

⁴⁹ В «Истории и будущности теократии» (см.: Соловьев В. С. Собрание сочинений в 8-ми тт. Т. 4, стр. 420).

⁵⁰ М. К. шутливо намекает на немецкого философа Германа Когена (1842—1918), бывшего главой марбургской школы неокантианства. Полемика с ним и с его последователями в России (см. прим. 106) постоянно занимала как Е. Н. (см. его работы: «Панметодизм в этике (К характеристике учения Когена)» (ВФП, 1909, № 97), под впечатлением которой, очевидно, и находилась М. К.; «Метафизические предположения познания». — М «Путь». 1917), так и других философов, близких будущему «Пуги». Так, летом 1908 г. близкий друг М. К. и Е. Н. Л. М. Лопатин (см. прим. 60) писал о своих беседах с В. М. Хвостовым: «Когда речь заходит о Когене, в мирном единомыслии стараемся общими силами прорвать злокозненную паутину его диалектики...» (письмо к М. К., 1, 39, л. 2). Здесь уже было заложено будущее идейное противостояние «Пути» и «Логоса».

⁵¹ Философское сочинение Соловьева, написанное в 1877—1880 гг. и представленное в качестве докторской диссертации (1880). Познание, основанное на мистическом восприятии, — исходная посылка гносеологии Соловьева.

⁵² Курорт находится неподалеку от немецкого города Фрайбург, близ границы со Швейцарией и Францией.

⁵³ Открытка, посланная В. А. Трубецкой из Кёльна 5 июня; тревога М. К. продиктована следующим пассажем: «Женя Вам написал, что не хочет меня оставлять одну в Neuenahr, но это соображение вздорное» (2, 35, л. 16).

⁵⁴ Гостиница, в которой, очевидно, для М. К. был заказан номер.

⁵⁵ Условное имя, на которое М. К. отправляла корреспонденцию до востребования для Е. Н.

⁵⁶ В месяцеслове Православной Церкви нет святой с именем Маргарита; именины празднуются на Марину (17 июля ст. ст.). В. А. Трубецкая также поздравила М. К. «с именинами, не признаемыми православной церковью» (письмо от 15—16 (28—29) июля. — 2, 35, л. 8).

⁵⁷ Об этом М. К. написала В. А. Трубецкая в письме, упомянутом в предыдущем примечании.

⁵⁸ Перед возвращением в Россию Е. Н. посетил Байреит, где прослушал тетралогию Вагнера «Кольцо Нибелунгов» (см. последующие письма).

⁵⁹ К о т л я р е в с к и й Сергей Андреевич (1873—1939) — историк, приват-доцент, профессор Московского университета, один из постоянных и активных сотрудников М. К. имеет в виду следующую фразу из его письма от 3 июля 1909 г.: «Очень хорошая была статья Евг<ения> Ник<олаевича> о «Вехах» — как нельзя более в ней отразились сильные стороны его духовной природы» (1, 3, л. 3). О статье Е. Н. см. прим. 40.

⁶⁰ Л о п а т и н Лев Михайлович (1855—1920) — философ, профессор Московского университета, друг детства Лев С. Соловьева, один из основателей журнала ВФП. Е. Н. и М. К. питали к нему теплые, дружеские чувства и вспоминали о нем с исключительной сердечностью (см.: Трубецкой Е. Н. Воспоминания. София. 1921, стр. 179—191; Морозова М. К., «Мои воспоминания», стр. 103—104). В то же время особой идейной близости между ним и М. К. (а впоследствии и «Путем») все-таки не было. М. К. упоминает письмо от 12 июня 1909 г., в котором Лопатин сообщал о совместном отдыхе с Вениамином Михайловичем Хвостовым (1868—1920), юристом, профессором Московского университета: «Мы с ним много беседуем, иногда и спорим, но без озлобления и ярости. И он, и Надежда Павловна [жена В. М. — А. Н.] очень Вам кланяются, и вообще мы часто говорим о вас» (1, 39, л. 8).

⁶¹ В фондах департамента полиции (ГАРФ) сведений о перлюстрации переписки Е. Н. не обнаружено.

⁶² Статья Е. Н. «Крушение теократии в творениях В. С. Соловьева» (в которой развиваются идеи, сформулированные в выприведенных письмах) появилась только через два с половиной года («Русская мысль», 1912, № 1).

⁶³ В. А. Трубецкая отправила М. К. видовую открытку — в память о совместных прогулках в Altenahr (2, 35, л. 10).

⁶⁴ Курорт на атлантическом побережье Франции, близ границы с Испанией.

⁶⁵ Тетралогия Р. Вагнера «Кольцо Нибелунгов» («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов») игралась на сцене специально построенного для этого театра, летом, по несколько циклов (традиция сохранилась по сей день). М. К. слушала «Кольцо...» в Байрейте вместе с мужем в начале 900-х гг. Ср. в ее воспоминаниях: «Оперы Вагнера исполнялись в Байрейте через год летом, причем билет брался на цикл из пяти спектаклей <...> Стоил каждый билет очень больших денег — пятьсот долларов, или тысячу рублей на наши деньги <...> Самый театр, или Фестшпильгауз, находился на небольшом расстоянии от Байрейта, к нему вела длинная, обсаженная деревьями аллея. Театр был весь деревянный снаружи и внутри, очень большой, высокий, по обеим сторонам у него было много дверей <...> Стены и плафон театра были покрыты деревом, без всяких украшений или отделки материей. Это отсутствие отделки зала создавало удивительную, неслышанную акустику. Звук оркестра был <...> «идеальным», чисто духовным, без всякой примеси материального, т. е. звук несся так легко и казался таким прозрачным, что нельзя было себе представить, что смычок ходит по струнам или что человек играет на инструменте» (Морозова М. К., «Мои воспоминания», стр. 101).

⁶⁶ «Три речи в память Достоевского» В. С. Соловьева.

⁶⁷ С А. Н. Скрябинным М. К. была в дружеских отношениях: брала у него уроки музыки, затем на протяжении нескольких лет поддерживала его материально.

⁶⁸ В Байрейте на представлении «Кольца...» собиралась «избранная и элегантная публика». Вот как вспоминала М. К. о своем пребывании там: «В Байрейте нет отеля, так что надо было жить в

частной квартире. Байрейт — маленький провинциальный городок, с чистенькими, беленькими домиками. В одном из таких домиков мы сняли две комнатки <...> Комнатки были маленькие, с беленькими шторками на окнах, с широкими кроватями, покрытыми перинами. Хозяйка помещения бралась нас кормить». Узкий крут, в который входила и М. К., прилащался на раут у «м-м Козимы Вагнер на ее вилле Ванфрид <...> Дамы были одеты очень элегантно, многие были в бриллиантовых диадемах и парюрах, декольте. Мужчины в парадной военной форме <...> Здесь были немецкие короли и королевы, несколько принцев и принцесс: были принцы английские, японские, русские великие князья» (Морозова М. К., «Мои воспоминания», стр. 101—102). Е. Н. в Байрейте снимал комнаты в доме бургомистра (Karlstasse, 1 — см. обратный адрес на открытке, б, 36, л. 36).

⁶⁹ См. прим. 50.

⁷⁰ Ср. в воспоминаниях М. К.: «Постановка этих опер напомнила мне постановки наших опер в Большом театре до переворота, произведенного привлечением к ним талантливых художников Коровина и Головина. Постановки были абсолютно нехудожественны, поражала бедностью фантазии» (Морозова М. К., «Мои воспоминания», стр. 102).

⁷¹ См. письмо 12 и прим. 32, 33.

⁷² «Фрейшютц» («Вольный стрелок») — опера Вебера.

⁷³ Э л л и с (Кобылинский Лев Львович; 1879—1947) — поэт, переводчик, критик, друг А. Белого, в те годы бывшего поклонником М. К. Е. Н. ревниво относился к «декадентским» дружба М. К. — отсюда и выражение «Ваш Эллис». История шумного скандала вокруг эпизода в Румянцевском музее подробно описана А. Бельым (см.: Б е л ы й А. Между двух революций. М. 1990, стр. 328—335; подробный комментарий А. В. Лаврова — стр. 535—538).

⁷⁴ Е. Н. состоял гласным калужского губернского земского собрания; в 1915 г. он в свою очередь был избран членом Государственного совета от земства.

⁷⁵ То есть работа С. Н. Трубецкого «Основание идеализма» (ВФП, 1896, № 31—35).

⁷⁶ С. А. Котляревскому (см. прим. 59).

⁷⁷ Как политический публицист Е. Н. стал известен с ноября 1904 г., после статьи «Война и бюрократия» («Право», № 39; статья «произвела настоящий фурор; везде можно было услышать фразы и выражения, из нее взятые, а некоторые стали крылатыми» (Г е с с е н И. В. В двух веках. Берлин. 1937, стр. 181); с этого времени Е. Н. регулярно выступал со статьями на политические темы в МЕ, газетах «Русские ведомости», «Речь» и др. Желаемый М. К. сборник издан не был.

⁷⁸ П о л и в а н о в Михаил Павлович — юрист и философ, последователь Г. Когена (см. прим. 50), студент С. Н. Трубецкого (см. его воспоминания «Памяти кн. С. Н. Трубецкого». — ВФП, 1906, № 31). Статья М. П. Поливанова об Ибсене печаталась в МЕ (1909, № 25—30, 34). Как видим, окончание задержалось печатанием из-за замечаний Е. Н.

⁷⁹ Ср. у В. С. Соловьева: «Смерть и время царят на земле/Ты владыками их не зови...» (стихотворение «Бедный друг, истомил тебя путь»).

⁸⁰ Вольное изложение пассажа из передовой статьи газеты «Русь» (1882); см.: А к с а к о в И. С. Сочинения. М. 1886, стр. 503.

⁸¹ См. прим. 19.

⁸² В заседании Психологического общества 19 декабря 1909 г. П. Д. Боборыкин выступил с рефератом «Антропоцентризм и космическое миропонимание», который «вызвал оживленные прения, в которых приняли участие, кроме референта, кн. Е. Н. Трубецкой, Н. А. Бердяев, В. М. Хвостов и Л. М. Лопатин» (ВФП, 1910, № 101(1), стр. 112).

⁸³ В 1910 г. Пасха приходилась на 18 апреля.

⁸⁴ Тропарь, поющийся вместо Керувимской на литургии Преждеосвященных даров (на Страстной неделе служится с понедельника по среду).

⁸⁵ Неточная цитата из пасхальной стихиры.

⁸⁶ Очевидно, речь идет о будущем книгоиздательстве «Путь» и книгах С. Н. Булгакова «Два града» и В. С. Соловьева «Русская идея» или «Россия и Вселенская церковь» (см. прим. 143).

⁸⁷ Письма М. К., посланные до востребования в этот период, рассыяны по единицам хранения, помеченным более поздними годами. Их выявление — задача будущего.

⁸⁸ Очевидно, о. Сергей Шукин (1873—1931); позднее он войдет в круг сотрудников издательства «Путь», где выпустит книгу «Около церкви» (1913). Подробный рассказ о нем см.: Игуменья Евдокия, «Воспоминания об о. Сергии Шукине» («Вестник РХД», 1977, № 122).

⁸⁹ Намек на готовящуюся поездку М. К. в Neuenahr.

⁹⁰ Последний номер МЕ вышел 17 августа (подробнее о закрытии журнала см. прим. 92).

⁹¹ Г. Н. Трубецкой — брат Е. Н., ведущий сотрудник МЕ; С. А. Котляревский и П. Б. Струве.

⁹² Представленные письма с очевидностью свидетельствуют, что причина прекращения МЕ лежала в сфере личных взаимоотношений редактора и издателя. Прощитируем в связи с этим еще несколько фрагментов писем М. К.: «Надеюсь, что В. А. успокоило хотя бы известие о прекращении Еженедельн<ика>: надеюсь, что она поймет и поверит, что не на словах только, а на деле есть желание все сделать к лучшему»; «Надеюсь, что В. А. успокоило известие о Еженедельн<ике>, что же ты мне об этом не сообщаешь, это, право, безобразно. Надеюсь, она видит и верит, что по-прежнему продолжаться не будет <...> Важно устроить жизнь так, чтобы ежедневно ты мог спокойно работать, а В. А. не волновалась бы тем, что ты сейчас где-то со мной. Я уверена, что в этом отношении закрытие Еженед<ельника> — огромная вещь. Это одно внесет большую перемену и успокоенье, а затем и редкие свидания, я надеюсь, довершат все это. Нужно, чтобы В. А. убедилась, что ты проводишь с ней больше времени, чем со мной» (3, 5, лл. 159, 161, 162). Между тем версия о «финансовых затруднениях», выдвинутая М. К. и вряд ли принятая на веру

близкими к МЕ литераторами (размер капитала М. К. не был для них секретом), не вызывает сомнений у ряда современных историков. Так, в монографии Н. А. Балашовой «Российский либерализм начала XX в. (Банкротство идей «Московского еженедельника»)» (М. 1981), единственной на сегодняшний день посвященной журналу Е. Н. и М. К. и выполненной на внушительном архивном материале, «финансовая несостоятельность» МЕ представляется как следствие банкротства либеральных идей в условиях «острой классовой борьбы в стране» (стр. 39).

⁹³ Königswinter — город в Германии между Neuenahr и Бонном, где, очевидно, состоялось свидание Е. Н. и М. К.

⁹⁴ См.: Бергсон А н р и. Творческая эволюция. М. 1909. М. К. вольно цитирует введение; у Бергсона: «...теория познания нераздельна от теории жизни» (стр. 6).

⁹⁵ Сусанна Михайловна Архипова выполняла функции секретаря в издательских предприятиях М. К.

⁹⁶ Члены редакционного ядра МЕ, полагая «финансовые затруднения» М. К. подлинной причиной закрытия МЕ, попытались спасти положение. 12 августа С. А. Котляревский писал М. К.: «Я получил письмо от кн. Григория Николаевича, которое меня заставляет Вам писать. Г. Н. пишет, что он чувствует известный укор совести за слишком как бы пассивное отношение к прекращению М. Е. Прочтя его письмо, я, должен сказать, тоже ощутил в себе подобное сознание. Исчерпали ли мы все возможности для поддержки М. Е.? Г. Н. говорил, что все-таки следовало бы обратиться с циркулярным письмом к лицам, близко стоявшим к М. Е. <...> Я после письма Г. Н. написал Четверикову, а его прошу написать Коновалову. Весьма вероятно, что из этого ничего не выйдет, но по крайней мере не будет чувства неопределенности и пассивности» (1, 33, л. 5). М. К., по-видимому, встревожилась активностью друзей; о ее действиях дает представление следующее письмо С. А. Котляревского от 24 августа: «Что касается Москов. Еженедельника, то после Вашего письма, а также письма Евгения Николаевича, которое мне переслал Григорий Николаевич, я совершенно сочувствую его прекращению именно теперь. <...> Мне кажется, что и Евгений Николаевич совершенно прав в своем инстинкте, который ему подсказывает, что он должен те же самые вопросы политики и общественности осветить каким-то гораздо более из глубины идущим источником света, что не еженедельная публицистика, а философско-религиозный синтез должен поглощать его духовную энергию» (там же, лл. 9—10).

⁹⁷ М а н у и л о в Александр Аполлонович (1861—1929) — экономист, в 1905—1911 гг. ректор Московского университета.

⁹⁸ Данное письмо нами не обнаружено; аналогичное письмо к М. К. — см. письмо 58 и прим. 99.

⁹⁹ Письмо П. Б. Струве (редактировал в МЕ экономический отдел) от 4 августа 1910 г. (2, 33, л. 78).

¹⁰⁰ Знаменка, 11 (угол Знаменского пер.) — здесь располагалась контора книгоиздательства «Путь» и некоторое время нанимала квартиру М. К.

¹⁰¹ «С удовольствием читал некоторые номера «Московск. Еженедельника» за это лето: было много интересных и живых статей» (письмо от 6 августа 1910 г. — 1, 39, л. 6).

¹⁰² Основная часть коллекции картин русских художников, собранной М. А. Морозовым, была передана М. К. в дар Третьяковской галерее — «за исключением некоторых вещей, которые она пока оставляет за собой» (см. письмо В. А. Серова И. С. Остроухову от 22 февраля 1910 г. в кн.: «Валентин Серов в переписке, документах и интервью». Л. 1989, т. 2, стр. 204—205). Сочетание Васнецова с Бёклиным весьма выразительно характеризует мироощущение М. К.

¹⁰³ См. письмо С. А. Котляревского от 24 августа, прим. 96.

¹⁰⁴ Речь идет о завершенных главах книги Е. Н. «Мирозозерцание В. С. Соловьева».

¹⁰⁵ См. прим. 94.

¹⁰⁶ См.: Эрн В. Ф., «Нечто о Логосе, русской философии и научности (По поводу нового философского журнала «Логос»)» (МЕ, 1910, № 29 — 32; приведенная цитата — № 30, стр. 35). Весной 1910 г. в Москве и Тюбингене начал выходить «Международный журнал по философии культуры», объединивший представителей «трансцендентально-логического идеализма», русских последователей Г. Когена и П. Наторпа (С. И. Гессен, Э. К. Метнер, Б. В. Яковенко, Ф. А. Степун и другие). Между логосовцами и путейцами (ядро которых сложилось уже в МЕ) сразу же возникло острое идейное противостояние, начало которому положила указанная статья В. Ф. Эрн (вошла в сб.: Эрн В. Ф. Борьба за Логос. Опыт философии и критические. М. «Путь». 1911). Споры между «христианами» и «кантианцами» очень занимали М. К. и часто происходили в узком философском кружке, собиравшемся в ее доме (см. письмо 88). В то же время М. К. поддерживала со многими логосовцами личные дружеские отношения, в особенности с братьями Метнерами (см. «Мои воспоминания», глава «Метнер», стр. 105—109). Судя по намеку в письме П. Б. Струве к М. К. от 29 октября 1909 г., «Логос» поначалу рассчитывал на финансовую поддержку М. К. (2, 33, лл. 1—3). О «Логосе» подробно см.: Безродный М. К., «Из истории русского неокантианства (Журнал «Логос» и его редакторы)». — «Лица. Биографический альманах». Вып. 1. М.—СПб. 1992, стр. 372—407.

¹⁰⁷ МЕ, 1909, № 30, стр. 35.

¹⁰⁸ См. прим. 96.

¹⁰⁹ «Было бы слишком обидно, если бы русское общество дало погибнуть этой внепартийной прогрессивной трибуне, необходимость которой чувствуется очень сильно. Не всегда и не во всем мы соглашались с «Московским Еженедельником», но очень часто нам приходилось отмечать серьезные, проникнутые глубоким сознанием долга и ответственности перед Россией статьи как

самого редактора «Московского Еженедельника», таки многочисленных его сотрудников. Журнал занял определенное, своеобразное место в рядах русской публицистики» («Речь», 22.8.11).

¹¹⁰ Издание неперидических сборников статей, выражающих «боевую линию», стало одним из направлений «Пути» (см. письмо 88); вышло, однако, только два («О Владимире Соловьеве» и «О религии гр. Л. Н. Толстого»).

¹¹¹ Частично опубликовано: «Новый мир», 1991, № 7 (приносим извинения за не отмеченную нами купюру). В декабре 1910 г. Е. Н. выехал с семьей за границу на четыре месяца для научных занятий. Газета «Утро России» (29 декабря, № 337) сообщила, что отъезд Е. Н. связан с его столкновениями со студентами.

¹¹² Один из участников этой прогулки, кн. Сергей Евгеньевич Трубецкой, много лет спустя вспоминал о детских заграничных путешествиях: «Папа путешествовал не иначе как с большим количеством книг, и куда бы мы ни приезжали, у него всегда был свой кабинет для занятий, но во время путешествий Папа гораздо чаще, чем в городе или даже в деревне, «спускался на землю» и жил общей жизнью с нами. В Папа просыпалась туристическая жилка, и он с увлечением совершал с нами большие экипажные и пешие прогулки. От этого особенно выпадал я, так как Саша был еще слишком мал. Никогда в детстве я так много не общался с Папа, как за границей. Он много разговаривал со мною во время прогулок, обо всем рассказывал, многое показывал и объяснял» (Т р у б е ц к о й С. Е. Минувшее, стр. 38).

¹¹³ Увиденное произвело на Е. Н. столь сильное впечатление, что эта сцена открывает его известную работу «Умозрение в красках» (М. «Путь». 1916).

¹¹⁴ В строгом смысле Соловьев вегетарианцем не был: мяса он не употреблял в пищу, но ел рыбу; в гостях же он не отказывался от мясного даже в дни поста.

¹¹⁵ Сцена из «Зигфрида» Вагнера; о символике огня в этой сцене см.: Лосев А. Ф., «Проблема Вагнера в прошлом и настоящем» (в сб.: «Вопросы эстетики». Вып. 8. М. 1968, стр. 185).

¹¹⁶ Предыдущее письмо, которое нам не удалось выделить из не датированных писем М. К., было отправлено накануне, 23 декабря (см. следующее письмо).

¹¹⁷ С. Е. Трубецкой вспоминал о своем отце: «Во время заграничных путешествий он приходил в особенно восприимчивое состояние для ощущения красоты. Как Папа любил Рим и Флоренцию! Надо было видеть его там! Его многогранная природа, одаренная ко всему — кроме как к прекрасной жизни! — являлась там для тех, кто мало его знал, под неожиданным углом зрения» (Т р у б е ц к о й С. Е. Минувшее, стр. 39; там же, стр. 71).

¹¹⁸ См. прим. 19.

¹¹⁹ Источник цитаты не установлен.

¹²⁰ Т р у б е ц к о й Е. Н. Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI веке. Идея Божественного царства в творениях Григория VII и публицистов его времени. Киев. 1897. Григорий VII — римский папа (1073—1085).

¹²¹ М. К. обыгрывает название небольшой политической партии, объединявшей интеллигенцию столиц, органом которой служил МЕ. Входивший в партию Г. Н. Трубецкой вспоминал: «Про нее говорили, что все ее члены умещаются в купе вагона. Ее основатели не имели настойчивости и аппетита власти. Они были, быть может, для этого слишком «баринами». Но, образуя аристократическое меньшинство, каждый из них в силу личного уважения, которое внушал, заставлял к себе прислушиваться. Эта маленькая группа была чем-то вроде голоса общественной совести» (Трубецкой Г. Н., «Воспоминания. Облики прошлого». —ОР РГБ, ф. 743, к. 13, ед. хр. 1, л. 123). См. также: Трубецкой Е. Н., «Партия „мирного обновления“» (МЕ, 1906, № 33).

¹²² Заключительная строфа из стихотворения В. С. Соловьева «Мы сошлись с тобой недаром...».

(Окончание следует)



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЛА МАРЧЕНКО

*

ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ МИСТЕРА БУКЕРА

Первой моей реакцией на долгожданный «шортлист» — список из шести финалистов первой премии Букера за лучший русский роман года — было разочарование. Затратить столько усилий и дорогих, зеленых, денег, привести в состояние полной профессиональной изготовленности целую армию номинаторов, удержать в глубокой тайне и имена кандидатов, и имена тех, кто их вдвинул в тесный конкурсный круг, чтобы... Чтобы обнаружить то, что и так лежало на поверхности, на самом виду?

Мы, болельщики, на что надеялись? А на то надеялись, что букерята, нырнув во взбаламученное и необъятное море российской словесности, бесхозной и безнадзорной, вынырнут с чем-нибудь невероятным, как было, скажем, с Вампиловым.

Вампилова ведь обнаружили не мы, а поляки, случайно, в «Байкале», куда никто из столичных и пристольных искателей отроду не заглядывал. Я же в ту пору собирала материал для новомирской статьи, собирала по крохам, сезон-то был ох какой неурожайный, — и, естественно, расспрашивала знакомых литераторов — не повстречались ли, дескать, с чем-нибудь любопытным. Тогда-то Сергей Ларин и рассказал мне о «сибирской находке» русистов-туристов из полубратской Польши. Кинулась в Ленинку, выписала указанные журнальчики и...

А тут... Впрочем, элемент неожиданности имел-таки место: было странновато и даже, признаюсь, страшновато обнаружить в числе избранных «роман» Вл. Сорокина «Сердца четырех».

Я, конечно же, «все понимаю» и аргументы фанатов литературного «беспредела» на зубок выучила:

а) Литература — это игра, а игры бывают разные, в том числе и мерзкие.

б) Литература никогда никакого влияния на жизнь, и прежде всего на уровень нравственности общества, не оказывала. А раз так, то не все ли равно, с чем играть? И ежели, допустим, «предки» — всего лишь «шнурки в стакане», как весело сообщил однажды «МК», то почему бы с этим стаканчиком и с этими шнурками не поманипулировать?

И от себя добавлю:

в) Сочинение сие, хоть и представилось романом, к литературе в строгом смысле отношения не имеет: хитро задуманный, ловко исполненный сценарий фильма про совдеповские ужасы — не более того.

г) Детки, возвращенные в клетку «развитого социализма», как выяснилось — едва клетка аннигилировалась, — больше всего на свете боятся жизни. Просто жизни. Жизни как она есть, «ю натурель». Вот и обороняются от подкожного страха так, как обороняются при синдроме витальной недостаточности: конструируя жизнеподобные структуры еще более страшные, чем статистическое сложение фактов криминалистики.

Я-то, разумеется, справилась: и с отторжением, и с отвращением, — и даже, сквозь омерзение, подивилась даровитости автора, его умению из ничего — из жатой туалетной бумаги — слепить некое почти подобие почти реальной сюжетной ситуации.

«Сердца четырех» — единственная (в почетном «шортлисте») наборная рукопись. Однако заявившее ее издательство («Руслит») явно намеревалось роман сей издать. И, видимо, всерьез, иначе, по условиям конкурса, «ужасник» Вл. Сорокина не допустили б к участию в гонках на Booker Prize.

Следовательно: кабы на цветы зла да не морозы, то бишь не чисто технические издательские неувязки и невозможности, спрессованные в кубики-рубрики «Сердца» разлеглись бы на книжных развалах, доступные любому промысловому подростку с толстым бумажником, туманом в башке и поллой душой.

Единственное, что утешает, — лицо автора в зеркале ТВ: Вл. Сорокин был, кажется, чуть удивлен, а может, и приплюснут свалившейся на него удачей. Да и говорил, если память мне не изменяет, нечто вроде следующего: я, мол, конструирую триллеры про монстров-мутантов исключительно для внутренних надобностей своей тусовки — бывших девочек и бывших мальчиков, а они-то правила безопасности при общении с монстрами — знают. Другое дело — открытый рынок; тут, допускаю, может, и впрямь защита от дураков нужна, в моей конструкции отсутствующая. Но я-де ни при чем, я, мол, на дураков-простаков не работаю.

Предвижу возражения. А мы разве не распевали с восторгом в возрасте младшего из сорокинской монструозной Четверки:

Я магъ свою зарезал,
Отца свою убил,
Сестренку-гимназистку
В колоде утопил...

(Вариант: в сортире.)

И что же? Не зарезали, не убили, не утопили. Вполне законопослушными выросли...

И на это ответу цитатой из фольклорного «ужасника», тюремной баллады, записанной П. В. Киреевским:

Я малехонька во нужду пошла,
Десяти годов воровать стала,
Лет одиннадцати — разбойничать,
А двенадцати — в атаманушки.
Я зарезала брата родного,
Я взяла братца за белы руки,
Повела братца во чисто поле,
Я ударила его об сыру землю,
Я и взрезала брату белу грудь.
Внимала брату сердце с печенью.
На ноже сердце встрепенулося.
Моему сердцу сгорюхнулося.

Чуете разность? «СГОРЮХНУЛОСЯ»!

Два сердца — убийцы и убиенного — и ужаснулись содеянному, и сопережили ужасное в своей жизни как общее, одно на двоих, горе-злосчастье.

Ничего похожего в сочинении Вл. Сорокина нет и быть не может — ни в тексте, ни в подтексте, ни в глубинах авторского отношения к происходящему, — он, автор, и сам холоден, как жидкий фреон, посему и замораживает любое человеческое движение — даже выдвинутые в юпитеры отправления «телесного низа», даже выставленные на всеобщее обозрение секс-забавы (однообразные, как половые галлюцинации туповатого подростка).

У команды господина Букера хватило такта и ума окоротить напуганную разгулявшуюся литсвободу и остановить не по своей воле слишком уж широко шагнувшего «гадкого мальчика».

Впрочем, мы ведь не о нравственности тут толкуем, а о литературе, и если уж на нашей литературной карге, в пространстве словесности российской, обнаружилось страшное место, самообозначилась территория, населенцы которой специализируются на изобретении и тиражировании «маркированных по принципу игральных костей» мутантных структур, в стиле как бы сюрреализма, слегка модернизированного за счет постмодернистских фокусов-покусов, и если на эту продукцию и у читателей и у критиков имеется любопытствующий спрос и аппетит, то нет никакого резона обозначать сию зону как зону черного или белого безмолвия.

Кстати: появление сорокинского опуса в букеровском наборе позволило мне разрешить, конечно же лично для себя, загадку (принцип) отбора-выбора. (Не на номинаторском уровне, на уровне жюри, с номинаторами и так было понятно: кто-то и в самом деле нырял на дно морское, кто-то двигал-подсаживал своих, а кто не утруждаясь полистал через номер подшивки толстых журналов.)

Так вот, вопреки установке: *лучший русский роман года* — Букер-жюри, видимо, выбирало все-таки не вещь как таковую, не самодостаточный текст, а замечательное

литературное явление. А явление может быть замечательным не только по своим художественным достоинствам, но и (как еще Пушкиным сказано) по своему успеху или влиянию.

Больше того. Выйдя (впервые) в неосвоенное пространство российской словесности, команда г-на Букера, сдается мне, бессознательно, а скорее всего, подсознательно как бы руководствовалась популярной в современной географии теорией центральных мест Вальтера Кристлера.

А по этой теории города, называемые центральными местами, организуют вокруг себя территории в форме круга или шестиугольника. Да и само расположение городов на территории также должно в идеале образовывать правильную гексагональную (то есть шестиугольную) решетку.

Во всяком случае, и шестизначный «шортлист», и явное стремление обозначить на карте литературной России именно центральные места, окруженные достаточно активной и представительной группой соучастия и сочувствия-сомыслия, готовых центральность своего места и защищать и консервировать, наводит и на такое предположение.

Взглянем с этой гипотетической точки зрения, например, на «Место» Фридриха Горенштейна.

О том, что автор «Места» обязательно попадет в шестерку предфиналистов, равно как и том, что Booker Prize «Месту» не видать, и биться об заклад было не с кем. Отдать первого русского Букера роману, Россией не востребованному, и одним этим жестом притупить все, что было сделано, делается и будет еще сделано теми, кто *свободе* предпочел *тайную свободу*? Нет, сие лишило бы инициативу господина Букера гуманитарного смысла. Однако к тому, чтоб неподъемный для нынешних коммерческих издательств увесистый том поспел к сроку, господа англичане руку все-таки приложили: «Место» выпущено в свет книжной редакцией Советско-Британского предприятия СЛОВО/SLOVO. И в каком виде! На отличной белой бумаге (а то ведь о нынешней продукции и не захочешь, а вспомнишь: «Во-первых, серая бумага, она, быть может, и чиста, но как-то страшно без перчаток, читаешь — сотни опечаток»). Да еще и в старомодном коленкоровом переплете (после сплошного бумвинила и лакированной мерзости — в руках приятно держать).

Однако возвратился к нам Горенштейн никак уж не в роли посланца третьей эмигрантской волны и «Место» вписано в «гексшортлист» не в качестве жемчужины эмигрантской прозы. И не потому, что создано еще до отъезда автора из СССР. Отъезд как таковой в судьбе Горенштейна мало что переиначил. Эмигрировав, он ведь фактически — от себя — никуда не уехал: переместившись в Германию — переместил туда и свою «батисферу», поскольку и *здесь*, до отлета *туда*, жил-думал-писал вне общего потока — не подземно-подпольно, а подводно, глубоководно.

Менялось время, вместе, вслед за временем, — моды и вкусы, гуманитарная культура отступала, мозаичная наступала, а сосланный в себя Горенштейн — непокорный общему закону — не менялся; да, старел, да, вырослел, но вырослел по-своему, на свой лад: «учась у старых книг и старых мастеров».

Менялись темы, видимости, но не существенность, и в «Месте» он тот же, такой, каким был в «Доме с башенкой» (1963), то есть истинный чистопородный шестидесятник, не отдышавший новым временам ни единого глотка своего ВОЗДУХА, политизированного и идеологизированного в крайней, предгрозовой степени. И вся проза его, вся, в совокупности со всеми ее слабостями и достоинствами, — не что иное, как высшее достижение того социального, от виска и до носка общественного реализма, который возник как оппозиция государственному соцреализму и легализовался впервые в романе Вл. Дудинцева «Не хлебом единым». И не случайно Лев Аннинский, сам «нераскаянный» шестидесятник, на вопрос «огоньковской» анкеты — «Любимая книга — 92» — назвал Горенштейна. Правда, не «Место», а «Псалом», но это уже детали, потому что и та и другая вещь, независимо от года и места рождения, «зачаты в утробе» слишком определенно — общественного — времени.

Ему и принадлежит. Да, он, Горенштейн — Отставший (в отряд, колонну, артель шестидесятников не принятый, ибо не умел, как они, «притираясь внутри себя, шагать правильно и в меру быстро»), — очень на них — головных и заглавных — когда-то обиделся. Так обиделся, что взял да и зачислил себя в антишестидесятники.

Артель, однако, рассыпалась, разбрелась в разные стороны, а Горенштейн продолжает шагать все в том же, заданном в 60-е, направлении чувств и мыслей.

Как гость из этого времени, из прошлого, продолжающегося в настоящем, как выразитель отступившей в арьергард, но все еще живой и активной ментальности и присутствовал автор «Места» на больших Букеровских литературных играх.

Впрочем, судя по опубликованному в № 2 (за 1993 г.) «НМ» рассказу Ф. Горенштейна «День, оставшийся под обрывом» (написанному в 60-х, принесенному в «НМ» и, видимо, решительно отвергнутому редакцией, забытому автором и чудом сохранившемуся в домашнем архиве одной из сотрудниц журнала), Горенштейн в те годы вовсе не готовился в «подводники»: текст непосредствен и легок — ни утрюмства, ни страстной сосредоточенности на своей идее (одной, но пламенной), ни надрыва, чистая живопись, почти вариант «Июльского дождя», но в более простонародном и посему более сочном исполнении. Рассказ к тому же настолько «проходной» по самым завышенным цензурным нормам, что непонятна причина отказа. А может, и понятна: у молодого, неизвестного даже в узких кругах автора нет своего счета в национальном банке идей, он пока весь тут — в тексте, а редактор, берущий этот текст в руки, уже заранее скрючен вирусом страха, особым профессионально-редакторским вирусом: а вдруг ошибется, не дай бог, примет графомана за подающего надежды...

Сколько лет прошло, сколько бед водой унесло — а страх этот, от профнеуверенности, все еще прочно сидит в нас, так прочно и так глубоко, что даже самого главного страшила — внутреннего цензора — пересидел!

Фамилии финалистов, согласно Букер-этикету, назывались в алфавитном порядке, и посему непосредственным соседом (в «шортлисте») Горенштейна Фридриха оказался Иванченко Александр.

Михаил Золотаносов, гадая (в «МН», 22.11.92), кто же из шести «гениев» получит вожделенную Booker Prize, «Монограмму» Иванченко исключил не раздумывая как произведение заведомо срединное, традиционно-спокойное, атмосферу бурного 92-го не отражающее.

На мой же взгляд, если что и могло привлечь внимание Букер-жюри к этому романоподобию, так это как раз кричащая, нарочитая искусственность его построения!

Соединив, без всякой стыковки-центровки, две маленькие повести (первая: «Мать», вторая: «Дочь»), а скорее просто две длинные главы из ненаписанного семейного романа про беды раскулаченной и сосланной за Урал семьи украинских «подкулачников», автор храбро восполнил объем самоучителем (серией конспектов для индивидуальных занятий начинающих русских буддистов, искателей буддийского пути жизни).

Помня А. Иванченко по симпатичной автобиографической повести «Яблоки на снегу», а также по роману «Автопортрет с догом», уже слегка испорченному натужными, а местами и претенциозными «поисками жанра», но в целом вполне удачному, недаром был сразу же замечен столичной критикой, что не часто случилось в начале 80-х с произведениями, печатавшимися в «периферийных журналах», я искренне радовалась его успеху. Однако, прочтя «Монограмму», смутилась. Нет, не тем, что в оценке ее разошлась с коллегами по ремеслу, — к этому я уж давным-давно притерпелась и приспособилась. А той метаморфозой, которая произошла здесь с автором. Да и как было не смешаться, как не поразиться безоглядностью, с какой прирожденный тихий реалист (помните широко бытовавший когда-то термин «тихая лирика»?) взял да сломал себя: переменял, переустроил все — стиль, манеру, способ соображения понятий (а следовательно, и нутро?) — местами до неузнаваемости?!

Прочтя первый абзац, я было решила, что это пародия. (Спародировал же некогда Василий Аксенов в знаменитой «Затоваренной бочкотаре» жанр сентиментальных пугешествий во глубину России, столь модный в середине 60-х, да так тонко и умно спародировал, что никто из путешественников не обиделся. Даже Белла Ахмадулина, хотя, как помнится, ей досталось больше всего — за кипучие, горькие слезы восторга, рассыпанные, как жемчуга, на бескрайних сибирских дорогах...)

Увы, Иванченко никого не пародирует. Он совершенно серьезен. А коли так, то может ли быть, что даровитый прозаик, со вкусом и слухом, вдруг взял да выдал такой вот клип-кич:

«Лида Черновол. Ее отцу Емельяну был пожалован заячий тулупчик. Ее мать Марина наложила на себя руки в Елабуге. Ее дед умер на станции Астапово. В свое атласистое, с корридой, имя она облекалась, как в плащ».

Обеспокоенная столь угрожающей родословной, я не без трепета ждала парадного выхода наследницы Всея Буйственной Руси. Однако, дождавшись, успокоилась. Закуганная в атласный плащ героиня оказалась столь же непохожей на сочиненный для нее имидж, сколь не похож спрятавшийся в ее фамилии черный вол на красного испанского быка, с конца кинжала матадора вскормленного. Тихая, почти бесцветная библиотечная мышка, живет, как может, свою не слишком яркую женскую жизнь,

охорашивает, как умеет, служебную норку: то «норовит поставить на полки побольше божественного, святого, иконописного», то диск с Моцартом выгашит из заглавного. А на потолке — дизайн-бизу: «цветные осколки елочных игрушек» на ниточках, да «ромбики шоколадной фольги», да «изумрудные водоросли серебряного (так у А. И.) дождя»...

Портретами таких вот Лид, Мань, Сонь, Надь (в технике «Старый Арбат») завалены редакции толстых журналов, и какую бы острую приправу ни придумал Иванченко к пресному, дежурному, столовскому блюду — а он-таки придумал! подбросил мышке приключение в модном лесбиянском вкусе, — выражение заурядного лица так и осталось заурядным. Не помогли несостоявшейся лесбиянке и навязанные ей автором буддийские украшения... Хорошая девочка Лида выскользнула из тяжелых метафизических ожерелий с той же легкостью, с какой сбросила с плечиков красный атласный — с корридою плащ.

Не спасла положение и предыстория главной героини, то бишь история ее матери — Марины. Ибо Иванченко житие Марины-великомученицы не написал, а лишь пересказал беглой скороговоркой — словно бы с голоса чужого. Да и связаны эти два сюжета действительно «монограммно», то есть простым заплетением в фамильный вензель...

В октябре прошлого года, после того как в Овальном зале Библиотеки иностранной литературы были торжественно названы фамилии предфиналистов, по литературной Москве поползли нехорошие слухи: Иванченко-де вывели в люди поставившие на него номинаторы. Намек был толстый, ибо грубо намекал на высокую секретарскую должность автора «Монограммы».

Я этим слухам и тогда не поверила, не верю и сейчас. Да, в хвалительных ораториях номинаторского сводного хора Иванченко неизменно присутствует, но — на общих основаниях — в перечислениях. А вот в основном номере А. Архангельского («Лепта», 1993, № 1) хвала «Монограмме», с моей точки зрения, вообще больше смахивает на хулу: «Трудное, путаное чтение, но — чтение». Предполагаю, что если что и оказало телепатическое давление на членов Букер-жюри, так это активность стоящей за Иванченко Третьей столицы.

Легкий и быстрый успех экспериментально-молодежного номера «Урала» (1989, № 1) — а успех был (в Ленинской библиотеке я лично видела этот выпуск зачитанным буквально до дыр) — разогнул какие-то скрепы, и психологические и издательские, и в самом скором времени из-за Хребта густо, боевым клином и с боевым кличем — идем-де на вы, — двинул на бывшие столицы крутой уральский авангард. Москва ахнула, вполне, впрочем, гостеприимно засуетилась — в основном вокруг В. Курицына, идеолога и глашатая новой уральской волны, — и как по команде повернулась лицом к Востоку.

Александр Иванченко в пору первого нашествия «новых варваров»¹ сидел анахоретом в маленьком горшке под Екатеринбургом (Свердловском) и вел сражение на своем поле: пытался привить изысканный индийский лотос к уральскому дичку. И хотя вскоре волею случая переехал в Москву, возглавив новообразовавшийся, альтернативный бондаревскому, Союз писателей России и даже, по моим наблюдениям, то ли сам втянулся, то ли позволил себя втянуть в номенклатурные битвы, в глазах первоусталичных критиков и в сердцах и умах делегировавших его граждан Третьей столицы так и остался зачисленным по Уралу.

Кстати, я далеко не уверена, что автор этого странного романа полностью соответствовал эстетическим требованиям уральской волны и что тяжелая его проза так уж нравилась тем, кто оплачивал и заказывал новый уральский стиль, стиль новой Третьей столицы. Но Букер-жюри требовало и настаивало: РОМАН! А у хозяев Урала в требуемом жанре ничего, кроме «Монограммы», не было: исполнители заказанной музыки за романы и повести не брались, они культивировали фрагмент (фрагмент экономичнее в производстве), а также разыгрывание и обыгрывание цитат. Разумеется, не простых, а «из одной редкой книги, которая только в определенных обстоятельствах попадает в руки человеку, но зато уж навсегда делает его другим, прочитав ее то же самое, что родить ребенка или провести сутки в камере смертников, — человек, повторюсь, уже никогда не станет прежним, в нем что-то меняется, он словно бы уже и не здесь живет» (Д у б и ч е в В а д и м в книге «Любовный

¹ Во избежание недоразумений поясню: закавыченные слова из размышлений Н. Гумилева об Игоре Северянине. Вот как выглядит мысль в полном объеме: «Мы (то есть «люди книги». — А. М.) присутствуем при новом вторжении варваров, сильных своей талантливостью и ужасных своей небрезгливостью» («Аполлон», 1914, № 1—2, стр. 124).

треугольник. Сборник новой русской прозы». Серия «Третья столица». Екатеринбург. «Доверие». 1993).

Вот в этот-то уральский стандарт А. Иванченко с горем пополам, но втискивался. Среди держателей редкой книги он был единственный, кто не просто вмонтировал Индию в интерьер, но и прочитал ее Главную Книгу, и не только прочитал — законспектировал и, труд сей тяжкий свершив, так сильно заужал свои собственные конспекты, что посчитал возможным вставить их в роман на равных правах со всем остальным, благо и все остальное было писано «первой рукой» и сопротивления не оказало.

Я не поленилась, посчитала: из 75 журнальных страниц во второй книжке «Урала», отведенных под «Монограмму», 39, то есть больше половины, заняты учебным пособием для взыскующих буддийской премудрости! Не слишком ли расточительно при таких бешеных ценах и на типографские услуги и на бумагу?!

Упомянув чуть выше о тех, кто оплачивает уральские литературные забавы, я имела в виду отнюдь не безымянных спонсоров.

За издательской активностью уральцев, и прежде всего за серией «Третья столица», стоят вполне конкретные деловые люди, хозяева концерна «Белая башня». И вот как объясняет один из столпов этой могучей страховой компании, почему они тратят и впредь намерены тратить немалые деньги на издание не приносящих им, купцам, никакого барыша литературных изделий.

Там, где надо, объясняет — на титульном листе последнего, третьего, выпуска уже всем-всем известной серии².

«Мы финансируем это НЕКОММЕРЧЕСКОЕ издание не потому, что мы филантропы, альтруисты или, того хуже, спонсоры.

И вовсе не потому, что мы озабочены судьбой отечественной литературы.

И не ради того, чтобы поддержать начинающих и голодных авторов.

Мы делаем это потому, что хотим иметь такую литературу, которая нам нравится. Ведь если чего-то не хватает, значит, это «чего-то» нужно произвести».

А чтобы простодушные читатели «Нового мира», которых (пользуясь терминологией Гумилева) новые варвары из Третьей столицы уже зачислили в разряд интеллигентов второй, то есть средней, руки, сообразили, насколько все это серьезно, позволю себе еще одну выдержку. На этот раз из манифеста, опубликованного в том же выпуске, но не на первой, а на последней странице. Манифеста тех, кто заказ-приказ хозяев далеко глядящей БЕЛОЙ БАШНИ уже исполнил:

«Очередной сборник серии «Третья столица» отражает понимание составителем концепции третьего Рима как диспергацию литературной составляющей функции Столицы в русскую провинцию».

Ежели перевести сию смесь химического с екатеринбургским на общероссийский, выйдет примерно следующее: и Москва, как ранее Ленинград-Санкт-Петербург, превратилась в столицу бышвую, а если еще точнее: диспергироваеь (диспергирование — распыление какого-нибудь тела в окружающей среде).

А раз так, раз бывшие столицы Великой Империи опровинциализались, пошли в распыл — диспергацию, то роль Третьей столицы, третьего Рима, и функцию собирания новых русских литературных сил в боевой и могучий кулак берет на себя Центральное Место Урала — Екатеринбург, благо расположено сие новое Центральное Место на земле ныне священной — там, где «император зарыт» — без почестей бранных, врагами — в зыбучий, сыпучий песок...

В отличие от ненастоящей провинции, какую преподнесла нам «Монограмма» А. Иванченко, то есть провинции, чувствующей себя постолничнее всех столиц, роман Марка Харитоновна «Линия судьбы, или Сундучок Милашевича» — провинциальный роман в самом серьезном, глубинно-русском значении этого понятия. Провинция, затаившаяся в сундучке Милашевича и извлеченная оттуда настырным Лизавиным, его же стараниями и реконструированная, — это и натуральная, физическая, географическая глухомань, этакий глубынь-городок, одновременно и конкретный и обобщенный; это и способ существования, который либо дается, либо не дается «линией судьбы», ибо не зависит от места рождения и проживания, а лишь от особого устройства души и ума.

Вот это-то особое — не столичное — устройство ума и души, присущее убежденному и урожденному провинциалу, и исследует автор «Сундучка». Тщательность, с

² В серии «Третья столица» вышли: «Срамная проза. Уральская литература новой волны», 1991. Составитель В. Курицын; «Нехорошая квартира. Опыт литературного сожительства», 1992. Составитель В. Курицын.

какой он это делает (так и просится, так и рвется в цитату юный Кушнер: «Поэт, усилий не жалеет и будь подробен, как Линней»), вначале чуть раздражает. Да, да, конечно, «вещество жизни», состав и секрет которого так занимают героев Харитонов, да и самого автора ничуть не меньше, — объект, достойный самого пристального и вглядывания, и называния, и внедрения в суть, но ведь надо вроде и меру знать?

Однако, перетерпев медленность и перестав спешить, а главное, привыкнув к обращению с единственным инструментом, каким пользуется М. Харитонов, а именно к лупе времени (словно бы в укор нашему быстро- и верхо-глядству), вдруг ловишь себя на том, что и нарочито замедленный текст, и его демонстративно ручная выделка начинает нравиться: дискомфорт первых страниц уступает чувству уюта, уклада, ритуала, может, и чужого и даже чуждого, но в чем-то и приятного. Словноходишь в старый, полужилой дом, заставленный множеством отживших вещей и вещей, с тем особым запахом, какой никогда не проходит в бывших домах с неисправным печным отоплением, — расстроено оглядываешься, ища подходящее, свободное от рухляди кресло... Устраиваешься в нем поудобней и припоминаешь, что нечто подобное уже было, происходило с тобой и при чтении «Мореплавателя» Олега Базунова, и при встрече со странной повестью Ан. Королева «Гений местности» (в одном из летних номеров «Невы», кажется, за 1989 год)...

Там тоже словно бы не по авторскому велению, а по хотению гения местности Большой мир уменьшался до размеров школьного глобуса (чтобы сподручнее убрать его с глаз, задвинуть, поставить на шкаф или за шкаф). А мир малый — одной комнаты, одного парка, одного крохотного глубынь-городка — увеличивался, заполняя собой все видимое пространство и засвечивая невидимые прежде подробности обихода. И гений малой местности все колдовал да колдовал посредством странной лупы, и время замедляло бег, и час стал как год, а год как вечность...

Впрочем, о М. Харитонове, *после* того как он вышел в призеры, написано предостаточно и умного и заумного, так что куда поучительнее вспомнить, что говорилось о «Сундучке» и его авторе до неожиданной победы.

Наталья Иванова, к примеру, шумно порадовавшись тому, что все трое из названных ею писателей (Горенштейн, Маканин, Харитонов) вышли в полуфинал, от оценки шансов автора «Сундучка», со свойственной ей артистической гибкостью, уклонилась.

Андрей Немзер в тогда еще своей «Независимой газете», воспользовавшись разрешающими возможностями изобретенного им жанра «праздничного (то есть цыганского. — А.М.) гадания», нагадал каждому из шести Букер-удачу, так щедро и так смутно (жанр есть жанр!) нагадал, что все шестеро почувствовали себя обнадеженными. А вот Вл.Новиков, наоборот, забаллотировал всех шестерых! Правда, не зло, скорее весело и почти остроумно. Полудружеский шарж на роман М.Харитонova в этой бурлесковой «Букериаде» выглядел так (цитирую с небольшими купюрами, не обозначая их графически):

«Повествование строится по престижной беспроектной схеме «текст в тексте», когда литературовед Лизавин якобы пишет диссертацию про якобы проживавшего некогда в провинции писателя Милашевича, что дает возможность подменить организическое развитие сюжета декларативным пересказом, щедро одобренным множеством решительно не идущих к делу подробностей, как-то: малиновое варенье, травяные экстракты, запах лампового керосина etc. etc., причем этот бесконечный ряд позволительно пополнить неограниченным количеством придаточных присоединительных, в путанице которых автор может не обинуясь сам сказать о своей несомненной талантливости, а критикам останется только присоединиться к сему суждению, и тут уже Нельзер носом не подточит и вынужден будет признать длину фразы гоголевской, а курсивные фантики Милашевича равноценными розановским фрагментам, поскольку место для интерпретатора заранее определено, а для читателя не предусмотрено вовсе».

Короче, как ни пританцовывали номинаторы, стеля заране соломку под свое профреноме, но и сквозь политесы заметно: победителя в Харитонове не предвидел никто. Больше того, все были втайне убеждены: Букера получит либо Владимир Маканин (по совокупности заслуг; условия конкурса этого не предполагали, но мыто выросли в убеждении: закон что дышло, куда повернул, туда и вышло), либо Людмила Петрушевская — за «Время ночь». Правда, ни по объему, ни по построению представленная вещь на роман не тянула, и чтобы доказать, что это все-таки роман, Михаил Золотонос (кстати, единственный, кто осмелился не предположить, а сказать, что премия должна быть у Петрушевской) пустил в ход главные свои козыри: и литературоведческую эрудицию, и властную суггестивность критического авторитета.

Вот что писал Золотоносов в «МН» недели за две до шоу-финала: «Полагаю, что «Букера» получит именно Петрушевская за «Время ночь» — шаламовскую по духу и стилю вещь, *сильно стрессованный роман* (с точной выдержанностью признаков жанра), рисующий наш «бытовой ГУЛАГ», демонстрирующий зло, достигшее такого размаха в отдельных личностях, что оно воспринимается уже как неизбежное творение космоса».

Кстати, и я полагала, что «Букера» дадут Петрушевской, хотя и совсем за другие качества-свойства.

Во-первых, за резкую особость ее стиля и духа.

Во-вторых, потому, что «Время ночь» и в самом деле — лучшая вещь 1992 года, действительно имевшая шумный успех и у критиков и у читателей, причем успех, примиривший самые разные вкусы — от элитарных до «просто читательских».

А кроме всего прочего, Букер-жюри, учитывая мировой размах феминистского движения, не могло вернуться в Англию из путешествия по литературной России, не обнаружив там достойного женского имени, хотя, по сути, к феминизму, как в западном — бодром, так и в российском — унылом варианте, женская проза Петрушевской никакого отношения не имеет. Она пишет о совсем другой э м а н с и п а ц и и — вынужденной, насильственной, сначала поубивавшей, посекшей, а потом попортившей наших мужчин.

И пока новая женская проза и новые амазонки и новые лесбиянки и прочая и прочая топчутся, толкаясь и яро завидуя *около эколо*, глухие ко всему, кроме того, что происходит между мужчиной и женщиной, Петрушевская пишет, как пашет, как лепит из грязи — из-за отсутствия нужного качества фарфоровой глины, — чудовищные фигуры и дикие лица страшных русских Венер...

И это они, Венеры — Мадонны — Мариин, надрываясь, срываясь в истерику, а порой и в безумие, волокут брошенную мужчинами жизнь, с тем упрямством и с той яростной силой из бездны зла ее, жизнь, выволакивая, с какой впрягались в борону-плуг деревенские дюжие бабы, когда очередное русское лихолетье забирало себе и х мужиков, и х лошадей и прочую тягловую не-женскую силу...

Вспомните ее маленький, на полторы странички, рассказ «Дитя» из цикла «В садах других возможностей» («НМ», 1993, № 2).

Если взглянуть на этот текст глазами, допустим, того же Золотоносова, можно без особой натяжки увидеть в героине чудовище, одну из тех личностей, в которых вселилось непостижное земному разуму зло как творение космоса.

Женщина средних лет, уборщица в какой-то столовой, исправно содержащая слепого отца и двоих детей, и тот и другой от неизвестных отцов, забеременев в третий раз, никому об этом не сказала, при раздобревшей на столовских отходах фигуре это ей было не слишком сложно. Когда же пришло время рожать, спустилась к реке, прихватив с собой чемоданчик с тряпьем и ватой, а также шилом, чтобы было чем пуповину разрезать. Там, у реки, и родила, а младенца донесла до бензоколонки, до места, где и по ночам людно, и, чуть отступив от проезжей части, заложила ребенка камнями, словно терем князю построила, — да так хорошо, так ловко — ни ссадинки, ни царапинки не обнаружили осмотревшие дитятю врачи. Но это потом, а сначала младенца, как и можно было предположить, обнаружили шоферы, ну кто, кроме шоферов, окажется ночью у глухой бензоколонки и кто, кроме шоферов, быстренько доставит найденшаша туда, куда следует, то есть в ближайший роддом?

В тот же роддом привели, отыскав по кровавым следам, и преступную роженицу, дабы избавила медперсонал от лишних хлопот, чтобы хоть грудью кормила недогубленного сыночка...

Не дала сыну грудь мать-преступница. И на мальчика своего не взглянула.

Адвокат, приглашенный родными «отказницы», в растерянности. Вся эта история представляется его мужскому уму и мужскому опыту лишенной всякого смысла. Не нужен третий ребенок? Делай аборт. Не сделала — родила? Так веди себя по-человечески. Корми, пеленай, в глаза посмотри. А эта дурица не глядит — свое лицо — от него — руками закрывает.

Верно, разумом тронулась, такое, мол, с роженицами часто случается.

Но так ли безумна и бессердечна героиня Петрушевской? Ведь все ее действия не просто разумны, но и предельно практичны. Если бы сделала аборт — уж точно б убила, а теперь вот он — неубитый, в чистые полотно облаченный, кричит, есть просит. Да ежели она, мать, на него хоть разочек взглянет да грудь даст, то... Придется и этому, как и старшим двоим, вместе с нею и с дедом-слепцом бедовать... А вот коли не взглянет, не прилепится сердцем, то, может, откажется. А если откажется, то на такого здорoviaка — вон как кричит! — наверняка позарятся и богатые, да бездетные люди.

Вон ведь американцы-то что делают? За 10 тысяч зеленых убогих усыновляют. Еще и не видели, а пишут: «Наш милый сынок, пишут тебе твои мама и папа. Посмотри на фотографии — это твой дом, твоя собака, твои игрушки, а это твои бабушка и дедушка. Мы очень ждем тебя, мы очень любим тебя...»

Так, может, и ее третьенькому такое же письмецо из-за моря-океана прилетит?

Итак, 8 декабря 1992-го я, как и большинство собравшихся в Доме архитектора для пассивного участия в заключительном шоу, «болела» за Петрушевскую. И в то же время мне очень хотелось, чтобы хоть кто-нибудь из членов жюри сообразил, догадался, что самый крупный художник из шести претендентов, уже как бы выведенный из игры, выведен — даже с формальной юридической стороны — неправильно, поскольку «Лаз» В. Маканина — не отдельная вещица, то ли большой рассказ, то ли маленькая повестушка, а заключающая глава огромного пунктирного эпического романа-хроники, объявшего необъятное быстрое течение русского полувека — от дней войны до дней свободы.

«Лазу» вообще не повезло. Он появился после «Невозвращенца» (А. Кабаков) и «Новых робинзонов» (Л. Петрушевская); в блистательной тени этих апокалиптически страшных пророчеств прогноз Маканина, куда более оптимистичный, показался недостаточно выразительным. И убедительным. Однако, как показывают события последнего года в срединной России, именно России, а не бывшего СССР, Россия выживает, пробует выжить — по методу Ключарева. Недаром Маканин так внимательно его засвечивал на протяжении всей хроники.

Я не про события, майские, на Гагаринской площади в Москве, я имею в виду пустынные улицы Саратова в той же ТВ-хронике. Пустынные оттого, что населенцы брошенного верхами города удалились за город — рыть носом землю на своих огородно-садовых.

Впрочем, и на Гагаринской были прототипы маканинских героев.

Злобствовали люди свиты и все сидевшие за столом с графином посередине.

Суетился гражданин убегающий, выталкивая вперед вооруженного древко-пикой антилидера.

Но Ключаревых с ними не было.

Ни Людмила Петрушевская, ни Владимир Маканин Booker Prize не получили.

Обладателем первого Букера оказался далеко не столь известный Марк Харитонов.

8 декабря я была твердо убеждена, что странный исход букеровских гонок решила тайная недоброжелательность кого-то из влиятельных членов жюри: Петрушевской, как вы помните, для победы не хватило всего одного голоса!

Полгода спустя я думаю иначе: оправдав наши ожидания, учредители русского Букера лишили бы затеянную ими (совместно с нами) красивую, чистую и большую игру удовольствия от участия в игре, ибо скрытый движитель настоящей Игры — непредсказуемость конечного результата.

К тому же Дело уже было сделано: гексагональная решетка для мистера Букера вычерчена идеально правильно; на контурной карте литературной России найдены и отмечены кружочком все шесть центральных мест, а какое из этих мест украсится (дополнительно) призовым символическим знаком-флажком — особого значения не имеет: острый сюжет для рекламного, с сюрпризом, шоу — не более того. (Делу — время, а потехе — час.)

Словом, если бы Марка Харитонova не оказалось среди предфинальной шестерки, его надо было бы выдумать, иначе... Иначе мы бы так и не поняли, что смысл и цель Игры — сама Игра, а не фунтик с фунтами.

Тогда, в декабре 1992-го, я, честно признаюсь, очень-очень сердилась, а сегодня, кончая вот эти необязательные заметки, улыбаюсь, поглядывая то на список произведений, выдвинутых на премию Букера 1993 года, то на газету «Сегодня» от 30 апреля, где быстрый и разумом и пером Андрей Немзер все уже вычислил-рассчитал, уже предложил свой вариант и предфинального «шортлиста» и даже имя призера.

Все-все учел дорогой мой коллега, кроме одного — на балу удачи распоряжается не закон и не правило, а Случай.



ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ БУКЕРА — 1993

27 апреля 1993 года в Москве на пресс-конференции в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино был оглашен список произведений, выдвинутых на премию Букера 1993 года. Мы с удовлетворением отмечаем, что семь из них были впервые опубликованы в нашем журнале:

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты. № 10—12, 1992.

ДМИТРИЙ ГАЛКОВСКИЙ. Бесконечный тупик. № 9, 11, 1992.

АНАТОЛИЙ КИМ. Поселок кентавров. № 7, 1992.

МИХАИЛ КУРАЕВ. Дружбы нежное волнение. № 8, 1992.

СЕМЕН ЛИПКИН. Записки жильца. № 9—10, 1992.

ИВАН ОГАНОВ. Опустел наш сад. № 5, 1992.

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сонечка. № 7, 1992.

Мы поздравляем *всех* претендентов на премию Букера и надеемся на плодотворное с ними сотрудничество.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР».

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

«С УГРЮМЫМ ОБОЖАНЬЕМ...»

Ю р и й К а р а б ч и е в с к и й. Прощание с друзьями. Стихи и поэмы. М. Б-ка альманаха «Весь». Литературно-художественное агентство «ГОЗА». 1992. 96 стр.

На обложке этой, первой и пока единственной, книги стихов Юрия Карабчиевского ее название: «ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ». А на обороте — черная траурная рамка вокруг портрета. Составлял книгу и подбирал для нее имя сама автор. Как будто знал. Или все-таки знал? После трагической смерти Карабчиевского этот вопрос задавали себе многие. С недоумением задавали, цитируя как образец жизнелюбия, как несомненное свидетельство гармонического единения с жизнью такие строки Карабчиевского:

Нет, грех роптать. Пока здоровы дети;
пока меня уральская тайга
не приласкала писком комариным,
пока не окунула мордой в снег,
сухой и жесткий, как наждачный камень;
пока я о сосну не бьюсь затылком;
пока я жив — и радуюсь погоде,
пока здоров — и от кошмарных снов
еще меня спасает пробуждение;
пока я заморожен и обижен,
пока я раздражителен и сух —
все хорошо, чего и вам желаю.

Но почему же тогда он так страшно распорядился своей жизнью? Понятно же: если человек вынужден так много и так упорно уговаривать себя, что ему хорошо, значит, ему не хорошо... И потому не будем лукавить, делая вид, будто здесь можно говорить только о стихах, минуя тему трагического конца их автора. Так сошлось, что книга «Прощание с друзьями» стала фактом не только творчества, но и судьбы Карабчиевского.

Разумеется, я не собираюсь сейчас искать ответов на вопрос «почему?». Я просто предлагаю перечитать некоторые его стихи и поэмы, не упуская из памяти еще и этот вопрос.

Книга открывается стихотворением о летней июльской Москве, где она сравнивается с усталой красивой женщиной, и о

поэте, обреченном «с угрюмым обожањем смотреть в ее спокойные глаза»:

И что бы ни случилось —
рев команды,
рыбок вначале и удар в конце —
полоска
полустершейся помады
не шевельнется
на ее лице.

Метафора эта не внешняя, не из набора приемов «поэтов Политехнического», но — стержневая для всей книги. А стихотворение можно сравнить со сценической ремаркой перед началом пьесы (драмы? трагедии?).

Москва — один из опорных образов книги. Москва — как город, Москва — как мир, как судьба. «Я проеду-пройду по Сушевскому валу...», «Пока на Трубной не растаял снег...», «Трамвайная Москва тебя скрывает...» — характерные для книги зачины стихотворений. Образ города возникает в самых разных тональностях, и соответственно — разным смысловом наполнении: от вариаций жестокого романа, бардовского гитарного перебора:

Москва, из тумана возникшая,
как женщина, мне изменившая,
устало отводит глаза, —

до жестко отчеканенного:

А лучше бы взглядами нам не встречаться,
мы дышим — мой город и я — вразнобой.

Основной корпус вошедших в книгу стихов написан в 60-е годы. Ритмы, лексика, интонационный строй во многом мечены московской поэтической волной тех лет. Но чего в них нет совершенно, так это ликующего, почти эйфорического упоения своим временем и собой в потоке времени; нет почти обязательного для Рождественского или Вознесенского пафосного мы: мы — народ, мы — поколение — или хотя бы: мы — свой круг

(«Нас много. Нас может быть четверо. Несемся в машине как черти» — Вознесенский). Вместо «мы» у Карабчиевского сосредоточенное «я». Он как бы отошел в сторону, оставшись один на один с чем-то, названным им «городом». Здесь не легкая лирическая грусть безответной любви, которая только подчеркивала бы полноту, щедрость жизни вокруг и в самом поэте. Противостояние автора и его «города» более серьезное. Более сущностное. Это любовь к «городу» и невозможность соединиться с ним, любовь к жизни и ощущение вечного в ней изгойства. Такое противостояние неизменно и вечно — если бы лирическому герою Карабчиевского было предложено полное слияние с его «городом», он скорее всего отшатнулся бы в страхе от такой перспективы, означающей для него растворение во многих, потерю себя. Сработал бы инстинкт самосохранения личности, более сильный, чем боль изгойства. Здесь конфликт, неразрешимый в принципе. Но осознание его неразрешимости, осознание его — в конечном счете — закономерности не утишает боль. Да наверно, такого утишения и не требуется. Хватило бы только сил нести эту боль. Ибо она как раз и есть то, чем испытывает он мир вокруг, что оберегает его от разрушительных иллюзий.

Растворение в «городе» невозможно для лирического героя Карабчиевского даже в минуты ритуального соединения — в праздники. Праздник в стихах Карабчиевского всегда «непраздник»:

В рабочей столовой — еврейская буйная
свадьба.

Две сотни гостей, полтора ста бутылок
«Столичной»...

И вот я сижу над кусками холодного мяса,
над синей тарелкой с убогим пятном
общепита,
тяжелую рюмку вращаю и думаю, кто я:
участник событий, как все, или просто
свидетель?

Ощущение изгойства обостряется именно в такие вот минуты: «По праздникам, на редких вечеринках... /все веселы, как надо, и одеты /в парадно-неуклюжие костюмы, /и несъедобный запах винегрета /холодным ветром ходит вдоль стола, —/по праздникам мне кажется, я ближе /едва ли к посвященью — но к разгадке». К разгадке все того же вечного вопроса: участник или свидетель? Скорее свидетель. Быть участником протекающего вокруг действия герою Карабчиевского не дано: «...я думаю: «Ау, чем черт не шутит?» — /хоть точно знаю: э т и м он не шутит. /С другими — да, но только не со мной...»

Его герой, увы (а может, к счастью), точно знает, где и когда он свидетель, даже если он играет при этом в участника:

Я ловелас. Я ловкий малый.
Веселый, стреляный, бывалый.
Я молодой не по годам.
Я предпочтение отдам
вот той, которая одета
в пальто безоблачного цвета,
незамутненное пальто —
не обернется ни за что...

В последней строчке уже почти и нет огорчения неудачей, потому что все предыдущее — ироническая самонакачка. И значит, лучше, достойнее вернуться к себе, в с в о е: «А я сверну, пройду по скверу, /сглотну тягучую слюну, /как недостойную химеру, /с ресниц видение смахну, /швырну газетку на скамейку, /поставлю вымокший портфель, /прочту стишок, прочту статейку, /в Перми ли розыгрыш, в Уфе ль...» И кончается это стихотворение вздохом чуть ли не счастливого изнеможения: «...я так скажу: /Сегодня — пожил. /Когда еще Господь пошлет?»

Нужно жить ту жизнь, которая тебе дана. Какой бы она ни была. Мужество и достоинство — в умении принять реальность и сделать ее своей. С некоторой как бы даже подчеркнутой торопливостью Карабчиевский стремится избавиться от «поэтического» в изображении мира вокруг себя. Ему жизненно важно увидеть его — а значит, и себя — таким, какой он есть.

Бездомная, простуженная площадь.
Поникший мост. Холодная река,

— вот пейзаж его «города», аскетичный, жесткий, но при этом в стихах не чувствуется отталкивания, нельзя сказать, чтобы этот городской пейзаж был неприветлив. Именно такой город привечает героя стихов.

Карабчиевский активно вводит в стихи мотивы сугубо прозаические, например, свою профессию наладчика, ремонтника приборов:

В огромной, омерзительной больнице,
питающейся стонами и вонью,
ощупываю теплые приборы
и в синьке затаившиеся схемы
беспомощно пытаюсь разгадать.

беру за хвост дымящийся паяльник.

Профессия лирического героя отнюдь не досадная трата сил, а его дело, его место в мире, одна из опор¹.

¹ О значительности той роли, которую играет в становлении писателя опыт работы в далеких от искусства профессиях, Карабчиевский писал в эссе «Точка боли». Эту и некоторые другие работы из архива писателя журнал предполагает опубликовать в одном из ближайших номеров.

И пусть возникающий в стихах мир героя не кажется прочным, надежным, уютным («И шаткий дом — пожизненный троллейбус /везет меня, хотя и не уверен, / хотя и стар, хотя и трусоват»); пусть герой в этом мире устроился тоже как бы не слишком твердо и уверенно («... б е с п о м о щ н о пытаюсь...»), но именно здесь, в этом кружении повседневности, а не в костюмированных сборищах вокруг праздничной закуски, и происходит п р а з д н и к :

Куплю котлет машинной дозировки,
и колбасы, и пачку маргарина,
вобью в портфель, где дремлют инструменты,
а там метро — нырнул и будь здоров!..

Именно здесь быт начинает просвечивать бытием автора. И потому:

Я на Москву нисколько не в обиде:
я ей чужой, хоть мне она своя.
Что б ни было, я верен ей до гроба...

Несмотря на прорвавшееся слово «нисколько», говорящее, что все-таки — в обиде (конечно же, а как еще?!), это не очередное заклинание и самоутвор, а констатация, да. Не в обиде.

А то, что и обидно и больно, это, повторяю, нормально. Иначе неправдой было бы само утверждение любви, иначе процитированные строки были бы лишены их пронзительной силы. Сила их как раз в преодолении боли, в перемальвании ее в знание. Преодоление это — трудное, долгое, может быть, так до конца и не завершившееся — и есть обретение реальности, обретение зрелости.

Было бы слишком просто свести изгойство лирического героя только к теме еврейской как одной из самых постоянных и больных в творчестве Карабчиевского («Я выхожу во двор. Играют дети. / И робкий взгляд жидовского отродья, / ежеминутно ждущего подвоха, /я направляю мимо их голов»). Мы вряд ли ошибемся, предположив, что первым толчком к рефлексии поэта стала когда-то его национальность. Но в целом такое объяснение было бы плоским. Изгойство героя Карабчиевского — не столько национальное, сколько (прошу прощения за некоторую претенциозность оборота) экзистенциальное, питающее рефлексию каждого размышляющего художника.

И еще (не считите дальнейшее за кощунство) — боль и тяжесть еврейской темы обогащала Карабчиевского как художника. («И так поют — до смерти не забудешь: /еврейский воцел и русская безмерность, /и вяжущая нежность — полукровка, /на голоса разложенная боль».)

Таким полукровкой Карабчиевский чувствовал и себя: еврей — по крови, русский еврей — по судьбе, русский — по языку, по культуре, по литературе, в которой работал и которую сам создавал.

Итогом этой трудной и значительной душевной работы, отпечатавшейся в стихах книги, стало обретение внутреннего права говорить с «городом» на равных. В поэме «Осенняя хроника» он оспаривает формулу Платона: «Город.. рождается тогда, когда каждый из нас сам для себя бывает недостаточен и имеет нужду во многих». Цитата из Платона взята эпиграфом к поэме, и перед первой ее главкой автор помещает строфу, помеченную цифрой 0:

Не я к нему, а он ко мне привязан.
Я волен жить, я двигаюсь, как знаю.
Но что бы я ни выдумал, а все же
я чувствую, как медленная тяжесть
за мной перемещается по следу.

Содержание поэмы представляет как бы развитие этой антитезы. Мы слышим голос человека, сумевшего обрести внутреннюю независимость от своего «города», ни в чем не предав своей любви к нему, человека, сумевшего в отведенном ему судьбой пространстве стать самим собой, стать личностью, в которой (а не наоборот) нуждается «город». Замысел поэмы можно было бы определить как попытку написать автопортрет на фоне города. Вот — «город», а вот — «я»:

Я тут же рядом, тут же по соседству,
придавлен креслом, выломан зигзагом,
разноголосым охмурен дурманом,
болван — болваном, лысый и больной.

..... И все же,
мне кажется, я ловко притворяюсь
таким же добряком, как эти люди,
ловцом удачи, служащим искусства,
приятелем кутил и пустомель.

В поэме появляется некая точка обзора, откуда хорошо виден и «город» и автор. Наличие этой дистанции, этой точки означает обретение автором внутренних опор, обретение некоего равновесия с жизнью.

В этой поэме все подчеркнуто свое, даже стих. Его затрудненность, непозитичность, нарочитая прозаичность — от базни отдать продуманное, выстраданное в стихию литературной игры, поэтического потока. Слишком дорого заплачено за свое:

Оставь мне, Господи, мою немую душу.
Когда не вымокну, не выгорю, не струшу —
авось хоть что-нибудь смогу произнести.
А не получится — Господь меня прости...

...И все-таки... Как ни мужественны эти строки, как ни крепки зрелостью, силой, достоинством, а горчат. Почти детским беспомощным недоумением горчат: почему так? Почему так больно жить и так трудно эту боль нести? И сегодня мы, задним числом уже зная то, что не вошло в книгу, могли бы, наверно, сказать: не вынес. Надорвался. И в подтверждение продолжить ту цитату, которая дана в начале рецензии: «...все хорошо, чего и вам желаю»:

Я прожил жизнь не хуже, чем пытался, все выжал из нее и все в ней выжил, и кончился. И просьба не винить.

Но не будем торопиться вот с таким буквальным, «формулирующим» прочтением. Хотя бы потому, что дата написания этих стихов — 1972 год. Впереди еще два десятилетия плодотворной жизни и работы. Но главное потому, что поэзия обладает собственной логикой. Здесь все может быть наоборот: написал — и освободился, стал крепче...

Карабчиевский не боялся незакругленности, незавершенности; он всегда знал, что сильно только то, что живо, а живое всегда выглядит мимолетным, случайным, непрочным на вид. И напротив: завершенное, законченное, отлившееся уже тем самым оторвано от капилляров, питающих его свежей кровью («...смертельная печать — печать осуществленья»). Вещество жизни и поэзии имеет там, в нелепом, может быть, случайном сплетении событий, в обыкновенной необязательной повседневной суете, где «все ползет само собой, пока не лопнут нити /и не окажется судьбой — /стечение событий».

Теперь нам видно ясно, судьба была. Прямая, честная, мужественная. И при этом еще ничего не закончилось. Написанному Карабчиевским еще предстоит прорасти в нас, его читателях, прорасти в литературе, впереди у него еще целая жизнь.

Сергей КОСТЫРКО

*

ИСКАТЕЛЬ ДУХОВНОЙ СВОБОДЫ

Б о р и с П о п л а в с к и й. Домой с небес. Романы. Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания Л. Аллена. Санкт-Петербург. «Logos»; Дюссельдорф. «Голубой всадник». 1993. 351 стр.

В этом году исполняется девяносто лет со дня рождения Бориса Юлиановича Поплавского (1903—1935), может быть, наиболее одаренного поэта, выдвинувшегося в эмиграции, в Париже, в конце 20-х годов.

Уже первые стихотворения Бориса Поплавского, напечатанные в пражском журнале «Воля России» (1928, № 2), вызвали заинтересованные отклики: Георгий Адамович, Вл. Вейдле, Марк Слоним указывали на глубокое родство поэзии Поплавского с Блоком и на несомненную связь с «проклятыми поэтами» — Бодлером, Рембо, Верленом, Аполлинером.

Единственный вышедший при жизни Поплавского сборник «Флаги» (Париж, 1931) удостоился восторженного отзыва Георгия Иванова, говорившего о почти ежеминутном чуде поэтической вспышки при чтении стихотворений молодого поэта, о силе «нездепней радости», которую можно сравнить с впечатлениями от «Симфоний» Андрея Белого и «Стихов о Прекрасной Даме».

Но и Георгий Адамович, и М. Цетлин, и Вл. Вейдле наряду с признанием большого таланта Поплавского в разное время высказывали опасения насчет того,

что поэтическое будущее молодого автора темно и неопределенно. Временами, замечает Вл. Вейдле, поэт оказывается «так увлечен, так убаюкан немного расплывчатой музыкой своего стиха, что сплошь и рядом для него становится безразличным, каким словесным материалом заполнить эти ритмические периоды»¹.

Позднее, после смерти Б. Поплавского, Адамович приходит к выводу, что «в стихах стеснял его самый механизм рифмованной и размеренной поэзии, как стесняет он сейчас без исключения всех поэтов», и что «по-настоящему должен был он найти себя не в стихах, а в прозе»².

О том, что в прозаических опытах личность Поплавского отражается «полнее и резче», Адамович говорил и раньше, в 1931 году, когда в журнале «Числа» (Париж, 1930, № 2—3) появились первые главы романа Б. Поплавского «Аполлон Безобразов». Замысел романа, по-видимому, возникает у Поплавского в середине 20-х годов, и первые наброски возник-

¹ В. Вейдле, «Три сборника стихов» («Возрождение», 12.3.31).

² Георгий Адамович, «Памяти Поплавского» («Последние новости», 17.10.35).

ли уже в 1926 году. Из одной записи в неизданной части дневника Поплавского³ узнаем, что во вторник 21 ноября 1927 года поэт читал в Париже отрывки из романа Татьяне Шапиро (своей знакомой, в 1929 году уехавшей из Парижа в СССР; ей посвящен ряд стихотворений Поплавского): «В этот вечер я, дрожа от страха, пришел к Тебе и зловеще заскрежетал из глубокого кресла о жестокости, но ты успокоила меня, сказав, что ты не воспитана на эгоистическом эстетизме. Потом я читал А. Б.<...> Потом она скажет: “Я не спала эту ночь от А. Б.”»

Постоянно возвращаясь к теме романа, Поплавский заносит в дневник следующую запись: «3.IX.28. Первая глава А. Б. трогательная, и я опять, как всегда, когда что-нибудь из моего мне кажется прекрасным, стал бояться, что не доживу до конца этого романа».

В определенном смысле предчувствие не обманывало Поплавского, и хотя ему удалось в 1932 году завершить работу над романом и напечатать еще несколько глав в «Числах» (1931, № 5; 1934, № 10) и в другом парижском журнале, «Встречи» (1934, № 6), издательства отказывались публиковать «Аполлона Безобразова». Усилия друзей Поплавского как-то пристроить книгу также оказались тщетными. Об одной из попыток, окончившейся неудачей, рассказал Илья Зданевич в воспоминаниях о Поплавском (см. «Синтаксис», 1986, № 16). И потому до последнего времени в силе оставался один из пунктов завещания Поплавского, составленного им в момент сильнейшего душевного кризиса в августе 1932 года, как бы посмертное обращение к друзьям — «попытаться что-нибудь сделать с Аполлоном Безобразовым».

Борис Поплавский скончался внезапно 9 октября 1935 года; некий молодой человек, Сергей Ярко, почему-то именовавший себя светлейшим князем Багратионом, но все время находившийся под угрозой высылки из Франции (он не имел вида на жительство), решил уйти из жизни, захватив с собой попутчика. Случайно им оказался Борис Поплавский, которого Ярко уговорил принять дозу героина, оказавшуюся смертельной.

После смерти Поплавского другу и душеприказчику поэта Н. Д. Татищеву удалось напечатать три отрывка из его второго романа, «Домой с небес», законченного незадолго до смерти (альманах

«Круг», I—III, Берлин — Париж, 1936—1938).

Новый интерес к творчеству Бориса Поплавского возникает после окончания второй мировой войны в США, где в нью-йоркском журнале «Опыты», выходящем под редакцией Ю. П. Иваска в 1953—1956 годах, Н. Д. Татищев поместил еще несколько глав из «Аполлона Безобразова» (№ 1, 5, 6). Но полное издание романа осуществить не удалось и тогда, в 50-е годы.

В 1991 году в журнале «Юность» (№ 1—2) американские слависты Вадим Крейд и Игорь Савельев напечатали все ранее изданные главы романа, за исключением лишь одной, на взгляд критики, наиболее удавшейся, — «Бал» («Числа», 1934, № 10). В том же году в № 10 «Юности» В. Крейд и И. Савельев с некоторыми сокращениями воспроизвели отрывки из романа «Домой с небес». В 1992 году в № 187 нью-йоркского «Нового журнала» была начата публикация полного текста романа, подготовленная к изданию автором этих строк по рукописи, принадлежавшей Н. И. Столяровой. И наконец в этом году в Санкт-Петербурге выходит тщательно подготовленная французским славистом Луи Алленом книга: полный текст двух романов впервые издан в России и из России приходит на Запад к русской диаспоре.

На обложке книги под портретом Поплавского в справке от издательства указано, что «предлагаемое издание — первое знакомство русских читателей с творчеством талантливого поэта и прозаика». Между тем, как мы упомянули выше, существовала достаточно репрезентативная публикация романов Поплавского в журнале «Юность», а его поэтическое творчество отчасти известно русским читателям по публикациям в журналах «Волга» (1989, № 7), «Октябрь» (1989, № 9), в сборнике «Ново-Басманная, 19» (М. 1990) и в журнале «Человек» (1992, № 5). Уточнение это нисколько не умаляет значения нового издания прозы Поплавского и лишь наводит на мысль, что сведения об изданиях русской эмигрантской литературы в России необходимо тщательно фиксировать и время от времени обнародовать в библиографических указателях⁴.

³ Неизданные дневники Поплавского находились в частном собрании Н. И. Столяровой (1912—1984), которая разрешила мне познакомиться с ними и сделать выписки. О судьбе дневников см. ниже.

⁴ Здесь хотелось бы отметить ценный опыт издания подобного справочника, осуществленный в Томском государственном университете в 1992 году, — «Репатриация культуры: словесность и философия русской эмиграции в отечественных изданиях 1986—1990». Составители Г. Ф. Половцева, Б. Н. Пойзнер, М. В. Князев.

Вступительная статья Луи Аллена знакомит с обстоятельствами жизни Бориса Поплавского и с историей создания двух романов. Поплавский покинул Россию в 1920 году вместе с отступавшими отрядами белой армии. В Стамбуле, Берлине, Париже он, остро ощущая свое призвание к литературе и религиозной философии, с трудом приспособившись к суровой реальности и временами влачил буквально нищенское существование. Слишком долго пребывая в атмосфере непечаления и неизвестности, он все же без посторонней помощи завоевал признание в литературных и философских кругах русского Парижа. Здесь он постоянно выступает с докладами и участвует в прениях на собраниях «Зеленой лампы», руководимой Дм. Мережковским и Зин. Гипшиус, на вечерах журнала «Числа», в литературном объединении «Кочевье».

Свободное время Поплавский проводил в библиотеках, поглощая неимоверное количество книг: он изучал творения отцов церкви и западных мистиков, штудировал Гегеля, из новейших философов — Гуссерля и Зигварта, составляя подробные конспекты, часть которых сохранилась.

Религиозные искания все более увлекали Поплавского, по существу, он был богоискателем, взыскующим смысла жизни, мятущейся душой, словно вынырнувшей из романов Достоевского.

Оба романа Поплавского связывает образ Аполлона Безобразова — стоика, мудреца, мистика, созерцателя жизни, нашедшего золотое равновесие «между действием и воздержанием от действия, аморальностью безучастия и моральностью участия» («Неизданный дневник», 1934). По предположению поэта Юрия Терапиано, в образе Аполлона Безобразова сохранены многие черты друга Поплавского, парижского поэта Александра Гингера, пламенно исповедовавшего буддизм, «хотя, конечно, — оговаривается Юрий Терапиано, — А. Б. *преображенный* Гингер, как всегда бывает в литературных произведениях» (из письма Ю. Терапиано Ю. П. Иваску 27.XII.1965 — коллекция Ю. П. Иваска в архиве Амхерст-колледжа, США).

Все же более вероятно, что в противостоянии героев романа — Аполлона Безобразова и персонажа, от чьего лица ведется повествование (в сущности, безобразовского двойника), — Поплавский попытался представить внутреннюю борьбу, которую ему приходилось переживать в поисках духовного освобождения. В этой борьбе изощренный софист и стоик

Аполлон Безобразов побеждает своего двойника, нетвердого и не уверенного в истине христианского откровения Васеньку.

Но в конце романа поражение терпит и сам победитель, нарушивший золотое равновесие и роковым образом столкнувшийся в смертельной схватке на горной тропе с обезумевшим католическим священником Робертом Лекорно. Смерть Роберта в горах предвещает близкий и печальный конец небольшой общины визионеров и богоискателей, стремившихся обрести спасение в глубине замкнутого круга молчания и молитвы.

Во втором романе, «Домой с небес», главный герой Олег (в котором легко угадывается сам Борис Поплавский) в значительной степени оттесняет Аполлона Безобразова, и участие последнего в судьбах действующих лиц становится все более и более призрачным.

Элементы фантастики, присущие первому роману и позволявшие говорить о заметном влиянии Эдгара По, во второй книге Поплавского исчезают, уступая место лихорадочно развивающейся жизненной драме героя, пытающегося из глубины одиночества и отшельничества найти дорогу спасения уже в любви к женщине — к Тане, которую исследовательница творчества Поплавского Элен Менегальдо называет современной амазонкой. Олег чувствует, что только с ней возможно для него абсолютное единство, но неожиданная встреча с другой молодой особой решает его судьбу. В конце романа Олег безвозвратно теряет обеих и с еще большей силой ощущает свое безысходное одиночество. «Одиночество между двух огней, взаимно уничтоживших друг друга» (неизданный дневник, 25.3.34).

Прототипом Тани в романе «Домой с небес» была Наталия Ивановна Столярова, умершая в Москве 31 августа 1984 года. Жизнь ее была полна драматических событий. Она родилась в Генуе, в семье профессиональных революционеров, активистов эсеровской партии; ее мать Наталия Климова в 1906 году участвовала в покушении на жизнь П. А. Столыпина. Вскоре она была арестована и приговорена к смертной казни. Приговор заменили каторгой, но из Новинской тюрьмы в Москве Климова бежала и через Монголию и Японию добралась в конце концов до Италии, где и вышла замуж. После рождения дочерей Наталии и Екатерины Климова вскоре умерла, отец уехал в Россию, а дочери воспитывались во Франции, в семье близких людей.

В 1931—1934 годах Наталия Ивановна

постоянно встречалась с Борисом Поплавским, и, по словам Лидии Червинской, близко знавшей Поплавского, именно «девушка, уехавшая в Россию», была «настоящей любовью» Бориса.

Н. И. Столярова уехала из Франции в декабре 1934 года и еще некоторое время получала в Москве письма из Парижа от Бориса Поплавского. В 1937 году, в разгар большого террора, ее арестовали и в 1938-м приговорили к восьми годам лагерей принудительного труда. Только после массовых реабилитаций в 1956 году Н. И. Столярова смогла вернуться в Москву и найти литературную работу. О судьбе ее пишет А. И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» и в дополнениях к книге «Бодался теленок с дубом», недавно напечатанных в «Новом мире». Наталия Ивановна сыграла решающую роль в передаче рукописи «Архипелага ГУЛАГ» на Запад.

В 60—70-е годы Н. И. Столярова получила из Франции от друзей Поплавского несколько тетрадей его неизданных дневников и собиралась подготовить их к печати. После смерти Наталии Ивановны ее библиотека, архив и собрание картин внезапно исчезли, и до сих пор следы пропажи не обнаружены.

Отрывки из дневников Поплавского, изданные в Париже в 1938 году, привлекли внимание Н. Бердяева, назвавшего их очень значительной и искренней книгой, «несмотря на отсутствие простоты и прямоты, несмотря на то, что многое он говорит «нарочно», чтобы поразить». Бердяев считал дневники современной книгой, выражающей раздвоение и раздробленность личности. «Эта искренность, часто свойственная современной душе, может производить впечатление лживости, но это искренняя, правдивая лживость» (Н. Бердяев, «По поводу «Дневников» Б. Поплавского». — «Современные записки», т. 68. Париж. 1939).

Мнение, высказанное Н. Бердяевым, наводит Элен Менегальдо, автора фундаментального исследования «Воображаемая вселенная Бориса Поплавского» (Париж. 1981), на мысль, что в дневниках Поплавский иногда стилизует, а иногда сознательно скрывает свои устремления, а его подлинной исповедью следует считать скорее роман «Домой с небес», где нашла наиболее адекватное выражение его бесконечно противоречивая личность. По мнению Элен Менегальдо, Поплавский в одно и то же время — интеллекту-

альный денди, декадент и спортсмен, философ и «потерянное дитя», христианин и поклонник Аполлона, мистик и поэт, аскет и поклонник женской красоты».

Поплавский умер в расцвете сил, охваченный новыми замыслами, противоречивыми, но высокими исканиями. Друзья и современники поэта пытались представить, как сложилась бы судьба Поплавского, если бы он не погиб в 1935 году.

Поплавский не мог жить без признания и без родины, даже второй; он сделался бы французским писателем, ибо в совершенстве знал язык, утверждает Лидия Червинская.

Вл. Ходасевич полагал, что религиозные устремления Поплавского вывели бы его за пределы литературы и из писателя он сделался бы в конце концов своего рода литературным персонажем. Догадку Ходасевича как будто подтверждает один отрывок из дневника Поплавского о соотношении поэтических и религиозных переживаний в творчестве. «Я несколько раз совершенно сознательно возвращался к интеллектуальной жизни от нескольких других, и каждый раз с новой надеждой. Ведь поэзия имеет свои раздражающие темные стороны. Как, например, та, что в ней все так неповторимо, что нельзя ничего развить, что ты всегда жертва. Но мое центральное ощущение все же не поэтическое, а религиозное, и им питалась поэзия. Хотя начальный его момент был гораздо сознательнее и уже обеднялся, превращаясь в стихи» (Неизданный дневник, 1929 год).

И все же Элен Менегальдо уверена: решающего выбора Борис Поплавскому сделать было не дано. «Поплавский не мог обрести «покоя весны» даже ценой ухода от литературы, так как он был человеком «двоящихся мыслей» <...> и двоящихся чувств <...>. Он был обречен на вечное колебание, на вечное отталкивание от одного полюса к другому: от притяжения мира к отказу от него, от поисков святости к поискам наслаждения, от экстаза к падению в грех. Попав на небо, он стремился «домой с небес», в земное царство друзей, и лишь смерть смогла разрешить эти противоречия...»⁵

⁵ Элен Менегальдо. «О Борисе Поплавском» («Человек», 1992, № 5, стр. 183).

Политика и наука

«ПРОРЫВ КУЛЬТУРЫ», ИЛИ НЕМНОГО О ЛЖИ

К. П. Победоносцев. Великая ложь нашего времени. («Мыслители России») М. «Русская книга». 1993. 638 стр.

Уже год или два как стало ясно: очередь Победоносцева подходит. Все предвещало появление такой книги — и републикации победоносцевских статей, причем не только в специальной, но и в популярной периодике, и постепенный расход неистощимого, казалась, запаса: ныне так много издано всего того, что еще недавно было малодоступным, таким мощным потоком, хотя и не вполне органичным, входят в нашу жизнь отчужденные прежде фигуры, что не сегодня-завтра в школах будут читать Леонтьева — Бердяева — Булгакова — Флоренского — может быть, именно в этом конгломерате имен, подобно тому как десятилетиями изучали Белинского — Чернышевского — Добролюбова. Похоже, уровень осмысления будет не глубже. Судя по пресным научным трудам свежей выпечки, трудно отойти от старого понятийного аппарата, от категорий позавчерашнего дня.

Не все, правда, позавчера было плохо. Надо отдать должное так называемой советской науке: ее фактическая оснащенность бывала и образцовой. Когда в 30—40-е годы специалисты основательной выучки занимались наследием канонизированных тогда русских классиков, прежде всего тех, кого принято называть революционерами-демократами, они заложили столь прочный фундамент, что по сей день даже самое легкое перо знает жесткие границы факта.

Такого регламентирующего начала мучительно недостает большинству последних изданий запретных прежде фигур, в особенности философов и публицистов. Это беда, конечно же, общая. Наука не держится отдельными усилиями, даже героическими, не создается враз. И надо бы поэтому радоваться, что кто-то пробил наконец брешь, впервые за последние почти сто лет издал статьи Победоносцева, осуществив, как выразился А. П. Ланциков, автор предисловия к рецензируемой книге, «прорыв культуры». Но «прорыв» в буквальном смысле оказывается прорывом: культура страдает от подобных изданий. И дело не в том, что в сборнике статьи и письма Победоносцева не откомментированы. Странно, конечно, что составитель С. А. Ростунова не сообщила даже самых элементарных сведений о работах крупного публициста

и гениального политика, знаменитого вдохновителя реакции, прочно — хотя и мифологизированным обликом — вошедшего в историю русского самосознания. В книге нет ни реального комментария, ни текстологического. Въедливому читателю, если таковой найдется, самому предстоит поработать — догадаться, например, что «знаменитый английский писатель, глубокий знаток истории» С. Ч. Мэн, обильно цитируемый Победоносцевым, — это Генри Самнер Мэн, автор книги «Popular Government», чье имя ошибочно записал Победоносцев. Таких случаев много, и здесь-то и нужен комментарий. Но стоит полистать примечания к появившимся в том же издательстве и в той же серии («Мыслители России») «Запискам отшельника» Константина Леонтьева, как к Победоносцеву возвращаешься с облегчением. Лучше вовсе отказаться от комментария, чем невнимательно списывать из справочников общие места не о тех событиях и не о тех людях (перл комментаторского искусства — утверждение, что Вебер, цитируемый Леонтьевым в начале 1870-х годов как знаток античности, — это Макс Вебер, родившийся, как указано самим автором примечаний, в 1864 году, т. е. снискавший, получается, всемирную известность, не достигнув и десяти лет).

В самом деле, лучше разумное самоограничение. Пусть тексты говорят сами за себя. И они говорят, но гораздо больше — о нашем времени, о нынешнем отношении к слову, чем о Победоносцеве и его эпохе. И это тем более странно, что противоречит как будто вступительной статье.

Пафос А. П. Ланцикова трудно не разделить. Развенчание советской исторической науки, точнее, ее официального извода — «агитпроповской жвачки», в терминологии автора; ненависть к рьяным защитникам марксистско-ленинской методологии; ирония над дутыми степенями и званиями, язвительные напоминания о незаслуженных привилегиях — все это, конечно, не ново, но по-прежнему мило нашим сердцам. Остается только изумляться, что апологии исторической точности открывается издание, образцовое по части пренебрежения к факту.

Начать с того, что нам не сообщается, по каким источникам готовились тексты. Тайна сия мотивирована: стоит все тому же вездливому читателю открыть «Московский сборник», главную книгу Победоносцева, как он немедленно убедится, что все статьи взяты именно оттуда, но печатаются не по последнему, наиболее полному прижизненному изданию, где почти каждая статья дополнена новыми, иногда многостраничными рассуждениями, но по одному из предыдущих изданий — видимо, тому, которое легче было достать составителю. А сверка текста показала, очевидно, излишней или слишком утомительной. Не сообщается нам, когда выходил «Московский сборник», когда были написаны включенные в него статьи, и мы вынуждены читать без элементарных хронологических ориентиров, пребывая вне времени, вне истории. Ведь совершенно непонятно, как воспринимать, например, размышления Победоносцева о «нынешней официальной Франции» — как о Франции 1890-х годов, когда появлялись первые издания «Московского сборника», или как о Франции 1873 года, только что пережившей падение Парижской коммуны и поражение в войне, когда в самом деле была написана статья «Церковь и государство», откуда извлечена приведенная цитата.

Не узнаем мы, кроме того, по каким причинам изменена авторская последовательность статей, расположенных в «Московском сборнике» в ином порядке. Поскольку хронологический принцип явно не выдержан, остается предположить, что статьи выстроены по значимости. И самой репрезентативной работой Победоносцева, самой выразительной и важной оказалась составителю «Великая ложь нашего времени», не только вынесенная в начало, но и давшая название всему сборнику. Здесь подстерегала составителя ловушка, в которую он не замедлил попасть.

Конечно, можно издавать книги без аппарата. Конечно, не обязательно всегда слепо следовать авторской воле. Но ничто не освобождает от ответственности перед чужим словом, от обязанности знать и понимать материал, с которым работаешь. Если бы составитель и его коллеги углубились в мир Победоносцева, полистали исследования о нем, они просто исключили бы эту статью из своей книги, как исключили другие входившие в «Московский сборник» неавторские работы Победоносцева — его переводы «Великая ложь нашего времени», как давно установлено, является в значительной своей части вольным переводом Макса

Нордау. Чтобы в этом убедиться, не обязательно даже читать Нордау в подлиннике. Можно взять русский перевод его книги, вышедшей в 1907 году под названием «Ложь предсоциалистической культуры», и буквально постранично сверить тексты. При этом выясняется, что и статья «Печать», включенная С. А. Ростуновой в сборник, тоже составлена Победоносцевым по книге Нордау.

Победоносцев не был самостоятельным мыслителем, но он и не выдавал себя за первопроходца. Человек кабинетного, книжного склада, он многое из вошедшего в «Московский сборник» в прямом смысле слова вычитал и никогда не делал из этого тайны. Вербовал Победоносцев союзников самых разных, иногда полярных убеждений, не принимая, однако, чужих воззрений в полном объеме, всегда находя изъяны в самой стройной аргументации. И конечно, он не был единомышленником Макса Нордау — потому и переводил его с купюрами. Но такова природа мысли Победоносцева: он испытывал неизбывный скепсис в отношении любой философской инициативы, умея, однако, и из чужой идеи извлечь нечто себе близкое. Может быть, поэтому он с особой охотой говорил не от собственного лица, включив в «Московский сборник», правда в препарированном виде, работы Т. Карлейля, Г. Спенсера, Р. Эмерсона, М. Нордау. Скромно прячась за маской издателя, он в итоге собственные убеждения подавал как анонимные, входящие в некий общий идеологический фонд, а заимствованные — как собственные, пережитые им самим. Известные слова А. В. Амфитеатрова о Победоносцеве — «экспроприатор записных библиотек» — при всей их резкости не лишены основания.

Симптоматично, однако, что ни имени Амфитеатрова, ни имени В. В. Розанова, автора ценнейших и по глубине мысли, и по фактическому материалу заметок о Победоносцеве, ни ссылок на работы П. А. Зайончковского и Ю. Б. Соловьева, хоть и принадлежащих советской исторической науке, ненавистной А. П. Ланшикову, но давших серьезный анализ личности Победоносцева, — всего этого мы не встретим в рецензируемой книге. Не только составитель, но и автор предисловия пребывает как будто вне истории. Будет несправедливостью, правда, утверждать, что во вступительную статью вовсе не включены отзывы современников о Победоносцеве. Этот традиционный обязательный компонент предисловия сохранен, но выдержан в столь же нетрадиционном стиле, как и все осталь-

ное в книге... Приведена «характеристика Победоносцева, данная ему современником, укравшимся в журнале „Московские ведомости“ под псевдонимом „Поселянин“». Мало того что «Московские ведомости» не журнал, но и настоящее имя Поселянина не составляет тайны. Достаточно открыть хотя бы «Словарь псевдонимов» И. Ф. Масанова, чтобы узнать в Поселянине довольно заметного публициста консервативной ориентации Евгения Николаевича Погожева.

Это отсутствие элементарной культуры работы, эта отмена истории — вполне в духе «агитпроповской жвачки», столь справедливо обруганной А. П. Ланщиковым. В том же духе и припомаживание героя, сглаживание углов. За уверениями в том, что Победоносцев не был «противником просвещения и науки», стоит не только упрощение, но явная подмена понятий. Если внимательно прочитать хотя бы включенную в сборник статью «Народное просвещение», станет ясно: в отношении европейского просвещения и европейской науки Победоносцев испытывал тотальный скепсис, отстаивая — вслед за славянофилами — идею национального, точнее, православного образования, моделью которого мыслилась церковноприходская школа. Она внедрялась в жизнь «усилиями и стараниями» Победоносцева, как справедливо отмечает А. П. Ланщиков. И тут же он приводит внушительные цифры, призванные убедить читателя в плачевном состоянии крестьянского образования в допобедоносцевскую эпоху и в блестящих результатах его деятельности, открывавшей России путь к возрождению, ни словом, однако, не обмолвившись, что основой крестьянского образования в России — и до широкого распространения церковноприходских школ, и значительно позднее — была система начальных народных и приходских училищ и что именно им «миллионы крестьянских детей» были обязаны элементарными знаниями.

Не буду перечислять все несообразности статьи А. П. Ланщикова. Она должна быть вписана не в историю изучения Победоносцева и общественной мысли конца прошлого века, но в партийную борьбу наших дней. Отнюдь не обязательно, оказывается, принадлежать к академической среде, защищать диссертации и быть стойким ленинцем — можно и будучи независимым литератором сохранять верность АГИТПРОПу, кляня его, как люди, бывает, клянут свое происхождение.

А Победоносцев по-прежнему остается для нас фигурой загадочной. И не

только потому, что в единственном доступном сегодня издании его статей Победоносцев выдан за Победоносцева, а собственно победоносцевские тексты представлены не в окончательной редакции. И не только потому, что автор предисловия предпочитает рассуждать об АГИТПРОПе, а вспоминая о Победоносцеве, ограничивается расплывчатыми суждениями и щедрым цитированием включенных в сборник статей.

Уже современники воспринимали его как анахронизм — средневекового фанатика, слепого поклонника старины, и лишь некоторые из них изумленно открывали в нем талантливого писателя и умного публициста. А большинство — причем не только либералы, но и многие консерваторы — его просто отгормали, не заботясь об адекватности оценок и лишь упражняясь в искажении его фамилии — Лампадоносцев, Доносцев, Бедоносцев...

Знаменитый обер-прокурор Синода, четверть века занимавший этот пост, наставник двух последних русских царей, зловекий символ заката Российской империи, для всех оказался чужим, да и природа его личности такова, что он ускользает от характеристик, сопротивляется истолкованиям. Есть в нем нечто неуловимое, само по себе нуждающееся в осмыслении.

Победоносцев всегда — во всех своих рассуждениях — исходил из «опыта лица», признавая ценной каждую индивидуальность и опираясь на запросы отдельного человека как на главный аргумент в любых построениях, как на довод, надежно страхующий от умозрительности. Но вместе с тем совсем недаром оппоненты упрекали Победоносцева в чудовищном недоверии к человеку. Предмет его размышлений, личность, предстает под пером Победоносцева удивительно стертой, безвидной, элементарной, в конечном итоге — закрытой, такой, каким был, очевидно, он сам. Хотя победоносцевские статьи на редкость интимны (он обнажил в них собственный духовный опыт и, говоря о потребностях личности, имел в виду прежде всего собственные потребности), но как ни парадоксально, как ни странно это для фигуры масштаба Победоносцева — эти потребности всегда массовидны, лишены индивидуальной окраски. Что-то насильственное было в этом стремлении раствориться в общенациональной жизни — стремлении, питавшемся идеей соборности, но, похоже, не органичном для Победоносцева, слишком головном, вынуждавшем его к самоожождению. Так и чувствуешь, читая Победоносцева, что он себя постоянно

одергивает. Может быть, поэтому на всей его личности — при декларируемой цельности — лежит печать раздвоенности, психологического разлома. Залобой конструктивной идеей ему мерещился соблазн, и в то же время он тосковал по сильной, инициативной власти, по деятельной фигуре в русской жизни. При редкой интеллектуальной восприимчивости, способности «с увлечением и неугою» предаваться «умственным наслаждениям» (цитирую его частную переписку) он страшился диалога и чувствовал себя комфортно лишь в безмолвии. Тонкий критик социальных утопий, прежде всего социалистических теорий, он сам оказался творцом утопии — унылой утопии бездействия: в его построениях нет места будущему как измененному состоянию мира, а настоящее предстает лишь испорченным прошлым, воплощением разрушенной гармонии. Этот ряд можно продолжать. Очень точно неявную парадоксальность Победоносцева, видимый автобиографизм его статей в сочетании с закрытостью облика очертил В. В. Розанов, сравнивавший «Московский сборник» с «листками записной книжки» (сравнение тем более пронизательное, что первопечатный текст многих статей Победоносцева в газетах помещался под

рубрикой «Из записной книжки»), с «сердечностью дневника» и изумлявшийся вместе с тем холоду победоносцевского слова: «Это — отвлеченная книга, и ее отвлеченность тем более мучительна, что это — не отвлечения ума, а отвлечения сердца».

За попыткой стереть в себе все индивидуальное, слиться с престолярной массой, от имени которой любил говорить Победоносцев и в своих письмах к Александру III, таилась ненависть к новейшим формам европейской жизни. Она питалась обостренной тревогой человека ушедшей эпохи, прозревающего за нарождающейся демократией контуры тоталитаризма, за воинствующим атеизмом — культ земных божков, за лозунгом равенства — силуэтом раба. Защищая социальные традиции — «земляную силу инерции», которой «держится человечество в судьбах своей истории», — Победоносцев провидел грядущие бедствия, и уже поэтому стоит к нему прислушаться. Читать его сегодня и интересно и полезно, и все же Победоносцев должен быть воспринят в исторической перспективе как факт прошлого, а не повод для сегодняшних сражений.

О. МАЙОРОВА.

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ
«НОВОГО МИРА»:

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ

Возвращение

Пolemические заметки о реализме и модернизме

*

Любые средние фазы между реализмом и модернизмом ведут к гибели реализма. Его цели и смысл слишком точны и не терпят никакой относительности. Если художник согласился на произвол, на «самовыражение», значит, он потерял доверие к миру, к его замыслу и теперь его цели лежат совсем в другой области и его счастье — совсем другое.

КОРОТКО О КНИГАХ

*

МИХАИЛ КРИВИЧ, ОЛЬГЕРТ ОЛЬГИН. Товарищ убийца (Ростовское дело: Андрей Чикатило и его жертвы). М. «Текст». 1992. 351 стр., альбом вкл.

Приговор был вынесен 15 октября 1992 года. Книга о судебном процессе и обо всем, с ним связанном, вышла 1 декабря, через шесть недель. Такого в российской книгоиздательской практике еще не было, как не было и традиции репортерского (репортажного?) романа. Даже названия для этого жанра художественной прозы у нас нет.

В послесловии к «Товарищу убийце» авторы говорят, что книга написана за три месяца, то есть она была начата, когда суд над Чикатило уже шел. Авторы — опытные журналисты и писатели; вместе создали около 10 книг, вместе проработали четверть века в «Химии и жизни». Сотрудничали с другими журналами, газетами и телевидением. На криминальные темы никогда не писали, в кругу их интересов была научная публицистика, фантастика, юмористика. И вот почему-то оставили насущные дела и бросились в работу чуждую, тяжкую — и страшную. Зацепило...

Было чему зацепить. Убийца-маньяк под маской добропорядочного снабженца, ростовский обыватель, за которым числится 52 изощренно-жестоких убийства (только доказанных! Возможно, их было больше). Цифра, которая останется, без сомнения, в самой отгалкивающей из исторических хроник — хронике преступлений. И вся история этого дела как бы рекордная, и тянет от нее ужасом: убийства с интервалами продолжались почти двенадцать лет. Размах розыскных действий был колоссальный. Пропустили сквозь следственное сито полмиллиона (!) человек, попутно раскрыли 1080 преступлений других правонарушителей. И — расстреляли по ходу дела невиновного.

Вот здесь-то, в этом наборе цифр, и кроется ответ на вопрос: зачем нужно было писать и издавать такую книгу, да еще в небывалом темпе? Но — зачем нам, читателям, и книга эта и весь жанр, по-английски называемый *true crime story* («подлинная криминальная история»)? Ответ есть: пора отвыкнуть от лжи умолчания. Надо наконец-то постигать правду о стране, в которой ты живешь, и о человеческой природе вообще. Верно — есть и контрдовод, надо учитывать и его: мы слишком жадно читаем рассказы о преступлениях, и мнится, что в этой жадности есть нечто глубоко неприятное. Но правда редко когда бывает приятной. И слишком долго нам в этой правде отказывали, «чтобы не потакать низменному любопытству»...

Вот правда: Андрея Чикатило не могли поймать двенадцать лет. При том, что он

почти всегда знакомился со своими жертвами на людях, в толпе — знакомился, уводил и потом убивал. При том, что дважды его вроде бы ловили. И отпускали на свободу. Второй случай вообще не поддается пониманию: преступника вычислил и задержал капитан милиции Александр Заносовский — настоящий профессионал. Чикатило арестовали, нашли в его портфеле отточенный нож и веревку. Произошло это осенью 1984 года, когда повадки убийцы были уже отлично известны: веревкой связывает жертву, убивает и уродует ножом. Арестовали его в ходе чрезвычайных розыскных мероприятий — усиленные наряды милиции по всей Ростовской области, проверки автомобилей, электричек и так далее. В эту сеть преступник и попался. Попался было, да через три месяца его выпустили. Почему?! Безумие какое-то...

Впрочем, есть и более точное определение для этого: вопиющая халатность работников местных правоохранительных органов. Отпустили непостижимым образом опаснейшего преступника, схваченного с орудиями преступления: в портфеле. Более того, этот портфель с вещественными доказательствами отдали жене убийцы! А сколько раз срывалась очередная облава на Чикатило из-за того, что кто-то из ростовского милицейского начальства по той же халатности отказывался посылать своих людей на операцию, и «вампир» легко выскальзывал из колыба окружения в образовавшуюся прореху, продолжая вершить свое черное дело.

Каковы мы все, такова и наша милиция. Вот слова начальника уголовного розыска России генерала Колесникова: «Вы не должны забывать, что милиция — часть общества и его отражение. Каково общество, таковы и органы общественного порядка». Пусть за подобными рассуждениями угадывается невольная попытка оправдать конкретных виновников, но так или иначе — конечно, при всем том часть вины лежит и на всех нас. В самом деле, задумаемся: вот мы вопрошаем — куда смотрела милиция, прокуратура? Но куда смотрели люди — такие же, как мы с вами? К примеру, коллеги Чикатило по ПТУ, в котором он служил воспитателем? Он пытался (подчас чуть ли не прятливо) насилловать девочек, бросался на них, как зверь, а его лишь пожурили и предложили уволиться «по собственному желанию»...

«Безумное время. Насчастливая страна» — это вопль души авторов книги. Им пришлось читать материалы дела и смотреть на фотографии, от которых — буквально — волосы поднимаются на голове. И узнавать попутно правду не только об убийце, но и о его жертвах, которые знакомились с ним из-за одиночества, заброшенности, нищеты: почти все они следовали за своим палачом по

доброй воле, поддавшись на улыбку, ласку, обходительность. На то, чем их обделили другие. Мы. Общество.

Впрочем, такое наверняка случается в любой большой стране: чем больше сообщество, тем отчужденней оно от своих членов. Можно допустить и то, что в некоей стране Икс, где, как и у нас, есть внештатные сотрудники полиции, маньяк-убийца принимает участие в облаве на себя самого (и такая деталь была в деле ростовского душегуба!). Допустим. Но вот деталь неповторимая: Андрей Чикатило заодно являлся и внештатным журналистом, и писал трогательные статьи о юношестве, трудовом воспитании — и о партии, разумеется, членом которой он был. Это уж — извините. Это наше, кровное, потому что только у нас такое чудовищное двуличие было нормальным и обыденным. Все, от генсека до дворника, думали и делали одно, а говорили и писали другое.

И еще одна правда о нашем обществе проступает со страниц «Товарища убийцы»: мы невероятно невежественны в вопросах сексологии. Это опять о лжи умолчания, о ханжеской цензурной практике. Нам никогда — ни в одной лекции, ни по радио или в прессе — не говорили, что человек с извращенным половым влечением может быть опасен, как тигр-людоед. И не говорили, что такой человек может вылечиться, если, конечно, найдет врача...

Вот о чем написали Кривич и Ольгин в своей книге. Не о леденящих душу подробностях, не об ухищрениях сыщиков — о жизни как она есть. Криминально-репортажный роман обернулся романом социальным и психологическим, и этот точно выбранный вектор позволил писателю избежать пошлости в любом виде, всякой «клубнички». До чтения, признаться, такая задача казалась мне невыполнимой. И еще одна важная сторона: книга хорошо и интеллигентно написана. Хорошо — значит, верным, свободным литературным языком; интеллигентно — то есть без поверхностного пустословия. Каждая деталь уместна, она словно стальной проволочкой связана с главной темой, при том, что такие детали выбраны вроде бы свободно. Вдруг — цитата из письма Жириновскому, опубликованного в газете: «надо уничтожить в России человек миллион сто»...

Можно бы на этом закончить, будь книга другой, не репортажным романом. О специфике ее надо еще кое-что сказать: это новое явление не только по жанру, здесь иное профессиональное и технологическое качество. Ведь и помыслить нельзя, чтобы государственное издательство смогло устроить такую штуку: найти авторов, способных взять десятки интервью и еще написать 350 страниц — за три месяца! И при этом создать для них команду поддержки — пригласить юристов, консультантов, сборщиков материала. И готовить набор, верстку, всю полиграфию заранее, к «моменту ноль» — ко дню вынесения приговора, чтобы авторы дописали последние страницы и книга мгновенно ушла в печать. А вот независимое издательство

«Текст» смогло — без осяечки! Возможно, это тоже важная деталь. Может быть, в ней — крошечный знак надежды, что мы перестаем жить в безумном времени и несчастной стране?

А. Зеркалов.

*

ЛАЗАРЬ КАРЕЛИН. Свой. Повесть. «Москва», 1993, № 2.

Всем известно, что земля начинается с Кремля. Так вот же он — рукой подать. Из окна служебного кабинета, который обживает герой повести, прекрасен обзор и кремлевских стен с башнями, и куполов Василия Блаженного. Не менее заманчив и вид из окон пятикомнатной двухэтажной квартиры, предоставленной герою: вот храм, где венчался Пушкин, а вот дворец-особняк для правительственных приемов. Правда, если от приглядных объектов ступить в сторону пятток-другой шагов, взору откроется дичь и хлам постперестроечной столицы. Но Петра Лукашова возят по Москве в «Чайке» по ухоженным трассам, оберегая от негативных впечатлений. Так что вчерашний провинциал еще цветущего возраста (нет сорока), но уже вознесенный в министерское кресло, может без помех дивиться спещедротам, какие посыпались на него вместе с высоким назначением.

Известный своим интересом к криминалу во властных структурах, Лазарь Карелин со всем тщанием разрабатывает ситуацию «не было ни гроша, да вдруг алтын». Или — «простолюдин в королевских покоях». Какая мина на лице больше пристала такому удачнику? Отвисшая челюсть в нашем случае была бы преувеличением, ибо упомянутый Лукашов возвысился до степеней известных, послужив прежде науке (как физик-ядерщик), да и у себя в области успел поначалу ствовать. Но некоторая оторопь перед всем совминовским великолепием тут, разумеется, не исключена. Поэтому подробные описания роскошных интерьеров, лимузинов, чудо-кресел, подгоняемых под сановные округлости, щедрых возлияний посреди рабочего дня, департаментской женской obsługi с выразительными бедрами — все это читатель готов воспринять как экспозицию к действию, а возможно, дань психологизму: взгляд новичка вездлив.

Но экспозиция что-то никак не кончается. Персонажа и автора заметно сроднила ситуация «мы такого не видали никогда». Да и чудеса множатся по нарастающей — жаль упускать. Вот свеженазначенного Лукашова оглядывают коллеги-министры. В присутствии президента Ельцина. Тут уж проза Карелина готова перенять цепкость взгляда у телекамер и увлеченно репортерствует, приближая к нам подробности обстановки, лица государственных мужей.

Что у нее при этом на уме? Ответственность момента, когда она дерзнула запечатлеть столь авторитетное сборище. А еще что? Превратности судьбы славного малого Лукашова, вознесенного в такую-то высь. Прозаик не дает персонажу оступиться на ковров-

вых дорожках, окружая его теплом общей приязни, ловя и тут же передавая многоустой молве брошенное им крылатое словцо, сближая до неразличимости свою, авторскую стилистику с речевой манерой героя. Так ведь сказано же нам: «свой». И внутренняя речь у него — «свойская». О спортивной закалке Лукашова читаем: «Мог и пробежку оторвать километром на двадцать». О количестве приключений по амурной части: «Пяток курортных развлекаловок». А рядовые заботы наш герой «сечет». И верно: «свой».

Тем не менее развязка всей истории неутешительна — его самоубийство. Довели. Кто? Ловкие дельцы с помощью роковой обольстительницы («стройноногой весны»). Каким способом? Шантажом.

Двигалось весьма пространное повествование с резким креном на один борт, где на зависть смертным выставлены вещественные приманки власти, а бурливую криминальность зачерпывая другим бортом: качка. Что же до представленного нам госдеятеля, то, отбыв из провинции, он попал в стихию провинциализма, на сей раз беллетристического, где и сделался «своим». Вознесенный выше некуда герой перемещается внутри заштатного, по сути, мирка. Пусть и с видом на Кремль.

В. Камянов.

*

ВЯЧЕСЛАВ СУХНЕВ. Встретимся в раю. Роман. «Урал», 1992, № 9.

Сентябрьский специальный номер «Урала», дошедший до Москвы только весной этого года, весь занят приключенческо-футурологическим (условно говоря) романом Вячеслава Сухнева. Время действия книги — начало XXI века, до которого, впрочем, осталось совсем немного.

Тон повествованию задают эпиграфы из пророков Исайи и Иеремии. Образ будущего, разумеется, мрачен: глобальное нарушение климата; атомные станции, качающие энергию на Запад, грозят неминуемыми катастрофами; страна, что называется, распродается иностранцам, регулярная армия распущена, но действует эффективная служба гражданской безопасности; в то же время в засекреченных центрах ученые делают сверхсложную космическую технику, а большевистско-казацкое (!) подполье для пополнения кассы торгует наркотиками... Да, и повсюду, как знаки беды, висят тарелки инопланетян.

О стиле говорить не приходится. Роман написан не плохо и не хорошо, а — н и к а к. То есть именно так, как и должны быть написаны этого рода книги (однообразового, да простит меня автор, использования), чтобы стилистические упражнения не отвлекали зря от сюжета. Сюжет же пересказывать не имеет смысла. Достаточно сказать, что он держит читателя в напряжении до последних

страниц (разумеется, читателя, который в принципе читает подобные романы).

Мне уже приходилось на страницах «Нового мира» (1990, № 5) писать о такого рода антиутопиях. Поэтому я сразу полез смотреть год написания романа. Там стоит: 1989—1990. Сначала я, грешным делом, подумал, что датировка, может быть, не совсем точна, сдвинута на год-полтора назад, чтобы хоть частично отвести упреки в подражании кабаковскому «Невозвращенцу» и другим уже изданным книгам с футуро-эсхатологическим оттенком. Но, вчитавшись в роман, я понял, что дата точная.

Дело в том, что образ будущего в романе В. Сухнева выведен из тенденций именно «позднегогорбачевского» периода перестройки. Тогда, например, было уже ясно, что Ленинграду возвратят одно из его прежних названий, но автор решил, что Петроград, а оказалось — Санкт-Петербург. Было ясно, что станцию метро «Площадь Ногина» рано или поздно переименуют, но автор считал, что в «Варварку», а оказалось, что в «Китай-город». Но это, конечно, мелочи. Важнее другое. Во время написания романа, при Горбачеве, было уже видно, что Союз разваливается, предсказать это автору было нетрудно, но он еще надеялся на возможность Российской конфедерации (как я понял, с Белоруссией и Украиной). Или: нетрудно было предсказать возникновение квазикапиталистической системы, но невозможно было представить жизнь без продюльственных карточек (то есть писалась книга до «либерализации» цен, после которой деньги подешевели, но товар появился). И самое показательное: в романе В. Сухнева КПСС самораспустилась на своем чрезвычайном съезде в 1995 (!) году, причем то был маневр коммунистической номенклатуры, чтобы сохранить реальную власть и на новом витке спиралы снова появиться в прежнем облиции. Очевидно, что прогнозировать это можно было только до августовского «путча», хотя ничего невероятного в предложенной автором версии не было. Теоретически не было. Но история идет своим собственным путем — неожиданным и для политиков и для писателей.

Что ж, будем живы — сами все увидим. Кстати, «Новому миру» автор не сулит скорого разорения: «Они обогнули здание министерства и вошли в короткий Путинковский переулок, который давно превратился в обычный проходной двор... В окнах редакции «Нового мира» висела реклама романа какого-то Вячеслава Сухнева. Вануйта покоился на фамилию под серьезной усатой физиономией и машинально отметил: нет, ничего не читал...» Ну-ну, кто знает, подождем до начала следующего века.

Да, еще: слишком много опечаток, начиная с обложки («ВСТЕРтимся в раю»), далее везде...

Андрей Василевский.

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

*

ЕВРЕИ В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ. Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе. Выпуск I. 1919—1939 гг. Составитель Михаил Пархомовский. Иерусалим. 1992. 519 стр.

Одно перечисление авторов и названий статей, составивших этот уникальный — по многообразию тем и персонажей — сборник, с трудом уместится в объем традиционной аннотации. Благодаря продуманной композиции разнородные, по существу, материалы прочитываются как цельное повествование о еще одной неизвестной странице культурного рассеяния — теперь уже русско-еврейского, — о напряженном диалоге культур в условиях двух диаспор. Разнесенные по шести рубрикам, статьи, публикации и эссе охватывают многие сферы жизни, в которых проявили себя представители русско-еврейской культуры, оказавшиеся в изгнании, — литературу, живопись, скульптуру, общественную деятельность, благотворительность, библиофильство, шахматы и др. Представителен состав авторов из Израиля, России, Франции, Англии, США, Украины; в числе участников — ученые с мировыми именами. Исая Берлин вспоминает о своих встречах с Александром и Саломеей Гальпериными, Е. Эткинд публикует фрагменты переписки М. А. Алданова и Е. Д. Кусковой, Б. Лосский рассказывает о высылке из России «людей мысли» в 1922 г., Н. Лобанов-Ростовский представляет «записки коллекционера» — о театральных художниках из России.

Книга открывается рубрикой «Евреи и русская культура», в которой воспроизводится статья М. Осоргина «Русское одиночество», опубликованная в 1925 г. в сионистской газете «Рассвет» (как бы задающая тон всему сборнику), с последующими редакционными комментариями и читательским откликом (публикация А. Разгона). В следующей рубрике — «Писатели, поэты, критики» — помещены некрологические воспоминания М. Осоргина, посвященные Саше Черному и В. Жаботинскому (публикация О Ласунского); здесь же — литературно-биографический очерк о Ю. Айхенвальде (А. Рейтблат), эссе о Довиде Кнуте (Я. Цигельман), Борисе Пантелеймонове (М. Агурский), И. Эренбурге (М. Амосин).

На наш взгляд, особенно удачной вышла рубрика, объединившая материалы, относящиеся к книжному и издательскому делу. Статья Л. Юниверга «Евреи — издатели и книготорговцы русского зарубежья» воссоздает яркую картину русских издательств в Берлине в 20-е гг.; особое место среди них принадлежит издательству З. И. Гржебина, чья жизненная и творческая судьба подробнее освещается в работе того же автора «З. Гржебин и М. Горький», И. Вайнберга и небольшом мемуаре дочери Е. Гржебиной. Для любителей всяческих библиографий и просто книголюбов ценной окажется работа О. Ласунского, посвященная владельцу берлинского антиквариата «Россика» Ю. С. Вейцману, обладателю ценнейшей библиотеки, включившей многие раритеты и автографы. Завершают раздел статьи о ведущих журналах русского зарубежья — «Социалистическом вестнике» (М. Хейфец) и «Современных записках» (М. Пархомовский).

В рубрике «Архивы и мемуары» особый интерес представляют воспоминания живущей в Париже А. Цетлин-Доминик о своих родителях, М. О. и М. С. Цетлиных, основателях «Нового журнала», и любопытные наблюдения В. Лосской «Об одном парадоксе Марины Цветаевой». Разнообразные материалы составили рубрику «Деятели искусства Шахматисты». Здесь представлены работы по истории израильской оперы и месте в ней Ф. И. Шаляпина (А. Ориман), о выходцах из России во французском кино (Б. Носик), о скульпторах Хане Орловой (Л. Латт) и Науме Аронсоне (В. Шлеев), в статье «Об «арийских» и «неарийских» шахматах» С. Дудаков в неожиданном ракурсе рассматривает историю шахматистов-эмигрантов. Героями последней рубрики «Общественные деятели и меценаты» стали Я. Л. Тейтель (Э. Капитайкин), Б. Бруксус (В. Каган), О. Грузенберг (Я. Айзенштат).

Сборник завершается рассказом о еврейх-меценатах в межвоенном Париже (Б. Носик) с выразительным заглавием «... Не вышло бы ни одной строчки по-русски», которое не покажется преувеличением тому, кто прочел составившие сборник строго документированные материалы

Издание щедро проиллюстрировано: множество фотографий, факсимильных воспроизведений рукописей и инскриптов, рисунков и т. п., среди которых имеются настоящие сюрпризы — отметим фото, запечатлевшее Ф. И. Шалапина с членами сионистской организации Петрограда на фоне большой шестиконечной звезды (апрель 1918 г.). Имеется информация об авторах и проспект следующего выпуска, который ожидаем с нетерпением.

БОРИС ПАРАМОНОВ. Портрет еврея. Петербург — Париж. Издательство Т. Гржебина. 1993. 88 стр.

Судя по представленной программе, главным направлением основанного живущим во Франции Т. З. Гржебиным книгоиздательства станет выпуск серии (или коллекции) «Мемуарная и биографическая эссеистика» (составитель Ив. Толстой). С позиций «чистоты жанра» выбор дебютанта сделан точно: Б. Парамонов, знакомый слушателям радио «Свобода», а с недавнего времени — читателям отечественной периодики, — признанный мастер историко-философской, культурологической эссеистики. В аннотируемом сочинении речь идет как будто об И. Эренбурге, однако автор признается, что в его герое ему «интересно и значительно не его личное, но общее, родовое, не „поэт“ в нем важен, а „жид“». Соответственно, главными оказываются «рассуждения об иудейском племени» (название одной из глав) — с присущей автору игрой цитатами, парадоксальными заключениями, рискованными силлогизмами, запоминающимися чеканными афоризмами. «Я вижу, что «заключение об Эренбурге» не получается, заключение — опять же о евреях, — резюмирует Б. Парамонов. — Но это не ошибка композиции, а суть дела». Книги об Эренбурге, конечно же, «не получилось», что никак нельзя считать «ошибкой композиции».

Небольшая (по формату и объему) книжечка издана в России, и издана превосходно: изящно, со вкусом оформлена, качественно отпечатана и прочно сброшпорована — словом, достойно несет на себе товарный знак «Издательство Т. Гржебина». Адрес издательства: Les Editions Grjebine, 11 rue Jules Chaplain. 75006 Paris. France.

А. Н.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ФРАГМЕНТЫ НОВОЙ КНИГИ
АЛЕКСАНДРА БОРЩАГОВСКОГО
«ОБВИНЯЕТСЯ КРОВЬ» —
ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ УБИЙСТВА
СОЛОМОНА МИХОЭЛСА
И О ПРОЦЕССЕ НАД УЧАСТНИКАМИ
ЕВРЕЙСКОГО АНТИФАШИСТСКОГО КОМИТЕТА

SUMMARY

In poetry section one finds poems by Eugeny Rein, Vladimir Gandelsman, Vadim Fadin, Valery Krasko, Valentina Pakhomova.

In the issue works of new Russian Writers are printed: «The Bypasser of Peace Avenue», story by Vladimir Kravchenko; «A Farm In The Universe» story by Igor Klekh; «The Tea-Party On The Eve», short story by Oleg Yermakov; «Childhood», short story by Yuru Petkevich; three short stories by Larissa Tarakanova and a short story «Aestas sacra» by Asar Eppel — all of them represent different styles of modern Russian prose. «The Literary Heritage» contains an unknown play by Andrey Platonov «Noah's Arc» («Cain's Bastard») — from the archive of his daughter Maria Platonova. Text prepared and commented by N. V. Kornienko.

In «The Writer's Diary» Mark Kostrov gives some advices «How to Survive in Our Time of Troubles?» — which are the result of his own experience as a provincial dweller.

In «Religion and Contemporary World» Vladimir Semenko with his essay «Two Freedoms» and Renata Galtseva with her essay «The Fatal Word» discuss freedom of conscience.

In «Publications and Reports» we begin publishing correspondence of Russian philosopher Evgeny Trubetskoy with M. K. Morosova, prepared and commented by A. A. Nosov (to be finished in No 10).

In her essay «The Hexagonal Lattice for m-r Booker» literary critic Alla Marchenko sums up the results of Booker Prize 92.

In «Book Review» Sergey Kostyrko writes about the poetry of Yury Karabchievsky, A. Bogoslovskiy gives his opinion of Boris Poplavskiy's novels and Olga Mayorova criticizes the new edition of K. P. Pobedonostsev's essays.

**ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
НОВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ АНДРЕЯ БИТОВА
«ОЖИДАНИЕ ОБЕЗЬЯН» —
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЕГО КНИГ «ПТИЦЫ, ИЛИ НОВЫЕ
СВЕДЕНИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ» И «ЧЕЛОВЕК В ПЕЙЗАЖЕ»**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов (зам. главного редактора), М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Коммерческий директор А. О. Петров

Технический редактор А. Гинзбург

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г.
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 31.05.93 г. Подписано к печати 12.07.93 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах журнала «Новый мир» Формат бумаги 70x108^{1/16}. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 54.620 экз. Зак. 2725 Цена, в России — 90 р., в странах СНГ — 200 р.

При участии издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации», 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**ДО КОНЦА 1993 ГОДА И В 1994 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ
ОПУБЛИКОВАТЬ:**

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Литературный сопромат: христианство и словесность;

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, книга вторая);

АНДРЕЙ БИТОВ. Ожидание обезьян (продолжение книг «Птицы» и «Человек в пейзаже»);

В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);

АЛЕКСАНДР БОРЩАГОВСКИЙ. Обвиняется кровь (фрагменты книги);

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Борьба с логосом (эссе);

ЭММА ГЕРШТЕЙН. Лишняя любовь (сцены из московской жизни);

БОРИС ЕКИМОВ. Набег (рассказ);

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Заколдованный створ (роман);

ИЗ ДНЕВНИКА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА РОМАНОВА;

ИЗ ЧАСТНОЙ ПЕРЕПИСКИ К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА;

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новая повесть;

ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ. Эссе о литературе (из наследия);

АЛЛА ЛАТЫНИНА. «Патент на благородство»: выдаст ли его литература капиталу?;

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;

А. Г. МАКАРОВ, С. Э. МАКАРОВА. К истокам «Тихого Дона» (глава из книги);

АНДРЕЙ НЕМЗЕР. Гоголь и современная проза;

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Неизданные рукописи. Документы к биографии (из архива М. А. Платоновой);

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Новый роман;

И. РОДНЯНСКАЯ. О философской интоксикации в текущей словесности.

БОРИС САДОВСКОЙ. Пшеница и плевелы (повесть, из наследия);

ИРИНА СУРАТ. Пушкин как религиозная проблема;

БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ. Деревенские рассказы;

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Гаяне и Маргарита (рассказы);

МАРК ХАРИТОНОВ. Провинциальная философия (повесть);

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Музыкальные увеселения от Ромула до наших дней;

а также новые произведения Георгия Владимова, Даниила Гранина, Семена Липкина, Доры Штурман и других авторов.

В 1994 году будет продолжен цикл публикаций «Предварительные итоги XX века: искусство, литература, гуманитарная мысль»; будут вестись традиционные рубрики «Русская книга за рубежом», «Зарубежная книга о России», «Религия и современный мир». Обновленную рубрику «Отклики и комментарии» будет вести литературный критик АЛЛА МАРЧЕНКО.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ
ВАШУ ПОДПИСКУ НА 1-Ю ПОЛОВИНУ 1994 ГОДА!**